САВВА
ДАНГУЛОВ

ПЯТНАДЦАТЬ ДОРОГ НА ЭГЛЬ

САВВА
ДАНГУЛОВ

ПЯТНАДЦАТЬ ДОРОГ НА ЭГЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1975

Р2
Д17

Дангулов С. А.

Д17 Пятнадцать дорог на Эгль. М., «Сов. Россия», 1975

480 с.

Пятнадцать глав этой книги — пятнадцать своеобразных дорог писательского поиска, у которого своя цель: В. И. Ленин и мир его единомышленников и друзей. Все, о чем рассказывает автор этой книги, добыто в результате поиска — Генуя и конференция 1922 года, Париж и встреча с семьей редактора журнала «Метрополитен» Карла Хови, передавшей нам архив Джона Рида, Стокгольм и беседы с теми, кто знал А. М. Коллонтай, Лондон и поездка Герберта Уэллса к В. И. Ленину, Осло и знакомство с архивом Фритьофа Нансена. В книге рассказы о Георгии Димитрове и Бела Куне, Альберте Рисе Вильямсе и Линкольне Стеффенсе, Михае Бужоре, Роберте Майноре, Раймонде Робинсе.

В отличие от предыдущего издания этой книги, которая называлась «Двенадцать дорог на Эгль», в новом издании книги несколько новых глав, написанных автором на основе его недавно осуществленных поисков по теме книги: В. И. Ленин и дипломаты ленинской школы,

Д $\frac{10601-083}{М-105(03)75}$ 88—75 Р2

В Марселе, в порту, мне довелось говорить со старым учителем, выходцем из Швейцарии.

— Я из Эгля, того самого Эгля, откуда ваш Ленин пошел на царя, — произнес швейцарец и залился счастливым смехом — одно то, что он из Эгля, как бы давало ему право чувствовать себя соучастником великого дела Ленина. — Кстати, говорят, что Ленин не боялся высоты и пришел к нам через перевал. Никакой высоты! У нас даже ходила притча... Когда Ленин минул перевал, его будто бы встретили пастухи, наши, орманские. «А ведь узка горная дорога? — спросил старший пастух. — Ходит молва, что в старину этих дорог было больше, и они были много шире, но человек не удержал их в своей памяти... Я вот пытался отыскать, да разве их отыщешь — вон какие горы!» — поднял глаза пастух. «Если бы они были, надо отыскать, — улыбнулся Ленин. — Наверно, у каждого должен быть свой Эгль и свои неоткрытые дороги!..» — «Большие и малые?» — нашелся пастух. Видно, он был неглуп и проник в слова Ленина, — конечно же, русский говорил не только об Эгле и неоткрытых наших дорогах. «Большие и малые», — теперь уже засмеялся Ленин.

Старый швейцарец дал волю своей фантазии, когда сказал, что Ленин пошел на царя из Эгля, но швейцарца понять можно и даже простить не грех: ведь он это сделал не для себя, а для Эгля! Если же быть точным, то с Эглем действительно связана памятная страничка в жизни Владимира Ильича, правда, не столь значительная, как утверждает старый учитель, однако заслуживающая

внимания вполне: именно неподалеку от Эгля, в селении Дьяболер, летом 1895 года состоялась встреча молодого Владимира Ульянова с Г. В. Плехановым, встреча, важная для русской революции.

Признаюсь, мне была симпатична притча старого учителя и его мысль о неоткрытых дорогах, которую эта притча вложила в уста Ленина. Чем-то эта мысль, исконная, народная, перекликалась в моем сознании с тем, что волновало меня последние годы, когда я шел дорогами поиска, стремясь собрать воедино крупицы дорогого... «У каждого должен быть свой Эгль и свои неоткрытые дороги!»

Однако что я разумею под этим своим Эглем?

Есть такой закон: ты можешь знать предмет преотлично, но если ты не докажешь это твоему читателю знанием деталей, он тебе не поверит. Ты можешь сказать, что был у стен Брикстонской тюрьмы в Лондоне, и это будет для читателя голословно. Однако если ты скажешь, что в нескольких шагах от этой тюрьмы стоит ветряная мельница и русские узники Брикстона могли ее видеть, для читателя это убедительно.

Следовательно, читателя убеждает деталь. Наверно, историк может знать предмет в подробностях, не восприняв подробность зрительно, не ощутив, как она соотносится с внешней средой. Ему достаточно, что под окном Брикстонской тюрьмы стоит мельница, вид которой мог вызвать какие-то ассоциации у русских узников. Историк может довольствоваться тем, что эта мельница упоминается в труде автора, которому он доверяет настолько, чтобы с той или иной оговоркой на него сослаться. Писатель же должен эту мельницу воспринять, так сказать, воочию: ее формы, цвет, фактуру дерева, может быть, сам скрип ее крыльев.

А если так, то единственная возможность познать предмет, это его увидеть — ничто не может писателю заменить такой возможности. Но это, наверно, всего лишь первая заповедь. Она важна, но не исчерпывает главного. Как ни красноречивы дерево и камень, человек всегда расскажет многократ больше. Он может не сообщить предмету ту точность, какую способен обрести писатель при непосредственной встрече с деталью, но его рассказ обещает тебе нечто такое, что мертвая природа не сообщит, — мысль, чувство. Никто, например, не заменит тебе беседы с Георгием Константиновичем Куннели, которого я встретил в

Лондоне, не воспроизведет его рассказа о Петре Кропоткине. Никто, кроме него, не сумеет сегодня показать, как Кропоткин брал косу и принимался орудовать ею в зеленом дворике своего брайтонского убежища, как наклонялся, как отставлял ногу, как замахивался косой. Ничто не заменит встречи с очевидцем. Бесценно его свидетельство. Это вторая заповедь.

И последняя: для писателя документ не менее важен, чем для ученого-историка. Ошибочно мнение, что документ, как первоядро литературы факта, призван заменить то, что некогда звалось беллетристикой. Документ не несет с собой образного мышления, и никакой способностью читателя домысливать и дорисовывать этого качества документу не сообщить. Однако документ, осмысленный и эмоционально познанный, может помочь тебе рассмотреть в герое нечто новое. Именно это чувство я испытал, увидев в парижской квартире литераторов Ли Голда и Тамары Ховн письмо, написанное рукой Рида. Подлинный документ обладает силой огромной — он может дать представление об интеллекте и характере человека. Лист бумаги, исписанный рукой человека, способен навеки веков сберечь тепло, которое эта рука навсегда утратила. Ничто не сберегло это тепло, а документ сберег.

Меня увлекает исследовательское начало в работе писателя. Осенью 1967 года я совершил путешествие на Капри, повторив известный ленинский маршрут. Еще раньше я был в Лондоне, а летом 1968 года — в Норвегии и Швеции. В эти годы у меня сложилось свое досье, которое дает мне право сказать: я видел. Итог этих поездок — новое, что удалось добыть. Для меня это радость, если даже это скромно. Результат поисков: книга Карла Хови о Джоне Риде, обнаруженная мною в рукописи и хорошо изданная ГИХЛом. Книга, которая до этого никогда и нигде не выходила. Сейчас я готовлю переписку Вильямса и Робинса, где большое место занимает Ленин и Октябрь. До этого был занят публикацией последней книги Вильямса, которую в главах напечатала «Иностранная литература». В настоящей книге я рассказываю и о недавних своих поисках и находках: как привез из Норвегии переписку Фритьофа Нансена с его русскими корреспондентами, как обнаружил переписку А. М. Коллонтай с ее шведскими корреспондентами.

Однако, как ни ценна эта работа сама по себе, с нее всего лишь начинается то значительное, на что отважился

писатель. Говорят, что Джон Рид вынашивал идею прозаического полотна, чем-то напоминающего известный бальзаковский замысел, где действие обнимало бы большой мир человеческих характеров и мест, с которыми столкнула жизнь этого тридцатилетнего американца, — Америка, Европа, Россия. Речь шла о романе. Наверно, в этом романе Рид видел бы и Ленина. Во многом Рид шел бы от «Десяти дней». Книга Рида принадлежит к тем счастливым созданиям литературы, где с покоряющей художественной мощью написан Ленин. Однако сам жанр романа определил бы и свое решение образа Ленина. Очень хочется представить себе, как бы такой художник, как Рид, с его силой художественного выражения, с его вкусом и интеллектом, с его способностью политически мыслить и видеть явления во всем их смысловом богатстве и глубине, как бы Рид решил эту задачу и что было бы ключом к решению этой задачи — образ Ленина? Наверно, мысль Ленина.

Помните у Рида: «Необыкновенный народный вождь, ставший вождем благодаря своему интеллекту». Образ Ленина — это для меня его мысль. Ее философская первоприрода. Ее жизненная основа. Ее действенность — дело Ленина, как прообраз его мысли. Мне бесконечно интересно, как Ленин беседовал с людьми, представляющими противную точку зрения. Как он вызывал их на спор и что было предметом спора. По каким путям шла ленинская мысль и какова была система его доводов и контрдоводов. Мы ведь знаем, что его встречи с Уэллсом, Стеффенсом, Робинсом были отнюдь не мирными. Знаем мы и то, что в этом единоборстве мысли не Ленин воспринял взгляд Робинса, а Робинс в какой-то мере принял точку зрения Ленина. Как это произошло? Наверное, какое-то значение имела личность Ленина, его способность говорить с людьми, его талант убеждать. Однако как развивался спор, если говорить о системе доводов, которыми оперировали Ленин и его оппонент? Собственно, единоборство мысли между одним и другим миром, единоборство бескомпромиссное, происходило здесь. Характер Ленина — в этом единоборстве. Как показать его? Показать Ленина и не умалить силы мысли Уэллса или Стеффенса, не ослабить их упорства в стремлении отстоять свою правду, не обескровить их страсти и живого чувства. Пусть Уэллс будет Уэллсом, а Стеффенс Стеффенсом, тем убедительнее будет победа Ленина. А ведь Ленин, между прочим, брал

верх. И это свидетельствуют Уэллс со Стеффенсом и, разумеется, не потому, что им доставляет удовольствие выйти навстречу Ленину с белым флагом и сказать: «Сдаюсь!» Победил Ленин, мыслитель и человек. Именно человек. Помните фотографию Ленина и Уэллса. Там у Ленина необыкновенные глаза, и там есть Уэллс, который, как мне кажется, видит эти глаза Ленина. Признаюсь, мне показалось даже: именно в эту минуту англичанин подумал: мечтатель, кремлевский мечтатель.

А Ленин действительно был мечтателем, но только не в том смысле, какой пытался увидеть в этом слове Уэллс. Мечтатель-провидец, стремящийся рассмотреть завтрашний день человечества, прокладывающий человеку пути в это грядущее.

Мечтать — значит видеть будущее.

Вот и вывод, который мы стремились подготовить: писатель, работающий над исторической темой, — это писатель-исследователь. Он исследователь не только в силу тех средств, к которым обратился, собирая материал, но и благодаря самому характеру своего труда. Глубоко убежден, что роман, повесть, рассказ обладают способностью анализировать явления, обобщать их, решать проблемы, поставленные наукой и ею еще не поставленные. Кстати, русский читатель верит в эту способность своей литературы — у него на этот счет есть примеры.

Однако вернемся к предмету нашего разговора. Итак, писатель — исследователь. Все, что я писал до сих пор, и многое из того, что хотел бы написать, посвящено одной теме: дипломаты Октября, плеяда первых, которую народ зовет ленинской.

Прежде всего это Ленин, первый дипломат Страны Советов, его деятельность на посту Предсовнаркома.

Деятельность его и его учеников: Г. В. Чичерина, который много лет стоял во главе Наркоминдела, М. М. Литвинова, В. В. Воровского, Л. Б. Красина, Л. М. Карахана, А. М. Коллонтай. Работа Максима Горького, творческая и творчески-организаторская, авторитет которого в западном мире был так нам полезен.

Их деятельность в общении с внешним миром, с людьми непохожей судьбы и в первую очередь с друзьями Октября, которые видели в нашей революции прообраз всечеловеческой свободы. Среди этих наших друзей — наши сподвижники по великой идее и наши единомышленники — Георгий Димитров, Бела Кун, Джон Рид,

Билл Хейвуд. Среди них — большая группа американцев, революционная деятельность которых специально изучалась мною в связи с работой над книгой «Ленин разговаривает с Америкой»: Альберт Рис Вильямс, Линкольн Стеффенс, Роберт Майнор, Раймонд Робинс, Бесси Битти, Луиза Брайант. Люди непохожей судьбы и разных взглядов на жизнь, они были во многом едины, когда речь шла о русской революции, и считали себя ее друзьями.

Среди них стоящие несколько особняком Герберт Уэллс и Фритьоф Нансен. Отнюдь не революционеры, даже больше, по всем своим взглядам и корням — буржуа, хотя буржуа толка либерального, они волею судеб оказались в поле влияния Новой России и немало сделали для нее доброго.

Итак, читателю предстоит пройти с автором пятнадцать дорог. Как надлежит быть дорогам на Эгль, это дороги поиска. Задача поиска: найти новое. Не знаю, как велико это новое, но читатель его обнаружит. Собственно, к этому автор и стремился.

В ПАРИЖЕ, НА АВЕНЮ Д'ОБСЕРВАТУАР

1

Посреди поля стоит человек. Поле не убрано, хотя пора и поздняя, реглан, в который одет человек, подбит мехом. У реглана меховой воротник, мехом оторочены рукава и даже карманы. И это поле с несжатым, местами поваленным хлебом, и это необычное пальто, по-видимому форменное, в которое одет человек на фото, переносят нас в атмосферу войны. Так и видится: где-то рядом, по каменистой, стремящейся в гору дороге движутся войска — артиллерия, подводы со снаряжением и провиантом, может быть, походная кухня, а человек сошел с подводы и зашагал вдоль дороги. Сейчас войска взберутся на гору, и человек нагонит их.

Кем может быть этот человек? В его лице и печальное раздумье и усталое любопытство — вон как легли складки у рта, да и глазницы щедро заполнило тенью. Фотография выцвела и пожелтела. Углы надколоты — очевидно, чья-то рука, дружественно участливая, а может, и любящая, прикрепляла портрет к стене. Но обратная сторона фотографии пуста — ни автографа, ни посвящения.

Чей же портрет перед нами? Если бы мне был передан только этот портрет, я бы мог и не опознать человека в реглане, подбитом мехом, хотя вот этот подбородок, широкий нос и глаза (кстати, они зеленые — об этом речь впереди) кажутся очень знакомыми. Вместе с фо-

тографией, которая лежит перед нами, — пять конвертов для фотобумаги — нет конвертов аккуратнее и прочнее, ни одна капелька света не способна проникнуть внутрь, так тщательно склеены они, так они неуязвимы.

Этот портрет и эти пять пакетов вручил мне писатель Ли Голд в Париже, в своей квартире на авеню д'Обсерватуар.

Но я, кажется, забежал вперед, обогнав развитие событий, как они происходили в жизни.

2

Самолет поднялся в Москве на рассвете и взял курс на юг.

Под Москвой еще лежал снег, по-мартовски синий, и реки, только что освободившиеся ото льда, были многоводны и темны, а здесь дымное солнце уже затянуло горы, зеленым облаком подернулись рощи и далеко впереди, выше холмов и гор, почти отвесно к земле, встало море.

Поодаль от меня, на скамье, протянувшейся вдоль стены, сидит Джим Олдридж и юная египтянка Дина, как надлежит быть египтянке темноокая и грациозная. Они приехали на русскую войну молодоженами.

— Море! — произносит кто-то в самолете. — Взгляните, как оно поднялось горой!

Я вижу, как светлеет лицо Джима.

Вот так мне видится весна сорок четвертого и наш полет с Олдриджем из Москвы к берегам Черного моря.

— Море... — задумчиво повторяет Олдридж.

В ту пору Олдридж был военным корреспондентом и немногие знали, что он автор «Дела чести» и «Морского орла», — «Знамя» напечатало первую из этих повестей лишь в сорок пятом. Помнится, в долгие часы, когда двухмоторный транспортный самолет шел с корреспондентами из Москвы на фронт и далеко впереди, в предзакатной дымке на косогоре или кургане, возникало сожженное село с черными перстами задымленных труб, воздетыми в немой и грозной скорби, Олдридж, вспоминал маленькую Грецию, ее дубовые и каштановые рощи, укромные поляны в горах и сожженные фашистами деревушки, — Олдридж начинал войну летчиком в этом уголке Балкан.

Нелегки пути военного корреспондента. Были здесь

и Ленинград, и Харьков, и Смоленск, и Минск, и вот сейчас Черное море. Помню, как Олдридж стоял на правом, возвышенном берегу Западной бухты и смотрел на Севастополь. Садилось солнце, и его густооранжевый отсвет лежал на камнях города. В этот вечер солнце было богатым на краски, но даже их не хватало, чтобы скрыть раны города — Севастополь лежал в руинах и пепле. Помню, как Олдридж шагал по отвесной круче Херсонеса, а глубоко внизу, у самого берега, опрокинувшись навзничь или упав ничком, лежали в воде фашисты; на самодельных плотах они пытались уйти на Балканы, и этой ночью море их вернуло к берегам Севастополя уже бездыханными. Это было страшное зрелище: набегали волны, и мертвые смыкали и размыкали руки, точно пытаясь еще подать сигнал тем, кто в море. И еще помню Олдриджа в одесских катакомбах. Мерцающий свет фонаря в руках нашего провожатого-партизана, кочующие блики на мокрых стенах и Олдридж, рассматривающий черные соты наборной кассы — здесь одесские партизаны делали свою газету...

Минуло восемнадцать лет, и друг Джим вновь на Черном море, едва ли не там, где был в дни войны. Только сейчас не весна, а осень, правда самая ранняя, и море по утрам уже укрыто кочующей дымкой тумана, и горы не синие, как в марте, а серые, и сады по берегу не темные, а пепельно-желтые — от суши и пыли. И море потускнело. Нет, не только на поверхности: иными стали краски и в тех заповедных глубинах, куда проник со своим ружьем и аквалангом Олдридж, — кажется, и там, в глубинах моря, тоже сейчас пора увядания и на смену густозеленым тонам пришли белесые, бледно-желтые и даже оранжевые краски сентября.

3

Поезд, в котором Олдридж уезжал из Москвы, отходил с Белорусского вокзала.

Тесная группа московских друзей Джима и в этот раз собралась на перроне. Говорят, что богиня охоты была не очень милостива к Олдриджу, — его походы по неизведанным подводным тропам Архипо-Осиповки были менее счастливы, чем обычно. Однако лето осталось позади и с ним все его ненастья — разговор шел о будущем, о работе, о рукописях и книгах. До отхода поезда остава-

лось минут десять, и мы пошли с Олдриджем по перрону. Олдридж спросил, как продвинулись мои рассказы о Ленине и Америке. Я сказал, что начал новый рассказ, о Джоне Риде.

— О Риде? — переспросил он, и мне показалось, что волнение отразилось в его голосе.

Он шел молча, ссутулившись, а я думал: как бы часто мы ни слышали имя Рида, но каждый раз, когда оно произносится, оно точно застает нас врасплох. Наверно, так бывает всегда, когда за именем стоит подвиг, — чем, как не подвигом, была жизнь Рида, труд Рида, книга его?

Но у Олдриджа были свои причины волноваться. Он сказал, что дружен с семьей Карла Хови, редактора большого журнала «Метрополитен», в котором Рид напечатал свои мексиканские очерки и впервые стал известен читающей Америке. Сам Карл Хови умер несколько лет назад, но жива его дочь Тамара Хови, которая переселилась с мужем в Париж. Когда Олдриджи посещают Париж, они обычно бывают в этой семье.

Разговор заинтересовал меня; впрочем, как мне показалось, он заинтересовал и Олдриджа, который вел его очень темпераментно и, судя по всему, пока еще не сказал главного. Беседуя, мы вошли в вагон, и тут же был дан сигнал к отправлению поезда. Волей-неволей Олдридж должен был закончить свой рассказ более лаконично, чем начал. Он сказал, что видел в семье Хови архив Джона Рида, в том числе много писем, адресованных Ридом своему редактору. («Кажется, тридцать два! — сказал Олдридж. — Есть письма из Петрограда и Москвы... Самые первые!.. И не только письма!..») Помню, что разговор закончился тем, что я просил Олдриджа прислать мне копии. Уже из окна идущего поезда Олдридж крикнул, что обещает сделать это.

4

Олдридж уехал, а я вновь и вновь возвращался в своих мыслях к разговору, который произошел у меня на перроне Белорусского вокзала. Я пытался припомнить, читал ли я когда-нибудь письма Рида, посланные из Мексики его редактору Карлу Хови, и не мог припомнить. Ничего не дало и чтение всех известных нам книг Рида, как, впрочем, и материалов о нем. Короче, разговор с Олдриджем сулил заманчивую перспективу: а не удастся ли

нам приоткрыть какую-то новую сферу в жизни Джона Рида, новую грань? А пока ничего иного не оставалось, как запастись терпением и ждать. Ждать пришлось не так долго. Пришел пакет от Олдриджа и в нем тонкая тетрадь, тщательно сшитая и сброшюрованная. Разумеется, это рукопись, но размеры ее обманчивы — она напечатана на рисовой бумаге. Да, это рукопись большой обзорной статьи Ли Голда об архиве Джона Рида, хранящемся в семье супругов Голд-Хови. В рукописи воспроизведены какие-то места из писем Рида. Здесь двадцать писем. Помнится, Олдридж назвал иную цифру: тридцать два. Письма помечены разными городами. Здесь и Мексика, и Европа — Париж, Лондон, Рим. Кажется, Олдридж называл письма из Петрограда и Москвы?

А интересны ли эти письма и важны ли они для Рида?.. По датам интересны — они обнимают годы, предшествующие второму приезду Рида в Россию и его участию в октябрьских событиях (девятьсот четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый); иначе говоря, это как раз те годы в жизни Рида, когда крепло его сознание, мужал его ум гражданина-воителя и, может быть, даже революционера. Стоит ли говорить, что каждая новая деталь, уточняющая эту пору в жизни Рида, бесценна. Это — по датам. А каково все-таки содержание писем?.. Даже в тех отрывках, которые воспроизводит Ли Голд, — и интересно и значительно.

Статья Ли Голда была принята журналом «Иностранная литература» к опубликованию. По счастливой случайности, когда статья была подготовлена к печати, в Москве оказался Олдридж. Я просил предпослать статье небольшое вступление. Олдридж задумался. Потом неожиданно улыбнулся.

— У меня в гостинице нет бумаги, — полушутя-полусерьезно сказал Олдридж. — Нет, это много... — заметил он, когда ему подали стопку бумаги. — Мне достаточно и трех страничек...

На другой день он вернул нам эти три странички — статья была готова. Я прочел статью и вновь, как в тот раз на перроне Белорусского вокзала, когда Олдридж впервые заговорил о Риде, волнение объяло меня.

«Однажды холодным зимним днем, — писал Олдридж, — вскоре после Сталинградской битвы, я стоял у кремлевской стены и смотрел на темную надгробную плиту, под которой вместе с другими героями Октябрьской

революции похоронен Джон Рид. Помню, что я сказал себе (или, скорее, обращаясь к этой небольшой плите): «Что ж, дело стоило того, Джек. Разве битва под Сталинградом не явилась величайшим апофеозом жизни всех тех, кто погребен у кремлевской стены?»

Собственно, я не вправе называть его «Джек». Я не мог знать Джона Рида лично, ибо родился примерно в то время, когда он умер. И все же Рид был одной из тех исторических личностей, которые, подобно Джеку Лондону или Пушкину, близки каждому, чье присутствие ощущается как соприкосновение с живым, родным человеком. И при мысли о том, что их больше нет, всегда испытываешь чувство горечи.

Джон Рид умер в объятиях революции, чью зарю он видел и описал в своих репортажах. И эта революция сделала этого сначала по-деловому равнодушного наблюдателя и репортера преданным участником и активным защитником своего дела. Рид умер революционером».

Признаюсь, что только после отъезда Олдриджа я вспомнил, что хотел уточнить и не уточнил смысл его фразы, произнесенной еще на перроне Белорусского вокзала: «Кажется, тридцать два!.. И не только письма». Да, в тот раз Олдридж совершенно недвусмысленно произнес: «И не только письма». Едва ли не на другой день после отъезда Олдриджа я сообщил Ли Голду об опубликовании писем и просил его прислать все, что имеется у него о Джоне Риде. Однако ответ задерживался. Прошла неделя, вторая, третья, а ответа не было.

И вот тогда впервые мне пришла на ум мысль, которая в тот момент, признаюсь, показалась несбыточной. Я увидел себя идущим по парижской улице со звонким названием «д'Обсерватуар», на которой живут супруги Голд-Хови и в квартире которых хранятся письма Джона Рида. «И не только письма...» — какой уже раз повторил я фразу Олдриджа. Но тотчас мной овладело уныние. «Если эти письма почти пятьдесят лет оставались в этой семье и в безукоризненном порядке дожили до наших дней, то на рубеже следующего пятидесятилетия, очевидно, не так-то просто переместить их в иное место». Однако и не просто заставить себя выбросить из головы мысль, хотя и сумасбродную. И я продолжал упорно думать и все чаще видел себя шествующим по парижской улице, теперь уже с совершенно фантастическим для меня названием — д'Обсерватуар.

5

И вот осень шестьдесят первого года, для Парижа самая ранняя — начало октября. Могучие каштаны в парижских парках еще полны листвы. Легко и ярко одеты и пассажиры пароходов и катеров, бегущих по Сене, и посетители больших парижских парков; кстати, сегодня в Париже и особенно в его парках столько детей, сколько их никогда здесь не было прежде, и это больше, чем что-либо иное, свидетельствует, что Париж, вопреки всем бедам и невзгодам нынешней тревожной поры, верит в мир.

А пора действительно тревожная. Стремительной стайкой движутся по Парижу молодые алжирцы — быть может, рабочие, возможно, студенты. Они идут, не останавливаясь, компактной и нерасторжимой группой, будто бы сейчас не яркий полдень с сильным солнцем, которое высветлило город так, как может только его высветлить парижское солнце, а по крайней мере поздний вечер с южным небом, многозвездным. Впрочем, алжирцам лучше знать, что полдень для них не менее опасен, чем полночь. У самых стен собора Парижской богоматери, в двух шагах от географического центра Парижа, нет, не в полночь, а в полдень идет группа юношей алжирцев, как обычно тревожно-стремительная. Неожиданно она оказывается в кольце полицейских, кольцо быстро сжимается, полицейские рассекают группу, уже подняты смуглые руки, уже на панель летит кошелек с мелочью, солнцезащитные очки, газета... (Не хочется вспоминать обо всем этом после того, как Алжир обрел независимость, обрел в неравной и жестокой борьбе, но забыть этого нельзя — ведь это история народа.) Обыск длится две минуты — парижская полиция действует молниеносно. Кольцо разомкнуто. Алжирцы продолжают путь, быть может, еще стремительнее, чем прежде, хотя над Парижем и светит солнце, такое негасимое и сильное, каким оно может быть здесь даже в октябре.

То, что мы увидели тогда перед древними стенами собора Парижской богоматери, потом повторилось у нас на глазах и у стен Лувра и на Монпарнасе, неподалеку от авеню д' Обсерватуар...

Погодите, но ведь авеню д'Обсерватуар где-то здесь? Я пытаюсь уточнить адрес: Париж, 14, авеню д'Обсерватуар, 36. Поистине этот адрес можно повторять, как сти-

хи. Да, это неподалеку от Монпарнаса, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого кафе, «Ротонда».

Что затенило улицу: платаны, распростершие тяжелые кроны над тротуарами, или грозовая туча, вставшая сейчас над Парижем? Первые потоки дождя пробились сквозь настил из листьев (это еще не ливень, но он вот-вот грянет), где-то шумно захлопнулись жалюзи, вспыхнула молния, и ярко-белая надпись на синей эмали стала видимой: «Авеню д'Обсерватуар». Вот и заветный тридцать шестой номер. Дворник в фартуке уже гонит воду, пока не очень обильную, — почти московская картина.

— Простите, квартира господина Ли Голда здесь? — кричу я уже из подъезда — хорошо, что я добрался сюда до того, как разразился ливень.

— Да, месье, третий этаж, — говорит он, улыбаясь: ему понятна моя радость.

Лестница полуосвещена: нащупываю звонок. Мне открыл дверь человек лет сорока — сорока двух, смуглый и темноглазый. Он хорошо сложен, сохранив хорошую худобу и моложавость фигуры. Я назвал себя и спросил, могу ли я видеть господина Ли Голда. Человек улыбнулся очень радушно и протянул руку.

6

— Ну, входите, входите... — произносит он, точно спохватившись. — Нет, это почти невероятно! — Для него гость из Москвы не меньшее диво, чем для меня встреча с ним. — Олдридж мне все рассказал — ведь этим летом, как, впрочем, и прежде, мы были с Джимом и Диной на французском юге...

Мне хочется наладить разговор, и я что-то говорю о наших поездках с Олдриджем во время войны, но Ли Голд осторожно прерывает меня:

— Ну как же... Джим рассказывал. Севастополь. Верно ведь?..

Ли Голд пытается как-то накрыть стол (это нелегко — хозяйки, судя по всему, нет дома) и скрывается в соседней комнате.

— Ливень... совсем летний, — произносит он задумчиво. Очевидно, он увидел из окна, как свирепствует ливень, как он взрывает и мнет листву. — Нелегко пробиться сквозь такую стену воды, а?..

— А вы ждете кого-то?
— Детей, они играли во дворе.
— С ними есть кто-то из взрослых?
— Да, конечно...
— Тогда они здесь, — говорю я, желая успокоить его. — Ждут, пока поутихнет.
— Да, и я так думаю...

Я осматриваюсь. В комнате два пианино. Очевидно, кто-то из супругов — профессиональный музыкант. Пианино у окна раскрыто. На пюпитре — ноты. Стул чуть-чуть отодвинут. Кажется, что еще пять минут назад Ли Голд сидел за инструментом.

— Я вам помешал?.. — говорю я громко, чтобы было слышно в той комнате.
— Чем?
— Вы играли?..

Он смеется:

— О нет!.. На нашу семью два музыканта много. Играет Тамара... — Он, очевидно, не без досады махнул рукой. — Ах, как жаль, что ее нет дома!..

Теперь я припоминаю: Олдридж действительно говорил, что Тамара Хови пианистка, и талантливая, однако с некоторого времени вторая страсть возобладала — Тамара Хови кинодраматург и новеллист.

— Кто сейчас в Москве из американских писателей? — спрашивает Ли Голд — ему хочется, чтобы разговор не прерывался.

Я называю Майкла Голда. Видно, это имя дорого нашему хозяину. Он вновь и вновь повторяет:

— Значит, Майкл Голд в Москве? Представляю, какая это для него радость!.. Скажите, а не с женой он там?.. С женой?.. Значит, он поедет домой через Париж! Да-да, это я знаю — через Париж! Ведь его жена из Франции...

Я называю имя американского кинокритика и сценариста Джона Говарда Лоусона — он тоже сейчас в Москве.

— И Лоусон в Москве? Скажите, а его книга об американской драматургии издана у вас? А сценарии?.. Да, у нас с Лоусоном общие радости и беды...

Он затихает.

— Вы сказали: общие радости?..
— И беды...

Не ослышался ли я? Кажется, нет. Я знаю, что Лоу-

сон вдоволь настрадался в жестокую пору «охоты за ведьмами». А Ли Голд с Тамарой Хови?

— Вы в Париже недавно?..

Он все еще в соседней комнате.

— Да, сравнительно...

— Совсем недавно?..

Он умолкает.

— С тех пор... как в Америке объявился Маккарти.

В свой последний приезд в Москву Олдридж говорил, что Ли Голд и Тамара Хови, в сущности, политические эмигранты.

— Черный список?

— Да.

7

Он говорит, что в минувшую субботу был на советской выставке, и перед нами возникает пирамида книг.

— Да, купил на выставке советские книги, но пока на английском... Пока... — Он берет из стопки и робко пододвигает мне учебник русского языка для англичан Нины Потаповой. — Пока... хотя опыт тех, кто немного знает русский, и не очень обнадеживает — говорят, нелегко, может быть, даже очень нелегко!.. — произносит он и, смеясь, повторяет: — Закуска, закуска!.. — Он затихает, сдвинув брови. — У каждого человека есть в жизни сильное желание... У нас с Тамарой тоже — хочется увидеть Москву, Советский Союз. Кажется, нет желания сильнее...

Я замечаю, что приезд в Москву супругов будет подготовлен — в десятой книжке журнала «Иностранная литература» появится статья Ли Голда об архиве Джона Рида...

Да, я так сказал: «об архиве Джона Рида». Сказал впервые.

— Это октябрь? — спрашивает он.

— Да, октябрь...

Он молча подходит к окну и долго смотрит в него — ливень еще бушует, дети не идут у него из головы: как они там?

— Я заметил, — наконец произносит он и в задумчивом молчании идет к столу, — все, что имеет большое значение для вас, в равной, а может быть, и большей степени важно для всего мира...

Мне кажется, что настало время сказать Ли Голду о самом главном, но как сказать об этом, с чего начать?..

— Вы понимаете, — осторожно начинаю я, — как почитается имя Джона Рида у нас на Родине... Каждый новый документ о нем для нас бесценен... Олдридж сказал...

Ли Голд встает из-за стола, встает медленно:

— Да, да... я понимаю, — говорит он, — я все понимаю... — повторяет он, тревожась, и выходит из комнаты.

Кажется, что стало еще тише. Только сейчас я замечаю, что деревья за окном точно окутало туманом — так силен ливень, да и в комнате будто смерклось.

8

Ли Голд возвращается тотчас. В его руках — конверты, большие конверты.

— Все, что здесь есть, — указывает он взглядом на конверты, — надо смотреть в такой последовательности...

И он раскладывает конверты: их пять...

Ли Голд открывает первый конверт, и я вижу: желтый лист бумаги, очень желтый, заполненный машинописным текстом (лента у машинки была ярко-синей — краска не потускнела), и внизу неожиданно четко: «Reed». Да, так просто: «Reed».

Письма лежат сейчас передо мной. Нет, я не листаю, а бережно перекладываю страничку за страничкой.

Ли Голд подходит к окну. Ливень еще бушует. В окно видно, как бьет из желоба вода. Она бьет по соседней крыше с таким неистовством и силой, что кажется — крыша дымится.

— Да, я заметил, что все важное для вас очень важно для всего мира, — произносит он все так же задумчиво, и мне кажется, что он вернулся к этому разговору не случайно.

— Каждый новый документ о Джоне Риде для нас бесценен, — говорю я в тайной надежде, что увезу в Москву копии этих документов. — Если бы удалось сфотографировать...

Ли Голд встает:

— Сфотографировать?.. А у меня была иная мысль...

На какой-то миг смятение овладевает мною. Неужели не удастся? Ведь Ли Голд ничем не рискует: можно сфотографировать, не повредив документов.

— Иная мысль? Какая? — спрашиваю я не без опасения: неужели откажет?

— Мы с Тамарой решили...— произносит он и умолкает, — пусть эти документы хранятся там, где ваш народ

бережет наследие Ленина... Да, да, нам хотелось просить советских людей принять эти документы как дар...

Все, что было извлечено из конвертов, Ли Голд вкладывает обратно. Потом он кладет конверты в том порядке, в котором они лежали у него — первый, второй, третий, четвертый, пятый, — и пододвигает конверты мне.

— ...Принять эти документы как дар, — повторяет он и, прислушиваясь к шуму в соседней комнате, вдруг улыбается. — Слышите? Дети пришли...

Дети действительно уже здесь: в их глазах, возбужденно-тревожных, счастливых, еще бушует ливень, да и лица облиты его холодной влагой.

Ли Голд дает им по банану и провожает, но лицо его еще долго бережет улыбку.

— Ах, как жаль все-таки, что вам не удалось повидать Тамару... — произносит Ли Голд. — Но, быть может, это поправимо, а?..

— Да, разумеется, — замечаю я. — В Москве...

Ли Голд внимательно смотрит на меня, улыбается:

— В Москве, в Москве...

Мы прощаемся, и я ухожу во мглу ливня.

Осенний ливень, холодный, без молнии и грома, неистовствует над Парижем.

Он гудит в желобах и каменных канавах, шастает по мостовым.

Я иду все быстрее и чувствую у себя на груди крепкий прямоугольник свертка — пять конвертов, пять драгоценных конвертов — там...

Поздно вечером я звоню Тамаре Хови.

— Да, муж мне все рассказал, а еще раньше — Джим. Передайте и письма и книгу отца Москве...— Она умолкает и потом произносит, волнуясь: — Отец очень берег архив Рида, отец любил Рида...

Я благодарю Тамару Хови за щедрый дар, кладу трубку, а сам все еще не могу свыкнуться с мыслью: завтра я отвезу архив Джона Рида в Москву. Ведь только подумать — архив Джона Рида!

9

Итак, я простился с супругами Голд и на другой день вылетел в Москву. Двумя часами позже самолет приземлился на Шереметьевском аэродроме Москвы, а еще через час я осторожно открыл клапан первого конверта:

да, все в порядке... Кстати, настало время сказать о самом главном: что оказалось в этих конвертах и какую все это представляло ценность...

Впрочем, все это не так просто, как кажется на первый взгляд, даже совсем не просто. Письма, рукописи, документы, заключенные в этих конвертах, охватывают столь широкий круг проблем, событий, имен, наконец, лет, что нам одним с этим, может быть, и не совладать. А есть ли необходимость разбираться в этом нам одним, когда мы имеем мнение человека, которому и письма и документы Рид адресовал? Нам пора сказать об этом человеке больше, чем мы сказали о нем — он этого более чем заслуживает.

10

Да, пять конвертов лежат передо мной, как, очевидно, лежали они перед Карлом Хови.

Я беру из стопки первый конверт и медленно раскрываю его: письма из Мексики.

Характерно, что первое выступление Рида в «Метрополитен» было связано с участием Рида в знаменитой стачке в Патерсоне. Именно статья о том, как Рид сидел за участие в стачке в тюрьме, статья в такой же мере горькая, в какой и злая, явилась поводом для встречи Рида и Хови. Перед Карлом Хови стоял человек, высокий, с бледным, исполненным решимости лицом. То, что предложил тогда редактору «Метрополитен» Рид, было и необычным и содержательным — здесь не было подражания экзотическим очеркам, которые были тогда так модны. Хови видел в статье Рида порыв ветра, неожиданный и сильный.

Хови показал статью Рида Линкольну Стеффенсу, знаменитому Стеффенсу, писателю-бунтарю, вожаку «разгребателей грязи», объявивших войну коррупции и произволу, и тот предложил послать Рида в Мексику... В ту пору внимание читающей Америки — да только ли Америки? — было приковано к Мексике — там четвертый год бушевало пламя крестьянской революции с легендарными Вильей и Сапатой во главе.

Как встретил это предложение Рид? Вначале, как казалось Хови, сдержанно, но это была сдержанность, скрывающая волнение... Рид напомнил Хови жениха, готового сделать важный шаг в жизни и сознающего, насколько это ответственно. Рид не любил обременять себя мелоча-

ми, когда собирался в поездку, даже, как сейчас, очень ответственную. Он был легок на подъем и брал с собой только самое необходимое. На этот раз с ним были фотоаппарат, пишущая машинка и достаточная сумма денег. Как ни тяжела дорога, которая ожидает корреспондента, этого достаточно, чтобы задание редакции было выполнено.... Через неделю Рид уже был в действующей армии, а еще через три дня он послал в «Метрополитен» свою первую статью. Впрочем, об остальном пусть расскажут письма... Вот первое из них — оно было послано в начале февраля...

Я читаю и дивлюсь: в самом деле, в этом письме — весь Рид.

«Дорогой господин Хови, вот вам первая статья. Я не предполагал, что она будет такой длинной, но я ее уже сократил почти на тысячу слов. Надеюсь, что она годится... Следующая будет и короче и сенсационнее: речь пойдет о сражении. У меня под рукой сколько угодно забавного и интересного материала о том, что происходило и происходит в Конституционном правительстве, а также о том, что американцы в Мексике — это главный бич страны. Один бизнесмен в Чихуахуа сказал мне, что, если я напишу что-либо против интервенции, он пристукнет меня».

Да, Рид мог так написать: главный бич — против Вильи воевали доллары... Какой датой помечено второе письмо?.. Кстати, в этом письме он впервые заговорил о Вилье и Сапате.

«...Я напал на след человека, — читаю я, — знающего историю жизни Вильи, и даже из того немногого, что он может мне сообщить, я напишу такой замечательный очерк о Вилье, какой никогда не появлялся в печати... На солдат Вильи спешно надевают военную форму, обучают, платят деньги и приучают к дисциплине. Теперь у Вильи есть пушки и офицеры, радио и машинистка. Северная армия становится профессиональной, заслуживающей уважения».

Вилья был для Рида идеалом народного вожака. Рид видел в лице Вильи человека храбрости необыкновенной. Видел он и то, как любят Вилью бедняки и доверяют ему. Это решило все. Рид проникся к Вилье вначале доверием, потом любовью. Он приметил в лице Вильи черты, какие

не мог рассмотреть в людях прежде. Правда, иногда он чуть-чуть иронизирует над Вилье; но это добрая ирония. В одном письме полушутя-полусерьезно он сообщает, что купил в подарок Вилье седло и винтовку с глушителем системы «максим»... Рид повсюду следует за Вильей, старается завязать с ним отношения, быть может даже добиться расположения, с единственной целью: познать этого человека и рассказать о нем людям. Надо сказать, что Рид обладал завидной для писателя способностью: он умел установить отношения с людьми, расположить их к себе. Расположил он и Вилью. В третьем письме из Мексики он об этом говорит уже достаточно определенно.

Как свидетельствует текст письма, ум, такт и обаяние Рида сделали свое.

«...Я очень сблизился с Вильей, и завтра вы получите фотографию, где мы сняты в форме. Но вы не должны называть меня офицером, разве только в шутку. Будьте с этим очень осторожны: шутите сколько угодно, но дайте ясно понять, что это всего лишь мистификация. Мексиканцы не очень-то во всем этом разбираются, поэтому меня могут отправить обратно к границе. Кроме того, поскольку я не сражаюсь, я не хочу выступать в роли героя...»

Если вы читали «Восставшую Мексику», вы, быть может, помните, каким восхищением проникнуто отношение Рида к Сапате. Рид ставит Сапату не только вровень с Вильей, но отдает Сапате предпочтение, считая его более радикальным.

«Самым замечательным человеком в этой революции, — читаю я, — является Сапата, не забывайте об этом... Хотя вожди этой революции утверждают, что Сапата связан с Каррансой, у меня есть все основания не верить этому. Сапата радикал, логично мыслящий и идеально последовательный. Чтобы вы убедились в этом, я пришлю вам завтра копию плана Айала, это план Сапаты. Каково бы ни было будущее Мексики, мне кажется, что с Сапатой нельзя не считаться. История его жизни, те отрывочные сведения, которые я сумел собрать, так же чудесны, как «Тысяча и одна ночь». По-моему, мы не получим правильного представления о том, что здесь происходит, если не будем знать все о Сапате... Имейте в виду, что еще никто и никогда не видел Сапату и ничего о нем не писал...»

Я раскрываю второй конверт: письма из Европы: Лондон, Салоники, Париж, Неаполь, Рим, Бухарест... Впрочем, в географии ли дело? Вот говорят, что нет более беспокойной профессии, чем профессия журналиста. Для истинного журналиста беспокойство — потребность натуры, ее природа. Рид был таким!.. Беспокойство, неукротимое и мятежное, возвышающее человека и ведущее его вперед, было стихией Рида... Помните, как Рид познавал Нью-Йорк и познал его, чтобы рассказать о нем людям? Он знал и Китайский квартал, и «Малую Италию», и квартал, населенный сирийцами. Одну летнюю ночь он проспал на фермах моста Вильямбург-Бридж, в другую ночь расположился в корзине для кальмаров. Он знакомился и с матросами, только что приплывшими сюда с другого конца света, и с портовыми грузчиками, живущими на нижнем конце Вест-стрит... Он встречался с писателями и артистами в Вашингтон-сквер, с гангстерами на балах в Таммани-Холл. В Нью-Йорке он впервые полюбил, впервые написал о том, что видел, испытав буйную радость творчества, узнал, наконец, что может писать. Так, как он познавал Нью-Йорк, он позже познавал жизнь всюду, где бывал... А помните Мексику? Рид рассказывал, что в течение четырех месяцев он скакал на коне сотни миль через палимые солнцем равнины, спал на земле вместе с солдатами, танцевал и пировал в разграбленных гасиендах всю ночь напролет после целого дня езды. Он всюду был с солдатами революции — и в сражении, и в веселье... А теперь взгляните на его письма из Европы. Он пишет из Рима, что отправляется в Париж в надежде описать его осаду. В Сезанне он едва не был заключен в крепость. В дни осады Парижа пытался пересечь линию фронта... Репортер? Да, если хотите — репортер, перед которым нет препятствий, репортер, желающий все видеть своими глазами, репортер, чувствующий, как горяча жизнь, репортер, владеющий пером так, как им владел Рид. И не только это: репортер, обладающий острым глазом и способный видеть главное, самое главное.

«Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой, и у меня нет времени для сочинения убогих очерков, — читаю я. — Вы, наверно, знакомы уже с английскими, немецкими, австрийскими и сербски-

ми документами о войне. На днях выйдет французская книга. Если вы ее еще не достали, купите книжку оксфордского профессора современной истории «Почему мы воюем?». Это, так сказать, официальный отчет англичан о войне. Мне кажется, что Германия виновата не больше, чем Англия... Эта книжка вселяет ужас...»

Нет нужды читать все письма: в конце концов главное понятно. Но, может быть, стоит чуть-чуть продолжить мысль Рида о так называемых «официальных документах», которые публиковали правительства воюющих стран. Надо сказать, что по долгу корреспондента он прочел бесчисленное множество «белых», «синих» и «голубых» книг и знал им цену...

«Все считают само собой разумеющимся, — иронизирует Рид, — что «Белая книга» сэра Эдуарда Грея — истинная правда, которая демонстрирует стремление Англии сохранить мир в Европе. Но авторы немецких, русских, австрийских сборников и дипломатической корреспонденции также вполне обоснованно претендуют на то, чтобы их страны считались хранительницами мира».

Есть проблема, которая волнует Рида больше всего. Его интересует, как поведет себя дальше Америка, останется ли она в стороне от схватки. Пожалуй, ни в одном письме отношение Рида к войне не обретает такой непримиримости и гнева, как в письме, которое он прислал из Парижа в июле пятнадцатого года.

«Особенно ужасны дошедшие сюда слухи о вступлении Америки в войну. Мне кажется, я с ума сойду от ярости, если мы ввяжемся в эту страшную заваруху. Всякий раз, как я вижу солдата, я испытываю еще большее отвращение и ненависть к войне!..»

Это звучит необычно, но именно поездка в Европу на фронты первой войны помогла Риду до конца понять все, что он видел в Мексике. Судите сами. Воспитанник Гарварда, друг Линкольна Стеффенса, хотя неизмеримо дальше его идущий во взглядах на первоприроду мира, поэт, правдоискатель, Рид имел редкую возможность глазами очевидца увидеть две войны, разные по своей социальной сути. И может, у Рида была редкая возможность обнять эти войны умом, сравнить, осмыслить и многому научиться, что нужно было ему сегодня и многократно больше завтра, когда он явился свидетелем великих собы-

тий Октября. Но вот что интересно: за два года, да, почти за два года до того, как Рид прошел по октябрьским баррикадам и стал очевидцем штурма Зимнего, он побывал в России. Нам нетрудно представить себе, как важна была для Рида, для всего строя его ума, интеллекта, сознания, поездка в Россию. Нет, не только потому, что огромностью своей земли, какими-то чертами исторической судьбы и характера Россия и ее народ напоминали Риду его отечество и его соотечественников. Не только поэтому. Когда речь идет о странах и о народах, схожесть судеб и черт всегда относительна. Прозорливым своим умом и чутьем революционера, которое не обманывает, Рид понимал, что если и есть страна, ближе всего стоящая к великим социальным взрывам, — то это Россия. Третий пакет с письмами, который я привез из Парижа, рассказывает именно об этом...

12

Рид постоянно думал о поездке в Россию и ждал только случая, чтобы ее осуществить. Еще в сентябре четырнадцатого года, через месяц после начала войны, он прислал Хови свой парижский адрес и тут же сообщил, что после Парижа поедет в Россию. Двумя месяцами позже он писал, что во Франции ему нечего делать и он намерен зимой поехать на русский фронт и остаться там до того, как будет взят Будапешт.

Вот письмо, воссоздающее историю первого приезда Рида в Россию. О, оно довольно объемистое — в нем целые двадцать две страницы! Таких больших писем Рид еще не писал своему редактору. Впрочем, по мере того как я вчитываюсь в это письмо, я вижу, что это даже не письмо, а целый очерк. Рид рассказывает в нем, как он попал в Россию и как... Ну, читатель, конечно, догадывается, о чем идет речь. В письме — история ареста Рида и его друга, художника Робинсона, на русско-австрийском фронте, в Буковине.

Русские военные власти арестовали Рида и его друга по обвинению, которое было основано на недоразумении, однако шестнадцать дней Рид и Робинсон провели под арестом. В письме воссоздается история ареста, при этом протокольно воспроизводятся более чем сложные переговоры Рида с русскими военными властями, которые настаивали на возвращении Рида и его товарища в Румы-

нию и отказывались разрешить им пребывание в зоне военных действий. В конце концов, как это часто бывает, было принято компромиссное решение, и американцам разрешили выехать в Петроград. Как следует из этого письма, а еще более из последующих, Рид воспринял эту историю не без юмора.

На улицах северной русской столицы Рид наблюдал, как шли тысячи мобилизованных русских крестьян, еще не успевших снять крестьянскую одежду. По словам Рида, ими пытались задавить ужасную германскую машину. Как свидетельствовал он, «бородатые опечаленные гиганты шагали к неведомым боям за непонятное дело».

Несколько слов о первой встрече Рида с Москвой, которая позднее заняла такое большое место в жизни Рида и где он столь мужественно встретил свой конец, поистине полны большого смысла.

Письмо уместилось на небольшом квадратике бумаги приятного кремового цвета со штампом московской гостиницы «Метрополь» — бумага еще дышит довоенным благополучием.

«Мы сбежали из Петрограда на три дня, чтобы увидеть Москву. Обидно покидать Россию, не увидев матушки-Москвы, сердца России. Нам сказали, что мы можем, если хотим, побывать в Москве. И вот мы здесь! О боже! Она стоит того, чтобы посетить ее, как ни одно из тех мест, какие я видел...»

Еще в тот первый свой приезд в Россию Рид был необыкновенно увлечен страной, самой натурой народа, его свободолюбивой сущностью. С радостно-лихим воодушевлением он пишет, что русские выдумки веселее всех, русское искусство наиболее богатое, русская еда и питье, на вкус Рида, самые лучшие, а сами русские, возможно, самые интересные существа на свете.

К русским письмам Рида следует отнести и первое известие, которое Хови получил от своего друга, когда тот вернулся в Бухарест. «Что касается меня, — шутливо замечает Рид, — то доктора своими категорическими суждениями, что я умру без привычных удобств, привели меня в полнейшее уныние. Они запретили мне ехать в Россию, приказали вернуться домой, прекратить бурную деятельность, удалиться на покой и в полном телесном здоровье (после операции, конечно) сочинять завещательные речи. Однако я все же поехал в Россию, плюнул на диету,

ел все, что хотел, спал на голых скамьях и томился в тюрьме, а когда вернулся, мне заявили, что я здоров как бык!»

13

Я открыл четвертый конверт и не мог скрыть удивления — необычная картина открылась глазам. В этот раз там были не письма и даже не рукописи, а стопка, как мне казалось, документов, напечатанных на разной бумаге — от обычной газетной, порядком поблекшей и ветхой, до рисовой и белоснежной гербовой, украшенной водяными знаками. Мое смятение усилилось еще и тем, что тексты, которые я мог рассмотреть, были для меня так же загадочны, как и странный вид этих бумаг: документы были написаны, насколько я мог понять, по-испански.

При той стремительности поиска, которой обладал Рид, при завидной предприимчивости, быстроте реакции и изобретательности, какая всегда свойственна хорошему журналисту, у него был еще талант исследователя-документалиста. После того как вы извлекали из конверта, присланного им, статью, вы должны были обязательно хорошо порыться на донышке, и вас ожидали приятные сюрпризы, например: тексты мексиканских народных баллад, рисунки, сделанные рукой художника, листовка с воззванием генерала Вильи, план операции, начертанный не очень искусной рукой и великолепно передающий дух времени. Возьмите книгу Рида о русской революции — там этими документами буквально пересыпаны страницы. Мы знаем, какую необыкновенную коллекцию документов Рид собрал в исторические октябрьские дни и как она обогатила его книгу, одновременно художественную и документальную. Оказывается, что это свое качество впервые Рид обнаружил еще во времена мексиканской поездки, и вот коллекция документов, которая лучше всего об этом свидетельствует...

Я беру первый документ.

Лист потускневшей бумаги, и на нем несколько машинописных строк, круглая штабная печать, подпись. Указ гласит: «Ввиду очень важных услуг, оказанных делу, с этой даты присваивается чин Генерал-Бригадира гражданину Джону Риду». Под указом девиз: «Реставрация и справедливость!» И еще: «Имение «Ла Кадена», 22 января 1914 г.»

Как понимать этот документ? Мы знаем, что Рид хо-

тел сохранить независимость по отношению к Вилье и его армии. В этой связи он предупреждает своего редактора: «...Вы не должны называть меня офицером, разве что в шутку. Будьте с этим очень осторожны...» Больше того, Рид не без оснований избегал говорить о своей дружбе с Вильей. У Рида здесь был свой расчет. Очерки Рида в защиту мексиканской революции сохраняли действенную силу и на американского и, быть может, европейского читателя до тех пор, пока сам Рид в глазах этого читателя сохранял независимое положение.

В свете сказанного становится понятно, почему указ о присвоении Риду звания генерал-бригадира армии Вильи не был обнародован. Но, быть может, этот указ всего лишь шутка мексиканских друзей Рида, всего лишь мистификация?.. Ли Голд, впервые комментировавший этот указ, считает его документом достоверным.

Мандаты написаны крепким языком. У них более чем красноречивый адрес: «Тому, кому надлежит». И дальше: «Дано североамериканцу Хуану Риду и гр-ну Хуану Вэлью, направляющимся на выполнение задания данного штаба и для встречи с господином генералом Вильей». И обращение к революционной армии: «Предлагаю всем начальникам и офицерам, принадлежащим к Конституционной Армии, коим будет предъявлено настоящее, чтобы они соблаговолили разрешить им свободный проезд к месту назначения и чтобы указанным был выдан соответствующий пропуск по железной дороге».

Под круглой гербовой печатью с текстом: «Северная дивизия, главнокомандующий», паспорт: «По рекомендации г-на доктора Себастиана Варгаса-младшего выдается паспорт г-ну Джону Риду с тем, чтобы он мог отбыть из этого города в Магистраль, Дуранго». И девиз революции: «Свобода и Конституция!» К паспорту приложено описание главных примет владельца документа, из которого мы узнаем, что у Джона Рида были каштановые волосы и зеленые глаза.

Вот воззвание, подписанное самим Франсиско Вильей, в котором он сообщает о том, что пускаются в обращение новые банкноты Генерального казначейства штата Чихуахуа. Вилья предупреждает: «Только эти банкноты и банкноты, выпущенные Первым Конституционным Вождем Республики, будут являться единственными находящимися в обращении билетами, гарантируемыми конституционным правительством...»

И еще один документ, помеченный 20 января 1914 года. Бледно-синяя бумага с водяными знаками, и на ней перечень шахт: «Перрандера, Виктория, Нуэво Торреон». И дальше несколько фраз, нарочито лаконичных, возможно неоконченных: «Вводя пушку на Перрандера, на южную сторону, начиная перебрасывать пушку, ее встретят со стороны шахт Нуэво Торреон и Виктория...» Очевидно, на двух листах изложен план операции, свидетелем, а может быть, и участником которой был Рид. Не исключено, что Рид сохранил эти два таинственных листочка среди самых дорогих реликвий восстания потому, что событие, о котором идет здесь речь, было ему дорого.

Уместно спросить: почему Рид не оставил эти документы у себя и почему он не использовал их в своей книге о Мексике?.. Известно, в Мексике Рид постоянно находился в походе и единственное, что было с ним,— это фотоаппарат, машинка да, пожалуй, револьвер. Поэтому все, что в походе для него было обременительным, он немедленно пересылал в редакцию. Так было и с этими документами. К тому же в отличие от «Десяти дней...», написанных единым духом и сразу изданных книгой, «Восставшая Мексика» возникла от очерка к очерку и по мере написания печаталась в журнале, при этом и характер очерков (Рид продолжил традицию живописных очерков, которые тогда были приняты), и особенно характер журнала не допускали иллюстрации этих очерков документами, даже если они столь значительны и интересны, как эти.

Вот и последний документ. Он заметно выделяется среди прочих своим торжественным видом. Он напечатан на добротной меловой бумаге и украшен нарядным вензелем. В отличие от прочих бумаг его не тронула жестокая десница времени. Внешне этот документ напоминает свидетельство об окончании колледжа или диплом о награждении орденом. На самом деле этот торжественный документ удостоверяет иное, более будничное, хотя и волнующее. Это своеобразный мемориальный акт, да, в своем роде свидетельство о встрече с дорогим гостем семьи, гостем желанным. Все, кто был удостоен чести быть приглашенным к столу по этому столь торжественному случаю, удостоверяют этот документ своими подписями. Поводом для заполнения этого торжественного документа в тот раз явилось посещение Ридом семьи его большого друга, солдата революционной армии Лонхино-

са Гарака. Кстати, этому эпизоду Хови посвятил специальный рассказ в своей книге о Риде... В книге о Риде?

Да, я беру последний, пятый конверт, и на стол ложится рукопись книги Карла Хови, неопубликованная рукопись книги редактора «Метрополитен» о человеке, который однажды пришел в редакцию безвестным юношей и покинул ее легендарным Джоном Ридом.

Книга Карла Хови называется «Львенок».

В этом названии — отношение Хови, наставника и доброго советчика Рида, к своему молодому другу.

Но «Львенок» явление столь значительное, что о нем надо поговорить специально, а сейчас пусть Карл Хови продолжит рассказ о мемориальном акте.

14

«...Они отдыхали целые сутки, отдыхали и лошади. После отъезда генерала командование принял подполковник Пабло. Говорили, что в нем засело целых пять пуль. Это был очень веселый парень. Сейчас он раскопал в развалинах церкви истинное сокровище — пианолу. К ней был только один ролик с вальсом из «Веселой вдовы». Его крутили не переставая весь день.

Рид присел рядом с Хулианом Риесом; у того на сомбреро были прикреплены фигуры Христа и святой девы. Мысли Риеса были где-то далеко. Но вот его горячие глаза остановились на Риде.

— Будешь сражаться вместе с нами?

— Нет, — сказал Рид. — Я корреспондент. И мне запрещено участвовать в боях.

— Ложь. Ты не сражаешься, потому что боишься. А наше дело правое даже перед лицом самого господа бога.

— Знаю. Но правила, которым я обязан подчиняться, запрещают мне сражаться.

— Правила! Мне-то что до этих правил? Нам нужны не корреспонденты, а стрелки. Трус!

— А ну, хватит! — К ним наклонился Лонхинос Гарака. — Хулиан Риес, — сказал он, — ничего-то ты не знаешь. Этот компаньеро прибыл к нам через тысячи миль по морю и по суше, чтобы рассказать своим землякам правду о нашей борьбе за свободу. Он идет в бой без оружия, но храбрее тебя, потому что ты идешь в бой с ружьем. Убирайся. Не надоедай ему больше.

Он сел и взял руки Рида в свои.

— Будем командос! — сказал Лонхинос Гарака. И его речь и его мягкая улыбка отличались особой теплотой и сердечностью. — Будем спать под одним одеялом и везде будем вместе. Я возьму тебя к себе домой, и отец сделает тебя моим братом. А потом я покажу тебе заброшенные золотые копи, оставшиеся еще от испанцев, мы вместе возьмемся за них, разбогатеем.

С тех пор они стали неразлучны.

До конца.

Однажды во время относительного затишья между боями капитан Лонхинос Гарака, рядовой Хуан Вальехо и Рид, позаимствовав у полковника коляску, отправились на пыльное маленькое ранчо — домой к Лонхиносу. До него надо было проехать четыре мили на север через пустыню.

Старый Гарака был седым пеоном в сандалиях. Он родился рабом на одной из богатейших гасиенд, но долгие годы труда, настолько ужасного, что об этом даже не расскажешь, превратили его в явление, крайне редкое в Мексике,— в независимого владельца крохотной собственности. У него было десять детей — нежные смуглые дочери и сыновья, по виду похожие на батраков из Новой Англии. Лонхинос сказал: «Это Хуан Рид, мой самый любимый друг, мой брат».

Старик и его жена горячо обняли Рида и, по мексиканскому обычаю, похлопали по спине.

Они сидели в длинной комнате и ели острый сыр и свежее масло из козьего молока, как вдруг собаки во дворе разом залаяли. Шум поднял маленький, страшно перепуганный мальчик на лошади, который прискакал сообщить, что колорадос вступает в Пуэрту. В мгновение ока мулы были впряжены в коляску. Лонхинос опустился на колено и поцеловал руку отца; они уже успели далеко отъехать, а мать все причитала им вслед: «Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь живыми!»

На рассвете следующего дня огромное белое солнце встало над узким проходом в горах, от него слепли глаза. По одному и маленькими группами кавалеристы выезжали под его палящие лучи и исчезали из глаз в клубах пыли, насквозь просвеченной солнцем.

Лонхинос Гарака, ехавший на высокой серой лошади, помахал Риду на прощание рукой и крикнул:

— А уж на копи — завтра... Сегодня я очень занят... Но мы еще разбогатеем...

Вдоль подножия гор двигались узкие полоски пыли — враг растягивал свои боевые порядки.

Через несколько дней Рид добрался до постов, выставленных гарнизоном в Санта-Доминго, куда должны были пробиваться бойцы «Ла Тропа». Они кинулись к нему с распростертыми объятиями.

Но, обнимая его своими усталыми руками, каждый из них спрашивал, знает ли он, что Лонхинос Гарака убит».

В конце этого рассказа, написанного с таким умением и страстью, Карл Хови упоминает и о мемориальном акте, который увековечил встречу Рида с семьей мексиканских крестьян и воинов:

«...Среди странных клочков бумаги, которые Рид имел обыкновение отсылать домой, пишущий эти строки обнаружил трогательную памятную записку на голубоватой бумаге — подписи каждого из членов семьи Гарака: «С большой любовью к тебе — Лонхинос-старший, Адольфо, Сантьяго, Мауро, Альберто, Гвадалупа, Отила, Марина, Фелицитас, Барбара», и в конце — подписи старухи матери и самого Хино. Почерк у всех великолепный».

15

В этом рассказе и настроение мятежной поры, которую переживала Мексика, и ощущение знойной степи, по которой шла армия Вильи, а как схвачены характеры мексиканцев: горячего Хулиана Риеса с фигурами Христа и святой девы на сомбреро, невозмутимо-доброжелательного Лонхиноса Гарака, его семьи, матери его: «Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь живыми!..» Нет, решительно у друга Рида — Карла Хови было талантливое перо.

В этой связи заманчиво подробнее разобраться в существе рукописи, которую я привез вместе с личными бумагами Джона Рида. Нет, не только потому, что рукопись посвящена Риду и рассказывает о событиях и фактах, многие из которых мог знать только Карл Хови, но еще по той причине, что знакомство с этой книгой дает возможность проникнуть в самую суть того периода жизни нашего друга, к которому относится его архив.

Кстати, что это за период и почему он так важен для Рида?

Читатель, желающий понять Рида, прежде всего хочет

постичь: как выходец из состоятельной семьи, какой была семья Рида, питомец привилегированного учебного заведения, каким был и остается Гарвард, пришел к пониманию великой русской революции и стал ее певцом. Разумеется, ни один из авторов, писавших о Риде, не обходил этого вопроса. В книгах, посвященных Риду, ответ на этот вопрос занимал свое большое место. Однако, отдавая должное достоинствам этих книг, среди которых немало очень хороших, читатель испытывает заметную тоску по работе, автор которой мог бы сказать: «Я знал Рида именно в те годы, когда совершился этот поворот в его взглядах...» Короче, речь идет о книге-свидетельстве, при этом написанной не просто единомышленником и современником Рида, а человеком, который мог бы назвать себя другом и, быть может, сподвижником знаменитого американца.

Но казалось, возможность обрести такую книгу безнадежно утрачена — со дня смерти Рида прошло чуть ли не пятьдесят лет. Если такая книга не была написана за истекшие полстолетия — надежды только на чудо.

В данном случае нечто похожее на чудо произошло.

Книга Карла Хови «Львенок» является именно такой книгой. Да, это та самая книга о великом американце, которой так недоставало. Книга друга Рида, сподвижника, может быть, чуть-чуть наставника. Книга человека, который был добрым гением Рида, когда молодой литератор делал свои первые шаги, а потом участливо и зорко следил за тем, как мужал талант Рида. Уже одного этого достаточно, чтобы книга Карла Хови прочно вошла в литературу о Джоне Риде. Но это не единственное достоинство книги, книги обстоятельной и цельной, впервые с такой неопровержимой точностью и убедительностью повествующей о жизни Рида.

Прежде всего кто такой автор книги и какое место он занимал в жизни Рида? Пусть о Карле Хови скажет его дочь, Тамара Хови, из рук которой мы, по существу, получили драгоценный архив, — ее свидетельство может обладать качествами, не доступными ни одному другому свидетельству.

«Мой отец Карл Хови... работал в «Метрополитен» с 1912 по 1922 год, и эти годы он воссоздал в своих воспоминаниях о Джоне Риде. Внешне, во всяком случае, мой отец не был похож на прожженного газетчика. Он родился

в Бостоне в старинной американской семье. Как гласит родословная моего отца, один из его предков, семнадцатилетний английский юноша, в 1835 году пустился в поисках приключений по морям на шестнадцатипушечном корабле, который назывался «Архангел Гавриил», и решил поселиться в американских колониях. Мой отец, сын полковника армии северян, раненного в битве при Геттисберге, воспитывался в тихой патриархальной обстановке в Новой Англии. В юности он учился в Гарвардском университете у профессора Чарльза Коупленда, чьи вдохновенные лекции слушал и Джон.

Окончив Гарвард, отец стал газетным репортером. Это был высокий, хорошо сложенный человек приятной наружности, любивший и прекрасно знавший художественную литературу. В то время ему уже, вероятно, было свойственно то, что я наблюдала в нем позднее и что являлось одной из главных его черт: это был человек, считавший, что все на свете принадлежит ему. Это была его страна. Он и ему подобные основали ее и боролись за нее. Он не желал никому уступать ни дюйма. И когда дело касалось его взглядов на литературу, он тоже никогда не уступал. Все время, пока он был редактором «Метрополитен», он отстаивал свои взгляды на то, что такое подлинная художественная ценность и что такое дешевая преходящая популярность. Позднее он говорил, что время подтвердило его правоту».

16

И вот мы раскрываем книгу Карла Хови. Тон книги строг, хотя рассказ и достаточно красочен. От главы к главе читатель проникается доверием к автору и к его работе. Хови не часто обращается к собственно воспоминаниям о Риде, но, когда он это делает, автор «Львенка» не переоценивает своей роли в жизни героя. «За плотно закрытыми дверями Холленд-хауза... Вигем, Питер Данн, Стеффенс и автор этих строк держали совет. На этом редакционном совете все было решено и подписано. Согласие Рида на поездку считалось само собой разумеющимся», — повествует Хови, рассказывая о том, как было принято решение о мексиканской поездке Рида. Иногда добрая шутка, к которой обращается автор, имея в виду своих героев, не щадит и его самого. «Один из постоянных сотрудников «Метрополитен» называл наших редакторов

не иначе, как «толстопузыми»... В силу занимаемой должности к их лику причисляли и автора этих строк...» Или: «...Затем последовала поездка в Чикаго на Национальный съезд прогрессистов, куда Рид отправился, чтобы написать репортаж, Арт Янг — сделать зарисовки и автор этих строк в качестве той мухи из басни Эзопа, которая «пахала» вместе с волом...» Как ни скуп Хови, читатель все время чувствует, как трогательно участлив он к Риду, как ценит он его талант.

Рид отвечал на дружбу Хови вниманием и симпатией. Письма, хранившиеся в Париже, свидетельствуют об этом. Достаточно сравнить первые строки этих писем, написанных в разные годы. Из Мексики: «Дорогой мистер Хови», из той же Мексики, но позже: «Дорогой Хови». Из Европы: «Дорогой Карл Хови». И последние письма: «Дорогой Карл».

Очевидно, автор «Львенка» на каком-то этапе был близок Риду и по своим убеждениям. Хови — либерал, сподвижник Линкольна Стеффенса по «Метрополитен». Взявшись за книгу о Риде, он должен был или обратить Рида в либерала, или сам подняться до уровня понимания взглядов автора «Десяти дней». Первое давало возможность издать книгу, второе надежно закрывало книге Хови дорогу к изданию. Хови избрал второй путь.

Характерная деталь: говоря о первых днях «Метрополитен», Хови пишет, что в споре редакторов журнала с их оппонентами всякий раз возникал вопрос о свободе печати, о возможности публиковать все, что хорошо написано. По словам Хови, он не разделял мнения тех, кто считал, что предубежденный редактор может отвергнуть хорошую рукопись. «Мне лично не часто доводилось видеть, чтобы хорошие рукописи отклонялись глупыми и продажными редакторами», — замечает Хови. Да, Хови сформулировал свой ответ именно так: «...не часто доводилось видеть, чтобы хорошие рукописи отклонялись...» По иронии судьбы все редакторы, у которых побывала рукопись «Львенка», высоко оценили ее литературные качества, однако ни один из них не решился ее напечатать.

Что же представляет собой сама книга Хови о Риде? По существу, это повесть, написанная в той свободной манере, когда личные воспоминания автора о герое, естественно идущие от первого лица, так же органически входят в ткань книги, как и авторский повествовательный текст, написанный от третьего лица. Хови владеет избран-

ной им манерой, и это чередование воспоминаний и писательского повествования воспринимается как нечто цельное. Наверное, это происходит потому, что автор нашел тот единственно приемлемый тон, который позволяет расположить читателя, завоевать его доверие. В немалой степени этому способствует язык книги — он пластичен и точен, язык произведения, не столько документально-публицистического, сколько художественного.

Если будут писать в будущем портрет Джона Рида, возьмется ли за это литератор или живописец, он должен взглянуть на портрет Рида, написанный Хови.

«Рид был крупным мужчиной, широкоплечим и широкогрудым, с длинными стройными ногами, не то чтобы мускулистый, но плотный... с той особой, без напряжения, собранностью, которая отличает пловцов — плавал он и впрямь великолепно. Голова у него была массивная, черты лица неправильные и не гармонирующие между собой; высокий чистый лоб, выступающий из-под шапки непокорных волос, глаза какого-то неопределенного цвета — пожалуй, все-таки серовато-зеленые, курносый, слишком маленький нос и слишком тяжелый подбородок, чуть насмешливо искривленные губы. В целом, несмотря на все недостатки, лицо это было красивым и значительным, — молодое, обаятельное лицо человека, бурно радующегося жизни; и все же при взгляде на него было ясно, что эти спокойные глаза в любую минуту могут вспыхнуть гневом. Гордая посадка головы говорила о решительности и мужестве, а уверенность, с какой он держался, так естественно сочеталась со скромностью... Глядя, как Рид переступает с ноги на ногу и курит одну сигарету за другой, я поймал себя на мысли, что хотя он как будто и не похож ни на Гарри Кемпа, ни на Эптона Синклера, ни на Вейчела Линдсея, ни на Карла Сэндбэрга, он чем-то все-таки напоминает их всех сразу. Должно быть, потому, что принадлежит к одной с ними породе «новых демократов», во весь голос говорящих правду о своих современниках».

17

На наш взгляд, книга Хови является как раз той книгой, которая глазами очевидца событий отвечает на вопрос, поставленный нами выше, а именно: как питомец состоятельной семьи, человек, выросший, по существу, в бар-

ской усадьбе, по обширным паркам которой разгуливали олени, сподвижник Липпмана и О'Нила, пришел к пониманию Октября, стал единомышленником и учеником русских коммунистов.

Хови исследует наиболее ответственный период в жизни Рида: шесть-семь лет, предшествующих революции, то есть как раз то время, когда мироощущение Рида претерпело значительные изменения.

Разумеется, формирование взглядов Рида началось задолго до его прихода в «Метрополитен». Больше того, он пришел в «Метрополитен» именно потому, что еще в Гарварде его жизненная стезя заметно отклонилась от тропы, которой шли многие из его сверстников. Но «Метрополитен» уже был вызовом кругу его друзей. «Метрополитен» и, разумеется, Стеффенс. Рид той поры возник в дружбе и, быть может, в полемическом поединке со Стеффенсом.

Почему со Стеффенсом?

Для него Стеффенс—храбрая и добрая душа. Он друг семьи Рида, которому отец писателя поручил опекать чадо. Впрочем, в отношениях с юношей Стеффенс был достаточно тактичен и свои советы ограничил пределами литературы. Он «не назойливо, но твердо дал Риду понять, что тот слишком много времени тратит зря», замечает Хови.

Стеффенс несомненно оказывал немалое влияние на Рида — посвящение Стеффенсу поэмы «День в Богемии» было признанием этого факта. Зорко и тревожно наблюдал из портлендского далека за Ридом его отец, предчувствуя близость перемен. «Смотрите, чтобы он сгоряча не приобщился к какой-нибудь вере», — писал он Стеффенсу.

Опасение, чтобы Рид ненароком не принял новой веры, владело и сознанием Стеффенса, когда он напутствовал юного друга, уезжавшего в Мексику. Либерал, впоследствии связавший свою жизнь с Америкой прогрессивной, левой, Стеффенс времен мексиканской революции был «добропорядочен». Карранса или Вилья — эта дилемма стояла и перед Стеффенсом, при этом выбор, который Стеффенс сделал, был характерен для его тогдашних взглядов... Карранса — помещик, представляющий в революции интересы национальной буржуазии. Вилья — вожак деревенской бедноты, крестьянских низов, для которых революция была насущной необходимостью, единст-

венным выходом из нужды. Итак, Карранса или Вилья? Симпатии Стеффенса были на стороне Каррансы, и это он хотел внушить Риду. За кем пойдет Рид?

18

Здесь узловая позиция книги. Дело, естественно, не только в отношениях Рида и Стеффенса. Главное — в мировоззрении самого Рида. Собственно, для читателя это уже не проблема — Хови очень точно подвел его к выбору, к которому склонился в Мексике Рид. Читатель понимает: ну, конечно же, Рид отвергнет советы Стеффенса и пойдет с Вильей. Надо отдать должное Хови, он много сделал, чтобы у читателя на этот счет не было двух мнений. У Рида, разумеется, была уже школа «Метрополитен», но у него — и это имело решающее значение — была школа и «Мэссиз». «Убеждение, что жизненные блага распределяются между людьми с вопиющей несправедливостью», было убеждение всех, кто собирался под крышей «Мэссиз».

Почему Рид ушел из «Метрополитен» в «Мэссиз»? Конечно, дело не только в симпатиях к новым друзьям Рида, составлявшим редакцию «Мэссиз». Да, они были и моложе респектабельных редакторов «Метрополитен», и современнее, и ближе Риду по своим творческим устремлениям. Все это верно, и все-таки главное не в этом. Благопристойный либерализм «Метрополитен» был для Рида этапом пройденным, пройденным после Мексики и благодаря Мексике. Как ни смел был «Метрополитен», самое большое, на что он шел, это реформа в пределах действующей конституции. «Мэссиз» в своих наиболее радикальных выступлениях шел дальше. Именно где-то на пути между «Метрополитен» и «Мэссиз» легла та заповедная межа, которая разделяла сферу реформы и революции. Избрав «Мэссиз» и отдав ему предпочтение перед «Метрополитен», Рид показал, что он решительно пересек этот рубеж и этим недвусмысленно определил сегодняшний и завтрашний день своей жизни.

Был ли разрыв с «Метрополитен» разрывом с Карлом Хови? Совершенно очевидно, что политические позиции Карла Хови были далеко не тождественны позициям таких редакторов журнала, как Теодор Рузвельт, но и Карл Хови был буржуазным либералом. В этой связи разрыв с «Метрополитен», очевидно, знаменовал и новый этап в

отношениях с Карлом Хови, хотя доброе отношение к Хови Рид сохранил на всю жизнь.

Надо отдать должное Хови: говоря о причинах перехода Рида в «Мэссиз», он проявляет достаточное понимание. Это прежде всего сказывается в том, как Хови рисует круг новых друзей Рида, всех тех, кого собрал гостеприимный салон Мейбл Додж, сыгравший столь приметную роль в формировании взглядов и вкусов Рида, кто наконец создал редакцию «Мэссиз», сообщив ей непримиримость к рутине, а заодно и к либеральному благонравию. Хови сделал это и тщательно и достоверно — дело не только в том, что многих, если не всех, о ком пишет Хови, он знал лично, автор «Львенка» сделал это талантливо.

Не будем голословны. Вот как описывает Хови Билла Хейвуда, сама личность которого оказала, как известно, на Рида столь значительное влияние.

«Автор этих строк, — рассказывает Хови, — видел Большого Билла во время забастовки в Лоренсе, в штате Массачусетс... Билл стоял на какой-то шаткой платформе, возвышаясь над огромной толпой людей, терявшейся в туманных сумерках. Мужчины, женщины, дети слушали его с благоговением, а когда он умолк, грянула песня. Позднее, когда мы сидели с ним в грязном ресторанчике за чашкой кофе и он, потупясь, разглядывал клеенку на столе, явно не настроен был разговаривать, я спросил его: «Чем же вы займетесь, когда наконец справитесь с фабрикантами?» — «Захватим фабрики и будем управлять ими сами», — сказал он, как нечто само собой разумеющееся. Не забывайте, что этот разговор происходил в 1912 или 1913 году».

Стеффенс или Хейвуд?.. Да, пожалуй, вопрос для Рида стоял именно так, хотя многое еще должно было произойти, прежде чем Рид признает в Хейвуде вожака рабочей Америки.

Карранса или Вилья? Да, один из двух, только так.

Рид избрал Вилью. Не Каррансу — Вилью, и в этом сказалось мужающее сознание Рида.

19

В «Восставшей Мексике» немало суровых и прекрасных страниц, посвященных Вилье, однако то, что сообщает об этом автор «Львенка», дополняет книгу Рида. Хови ссылается на письма Рида, на документы.

С кем Рид мог сравнить Вилью, кого напоминал Риду вожак мексиканских пеонов?.. Билла Хейвуда?.. Хейвуд тоже ушел корнями в толщу народную, видел несправедливость, понимал, кто ему друг и враг, и был полон решимости бороться за благо народное. Но как ни жестока была борьба, которую вел Хейвуд, слишком неравны были силы. Впрочем, цели, как и средства борьбы, были иными... У Вильи все сложилось иначе — он сделал то, о чем Хейвуд пока мог только мечтать.

«...Жизнеописание Вильи, с его собственных слов, начну, как только мы с ним окажемся в поезде, идущем на юг. Он так и говорит: «Ничего не утаю».

Прямое отношение к мыслям Рида о Вилье и его взглядам на мексиканскую революцию и роль народных вождей в ней имеет мнение Рида о Сапате, которое он изложил в письме к Хови: «Самым замечательным человеком в этой революции является Сапата, не забывайте об этом...»

Все, что Рид сказал о Вилье и Сапате, интересно чрезвычайно. В словах Рида точное определение того, что ему было дорого в мексиканской революции: ее близость идеалам мексиканских тружеников. И главное: Рид считал борьбу мексиканских пеонов против своих угнетателей борьбой справедливой, и этим определялись симпатии Рида к Вилье, как, впрочем, и вожака мексиканских крестьян к американцу.

20

Мексика явилась своеобразной революционной колыбелью Рида, первая мировая война — школой зреющего сознания, школой мужающей политической мысли. Письма Рида Карлу Хови из Европы отражают это достаточно. В письмах Рида — впечатления о посещении почти всех стран Европы в дни войны, мнение о позиции воюющих сторон, а заодно и мнение о позиции Америки.

«Мне кажется, я с ума сойду от ярости, если мы ввяжемся в эту страшную заваруху».

Но в этих письмах есть и нечто такое, что характеризует отношение Рида к войне, его убеждение, что война ведется во имя несправедливых принципов.

«Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой».

События в Европе, война, которую наблюдал Рид, помогли ему с новой силой, глубокой и, мне хочется сказать, прозорливой, осмыслить свои мексиканские впечатления. Яснее стало все то, что определило и победу мексиканской революции, и ее поражение. Рид думал о Вилье, обо всем том добром и сильном, что являл его характер, что было его первосутью. Но вот отсюда, из европейского далека, Риду стали виднее и слабости Вильи. Как ни храбр был вожак мексиканских пеонов, как ни предан он был идеалам народной борьбы, чего-то не хватало и Вилье, и его сподвижникам. Шел 1916 год, и русская революция была недалеко. Рид не знал Ленина и русских коммунистов, но чутье человека, который не первый год шагал по огненным дорогам планеты, подсказывало ему, что именно на русской земле зреют события, способные потрясти мир. Достойно удивления, насколько точно это чувствовал Рид. В письмах, посланных Карлу Хови из Парижа в сентябре 1914 года, а позднее из Шевреза, Рид настойчиво подчеркивает, что намерен перекочевать на русский фронт.

21

Есть одна тема, сокровенная и значительная для Рида, которая вновь и вновь возникает в книге, — эта тема важна и для Хови. Среди тех, кто писал о Риде за рубежом, особенно после его трагической смерти, были такие, кто утверждал: «Вот классический пример того, в какой мере политика противопоказана литературе. Человек, подававший надежды, пошел в революцию и сжег себя...» Автор «Львенка» имеет в виду зримых и незримых оппонентов Рида, когда исследует и эту тему. Результаты этого исследования заслуживают внимания. Рид начал самостоятельную жизнь как профессиональный литератор. Поэтические книжки Рида были достаточно убедительным подтверждением его таланта. Стихи Рида (они сохранились, что нетрудно доказать) были в самом добром смысле этого слова современны, в них были и ум и интеллект. «Его стихотворения выходили тонкими, изящно набранными книжечками, — отмечает Хови. — Его хвалили и напутствовали лучшими пожеланиями самые авторитетные судьи». Казалось, ничто не препятствовало поэтической карьере питомца Гарварда — он был талантлив, образован, молод, ему была обеспечена под-

держка семьи и близких, поддержка не только моральная. Первые литературные успехи увлекли Рида, за изящными поэтическими сборниками должно было последовать нечто большее.

Есть мнение, что Рид оставил поэзию и ушел в политику, намереваясь углубиться в исследование жизни, — он не шутил, когда говорил, что хочет написать новую «Человеческую комедию». Мнение это не лишено смысла, но, как нам кажется, оно не точно. Более точно толкует эту проблему Хови: «Я не мог не почувствовать его страстной любви к настоящей, живой литературе, служению которой он решил посвятить свою жизнь, но не менее сильной была и его ненависть к царящей в мире несправедливости». Хови цитирует Рида: «Я не мог больше не замечать ужасов нищеты, бесконечную вереницу несправедливостей, жестокое неравенство между теми, кто не знает, что делать со своими автомобилями, и теми, кто никогда не наедается досыта. Я узнал это не из книг... Я все должен видеть собственными глазами».

Быть очевидцем событий, все видеть собственными глазами — девиз Рида. Он изучает Нью-Йорк воодушевленно и дотошно, став завсегдатаем трущоб великого города, прикоснувшись к жизни нью-йоркского «дна».

Быть может, на первых порах молодого Рида увлекла экзотика Нью-Йорка, но всего лишь на первых порах. По мере того как Рид углубляется в дебри Нью-Йорка, ему открывается социальная природа города. Собственно первый урок политической азбуки ему преподал Нью-Йорк.

Достоинство книги Хови как раз заключается в том, что автор «Львенка» внимательно, шаг за шагом следит за тем, как Рид изучает жизнь, познавая заповедные ее глубины, как его общественные симпатии приобретают все большую отчетливость.

Будущий биограф Рида, говоря о том, как развивалось общественное сознание автора «Десяти дней», воссоздаст линию отношений Рида со столь колоритной фигурой, какой был и, очевидно, является Уолтер Липпман.

Гарвардский товарищ Джона Рида, человек, возглавивший унию студентов-социалистов, социалистов своеобычных, в недавнем прошлом литературный и, пожалуй, политический авторитет для Рида, Липпман внимательно следил, как крепнет дарование Рида, и, казалось, вместе со всеми радовался его успехам. «Как-то неловко гово-

рить человеку, с которым лично знаком, что он гений... — писал Липпман Риду, прочитав его мексиканские очерки. — Я утверждаю, что настоящий репортаж начинается с Джона Рида. Между прочим... очерки, несомненно, хороши и в литературном отношении». Однако на каком-то пределе Липпман понял, что Рид не тот, за кого он его принимал. Разумеется, Липпман не обнаруживает главного в своих разногласиях с Ридом. Липпман как будто далек от мнения, что буржуазной демократии Рид предпочел социализм. Атакуя Рида, Липпман как бы выступает в защиту истинного социализма против вульгарного: «Он поверил, что все капиталисты толстопузы, лысы и лоснятся от жира... Он внушил себе, что пролетариат — это не шахтеры, водопроводчики и вообще рабочий люд, а некий прекрасный гигант, подобно статуе на скале, вознесший главу к солнцу».

Я не знаю, ответил ли Рид Липпману на его заметку, в которой принципиальный спор был заменен возражениями, никакого отношения к этому спору не имеющими, а сам тон заметки просто непонятен. Если этого не сделал Рид, то за него это сделала жизнь. Она уточнила позиции сторон, показав, что является сутью разногласий и в какой степени они непримиримы. Даже интересно, как два человека, вышедшие из одной среды, признававшие авторитет одних учителей, бывшие на каком-то этапе и друзьями и единомышленниками, люди ищущие и талантливые, могут пойти настолько разными дорогами в жизни. Сферой деятельности Липпмана стали кулуары большой политики, простирающейся от Уолл стрита до президентских покоев Белого дома. Сферой деятельности Рида — поле боя революции.

Дежурный фельетон Липпмана, без которого не выходил «Нью рипаблик», напутствовал и предостерегал президента в его перманентных сомнениях во всем, что касается европейской политики США.

Очерки Рида из Мексики, а позднее с европейского театра войны для «Метрополитен» были напоены дыханием битвы, очевидцем которой был Рид, проникнуты восхищением перед подвигом революционных масс, добывающих насущный хлеб свободы.

Но дело даже не в том, что Рид, в отличие от своего гарвардского друга, был газетчиком, идущим по трудной жизни, газетчиком, для которого поиски новостей имели смысл, если они были поисками правды, и поэтому он ви-

дел войну с кровью и страданиями, знал и тюрьму и плен, был под артиллерийским огнем и ходил в атаку, жестоко мерз и жестоко голодал. Да дело и не в том, в какой сфере работали два человека, главное в другом, — каким целям было посвящено их творчество. Самое большее, к чему стремился гарвардский друг Рида, вряд ли шло дальше реформы буржуазной Америки, идеалы Рида, даже в годы, предшествующие русской революции, простирались дальше. Бунтарь-одиночка, для которого дороже всех благ была личная свобода, Рид вступил на путь профессионального революционера. Знаменитый девиз Рида — видеть все своими глазами, обрел новое звучание: все чаще Рид из очевидца событий превращался в их участника. Вот и получилось, что участие в борьбе не оскудило, а во много крат обогатило талант Рида. И никогда прежде Рид не был так близок к осуществлению большого творческого замысла, как теперь.

Рид прошел через две войны, мексиканскую и европейскую, но, по существу, это были три войны: Мексика, Европа, Россия. Три войны отразились в трех книгах Рида. Своеобразная трилогия? Да, пожалуй, трилогия, которую, как трилогию, задумал не столько Рид, сколько жизнь, как сложилась она в начале нашего века. В этой трилогии событий есть своя логика, как, очевидно, есть она в трех книгах Рида: в их лексике, в их композиционном строе, в их образах, в их, наконец, идейной устремленности.

От колоритной, щедро расцвеченной сильными красками юга «Восставшей Мексики» и спокойно-повествовательной «На восточном фронте» до строгих, как и надлежит быть революционной летописи «Десяти дней, которые потрясли мир».

От темпераментных новелл, именно новелл, где есть экзотический фон и часто не менее экзотический диалог, до эмоционально скупой и целеустремленной хроники «Десяти дней».

От живых зарисовок стихии народной борьбы, которой не столько руководят люди, сколько она руководит людьми, борьбы с крутыми взлетами и взрывами, борьбы с неожиданными проявлениями страха, гнева и радости, до широкой и объемной картины октябрьского восстания, руководимого волей, преданностью и интеллектом русских большевиков.

Вот что любопытно: Карл Хови всего лишь буржуазный либерал, однако книга его много радикальнее автора. Радикальнее не просто потому, что она посвящена человеку столь радикальных взглядов, как Джон Рид. Очевидно, главное в тех симпатиях, которые автор «Львенка» питал к Риду и которые определили уважение Хови к самой системе взглядов, исповедуемых его молодым другом.

Если продолжить мысль о становлении Рида-писателя, то следует сказать: как жизнь определила восприятие октябрьских событий Ридом, так две предыдущие книги подготовили его к созданию строгой красоты «Десяти дней», в которых отразилась и сила мысли Рида, и его умение видеть, и способность подчинить виденное железной основе сюжета, и, главное, проникнуть в замысел революции, как он сложился в умах людей, поднявших народ на борьбу, постичь мысль и идею революции. «И я не мечтал, я изучал и я исследовал», сказал Рид Эптону Синклеру.

Работа над трилогией необыкновенно обогатила мысль Рида, его вйдение мира. Три тома, как три этапа жизни, свидетельствуют: мысль писателя мужала, обретая ту воинственность и остроту, социальную, больше того — революционную, которая в сочетании с интеллектом и великолепным профессиональным вкусом Рида, своеобразно претворялась теперь во всем, к чему прикасалось его перо.

Если большие творческие замыслы Рида («Я хочу писать новую «Человеческую комедию»») требовали не только таланта, но и зрелости, то к осуществлению этого замысла Рид должен был приступить теперь.

Кстати, эти качества восприняла и ридовская поэзия, быть может, не менее зримо, чем проза.

Рид пришел к прозе от поэзии. Как часто бывает с прозой, она у Рида экономна и живописна. Эта живописность великолепно проявилась в описании жанровых сцен. Картины, воссоздающие вступление партизанской армии Вильи в города и села Мексики, написаны так, что их нельзя забыть. Истинным талантом отмечено портретное письмо Рида — есть нечто рембрандтовское в самих лицах, на которых остановил наше внимание Рид. Писатель владеет мастерством колорита: Мексика!.. И дело

не только в том, что он пересыпал язык жаргонными словечками и вынес на страницы книги такие образцы мексиканской народной поэзии, какие, как утверждают мексиканцы, и для них явились откровением. Сам ландшафт степи, краски ее земли, блеск неба, дыхание ее кактусовых рощ, все, что есть Мексика и только Мексика, передано Ридом с несравненным умением. А диалоги мексиканцев? В них, в этих диалогах, и ум, и страсть, и тот особый лаконизм, какой присущ языку той огневой поры, о которой повествует Рид... Как отмечалось уже, лучшее, что было свойственно «Восставшей Мексике», восприняли «Десять дней», восприняли и развили: еще больший лаконизм, а вместе с ним и строгость и мысль, мужающая. Мысль, а это значит способность проникнуть в существо явлений, не отстраняясь от собственного «я», больше того, утвердив это «я». Короче: когда Рид сказал, что хотел бы написать большое прозаическое полотно, это было не голословно.

Нечто от неодолимой закономерности есть и в том, что свои пути к Ленину нашли и друзья Рида, с которыми он искал правду: Стеффенс, Хейвуд. Беседа первого с Лениным была нелегкой — все, что мог выложить сомневающийся интеллигент весной девятнадцатого года, он выложил. Беседа была бескомпромиссной с обеих сторон. Наверное, в ходе беседы далеко не все свои позиции Стеффенс сдал, но он достойно оценил искренность Ленина. Свидетельство тому — жизнь Стеффенса.

Хейвуд покинул американский берег навсегда, поселившись в Советской стране, — он много раз встречался с Лениным. Свою мечту о рабочей республике, которой управляют сами рабочие, Хейвуд пытался осуществить на советской земле — знаменитая индустриальная республика в Кузбассе была создана его руками.

Рид знал о встрече Стеффенса с Лениным и не мог знать о беседах Ленина с Хейвудом — они происходили уже после смерти автора «Десяти дней», но сам факт паломничества американцев к Ленину знаменателен, — паломничества, освещенного подвигом Джона Рида.

Риду была симпатична самоотверженность и скромность Вильи. Вождь мексиканских пеонов не переоценивал своих данных. «Я боец, а не государственный деятель, — объяснял он пристававшим к нему журналистам. — Чтобы стать президентом, у меня не хватит образования. Мексике не поздоровилось бы, если бы в прези-

денты вышел темный человек. Нет уж, я никогда не сяду не на свое место. Можете мне поверить».

В своих мечтах о народном вожде, способном поднять и организовать массы, Рид еще вернется к этой реплике Вильи. Наверное, мечта о народном вожде и в сознании Рида отождествлялась с человеком, в котором верность коммунистическим идеалам и решимость претворить их в жизнь сочетались с интеллектом, — именно такого вождя Рид увидел в Ленине: «Необыкновенный народный вождь, ставший вождем исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без пристрастия к внешним эффектам, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановке, человек с проницательным, гибким и дерзновенно-смелым умом».

23

Ленин, как известно читавший книгу Рида, отметил, что она дает «правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата»[1]. Оставаясь художником, эмоциональным и точным, Рид рассказал об октябрьских событиях и как политик-исследователь. Именно поэтому работа Рида нашла столь широкую аудиторию — это как раз тот пример, когда книга может быть настольной и для интеллигента и для рабочего.

Само время вывело непреложный закон: человек нашего века, начиная жизнь, должен учитывать, что в мире была великая русская революция. Так уж сформировалось наше время, сам воздух века, что сознание современника должно усвоить этот факт как нечто насущное. Миллионы наших современников познают русскую революцию по Джону Риду. Не так уж много книг, в которых бы с такой вдохновенной убедительностью была раскрыта суть нашей революции, суть государства рабочих и крестьян, вызванного к жизни революцией.

«Это патриотизм, но и верность интернациональному

---

[1] Из предисловия В. И. Ленина к американскому изданию книги Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

братству рабочего класса; это долг, и люди с радостью умирают во имя него, но долг революционный; это честь, но новый вид чести, основанной на человеческом достоинстве и счастье, а не чудовищная честь аристократии крови и денег, выражающаяся в правилах, рассчитанных на джентльменов; это дисциплина, революционная дисциплина, я надеюсь показать ее на этих страницах; и русские массы сами показали, что они способны не только руководить собой, но и открыть новую всеобъемлющую форму цивилизации».

Идеалы Рида, писателя и борца, его мысли о страждущем человечестве, его мечты о будущем, сам смысл жизни Рида заключены в этой книге.

Рид сказал первой войне империалистов: «Это не моя война».

Рид сказал Октябрю: «Это моя революция». Сказал и восславил Октябрь.

Благодарно рассказать миру о таком человеке.

Карл Хови сделал это.

Помните, там, в Париже на авеню д'Обсерватуар, Ли Голд сказал, провожая меня:

— Ах, как жаль, что вам не удалось повидать Тамару, но, может быть, это поправимо, а?..

— Да, разумеется, — ответил я тогда не без волнения. — В Москве...

* * *

И вот наши друзья в Москве...

Я встречаю их на аэродроме в Шереметьеве, и мы едем в город. В поездке по Москве я хочу быть их первым гидом. Середина лета, и листва Ленинградского проспекта кажется все еще ярко-зеленой.

Площадь Маяковского. Площадь Пушкина. Советская площадь.

— Да, мэрия столицы... Моссовет, а вот в этом доме хранятся рукописи Ленина.

Я вижу, как радостно встревожилась Тамара Хови — она сидит рядом со мной:

— Значит, рукописи Ленина хранятся здесь?

Машина пошла тише.

— Да, здесь.

— И... Джона Рида?

— Здесь.

Манежная площадь, площадь Революции...

Тамара берет стоящий подле портфель:
— А вот это вам, как память о Риде...
Томик в красной обложке. «Восставшая Мексика». На титуле нетускнеющими чернилами такое знакомое «Reed» — его рука.
Листаю книгу, и Мексика, голодная и бунтующая, жаждущая земли и свободы, завладевает сознанием... Знойное солнце. Белый песок. Пыльные кактусы. Плоские крыши гасиенд. Цепочка людей с карабинами за спиной. Черные тени на белом песке от кактусов, от домов, от людей с карабинами... Нелегка дорога через степь, дорога свободы...
Где-то здесь начинался Рид, отсюда он ушел на Русский Север...

ДОРОГА ВТОРАЯ

КАПРИЙСКИЕ ДИАЛОГИ

Есть люди, которые, прожив долгую жизнь, так и не приняли подданства старости. Когда я увидел Марию Федоровну Андрееву впервые, она была в возрасте почтенном, но все еще хороша собой. Это было в феврале 1944 года — в канун Дня Красной Армии. Уже явственно обозначились признаки победы, и отдел печати Наркоминдела решил устроить прием для иностранных корреспондентов. Не очень хотелось, чтобы прием этот происходил в одном из представительских залов, какие обычно используются для встреч с иностранцами, и выбор пал на Дом ученых. Директором дома была Мария Федоровна.

Я знал, что на вершину семидесятилетия Мария Федоровна уже взошла, и я рисовал ее себе гордо-величавую, чем-то похожую на Ермолову, какой она запечатлена на известном серовском портрете. Велико же было мое удивление, когда я увидел небольшую женщину, для облика которой самым характерным была негасимая ее красота.

Мне не пришлось долго упрашивать Марию Федоровну — как я понял, ей было даже лестно, что прием решено провести в Доме ученых, и тот час, который я оставался у Марии Федоровны, беседы касались свободных тем. Хорошо помню, что я рассказывал ей о корреспондентах и о нашей последней поездке в Харьков, откуда мы возвращались с А. Н. Толстым. Наверно, в этой связи Мария

Федоровна сказала, что на днях видела Алексея Николаевича и говорила с ним о письме, которое Телешов получил от И. А. Бунина.

— Даже не письмо, а открытку, — добавила она.

— А что бы могло означать это письмо? — спросил я. — Не значит ли это, что писатель готов забыть все старое...

— Возможно, — сказала Мария Федоровна. — Кажется, он пишет: «Хочу домой!»

— Вы полагаете, что письмо имеет эту цель?

— Такое впечатление, что оно предваряет письмо, которое могло бы иметь эту цель... Могло бы...

Хотя ответ Марии Федоровны был не очень определенным, хорошо помню, что она не отвергала возможности возвращения Бунина в Россию. Тогда такая перспектива не казалась несбыточной.

(Много позже я установил, что Мария Федоровна имела в виду письмо И. А. Бунина из Граса, присланное Телешову в самый канун войны. Письмо было написано в тяжелую для Бунина минуту. Он говорил, сколь страдно и скорбно его нынешнее бытие. Настроение письма передает следующая фраза из него: «Я худ, сед и все еще ядовит. Хочу домой!»)

Разговор продолжался, и Мария Федоровна заговорила о психологии человека, на много лет оторванного от родины, о гнете чужбины, о том, как тоска по родине преломляется в сознании старого человека, одержимого недугами. Видно, Мария Федоровна много думала над этим — она говорила, как психолог. И уже вне связи с Буниным и со всем тем, о чем только что шла речь, Мария Федоровна произнесла:

— У Алексея Максимовича был великий дар: там, где находился он, всегда было много русских... Россия точно следовала за ним и оказывалась подчас в местах неожиданных...

— Капри? — спросил я.

Она затревожилась, засмеялась легким смехом счастливого человека — казалось, она была благодарна за упоминание Капри.

— Да, Капри, — она подняла руку и отвела со лба прядь, при этом взглянула вокруг с откровенным вызовом — наверно, что-то было в этом жесте и в этом взгляде от молодой Андреевой. — Русский остров!.. Там у нас были и Луначарский, и Богданов, и, как вы знаете, Вла-

димир Ильич... Их спор мог показаться отвлеченно-философским, на самом деле он отразил нечто очень насущное...

— Интеллигенция и революция?.. Мечты интеллигента и земная практика революционера...

— Мне кажется — да... Женева и Париж были ближе к боевой практике революции...

Я видел Марию Федоровну и позже, при этом однажды с Алексеем Николаевичем Толстым, однако не помню, чтобы разговор, имевший место в тот раз, был продолжен. «Женева и Париж были ближе к боевой практике революции...» — сказала Мария Федоровна, а я спросил себя: «А какую задачу ставил перед собой Владимир Ильич, отправляясь на Капри? Только ли хотел привлечь Горького и Луначарского к сотрудничеству в «Пролетарии»?..» А может быть, были и иные задачи, более широкие, откровенно-стратегические? Возможно, в самом этом сочетании двух понятий — Женева и Париж — с одной стороны, Капри — с другой, как они отождествлялись тогда в сознании большевиков и Ленина, было нечто такое, что помогало ответить на вопрос, интересовавший меня...

Поздней осенью 1967 года я побывал в Париже и на Капри. Дорога эта лишь отчасти повторяла путь Ленина, которым он проехал на Капри к Горькому весной 1910 года, однако в сознании моем она все время отождествлялась с Владимиром Ильичем. И отождествлялась не потому, что на пути этом я нашел нечто такое, что прямо относилось к поездке Ленина. Нет. Задача у меня была другой: понять миссию Ленина на Капри, взглянув на нее из сегодняшнего дня. Да, впервые за все время моих поисков я сознательно шел на то, чтобы соотнести события русской революционной истории не столько с политическим календарем прошлых лет, сколько с календарем, по которому живет западный мир сегодня.

Я понимал, что многое здесь несоизмеримо: Россия начала века и сегодняшний Запад — понятия в известной мере разновеликие. Собственно, разновеликими являются уже Россия и Запад. К тому же в эти шестьдесят лет время так основательно поработало над самим существом западного мира, что сравнивать его с дореволюционной Россией нелегко. И все-таки такое сравнение возможно. Оно возможно в той мере, в какой социальная основа общества остается общей, а следовательно, живы и про-

должают действовать классические Марксовы законы о классах, эксплуатации и классовой борьбе.

Итак, нам хотелось взглянуть на каприйскую миссию Ленина и сегодняшнего дня и соотнести факты этой миссии с сегодняшним политическим календарем. Если быть точным, то соотносить будет читатель, а наша задача — рассказать о людях, которые были вольными или невольными участниками поездки.

1

В Париже есть семья, в которой я бываю каждый раз, когда приезжаю в город на Сене. Это семья Маньян. Впервые я был у Маньянов... осенью шестьдесят второго. День уже клонился к вечеру, и в большой комнате, которая служила гостиной, включили телевизор. Вокруг телевизора собралась семья Маньян, и мне было удобно рассмотреть каждого из них.

Отец. Помню, что до того, как мы были приглашены к столу, я услышал лишь несколько слов, произнесенных Маньяном. Он произнес их по праву хозяина, обращаясь к гостям. Слова были одно к одному, они были щедры и радушны, но их было не очень много... Рабочий, он был одним из тех первых, кто поехал в Москву за наукой. Он учился с великим усердием науке Ленина, понимая, что то, что он добудет в Москве, он нигде не обретет. Он вернулся в Париж, солидно «подкованным» для работы и, пожалуй, для жизни — даже русскую жену себе обрел. А потом германское вторжение и годы жестокого подполья. Не каждому удается реализовать знания, полученные в школе, как удалось их претворить в жизни Маньяну: в годы гитлеровского вторжения он редактировал подпольную «Юманите». Бывало так, что по условиям конспирации Маньян оставался в редакции один. В этом случае вся газета писалась им самим. Как это имело место прежде, читатели ждали статьи Кашена, Тореза, Дюкло. Все эти статьи читатель находил в газете и теперь. Старая формула «Все за одного и один за всех» своеобразно была реализована Маньяном, разумеется, с ведома и по поручению партии. Я знал: Морис Маньян был выходцем из крестьян наибеднейших. Его дед был деревенским могильщиком, да и сам Маньян первые свои су заработал, помогая деду в его нелегком труде на кладбище. Много лет спустя, когда Маньян прибыл в Америку как корреспондент «Юманите» и был интервьюирован

американской прессой, то на просьбу рассказать о себе не без иронии ответил: «В самом начале — могильщик, позже — могильщик капитализма».

Жена. Нет, не просто жена, а жена коммуниста. Подруга его страдной жизни, мать его трех сыновей. Французы ее зовут: Елизабет. Мы, русские, Елизаветой Ивановной или Алей. Кажется, она из Старой Русы. У нее до сих пор в Русе живет мать. Елизавета Ивановна приезжает в Россию каждый год. С кем-то из сыновей. И обязательно едет в Русу. Вот так между Парижем и Русой живет. И суть ее тоже между Парижем и Русой.

Старший сын — Серж, архитектор. Разумеется, коммунист. В годы алжирской войны его призвали в армию. Он отказался — его бросили в тюрьму. Он принял испытания со строгой твердостью и скромностью Маньянов. Но это уже в прошлом. Он вернулся. Сейчас он уже дома. Даже успел жениться и обрести сына. Третье поколение Маньянов-парижан.

Второй сын — Алан. Студент МГУ. Пошел по стопам отца — поехал в Москву за наукой. Будет геологом. Какая-то разновидность геологической специальности, какой и во Франции нет. Сейчас в России. Нет, не в Москве, а где-то в Средней Азии.

Третий — Ив. Школьник. Его школа где-то здесь у Булонского леса. Он должен вот-вот прийти.

Семья очень цельная, где отец на сто лет вперед определил линию жизни всех своих сыновей и внуков. По крайней мере, так казалось мне.

К столу подали крабов, крупных, атлантических. Каждому дали по ярко-красному морскому чудищу и по молотку. Да, молотки были собраны со всего дома и поданы к столу, как нечто обязательное к ножам и вилкам, и тут же пошли в дело. За столом слышались удары молотков, как в кузне: русские гости крушили крепкую костяную броню крабов. Когда единоборство с крабами было в разгаре, возник спор. Русские гости даже притихли, так он был внезапен. С одной стороны — старый Маньян, с другой — молодой.

Я не уловил, как возник спор. Не ухватил первый блеск огня. Я обратил внимание на спор, когда дым валил валом.

— Пойми, отец, наша интеллигенция сегодня не та, что в двадцатых годах, — говорил Серж, волнуясь. — И ее место в нашей борьбе иное...

— Не хочешь ли ты сказать, что она восприняла место рабочего класса? — спросил старый Маньян.

— В какой-то мере — да, — сказал Серж.

Вот тут и загорелся спор. Извечный спор отцов и детей? Да, пожалуй, он отразил самую суть жизни, которую прожили один и другой.

Спор был жестоким — ни один, ни другой не хотели уступать. Мы, русские, замерли — наши молотки остановились.

— Ты пойми, отец, у многих наших интеллигентов судьба рабочих — они и злы на хозяев рабочей злостью!..

— Нет, это переоценивать не надо!.. Конечно, нынешняя интеллигенция по природе своей не та, что в мое время, но переоценивать этого не надо — у большей ее части тот же корень — буржуа...

Эмоционально этот спор был мною воспринят так: сдержанное отношение французского рабочего к интеллигенту, который традиционно был выходцем из социально-чуждой среды, все еще владело сознанием Маньяна. Он, естественно, хотел, чтобы эта сдержанность определила и линию поведения сына, но сын здесь заметно расходился с отцом. Почему? Не потому, что в противоположность отцу никогда не был рабочим. Не потому, так кажется мне. Просто сын знал современную интеллигенцию лучше отца. Знал, что она по своим социальным корням является иной, чем та, которая в дни молодости была известна отцу. Она, эта новая французская интеллигенция, в большей мере, чем прежде, была трудовой. Она мало чем отличалась от рабочих и по своему имущественному положению. Одним словом, французская интеллигенция середины века своей сутью была рабочему и его борьбе ближе, чем интеллигенция начала века.

Не знаю, чем бы закончился турнир, если бы внезапно не распахнулась дверь в столовую и молодая Маньян не внесла бы на раскрытых ладонях младенца. Да, она держала раскрытые ладони на уровне груди, и на них покоился запеленатый младенец.

— Сколько у тебя будет детей, милая?.. — подал голос кто-то из гостей.

— Пятеро, — ответила она невозмутимо, позднее мы убедились, что она была серьезна в своих намерениях. — Только на этих условиях я вышла за Сержа...

Младенец вторгся в беседу и заявил о себе так энер-

гично, что не было сомнений — в споре отца с дедом решающее слово принадлежит ему.

С тех пор прошло шесть лет — невелик, казалось бы, срок, а как много он перекроил и переиначил в жизни тех же Маньянов.

Весной 1967 года я был в Париже вновь и, разумеется, посетил старых друзей, но теперь не у Булонского леса, а на площади Инвалидов.

Мы сидели с Елизаветой Ивановной в большой комнате, которая служила гостиной, и читали рукописи Маньяна — он умер вскоре после нашей первой встречи.

В просторной комнате было холодновато и сумеречно. Елизавета Ивановна закурила и зажгла толстую свечу — чудо западных алхимиков — свеча поглощает дым; видно, последнее время Елизавета Ивановна много курит.

Желтоватое пламя этой свечи сообщило свой цвет даже тусклой бумаге тетрадей, которые сейчас медленно листала Елизавета Ивановна.

Нет, в эти годы у семьи было и немало добрых вестей: Серж интересно работает как архитектор. Семья его продолжает расти: у него уже четверо ребят. Алан — геолог. Французские власти признали его московский диплом — у молодого Маньяна действительно редкая специальность. Ив будет филологом — ему пригодился его русский.

Тремя днями позже была годовщина смерти Маньяна, и тесная стайка близких и друзей, французы и русские, побывала на кладбище.

Мы возвращались с кладбища к полудню, когда апрельское солнце палило уже достаточно свирепо.

— Вы помните этот спор Сержа с отцом, когда мы были у вас в вашей квартире у Булонского леса? — спросил я Елизавету Ивановну.

— Что-то... о призвании интеллигента и рабочего?

— Да, о месте интеллигенции в общей борьбе...

— Наш отец стоял на своем и... естественно хотел, чтобы сын был в этом с ним согласен. Старший сын, которого на путь истинный наставил отец. Но сын, оставаясь единомышленником отца в главном, в чем-то мог с ним и не соглашаться... В конце концов его воспитало иное время...

Тогда я не знал, что у нас с Елизаветой Ивановной это не последний разговор на эту тему... Чем-то судьба Маньяна перекликалась для меня с судьбой тех русских пролетариев, гонимых и ищущих, которых учил марксиз-

му в своей парижской школе Ленин... Да только ли судьба старшего Маньяна? Вся его семья, семья парижского пролетария-коммуниста, воинственно преданного своей рабочей вере и подвигнувшего на это детей, являла пример стремления к знаниям, к свету, знаниям для борьбы, свету для борьбы. Собственно, я был свидетелем явления исторического в родословной Маньянов: династия крестьян, насчитывающая, наверно, не одну сотню лет, становилась династией интеллигентов. Представляю, как своеобразная революция в судьбе Маньянов была воспринята односельчанами Мориса. Не часто такое случалось во Франции прежде, да и сегодня случается не так уж часто. Этот процесс был тем более знаменателен, что Маньянов сделала интеллигентами борьба. В первую очередь, борьба, которую вел за свои идеалы отец, однако не только он, но и сыновья, прежде всего — старший.

Я думал над историей Маньянов, и мне казалось, что в ней было нечто общее с неспокойной долей русских бунтарей, которых собрал в своей маленькой парижской академии Ильич. Наверно, эта мысль владела моим сознанием, когда я пригласил Елизавету Ивановну побывать со мной в парижской квартире Владимира Ильича на улице Мари-Роз...

2

Что-то есть в облике этого уголка Парижа типично парижское, хотя район этот и отстоит от центра на расстоянии значительном. В лиловатости неба и камня, в самом виде улиц, неширокнх, уставленных трехэтажными домами с навесами над парадным входом, с жалюзи на окнах. В пугающе огромных липах и дубах, густо-зеленых, грозно шумящих, будто бы вобравших в себя всю силу земли и неба.

Если бы не мемориальная доска на фасаде с профилем Ленина, такое впечатление, что ты вошел в жилой дом, никакого отношения к музею не имеющий. Да и подъезд так не похож на вход в музей, что ты останавливаешься в недоумении: «Сюда ли ты вошел?» На нижней площадке стоит велосипед. Из-за двери доносится голос младенца — видно, час, когда он должен получать свое молоко. С чисто французской тщательностью на дверях обозначены имена квартирантов.

Только Елизавете Ивановне ведомо, на какой этаж подняться и какой звонок привести в действие.

— Нас должен встретить товарищ Лежандр. Он — хранитель музея... Хотя забота о музее и не главная его работа, он очень привязан к музею и много для него сделал...

Мы уже поднялись на третий этаж и остановились у двери справа.

Звонок.

— Можно к вам, товарищ Антуан?

— Да, пожалуйста, дорогая Елизабет... Меня предупредили о вашем приходе, и я был здесь даже чуть-чуть раньше.

Ему можно дать лет шестьдесят пять. Красная паутинка кровеносных сосудов, тонких и густых, застлала щеки — своеобразный румянец старости, делающий лицо моложавым, — шутка природы, не очень добрая. Мы входим. Две комнаты, одна выходит на улицу, другая — во двор, кухонька. Все миниатюрное, рассчитанное на небольшую семью.

— Как вы знаете, Ленин жил на Мари-Роз три года — с июля 1909 года по июнь 1912 года, — начинает Лежандр и тянется к указке. Независимо от того, какой оборот беседа примет дальше, он должен, по праву хозяина, положить ей начало. — Квартира выглядела так. В большой комнате помещались Владимир Ильич с Надеждой Константиновной, в меньшей — мать Надежды Константиновны — Елизавета Васильевна. Мебель была простой: сосновая, некрашеная. Часть этой мебели привезли из Женевы, другую часть — смастерили по заказу Крупской парижские столяры — столы и табуреты, все тщательно оструганное. Друзья Ульяновых усматривали в этом некий стиль, называя его «русским». Действительно, мебель была по-своему хороша: она была точно напитана запахами лесной свежести, запахами чистой древесины... Хозяина дома шокировали некрашеные табуретки Ульяновых, и он выразил кому-то из тех, кто знал квартирантов, свое неудовольствие. Подумать только: такой дом и некрашеные табуретки!.. Но собеседник домовладельца вышел из положения с честью. Он сказал, что хозяин не должен обманываться насчет некрашеных табуреток — у его русского жильца счет в Лионском банке!.. Хозяин не преминул проверить и был посрамлен: действительно, счет в Лионском банке!.. Домовладельцу с улицы Мари-Роз было невдомек, что сумма эта, кстати, измеряемая цифрами, отнюдь не астрономическими, принадлежит партии и, по

существу, положена на счет грядущей русской революции... Вот они... некрашеные табуретки!..

Я увидел в этом французском пролетарии, ставшем хранителем парижского музея Ленина, человека колоритного, чья речь отмечена и живостью ума, и юмором, и тем завидным блеском слова, по которому безошибочно опознается француз.

— А как вам видятся годы жизни Ленина в Париже... что, на ваш взгляд, было в парижские годы его жизни главным?

Лежандр нелегко поднимает большую руку, трет висок, трет упорно, будто пытается добраться до мысли, самой заветной.

— Главное? — спрашивает он, спрашивает не столько нас, сколько себя. — По-моему, желание подготовить кадры революции, собрать интеллигентов и рабочих, убедить одних помогать другим... Задача общенациональная и общеклассовая...

— И вам удалось добыть нечто такое, что было неизвестно до вас?

— Добыть сегодня нечто новое — задача нечеловечески трудная, — говорит он. — То, что сделал я, скромно весьма, но по-своему значительно: я пытался восстановить своеобразную географию русского Парижа той поры, точнее 14-го района Парижа — многое из того, что делал Ленин для русских рабочих, он сделал здесь... Я вам все это покажу...

Лежандр ведет нас к витрине. Старые парижские фотографии, старые французские открытки, восстанавливающие облик улиц, площадей, парков, домов, кафе, какими они были в начале века. Именно в начале века, так как время смело все это почти начисто.

— Вот та самая церковь, которая позднее была закрыта и приспособлена под театр — в этом театре бывал Ленин. А здесь помещалось в своем роде «русское кафе», где собирались сподвижники Ленина. А так выглядел парк Монсури... Впрочем, все это вы увидите сейчас воочию. У 14-го района Парижа великие традиции: здесь коммуна дала бой версальцам, а в годы Сопротивления... здесь и дома и церкви были оплотами борьбы, — он тянется взглядом к окну. — Видите церковь?.. Да, напротив. Немцы взяли настоятеля прямо в церкви и повели на расстрел...

Мы выходим с Лежандром и медленно идем улицами

и площадями 14-го района. Да, вот он, Париж Владимира Ульянова, Париж французских рабочих и ремесленников, у которых большевики нашли сочувствие к русским делам. Открытки Лежандра, которые мы видели сейчас под толстым стеклом витрины, точно пришли в движение, хотя дома и площади изменились неузнаваемо.

— А вот там, справа, начинается знаменитый парк Монсури, где часто бывали Ульяновы...

Я чувствую, как хорошо Антуану Лежандру шагать вместе с нами по улицам и площадям 14-го района и вспоминать то далекое время — будто только ему и под силу это сделать. Мне по душе мой спутник, наклон его сгорбленной фигуры, прищур его глаз, по-стариковски влажных, которые он сушит цветным платком, — мне кажется, что в самой судьбе Лежандра сказалось то большое, что определяет самую суть того, что делал здесь, в Париже, Ленин.

— Вот вы сказали, товарищ Лежандр: поднять к свету рабочих... А как это было у вас, товарищ Лежандр?.. Вы ведь в прошлом пролетарий?

Он как-то растерялся. Ожидал любого вопроса, но только не этого. В самом деле, речь идет о Ленине и вдруг... Лежандр. Однако вопрос задан и надо отвечать.

— Вы хотите знать, как это было у меня?

— Да, товарищ Лежандр.

И вновь его большая рука потянулась к виску и принялась его мучительно и упорно тереть.

— Вот что забавно! — воскликнул Лежандр, просияв. — У меня был дед: человек бедовый и не лишенный понимания жизни... Он много видел в жизни и умел рассказывать. Послушать его, и точно пелена спадает с глаз: то, что было скрыто от тебя, вдруг стало видимым! Нет, он не был ученым человеком, он был рабочим, но рабочим с замахом, с мыслью! Вот однажды он мне рассказал о своей жизни в Швейцарии, о том, как встречал там иммигрантов из разных стран земного шара. В то время Швейцария была для гонимых островом спасения на большой дороге в океане. Долетишь — останешься в живых, не долетишь — под тобой вода! И однажды дед встретил там русского политического. Как отметил дед, русский оставил Россию и бежал в швейцарские горы, спасаясь от царя. Я же не знаю, что говорил русский деду,

да только дед повторял: «Он все расспрашивал: как живут французы, приезжающие в Швейцарию на заработки... расспрашивал дотошно. Даже не очень понятно: сам русский, а хотел знать про французов...» Дед встретил русского и, казалось бы, должен был забыть: мало ли людей встречает человек, если ему не сидится на месте — дорога! Дед должен был забыть того русского, а не забыл! Почему? Вот почему! «Послушай, Антуан, ты знаешь, кто был тот русский, который расспрашивал меня, как живут французские рабочие в Швейцарии? Ленин! Я увидел его фотографию в газете и опознал! Это — он!» Как припомнил дед теперь, русский не только расспрашивал, но и сам говорил, и прежде всего о том, что свобода рабочих — дело самих рабочих... Короче: дед разбудил во мне и пролетария и человека, а позднее революционера. Такой жажды к грамоте, какая была у нас, нынешние не знают. Мне часто приходится писать разные бумаги: музей — это целое учреждение, хотя в музее я один. Я пишу эти бумаги от руки... Нынешние все пишут на машинке, а я от руки — удобно! Зачем таскать на своем хребте машинку, все сто ее колес, рычагов и катушек, когда рука всегда с тобой — честное слово, удобно! Мои друзья знают мою руку: «Антуан, ты не пишешь, а печатаешь!» Что можно ответить на это? Печатаю! Целые книги напечатал без наборной кассы и печатного станка! Голой рукой напечатал — вот этой... И книгу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и труд Ленина «Государство и революция». Да, составил целую библиотеку из книг, переписанных вот этой рукой. Разумеется, не от любви к искусству гнул спину и скрипел пером — купить книгу было не в моих возможностях, а учиться очень хотелось. Да что говорить? Если решился книгу переписать, представляете, как сильна была страсть к учебе! Это только я один и знаю, что значит переписать книгу!

Вот вам и Лежандр! Честное же слово, не думал, что в середине двадцатого века в центре Европы встречу человека, возродившего одну из самых древних профессий земли — переписчик книг! Вот какого человека я встретил в Париже!

Мне показалось, что Лежандр неспроста рассказал нам о том, как он переписывал книги, — он хотел нас подвести к тому главному, о чем заговорил вначале.

— Собрать воедино самых ученых людей и обратить

их знания на пользу рабочих — вот ленинская идея школы в Париже... Рабочая академия? Да, пожалуй, академия... впервые в истории.

— Он и на Капри поехал с этой целью?..

Лежандр задумался:

— Да, пожалуй...

Мы сейчас огибали парк Монсури, а Елизавета Ивановна вспоминала начало сороковых годов, когда Париж был под немцами — где-то здесь в подполье работал Маньян.

— Я шла через весь Париж, чтобы показать мужу нашего среднего сына Алана — сын рос без отца. Мы сидели с Маньяном поодаль на скамье, а сын играл в мяч. Когда мяч закатывался под скамью, Алан просил Маньяна: «Дядя, достань, пожалуйста, мяч...»

Я продолжал путешествие. Незримо мои мысли были обращены к тому, что я увидел в Париже, что предстояло увидеть в Милане, на Капри... Незадолго до поездки я слушал пластинку с записями речей. Говорили Луначарский, Красин, Петровский, Коллонтай, Шлихтер, Семашко. Я слушал их впервые — впечатление было сильным.

...Да, наверно, это единственный случай в истории, когда политическая партия была и своеобразной академией, дававшей людям представление о мире. Собственно, расчет заключался в том, чтобы человек сбросил с глаз своих пелену невежества, чтобы человек прозрел.

В этом свете, только в этом, мне хотелось взглянуть и на поездку Ленина на Капри. Эта поездка определяла нечто очень существенное, что было свойственно взглядам Ленина на призвание интеллигента в борьбе за новую Россию. Быть может, те несколько дней, которые он провел там, очень помогли ему еще раз осмыслить, как необходима рабочему делу новая интеллигенция — ведь знаменитая рабочая школа в Париже возникла вскоре после Капри. И еще: наверно, к тому, что в страдную октябрьскую ночь 1917 года под кровом Смольного собрались самые могучие интеллекты России, старые и новые, выросшие в пятнадцатилетие, Октябрю предшествующее, из среды рабочих людей, причастен и Капри...

3

В Милане моим спутником был Ивон Басси. Он старый миланец и, очевидно, не раз помогал русским людям в осмотре города. Нетрудно установить, что его спутниками в осмотре города были не столько советские актеры, которых всегда здесь много (Милан — город Ла Скала), сколько люди технической мысли. Маленький, крепконогий, быстрый в походке и жестах, он все, что оказывалось у него на пути, как бы рассекал своими глазами-лезвиями, исследовал и возвращал вам, разъяснив и растолковав, при этом говорил от имени всеобщего «мы», что должно было заменить и Милан, и миланцев, и, не в последнюю очередь, моего спутника.

— А я сказал русским друзьям: «Чтобы обойти эту этажерку, нужен час...» — произносит он, как само собой разумеющееся.

— Простите, вы сказали: обойти... этажерку?..

— Именно... этажерку! Ах, да... я забыл, что вы не инженер и говорите на другом русском!.. Этажерка — завод со всей системой конвейеров... и складов, такой многоярусный!.. Одним словом — этажерка!

Пока я размышлял насчет того, сколько могло бы быть лет моему собеседнику, он вдруг вспомнил, как в Милане был встречен русский Октябрь, и принялся рисовать картины, одну живее другой.

— И вы все это упомнили? — остановил я его осторожно.

Мой спутник рассмеялся.

— Я вам и не то могу рассказать, например как ездил с первой итальянской делегацией в Москву и слушал Ленина...

Вот так и получилось: мы смотрели с ним миланский собор, пытались проникнуть в монастырскую церковь, известную тем, что там находится знаменитая фреска Леонардо «Тайная вечеря», входили в Ла Скала на репетицию «Бориса Годунова», встречались с поэтом Квазимодо, а мой спутник продолжал свой рассказ о поездке в Москву.

— О Милане говорят в Италии: «Все дело в вашем географическом положении!.. Вы — вроде нашей северной обсерватории, поэтому и все европейские новости засекаете первыми! Пока эта новость дойдет по кривой итальянской трубе до Сицилии, вы ее уже ухватили!» А я так ду-

маю, что дело не в том, где расположен Милан, а в том, что он означает сам по себе — у рабочего слух чутче, чем у буржуа!.. Мы и имя Ленина услышали первыми!.. Все, как и в этой войне, началось с поражения. Итальянцев побили под Капаретто — с этого и началось! Я был маляром. Ходил по богатым квартирам и клеил обои. По богатым! А там о Ленине не услышишь! А вот брат мой был старше меня на пять лет и был индустриальным рабочим. Он и спрашивает меня: «Ивон, что такое большевики?» — «Не знаю!» — «А кто такой Ленин?» — «Тоже не знаю!» Вот он и объяснил в двух словах: «Большевики... это по-русски — конец войне!» — «Погоди: а Ленин?» — «Тоже конец войне!» А потом был митинг, и я услыхал эти слова не только от брата: «Да здравствует Россия! Да здравствует серп и молот! Да здравствует Ленин!» Если тысячи людей закричали: «Да здравствует Ленин!», значит, дело пошло к миру, сообразил я. А потом я стал примечать, что друзья мои читают «Аванти» — из нее я все понял о Ленине. Оказывается, Ленин — это вождь русских рабочих и известный писатель: у него есть книги, которые можно прочитать и по-итальянски. Так одну за другой я прочел и книги Ленина: много книг Ленина! К тому времени имя Ленина уже было очень популярно в Италии. Так и звали его: «Друг бедняков — Ленин». Да, это «Друг бедняков» вместо русского имени и отчества. И повсюду в бедняцких хижинах появились портреты Ленина. В одном углу — Иисус, в другом — Ленин. Если не удавалось добыть печатный портрет, рисовали сами. Даже те, кто никогда не рисовал, умели нарисовать портрет Ленина. Один смотрел, как рисовал другой, и делал сам — несколько штрихов, очень простых!.. И вдруг я приезжаю в Москву и вижу Ленина!.. Да, в составе делегации итальянских коммунистов, хотя я был молод, очень молод — двадцать лет!.. Вначале я увидел его среди делегатов — он говорил с ними очень оживленно. Я бы тоже мог заговорить с ним, но у меня не хватило смелости — видно, трудно было решиться на это в двадцать лет! И я всего лишь протянул руку и дотронулся до плеча!.. Вот так!.. А потом я увидел его на трибуне. Я вам сейчас это опишу точно!.. Я находился в коридоре, когда красноармеец, стоящий у дверей в зал, крикнул: «Выступает товарищ Ленин!.. Товарищ Ленин!» И по коридору пронеслось: «Ленин!.. Ленин!..» Когда мы вошли в зал, там было тихо — муха пролетит — слыш-

но!.. Говорил Ленин, он говорил по-немецки. Он вышел на самый край сцены, чтобы ближе быть к делегатам, и говорил, прямо глядя им в глаза. Иногда он шел вдоль сцены направо, а потом налево!.. Возбуждаясь, он поднимал руку, и я видел маленькую дырочку у него под мышкой... О чем он говорил тогда?.. О революционной фразе, об опасности, которой грозят рабочему движению левые... Вы помните: тогда очень досталось итальянцам. А он продолжал говорить, продолжал смотреть в зал. Я заметил: все, что он говорил, было убедительно для делегатов — это было видно по тому, как вели себя делегаты, когда слушали его, — он был авторитетен для них... Революция была его стихией. Революция — дело, которое он сделал самим существом своей жизни... И вот еще я хотел сказать: я не видел больше живого Ленина, но хотел бы сохранить его в своей памяти таким, каким видел в тот раз, — ни фотографии, ни кинокадры как-то не сливаются с моим представлением о Ленине. Не мой Ленин!.. Нет, есть одна фотография, где он очень похож на того Ленина, я хотел бы сказать — моего Ленина. Помните Ленина, сидящего на ступенях, пишущего?.. Там он очень похож на себя!.. И учитель, и вождь, и человек, как все люди, — авторитет его так велик, что ему не надо поднимать плечи и скрещивать руки на груди. Ему нет нужды быть Наполеоном, он — Ленин. Ученый, человек и товарищ одновременно. Одним словом: учитель!.. Прежде всего рабочих, потом всех остальных.

Вот с этим я и уехал из Милана. Никогда не забуду слов Басси: «Одним словом: учитель! Прежде всего рабочих...»

4

Была в судьбе российского рабочего одна черта: труд был для него и прозрением, и борьбой, и школой знаний, а одно и другое — воинственным сбрасыванием оков, раскрепощением. Как ни жесток был труд, он не убил в рабочем человеческое.

Помните кочегара, освещенного незакатным солнцем топки, на знаменитом полотне передвижника Ярошенко? Вон как ссутулила и изуродовала человека его адская работа, но человек не отступил — какая сила в лице, сколько в этом лице и ума, и печальной доброты, и человечности, и веры. Пожалуй, есть нечто символическое в этой фигуре: и муки работной России и вера.

В самом облике его есть что-то от работного человека матушки-Руси и российского пролетария, каким он вышел на баррикады Пресни.

Взглянешь на него и вспомнишь:

и дюжих уральцев, молотобойцев, слесарей, литейщиков, еще вчера крепостных, а ныне работных, доблестных волонтеров мужицкой армии Емельяна Ивановича, поваливших валом на Яик, в отряды названного самодержца всероссийского...

И питерского столяра Халтурина Степана, для которого Северный союз русских рабочих стал союзом гнева. В их знаменитой программе, написанной рабочими, набранной и отпечатанной в рабочей типографии, были слова огневые: «Ниспровержение политического и экономического строя!»

И иваново-вознесенского ткача Петра Алексеева, человека ума недюжинного, трибуна божьей милостью, чья речь на суде 10 марта 1877 года вошла в хрестоматию классовой борьбы. Это его вещие слова потом будет повторять борющаяся Россия: «Подымается мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

И конечно, Ивана Бабушкина. Сын вологодского крестьянина-бедняка, а позднее питерский пролетарий, Бабушкин шел к цели тропами, отнюдь не хоженными. За десять лет, которые легли у Бабушкина между Невской заставой, где он познавал марксизм в кружке, руководимом Надеждой Константиновной, и Лондоном, куда он бежал прямо из александровской тюрьмы, распилив железо тюремного окна, Бабушкин сделал шаг, который в иных условиях человеку не удается сделать за всю жизнь. Наверно, все в необыкновенных данных Бабушкина, в его сметке, любознательности, знании русской действительной жизни, в его недюжинном литературном таланте, наконец. Кстати, он был литературно одаренным человеком и многое мог бы здесь сделать. Его воспоминания, статьи его и листовки обнаруживают и слог и оригинальность мысли. На оригинальность и независимость суждений Бабушкина обращали внимание многие, кому удавалось близко наблюдать его. Надежда Константиновна рассказывает, с каким пристальным интересом слушал Бабушкина Плеханов. Видно, в самом облике Бабушкина было нечто такое, что дополняло представле-

ние о российском рабочем и для бывалого революционера.

Поистине в самом лике кочегара, озаренного странным багрянцем горящего котла, есть нечто, что помогает понять историю рабочей России.

Халтурин, Алексеев, Бабушкин... Вот они проходят перед глазами, рабочие-воители, сумевшие победить великое ненастье российской жизни. Трагические судьбы. Никто не умер своей смертью, всех посек неумолимый свинец самодержца российского. Халтурина по приговору военно-полевого суда, Алексеева по произволу бандита, быть может наемного, Бабушкина — по приказу царского опричника, — да, на далеком полустанке вывели из поезда и столкнули огневым свинцом в открытую могилу. Наверно, во веки веков не поймешь русской революции, если не доберешься до смысла этого факта: рабочего, обучившегося грамоте на последние пятаки, счастливого от одного сознания, что он первым вырвался из тьмы, которая, наверно, простерлась позади него на столетия, без суда и следствия предали смерти и забросали глиной... Ненависть к царю и его опричникам возросла на этой святой глине.

Благодарно было бы проникнуть в самую натуру российского рабочего, постараться постичь то своеобычное, что составляет его характер... Есть в душевной стати нашего рабочего нечто такое, что зовется рабочим хребтом и является той дюжей сваей, на которой покоится характер. Крепка эта основа у российского пролетария — быть может, здесь сказалось само здоровье русской природы, неодолимость расстояний, огромность всего российского — рек и гор, лесов и морей. Где-то на стыке человека и природы, где-то на скрещении великих дорог, где он решился помериться силами с самой ширью и крепостью природы, возник этот работный человек. Как некогда великий господин Новгород, вся Россия имела теперь свои плотницкие, кузнецкие, щитные «концы»: оружейная Тула, посад вороненой и гравированной стали, ситцевое Подмосковье, чугунный Урал, угольный Донбасс, и Москва — разноцветье умельцев редких: и кожевников, и швецов, и краснодеревщиков, и мастеров резьбы, литья, гравюры по металлу и дереву. Правда, капитал российский следовал своей географии: он кроил и перекраивал страну, не считаясь с историей: чугунное государство Демидовых (четверть российского чугуна!), ситцевое — Ря-

бушинских, керосиновое — Аведовых, сахарное — Терещенко... Что-то было в самой натуре российских магнатов от своекорыстной сути деревенских богатеев, из которых многие из них происходили: на заводе, как в деревне, свой суд и своя расправа. Все, что было свойственно молодому капитализму — необузданное чувство собственности, всегда идущее рука об руку с жестокостью, жестокостью изуверской, наследованной у крепостной России, — сказалось здесь в полной мере. Такую эксплуатацию, какая была на Руси, в новое время знал только колониальный Восток. В том, с каким воодушевлением русский рабочий пошел на сильных мира сего, сказалась мера его ненависти и гнева. Наверно, и этим определялась революционность класса, его готовность драться не на живот, а на смерть. Не просто было скрутить эту агрессивно-целеустремленную силу, называемую российским капитализмом. Рабочий скрутил. Было в натуре российского пролетария нечто такое, что выдавало в нем человека, которого готовила, снаряжала в революцию сама жизнь: аскетизм, пренебрежение к опасности, тяга к знаниям, тяга непобедимо-властная, идущая от укоренившейся в народе веры, что свобода и свет суть явления единые. Наверно, эта истина в немалой степени определила и взгляд русских коммунистов на призвание русского рабочего в борьбе. В том многообразии проблем, которые возникают в связи с жизнью и революционным подвигом Ленина, благодарно исследовать эту: «Ленин и российский рабочий». Нет, не только теоретическую первооснову проблемы, но человеческий аспект — отношения Владимира Ильича с рабочими людьми, революционерами и единомышленникам, которых он подвигнул на борьбу за коммунистический идеал. В том, как Ильич строил свои отношения с революционерами из рабочих, было нечто высоко-достойное, Ильичево. Эти отношения были отмечены верой в светлый разум и жизненный опыт рабочего, его революционность, а следовательно бескомпромиссность. Для них была характерна решимость все отдать ради победы общего дела, которое он справедливо считал делом рабочим. И еще одно: Ленин полагал, что для интеллигента, которому дороги интересы революции, нет задачи выше, как поднять к свету рабочего человека.

5

В Риме, в Обществе «Италия — СССР» меня предупредили:

— На неаполитанском вокзале вас встретит Орнелле Лабриолле — с нею вы и отправитесь на Капри...

Я несколько растерялся, когда на неаполитанском вокзале меня встретили две женщины: бронзоволицая и едва ли не бронзовоокая южанка, с виду калабрийка или даже сицилианка, и светлокожая, почти белая северянка.

У смуглолицей было славянское имя: Анна Петрович.

У светлолицей — итальянское: Орнелле Лабриолле.

Первая оказалась итальянкой (Петрович она по мужу).

Вторая — русской, по крайней мере по матери. Ее отец, Артур Лабриолле, умерший семь лет назад, известный общественный деятель, ученый, экономист, итальянский сенатор, хорошо знал русскую каприйскую колонию, бывал у Горького. Впрочем, мне хотелось бы рассказать о семье Лабриолле подробнее — именно Орнелле Артуровна помогла мне увидеть Капри.

Заговорив о своем деде по отцу, Орнелле сняла с груди камею и показала ее мне: «Это работа деда — резьба по кости». Я взял брошь, принялся рассматривать. Да кость ли это? Прозрачно коричневая, будто прослоенная красноватым пламенем, она казалась диковинной. Как объяснила мне Орнелле, это не кость в обычном смысле, а панцирь морской черепахи. В брошь как бы вписан профиль женской головы, вырезанный из кости. Очевидно, резцы были микроскопическими, а сама работа делалась под лупой — на кости не видно следов резца. Старый Лабриолле определенно был художником искусным — то, что я увидел, выдавало и вкус и умение недюжинные.

У неаполитанского костореза было семь сыновей. Наверно, нелегко объяснить, почему самым грамотным из них оказался Артур. Может, потому, что жажда знаний в нем сочеталась с жаждой свободы — у рабочего человека нет большего стимула к учебе, чем желание стать борцом за свободу. В том же Неаполе было немного детей рабочих, которые могли сравниться с Лабриолле в науках: он стал приват-доцентом университета. В Неаполе жили русские политические — дороги свободы привели

итальянца к ним. Русские жили колониями. Такая колония, что птичья стая, неслась из одного края земли в другой, не рассыпаясь, — в стае и беда — не беда. Надежда Скворцова не была политической — она окончила Бестужевские курсы и приехала в Италию лечиться. Нельзя сказать, что женитьба на русской умерила вольнолюбивые настроения итальянца, скорее — наоборот. Молодые стали бывать на Капри — в ту пору там жил Горький, бывали Плеханов, Луначарский, Богданов. Надо думать, что поездки на Капри сыграли свою роль в становлении Артура Лабриолле. А между тем время шло. Революционер, женатый на русской, — до Октября в Италии этого могли и не заметить, после Октября — очень заметно. Когда к власти пришел фашизм, Лабриолле убедил жену вернуться с детьми на родину. Он точно смотрел в воду — не прошло и двух лет, как черные рубашки ворвались в неаполитанскую квартиру Лабриолле и подвергли ее разору. Лабриолле сел на первый корабль, оказавшийся в порту, покинул Италию. Его обнаружили где-то в пути и высадили на Корсике. А дальше жизнь на чужбине — Старый и Новый Свет, и только через двадцать лет вновь Неаполь, освобожденный от фашистов, Неаполь, где его помнили. На выборах в сенат его имя стояло во главе списка коммунистов. Лабриолле умер на руках дочери — дочь возвратилась в Италию...

— Надо пожить в Неаполе, чтобы понять, каких трудов стоило... сыну рабочего обрести знания, пробиться к свету, — говорит Орнелле и смотрит на светящуюся стежку позади корабля — чем выше солнце, тем стежка становится ярче.

— Да, сыну рабочего... в Неаполе, — произносит Анна Петрович с неожиданным волнением — она в семье и за отца, а у нее сын и дочь. Чем-то она напоминает мне Елизавету Ивановну — та тоже на годы и годы осталась одна с большой семьей на руках, у той тоже было две страсти: партия и дети. Даже в облике есть что-то общее: привычка высоко держать голову и скорбный отсвет в глазах. — Для рабочего — спасение в знаниях, — говорит Анна уже совсем тихо, без надежды, что ее услышат.

...А наш катерок стремится вперед. Несмотря на позднюю осень, на солнце жарко, и мы уходим в тень. По мере того как мы удаляемся от берега, море и небо становятся одинаково молочно-голубыми, без линии горизонта.

Поодаль идут к Неаполю корабли, идут, не касаясь воды, точно медленно пролетают.

Где-то здесь шел рейсовый пароход, на котором Владимир Ильич ехал на Капри. Ленин, человек целеустремленной и точной мысли, о чем думал он за час до того, как встали у каменистого каприйского берега будто вкопанные сто взмыленных лошадей корабля? Ленин видел в Горьком сподвижника в борьбе. У Владимира Ильича были к этому основания. Нет, не только боевая позиция в революции — Горький был участником Лондонского съезда. Новый роман Горького «Мать» Ленин прочел в рукописи... Наверно, в этой книге были горючие слезы неуспеха, но была в ней радость веры, радость окрыляющая. «Пролетарий», как задумал его Ильич, должен быть таким: «Именно окрыляющая!» Роман Горького и новая газета... да не единомышленники ли они?.. Вот задача: увлечь Горького идеей «Пролетария» — новый рассказ, рецензия, публицистическая реплика. Имя Горького даст газете не только читателей... Разумеется, Ленин не обманывался насчет предстоящей встречи. Молва-всезнайка утверждает: Горький с его почти суеверной тягой к книге сошелся с богостроителями, кажется, благословенные каприйские камни они избрали своим убежищем. Сошелся с богостроителями? Не верится, чтобы Горького с его земной любовью к рабочему человеку, с его верностью всему насущному, что дарит борьба этого человека за свободу, может прельстить философия богостроителей? Слово-то какое: богостроитель... И вот что любопытно: среди них — Луначарский. Эрудит, друг муз, марксист и... богостроитель... Вот вам причуды нелегкого нынешнего времени!.. Однако Горького надо вызволить из этой беды, да и... друга муз — не грех...

А наш катерок уже перевалил середину пути, и в молочно-голубой дали возник неясный очерк горы, вначале слева, потом — прямо перед нами. Тот, что слева, — берег Сорренто, а прямо, да не Капри ли это?.. Вот если представить себе стежку, которую позади себя оставляет пароход, в виде прямой, пересекающей видимое пространство воды, то один край этой прямой обязательно упрется в остров, что обозначился прямо — значит, это и есть Капри!

И как поведет себя милый... «Феномен», если дело дойдет до рукопашной, чью сторону примет?.. «...соблазнительно... забраться к Вам на Капри!.. К весне же за-

катимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь...» Это он писал Марии Федоровне и Алексею Максимовичу. «Ну, а насчет перевозки «Пролетария», это Вы на свою голову написали. Теперь уже от нас легко не отвертитесь!..» А это уже прямо адресовано Марии Федоровне, вроде партийного поручения... Как поведет она себя, добрый... «Феномен»? Храбро устремится вперед или осторожно умерит страсти — в конце концов Луначарский с Богдановым могли ей импонировать человечески».

А призрачная полоска на горизонте обретает все большую твердость — будто на листе меди вычеканили форму горы и обозначили ее разлом и линию склона... Я смотрю на Лабриолле — ее взгляд обращен на дальнюю скамью — там очерчивается широкополая шляпа монаха.

— Вы... кого-то увидели, Орнелле Артуровна?..

— На днях подходит ко мне монах и протягивает кружку: на храм... А я ему говорю: «А вот я собираю на «Униту». Надо было видеть, как он от меня шарахнулся... Я вот о чем думаю сейчас: во власти живых продолжить то доброе, что делал человек ушедший... — произносит Орнелле Артуровна — она вернулась к рассказу об отце, — сберечь его и свои принципы.

Она все еще не сводит глаз с монаха — глаза ее печальны.

— Когда умер отец, друзья мне говорят: «Послушай, Орнелле, отец твой, конечно, был... человеком передовых взглядов, но у нас и таких хоронят с попами. Это всего лишь похоронный обряд — так принято...» Я сказала: «Нет». Тогда меня пригласил к себе секретарь ячейки: «Послушай, Орнелле, ты не жертвуешь никакими принципами. Здесь так принято». Я сказала: «Нет — мой отец был неверующим»... Тогда меня пригласил секретарь побольше... его можно назвать секретарем райкома: «Объясни, Орнелле, что тебя возмущает?» Я сказала: «Мой отец был неверующим, и я не хочу, чтобы его хоронили с попом. Не хочу, если даже это всего лишь обряд. Они его похоронят с попом, а завтра скажут, что перед смертью он отрекся от своего атеизма...» Мне говорят: «Ты не жертвуешь принципами, Орнелле!» — «Нет, я жертвую принципами, и немалыми!..» Секретарь был умный человек. Он сказал: «Ты права, Орнелле...». Он сказал: «Ты права», а я подумала: «Так и впредь: всем пожертвовать, но только не принципами!»

А катерок храбро движется к горе, отвесно преградив-

шей нам дорогу. Потом вздрагивает, и его вспотевшие лошади останавливаются точно вкопанные. Мы выходим на берег. Пахнет вяленой рыбой. Из раскрытой двери доносится запах лукового соуса. Загорелые каприйские парни с роскошными баками и полубаками приглашают совершить поездку по гротам.

А мы уже выбрались на дорогу, медленно взбирающуюся к фуникулеру, — центр Капри над нами, а вилла Блезус, куда мы направляемся, по ту сторону горы.

6

Помните репинское полотно «Отказ от исповеди»? Помните эту сизо-зеленую тьму каземата, кроткотучную фигуру священника, почти растушованную тьмой, крест в руках священника и человека, сидящего на койке, во взгляде которого, обращенном на тюремного духовника и его крест, нечто гневное, некающееся, злое святой злостью? Наверно, вот таким строптиво-неколебимым мог быть в свой смертный час и Андрей Желябов, и Александр Ульянов, хотя картина Репина и написана за два года до смерти Ульянова? Кто он, этот человек, отвергший призыв к исповеди, сказавший гневное «нет», быть может последнее в своей жизни? Не разночинец ли интеллигент, лишенный и кола и двора, верный и извечный товарищ фабричного?

Сознаюсь, что воспоминание о репинском полотне встревожило память. Подумалось: сколько лет копилась взрывная сила девятьсот пятого года? Десятилетия, а может и столетия? А сколько лет потребуется, чтобы скопить огонь для новой грозы?.. Вот оно, призвание революционера: собрать силы! Всех, кто хранит этот святой пламень революции, собрать воедино!.. Рабочую революционность, а следовательно, бескомпромиссность, страсть, прозорливость спаять с силой, которая с легкой руки Писарева обрела имя «мыслящего пролетария». Это что же значит: «мыслящий пролетарий»?

Кстати, откуда берет начало эта река, по-русски страдная и сильная? Наверно, в той сумеречной дали нашей истории, когда молодой Радищев взял в руки только что сброшюрованный экземпляр своей бессмертной книги, книги огневой, тут же преданной анафеме. Было нечто панически-смешное и трагическое, с каким проворством книга Радищева была прочитана императрицей («Хуже

Пугачева!» — это сказала она) и заточена. Говорят: ни в чем русские самодержцы не были так едины, как в своей ненависти к книге Радищева: от Екатерины до Николая Второго печатание книги было запрещено, истинно потаенный Радищев!

Дети дворников, уездных лекарей, кухарок, учителей, государственных служащих, сыновья и внуки крепостных, а заодно чада мелкопоместных, разорившихся или разоряющихся, армия страждущего городского люда, живущего в гнилых питерских подвалах, под стрехами в неотапливаемых чердаках, на лестничных площадках, в мрачном царстве трущоб петербургских, армия бедного и трудового люда, она вызвала к жизни силу беспокойную и по-своему грозную: российский мыслящий пролетариат. Дети бедных людей, выросшие на свекле, кислых щах, черняшке и тюре (Ее величестве петербургской тюре!), они взросли на ненависти к сановному и сиятельному, полагая, что с ним надо разговаривать только языком огня и железа. То бессмертное, на веки веков неодолимое, радищевское воспрянуло в мыслях и деяниях этих людей и было отлито не столько в слово, сколько в металл, карающий металл.

Наверно, самой сильной для молодого человека была мечта об идеале. Идеале всепокоряющем, способном завладеть воображением. Говорят, у воинственного саратовца на всю жизнь осталось что-то от поповича. Обильно длинноволос, борода «совком» (такую носили молодые старообрядцы), близорук — при чтении текст держит близко у глаз, при этом очки заметно сползают на кончик носа... Не очень-то облик его соответствует внешности властителя дум. Однако он — истинно властитель дум! Если в самом человеке, призванном стать властителем дум, деяние должно соответствовать избранному им идеалу, то это он. Петропавловка, Мытная площадь с обрядом гражданской казни, Нерчинская с Вилюйской ссылка, двадцать лет ссылки, да только ли это? Если же говорить о мысли, то он противник всяческого компромисса (всяческого!) и носитель идеи «красной республики». А как должна быть добыта эта «красная республика»? Воинственный саратовец знает: с помощью народной войны, да, на манер пугачевской, только с иной расстановкой классовых сил, да и по целям своим иной. Замысел благороден: ниспровергнуть державное зло и утвердить свободную российскую республику. Благороден замысел, поэтому он

обладал такой покоряющей силой, поэтому у него так много партизан среди молодежи.

Воинственный саратовец дал много дел официальной России. Чем можно сшибить призыв воинственного саратовца, что противопоставить его мечте — вот вопрос.

Смиренная мечта либерала о западной модели абсолютизма — чем не идеал? Не следует преуменьшать притягательной силы этого идеала. Его носителем в России были люди яркие. Вот хотя бы Борис Николаевич Чичерин. Человек, блестяще образованный, друг муз, к тому же не чуждый делам земным (московский городской голова и отменный хозяин большого имения на Тамбовщине), он ратовал за осуществление принципов, пристойных вполне: ограничение власти самодержца и создание некоего подобия веча. Он также полагал, что государство не должно вмешиваться в отношения между трудом и капиталом, а монарх должен знать свое место в российском государстве. Так или иначе, а молва создала Чичерину репутацию человека, который мог говорить с царствующим домом едва ли не на равных. И вот что интересно: царствующий дом не противился этому. Больше того, когда возник вопрос, кто бы смог смирить огонь и пламя столичного университета, став его ректором, в Зимнем дворце было названо имя Бориса Николаевича. Вот тебе и непримиримый враг царствующего дома, если его зовут этот дом спасать! Чего бы так? Оказывается, любитель муз отнюдь не был врагом абсолютизма, он был врагом всего лишь азиатской формы абсолютизма. Да в Чичерине ли только дело? В России истинных либералов и без Чичерина было достаточно, при этом один колоритнее другого. Великолепно образованные, знающие русскую древность (именно древность) и современную западную культуру (европейская современность начиналась для них с Вольтера), знатоки истории, философии и наук естественных, они были весьма чутки к политической погоде и умело использовали ее капризы.

А романтика освоения новых земель, которой пытался увлечь молодежь капитализм российский, — чем не идеал? Российский буржуа жаждал созидания. Он говорил о романтике покорения природы не без прикрас. Горный инженер — это звучало почти героически. Черная куртка, нечто вроде эполет на черном бархате, фуражка с кокардой — такого предпочтешь и артиллерийскому офицеру. К черту историю и филологию — настало время наук точ-

ных!.. Политехнические институты в Варшаве, Петербурге, Москве, Киеве, Одессе. Молодая Россия строит — вот твое истинное призвание, молодежь!.. Проекты, один фантастичнее другого, фантастичнее и увлекательнее, возникали на просторных полосах российских газет: «Железная дорога из Старого Света в Новый через Сибирь и Аляску», «Тоннель под Кавказским хребтом»! И не столь фантастичные, хотя полные замечательного огня. «Железная дорога к Черному морю через кубанские степи: Армавир — Туапсе», «Новое Баку — нефть у подножья Казбека». Не беда, что романтика служила вначале для укрепления александровской России, потом николаевской — главное, романтика.

А притча о добром хозяине — чем не идеал? Так и гласила притча: хозяин хозяину рознь. Нет, дело даже не в Морозовых и Мамонтовых. Ходила молва: «Хорошо служить у... (имярек)». У него — государство в государстве! С конституцией своей! И действительно было нечто вроде конституции: тетрадка на меловой бумаге из двадцати листиков с точным изложением благ, которые хозяин сулил своему работнику: «Положение о правах и обязанностях служащего в торговом деле Терещенко». Тут и размеры рабочего дня, и лечебная помощь, и даже обеспечение по старости. Хозяин будто говорил работнику: «Государство у вас варварское, а у меня порядок». Хозяин поощрял усердие: «Тот, кто пришел ко мне однажды, пришел на всю жизнь». Нет, это было не голословно: ссуда, которую получал на строительство дома работник, раверстывалась на тридцать три года — жизнь!.. Отец, заслуживший доверие, мог определить на работу сына. Сын, подтвердивший престиж отца, — своего сына. Поистине, хозяин хозяину — рознь!.. Молва работает! Она заарканена прочно: «О какой эксплуатации человека человеком может идти речь, когда я жертвую на Художественный театр?» Что-то было в философии такого хозяина от либерала: он — не против угнетения, он за цивилизованное угнетение.

...Наверно, между тем, как предполагал низвергнуть царствующее зло Александр Ульянов, и тем, как сделал это Ульянов Владимир, есть нечто принципиально отличное, возможно даже несоизмеримое, но главное в этой борьбе было одним: ненависть к самовластию, желание утвердить справедливость. Тверды были тернии мыслящего пролетария, тверды и жестки они были везде и тем бо-

лее в России, однако восхождение это было нередко восхождением к правде. От Радищева к Белинскому, Герцену и Чернышевскому? Да, русская общественная мысль и русское революционное действие прошли именно этот путь. Все истинное, что возникло позже, в частности и прежде всего когорта большевиков, сподвижников и товарищей Ленина, брало свое начало здесь.

И вот две картины встали в сознании: Ярошенко и Репин. Да, полотно с кочегаром — освещенным незакатным солнцем горящей топки, и другое — с отказом от исповеди смертника... Двое на полотнах: рабочий и интеллигент, объединенные общей исторической судьбой, у которой одна цель — социальная революция... Никогда эти люди не были нужны друг другу так, как теперь. Так, очевидно, задача заключалась в том, чтобы собрать воедино одних и других, собрать силы... Ленин ехал на Капри.

7

...Два вагончика фуникулера взбираются на гору, что отвесно встала перед нами. Трос, точно басовая струна, издает громоподобный, грозно гудящий звук. Видно, звук этот отражается в гранях гор, полированных ветрами, ударяется о воду, усиливается самим каприйским небом — такое впечатление, что поют сами горы.

Вагончики поднимают вас едва ли не на вершину Капри — географический центр острова почти совпадает со всяким иным. Именно там своеобразное жилое ядро острова, центр его. Но вот что интересно: горы, что поднялись из воды, точно сжали это ядро, сжали накрепко, и все, что лежало в его пределах, стало почти карликовым: дома, площади, улицы (некоторые из них так узки, что соседи, живущие напротив, могут пожать друг другу руки, не выходя из домов), магазины, кафе, своеобразные грузовые такси, под которые приспособлены двухколесные каприйские арбы, с впряженным в них осликом... И сметая все масштабы... Горький!.. Его почти двухметровая фигура в широкополой шляпе, наверно, была заметна на улицах Капри. Если перевалить каприйский «хребет» и выйти на тропку, идущую сквозь кустарник, она приведет на берег бухты, которая неглубоко врезалась в массив камня. Рыбаки уходили в море отсюда, возвращались тоже сюда. Вот тот камень, стоящий по колено в воде, был облюбован Алексеем Максимовичем — он пробирался к

камию по ребристой стежке и, поднявшись, оставался до того позднего предвечернего часа, пока далеко впереди не обозначится прерывистая цепочка лодок, возвращающихся в бухту. Иногда Горький уходил с рыбаками в море из этой бухты. Так было и тот раз, когда на Капри гостил Ленин — если и суждено было поговорить о сокровенном, лучшего места не найти. Не потому, что каприйские стены имели уши, просто море вызывало на откровенность...

Наверно, есть своеобразная карта каприйских мест, связанных с Горьким. В своем путешествии по Капри я посетил лишь некоторые из них. Мы побывали в пансионе, который был первым прибежищем всех русских, приезжающих на Капри. Здание стоит на гранитном уступе и видно издали. (Уезжая с Капри, я еще долго видел его.) Молодая хозяйка пансиона, церемонно-статная, с чуть-чуть изогнутой «лебяжьей» шеей (при взгляде на смуглолицую хозяйку скорее вспоминается лебедь черный, чем белый), она провела нас по всему пансиону, забавно объяснив, что при Горьком мебель в комнатах была иной. Конечно, тут же хозяйка последовала вместе с нами в комнаты, где стоит эта мебель, заметив, что русской синьоре эта мебель нравилась — действительно, гарнитур был хорош: чуть-чуть подкрашенное грушевое дерево, приятно коричневое, матовое — не кровати, а широкие каприйские лодки... А потом мы вышли на террасу и увидели далеко вокруг и море и остров: белокаменный от обилия домиков, амфитеатром спускающихся к воде, многоступенчатый... Говорят, что Горький любил здесь работать по вечерам. Солнце уже было за горой, и террасу укрывала тень. Каменный пол окатывался водой. С моря уже тянул ветер, ощутимо-мягкий... Отдыхая, Горький смотрел на море. Корабли, идущие к Неаполю, как бы обтекали Капри справа, держась в стороне от острова, но иногда были видны и они, особенно с наступлением вечера... Простор воды и неба, открытый, не заслоненный горами, лежал впереди, и казалось, от этого дышится легче и видится дальше, много дальше ближайшей земли и моря: Россия была там...

...Мы покидаем гостиницу и идем под гору, к морю. Я не заметил, как мы перевалили каприйскую седловину. Да не совпала ли она с центральной площадью Капри, с диковинной чересполосицей его узких и затейливо изогнутых улочек? В отличие от Марина Маре, Большого По-

бережья, улочка, которой мы сейчас спускаемся к морю, пересекает район, который зовется Марина Пиколла, Малое Побережье.

— Мои детские воспоминания о Капри незримо связаны с Марина Пиколла, — говорит Орнелле Артуровна. — Именно эта часть Капри была обжита русскими. Русские каприйцы жили здесь. Дом Горького стоял где-то подле... Помню фотографию, на которой отец с матерью сняты с Горьким на Капри... Видно, было ненастно: на Горьком его разлетайка... Отец бывал на Капри в девятьсот седьмом, когда здесь жил Луначарский...

Мне припомнилось: кажется, в письме к Амфитеатрову, Мария Федоровна писала об этой поре своей жизни на Пиколла Марина — жить, мол, переезжаем из отеля на виллу, то есть попросту в маленький домик в три окошечка на горе у Пиколла Марина. Домик этот — та самая вилла Блезус, в которой Мария Федоровна и Алексей Максимович принимали Владимира Ильича, да и многих других русских: здесь была престарелая Вера Николаевна Фигнер, был В. Г. Плеханов, А. В. Луначарский, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин.

Именно в эту пору бывал здесь и отец Орнелле Артуровны — Артур Лабриолле со своей русской женой Надеждой Александровной Скворцовой.

Много позже, возвратившись в Москву, я, как это бывало многократ прежде, еще некоторое время шел за своими итальянскими впечатлениями, рылся в книгах, пытался прикоснуться к архивным документам. (Психологически это состояние понятно: все, что тебя взволновало во время этого путешествия и задело твою память, ты хочешь привести в соответствие с тем, что ты хотел бы об этом узнать.) В частности, меня интересовало и имя, которое было впервые произнесено на палубе пароходика, идущего из Неаполя в Капри: Артур Лабриолле. Особенно все, что характеризует его русские связи.

Вот что мне удалось узнать. Оказывается, одну из книг итальянца перевел на русский Луначарский, снабдив послесловием. Плеханов отозвался на выход книги Лабриолле статьей, при этом его критические замечания были адресованы и Луначарскому, автору послесловия — об этом идет речь в письме Горького Луначарскому, посланном с Капри. Критическая реплика в адрес синдикалистских взглядов Лабриолле есть и у Ленина — в статье он упоминает имя

итальянца среди других сторонников зарубежного синдикализма. Видно, перевод книг Лабриолле на русский сблизил русских, живущих на Капри, с итальянцем, и они были достаточно осведомлены о жизни Лабриолле. Факт женитьбы Лабриолле на русской был известен семье Горького — об этом пишет Мария Федоровна Луначарскому. «Лабриолле сам предлагал свою книгу о Коммуне для издательства, но раз она в Италии уже вышла и ее гарантировать нельзя, то перевод теряет для него лично всякий интерес... Он только что женился и, кажется, даже отправился в путешествие. В следующий раз он будет давать прямо рукопись, должно быть. Да, знаете ли вы, что его жена — русская, студентка, хорошо знает итальянский язык, и, надо полагать, сама будет переводить его книги. Я об этом что-то уже слышала. Сообщаю на всякий случай для Вашего и других товарищей-переводчиков сведения».

8

И вот вилла Блезус. Мария Федоровна и Алексей Максимович принимали Ленина на этой вилле. Знаменитая фотография «Ленин, играющий в шахматы» сделана здесь. Плетеный столик, за которым сидели играющие, был установлен на террасе. Если пройти на террасу, виден склон горы. Сейчас гора не столь необжита, как в начале века, но, естественно, не утратила очертаний. Кстати, можно представить, где стояла тренога фотоаппарата и шахматный столик. Проигравший в шахматы брал реванш в споре или наоборот?

Все началось с шахмат. Ленин играл, отдавшись стихии поединка, увлеченно, более того — азартно. Это видно и на фото: локти широко расставлены, фигура подалась вперед, ноги не на полной ступне, а уперлись в носки. Волнение поединка передалось и окружающим: позы у них весьма воинственные... А потом шахматы были сметены с доски — пауза была грозной.

— То, что зовется началом века, в сущности начало эры: с открытием радия закон сохранения энергии приказал долго жить... — подал голос Богданов.

Если в природе существовали слова, которые способны воспламенить страсти, то они были произнесены.

Рука была занесена на святая святых материалистического учения: закон сохранения энергии.

Отказаться от этого закона, значит согласиться с самой первоосновой идеализма. То, что за этим последовало, было уже производным: пролетарий призван сотворить своего бога. Он, этот новый создатель, должен утвердиться в самой душе рабочего человека. Пусть он верит в правоту своих идеалов, как его предтечи верили во всевышнего. Кстати, в наших ли интересах противостоять церкви, может быть, надо ее призвать в сподвижники?

Что мог подумать обо всем этом Ленин, для которого материализм был светлым разумом человечества?

Аналитик, во всем пытающийся добраться до корней, наверно, он спросил себя:

Что заставило его собеседников шарахнуться в столь девственную тьму?

Страх, который все еще они несут в себе после поражения революции?

А может, дремучая ночь незнания перед Русью-матушкой, ужас перед ее первосутью?

Однако оппоненты Ленина рвались в бой.

— Нет, вы объясните мне в двух словах, что дает ваше боготворчество? — спросил Ильич спокойно-иронически.

Богданов говорил о том, что с открытием радия понятие вечности материи утратилось.

С той твердой корректностью, которая была в натуре Ильича, он останавливал Богданова.

Он говорил, что открытие радия не изменило первоосновы закона — оно лишь расширило наше представление о разнообразии состояний, в котором вещество может находиться.

Богданов смещал предмет спора— он выхватывал из цепи звено. Он говорил о следствии, не утвердив причины, однако Ленин требовал последовательности — логика была той колеей, на которой Ленин пытался удержать спор — он не давал увести себя с этой колеи.

— Нет, вы мне объясните, почему махизм революционнее марксизма? — стоял он на своем.

Владимир Ильич был один, ему противостояло трое, не говоря о Марии Федоровне и Алексее Максимовиче — не будь они хозяевами, пожалуй, более откровенно приняли бы позицию Богданова.

Он знал каждого из тех, кто ему противостоял.

Знал, что этот человек значит для партии. Видел, как

он поведет себя завтра. Давал себе отчет, есть ли резон за него драться.

Богданов. Даже странно, что считает себя материалистом — чистой воды идеалист. Со своей системой взглядов. Чем больше ее «совершенствует», тем меньше надежд на его возвращение в лоно марксизма. К тому же самолюбив безмерно, поэтому склонен переоценивать и силу своих доводов и свое место в борьбе. Потерян почти безвозвратно.

Луначарский. Его увлечение боготворчеством — от эмоций. Поэтому не так прочно. В полемике он может быть и активнее Богданова, но это не показатель убежденности. Отказ от бога-творца ему не грозит такими катаклизмами, как Богданову. Ему не надо отказываться от толстых книг. Все то, что он написал и пишет, не столько соотносится с богом-творцом, сколько ему противостоит. Наверно, у его увлечения есть свой цикл — три года. Надо запастись терпением и взглянуть, как это будет выглядеть у Анатолия Васильевича в девятьсот одиннадцатом.

Горький. Вот парадокс: казалось, ему не занимать у Богданова ни ума, ни таланта, ни писательского имени, а такое впечатление, что он смотрит на него чуть-чуть снизу вверх. Быть может, это характерно для самоучки, который даже после того, как стал писателем с именем известным, с обожанием, быть может, в какой-то степени суеверным, относился к тем, для кого университетами были отнюдь не длинные российские дороги. Точно желая восполнить то, что не удалось накопить в юности, он все последующие годы старался окружать себя людьми науки — жадно впитывал и то, что заслуживало быть впитанным, и то, что на это претендовать не могло. Где-то здесь ключ к Горькому, к смятению его ума нынешнему и, возможно, не только нынешнему. Однако что способно исцелить его? Время? Нет, пожалуй, дело. Горячее революционное дело, которое делает рабочий человек — его брат единоутробный, его единомышленник.

А Мария Федоровна? Она пошла в революцию из сознания своей миссии, своего призвания в жизни или из понимания вины своей перед собственным народом? Понимание вины было способно повести иных интеллигентов и на плаху, когда сознания, казалось бы, еще и не было. Нет, у доброго «Феномена» школа партии, общение с людьми, которыми революция гордится — Бауман, Кра-

син... Из всех тех, кто противостоял Ильичу на Капри, она может вернуться первой. Немного времени и, пожалуй, снисходительности... и она вернется. Вернется? Да уходила ли она, чтобы возвращаться?

Нелегкую задачу задал Ильичу Капри.

Конечно, легче всего взять обратный билет и устремиться на север, чтобы прерванная фраза была уподоблена грому, вызванному захлопнутой дверью.

Однако поступить так, значит, пренебречь тем насущным, ради чего Ильич прибыл на Капри. Да и не в манере Ильича поступать так, хотя человечески, пожалуй, иногда хочется сделать и так.

Поэтому решение должно учитывать мотивы, быть может, даже и противоречивые: сберечь всех, кого есть резон и возможность сберечь, но не жертвуя принципами и достоинством. Поступить так, значит, защитить интересы дела — это главное.

Трудно вывести формулу, много труднее дать ей кровь и плоть, осуществить ее — да, нелегко парировать и обидное молчание Луначарского, и печальную укоризну Марии Федоровны, и откровенное уныние Горького...

Наверно, прощальная реплика Владимира Ильича немногим отличалась от его реплики, когда он вступил на землю Капри:

— И не старайтесь, Алексей Максимович. Ничего не выйдет.

Этому было свое объяснение: Ленин решил заставить поработать время — про себя он решил, что оно управится...

Ленин уехал...

9

Я уже упоминал: до поездки я прочел речи наркомов, с которыми они обращались к народу. Первых наркомов. Мне казалось, что впечатление будет полнее, если я услышу их голоса: к счастью, записи многих речей имеются. Воспрянули живые голоса, живые — они сообщили впечатлению нечто такое, что бумага утратила. «Ты можешь ничего не знать об этих людях,— сказал я себе,— но достаточно послушать их и их говор, краски говора, интонации, все, что уходит, когда от речи остается только ее текст, многое тебе о человеке расскажут. Нет, здесь неоглядный простор для раздумий о людях. Такой неог-

лядный, что ты невольно спрашиваешь себя: «Как же ты смог писать, например, о Красине, не восприняв его речи на слух? Если говорить о зеркале души человека, то не в меньшей степени, чем лицо, будет его голос. Чтобы познать человека, очень важно его услышать. С этого и должно начинаться знакомство с человеком, при этом и с тем, которого нет уже — в этой связи пластинка с записями ушедших голосов представляется мне достоянием бесценным». Впечатление было сильным. Говорил Красин, Петровский, Коллонтай, Луначарский, Крыленко, Подвойский. Не такие уж пространные речи, а как много в них сказано! Как хороша, к примеру, речь Крыленко, как благородно весом его голос, как точна его фраза, когда он говорит о сущности и задачах Советского государства: «Впервые в мире рабочий класс и крестьянская беднота строят свое государство. Впервые в мире они строят его так, как они умеют, так, как они хотят его строить». А как значительна реплика Николая Подвойского, особенно, когда он говорит о смычке города и деревни, как колоритен здесь его язык. Вот как Подвойский говорит крестьянам о рабочих: «Рабочие на заводах и фабриках вырабатывают кожу, из нее делают сапоги, рукавицы, ремни, хомуты, сбрую. Добывают руду в горах, переплавляют ее в чугун, сталь, железо. В теплых краях рабочие собирают хлопок, тянут нитку, чтобы рубашку из нее крестьянам сшить. Работают топоры, вилы, гвозди, ведра, серпы, молотилки. И так пойдет вкруговую. Рабочий и крестьянин будут кормить друг друга, помогать друг другу, жизнь обставлять». В этом нехитром рассказе знание самого строя народной жизни, умение обращаться к таким образам и понятиям, которые доступны людям деревни, людям труда.

А вот речь Коллонтай, ее обращение к женщинам-работницам: «Рабочий должен понимать, что женщина такой же член пролетарской семьи, как он сам. В коммунистическом обществе мужчина и женщина должны быть равноправны! Без равноправия нет коммунизма! Ведь треть богатств на земле создана руками женщины». И заключительные слова Александры Михайловны: «Ваше место, работницы и крестьянки, под красным победным знаменем мирового коммунизма». Казалось, простые истины, а какие точные слова найдены Александрой Михайловной, чтобы их выразить. Я уже не говорю, с какой покоряющей силой звучит ее голос, за голосом видится

вся Коллонтай, ее изящество, гармоничность, обаяние — это тот случай, когда голос как бы воссоздает физический облик человека.

А как выразителен рассказ Григория Ивановича Петровского, именно рассказ, а не речь. Голос у Петровского глуховатый. Своей русской речи Петровский сообщил и украинскую мягкость, и свойственную южанам неторопливость, и, разумеется, юмор, без которого для украинца нет рассказа. А рассказ Петровского — рассказ о Ленине. Делегаты партконференции решили отметить пятидесятилетие Ленина. Выслушав двух ораторов, Владимир Ильич предложил прекратить речи, а когда делегаты с ним не согласились, поднялся и ушел. Позже Петровского, чей черед председательствовать наступил к тому времени, вызывает Ленин. «Что происходит на заседании?» Петровский ответил, что делегаты выступают с речами, посвященными его пятидесятилетию. «Как, до сих пор? Я очень прошу вас, как председательствующего, принять все меры, чтобы прекратить эти выступления». И вот вывод Петровского: «Владимир Ильич учил нас скромности».

Слушаешь живые голоса наркомов и думаешь: какое разнообразие судеб, профессий, характеров, дарований. Как ярко каждый из них проявил себя на своем посту и с каким воодушевлением трудился! Здесь интеллигенты и здесь рабочие, ставшие интеллигентами. Я скажу больше: рабочие, которых подвигнула к свету партия коммунистов, став школой их бытия, душевной и духовной зрелости, а заодно и школой знаний. В том, как в памятный октябрьский день, когда прозвучал вечевой колокол нашей истории, Ленин собрал этих людей, сказался его взгляд на призвание российского рабочего и интеллигента, на их роль в Республике Советов. В этом был один из краеугольных камней политики Ленина. Следует помнить, что великая Октябрьская победа была добыта и благодаря этому. Повторяю, в этом свете, только в этом, мне хотелось взглянуть и на поездку Ленина на Капри.

10

Мы идем каменистой каприйской дорогой под гору, время от времени входя под круглые зонты пиний и выходя на солнце. Я заметил: когда Орнелле Артуровна взволнована, ей больно смотреть и она щурится.

— То, что зовется «рабочей интеллигенцией»... для той же Италии... проблема многотрудная. Не знаю, как мой дед смог дать образование сыну, но сейчас на это отваживаются немногие. Послушайте: в неаполитанских рабочих семьях много детей. Как на востоке: семья с тремя детьми считается малодетной. Все больше шестеро, а нередко и до десяти. Наверно, действует традиция, существующая на сельском юге Италии: семья, как армия, выживает самая большая. А выжить мудрено, если семья постоянно под огнем жестокой нужды. Я знаю одну такую семью, в ней только шестеро детей. Вот как живет эта семья: дети уходят из дому на весь день — их кормит город и, пожалуй, море. Дети помогают портовым рабочим и рыбакам. Все дети от мала до велика. Голодают жестоко и... пытаются учиться. Старшая ухитрилась даже окончить техникум. В условиях Италии это почти чудо. Одни учебники требуют ежегодно суммы, для рабочего человека фантастической: пятьдесят тысяч лир. В высшей школе к этому прибавляется еще сумма за правоучение: шестьдесят тысяч. Но предположим, что молодому человеку, одному из тысячи, удалось окончить высшую школу, есть ведь такие уникумы — новые Леонардо! Перед таким молодым человеком — дилемма: выбиться из нужды... и отблагодарить родителей, а заодно братьев и сестер, за годы лишений... или пренебречь этим и пойти по пути борьбы...

— А какие силы борются за этого нового Леонардо! Есть силы, заинтересованные в его ...энергии, знаниях, интеллекте в конце концов?

— Еще бы!.. Казалось бы, само слово «интеллигент» является производным от таких благородных человеческих понятий, как «знание», «просвещение», «свет». Священный ореол, которым было окружено представление об интеллигенте, отсюда — человек, несущий свет. Однако еще Маркс указывал, что буржуазия лишила ореола все роды деятельности, которые до этого считали почетными: юрист, врач, поэт, человек науки. У нас не говорят «капиталист» (это компрометирует), у нас говорят «патрон». Так вот этот всесильный патрон кровно заинтересован в развитии науки — разумеется, своей науки, сулящей ему процветание или, проще говоря, прибыль. Поэтому патрон пытается завладеть всем истинно талантливым. Патрон понимает, что не просто заставить молодого Леонардо закрыть глаза на это, но патрону удается завладеть

психикой молодого человека, если не силой доводов, то соблазнами. Вот и получается: человек часто отказывает себе в куске хлеба, но старается окружить себя атрибутами счастья. Никому неведомо, как человек ел сегодня, но все знают, что у него нет телевизора... Рабочему делу очень нужна рабочая интеллигенция... Всегда была нужна, но сегодня больше, чем всегда... Везде нужна, в Италии, так кажется мне, больше, чем везде... Но еще живы предрассудки...

— Какие именно, Орнелле Артуровна?

— Есть интеллигенты, которые склонны противопоставлять себя рабочим, как, очевидно, есть рабочие, которые не доверяют интеллигентам, считают их белой костью, а призвание одних и других объединить усилия... в борьбе за идеал. Я верю в призвание интеллигентов из рабочих. Такой интеллигент соединен со своим классом кровью. Я понимаю, как важно поднять к свету рабочего. Да только ли понимаю это я? Вот что интересно, — говорит Орнелле Артуровна, глядя на свою подругу. Анна Петровмч ловит каждое ее слово. Она знает: то, что скажет Орнелле, важно и для нее. — В итальянской высшей школе и сегодня не много детей рабочих. Те, которым удается получить образование, став юристами, учителями или, тем более, инженерами, уходят от борьбы...

— Страшат... лишения, которые сулит жизнь революционера?

— Возможно, и лишения...

— Но ведь они были и прежде?..

— Да, но прежде ...человек был душевно сильнее, больше подготовлен к борьбе, — произносит она, не сводя глаз с подруги. — И потом: были подвижники, люди, которые считали за благо жертвовать собой... Впрочем, они есть и сейчас: коммунисты-подвижники, жертвующие всем ради счастья рабочего человека. Нам не надо бояться этого слова: подвижник... Это хорошо, если человек... подвижник... Я вам говорила о Вэтэре Фердинандо?

— Нет, Орнелле Артуровна.

— О, Вэтэре Фердинандо!.. Он — коммунист... То, что он сделал для рабочего Неаполя, — бесценно. Я вам сейчас объясню. Так уже повелось, что дети рабочих получают на лето переэкзаменовку, а осенью сдают экзамены и часто безуспешно... Не случайно, что именно осенью многие из них покидают школу. Из отчаяния, а может быть даже из неверия в свои силы. Что сделал Фердинан-

до?.. Он создал летнюю школу для таких детей. Нет, не бесплатно, но ...почти бесплатно! У него молодые учителя, наверно, тоже из рабочих семей, такие же подвижники, как и он! Если бы вы знали, сколько людей они поставили на ноги!

— Это благотворительность или нечто большее?.. У них есть политический идеал?..

— Именно, идеал! Вэтэре Фердинандо — коммунист... много переживший в своей жизни человек!.. У рабочей Италии есть свои идеалы, да и у Вэтэре Фердинандо они, я думаю, есть... Помните, Джованни Пароди?.. Да, тот знаменитый рабочий, который в двадцатом встал во главе стачки, рабочие захватили туринские заводы и двадцать дней правили от имени рабочего класса!.. Пример Пароди и его товарищей помнит рабочая Италия.

Я смотрю на Петрович: ее темные глаза светятся в густой итальянской ночи — то ли восприняли блеск моря, то ли подожжены огнем, заключенным в словах подруги. У Анны Петрович своя нелегкая дума: у нее большие дети, завтра им выходить в люди, какой дорогой идти?..

— Нужно немало мужества, чтобы стать борцом за человеческое счастье... ниспровергателем, — говорит Орнелле Артуровна.

— И эти борцы есть?

— Идет процесс прозрения. Как трава в засушливую весну: прорастает трудно, а однажды глянешь вокруг: поле зеленое!..

Наш рейсовый катерок шел от Капри. Пришла ночь, однако на открытой палубе было тепло. Мои спутницы сидели, близко придвинувшись к правому борту. Где-то впереди должны были появиться неяркие в ранних сумерках огни Сорренто.

...А ночь становилась лилово-синей, потом иссиня-черной. Далеко позади размылись и слились с ночью контуры Капри...

ДОРОГА ТРЕТЬЯ

ОДИН ДЕНЬ В ЖИЗНИ ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА

Если верно, что писатель, работая над книгой, видит перед собой вполне конкретное лицо, то для автора «России во мгле» этим лицом был Ленин — система доводов, к которой обратился писатель в своих русских записках, как бы адресована Ленину.

Но вот вопрос: читал ли книжку Уэллса Владимир Ильич.

Оказывается, читал и оставил пометки на полях книги, в высшей степени любопытные...

Хорошо помню, какое впечатление произвел этот ленинский документ, когда однажды он был доставлен в редакцию «Иностранной литературы», разумеется, в фотокопиях, и возник вопрос об его опубликовании. Ты точно стал свидетелем новой встречи Уэллса с Лениным. Да, будто увидел, как Ленин протянул руку к свободному креслу слева от себя и, придвинувшись к собеседнику ближе (как на фотографии, запечатлевшей их первую встречу), приготовился слушать. И спор был продолжен. Страницы книги с пометками Ленина сберегли нелегкие перипетии этого спора. С большим интересом я рассматривал фотокопии страниц книги, стараясь проникнуть в своеобразный язык ленинских пометок.

Пометки Ленина на книге Уэллса мне были интересны тем более, что они, как мне казалось, вскрывали самую суть спора, происходившего в душе писателя, обнаруживали конфликт между принципами его веры и непосредст-

венным видением, самоличным, выражаясь старорусски, впечатлением.

Как теперь установлено, встреча Уэллса с Лениным имела место 6 октября 1920 года. Ну что значит один день в жизни писателя, прожившего восемьдесят лет? Да не переоцениваем ли мы значения этого дня в многотрудной и многотерпеливой жизни художника?.. Сколько я ни возвращался к ответу на этот вопрос, столько говорил себе: нет, не переоцениваем. Нечто большое пресеклось в жизни Уэллса в этот день и возобладало. Заманчиво было проникнуть в суть происшедшего. Я понимал трудности, с которыми связана такая попытка, однако ставил перед собой скромную цель: сделать шаг первый... Мне казалось, что день этот откроется мне тем полнее, чем дальше будет исходная позиция, с которой я начну исследование. Короче: заманчиво было повторить маршрут Уэллса. Слишком много лет прошло с тех пор, как писатель совершил свою русскую поездку. Кажется, время обрело способность не только размолоть железо и камень, но и начисто вымыть сам воздух, которым событие дышало. Правда, есть на свете своеобразное восьмое чудо, которому под силу преодолеть даже губительную инерцию времени: способность литератора вызвать к жизни событие, когда, казалось, оно уже обращено в пепел. Вызвать силой воображения, силой образного мышления. Но всемогущее чудо действует на ограниченной площади: в романе оно всесильно, в очерке — не в такой мере. Однако, если нельзя вернуть событию его краски, быть может, есть возможность воскресить мысль, которую это событие несет—ведь она, эта мысль, чем-то похожа на гранит, который строители считают практически вечным камнем. Итак, что было первопричиной русских интересов Уэллса, почему они с такой силой воспрянули осенью 1920 года и как они, эти интересы, перекликались со всем тем, что писатель считал своей верой?

1

Кембл Крейтон, бывший моим гидом в походах по английской столице, показывал мне Лондон Диккенса. Сухопарый, с острыми локтями, в свои почти шестьдесят лет сохранивший статность, мой спутник был чем-то похож на Антони Идена. Быть может, виной тому«английские» уси-

ки Крейтона, ярко-черные, заметно нафабренные, которых он касался время от времени длинными пальцами.

Помню, что целью наших путешествий по Лондону были и кварталы особняков, укрытых многослойной зеленью, — особняки были крепостями и обителями державной викторианской бюрократии. И кварталы доходных домов — прибежище бедняков. И кварталы домов-контор, где творят свой правый суд диккенсовские стряпчие и писцы. Казалось, эти дома-конторы, однообразно двухэтажные, короткоспинные и коротконогие, если так можно сказать о домах, с величественными цилиндрами труб на крышах (и респектабельность и рост — от цилиндра), замерли в почтительном молчании, точно где-то в пролете улицы возник громоздкий кэб состоятельного клиента.

— Как видите, Лондон Диккенса — вокруг нас, — произнес Крейтон, смеясь. — А вот как вы посмотрите на мир Уэллса? Он, этот мир, так далек, что даже не верится, что его сотворили где-то здесь...

— Вы хотите сказать: что Лондон не то место, где познается мир Уэллса? — спросил я.

Мы шли где-то северо-западной окраиной Лондона, и Крейтону стоило труда смирить размах длинных рук.

— У каждого писателя есть свои исследователи-энтузиасты, исследователи-читатели и почитатели. В Лондоне они есть и у Уэллса, при этом преимущество их перед московскими в том, что они могут соотнести роман с миром, в котором Уэллс жил, — Крейтон улыбнулся. — А этот мир существует, хотя обнаружить его нелегко...

— Вы имеете в виду конкретное лицо, когда говорите о таком энтузиасте-исследователе Уэллса?

— Да, я имел в виду некое лицо, но должен проверить.

В этот же день вечером Крейтон позвонил мне в гостиницу и сообщил, что завтра в десять утра Уильям Бегли ожидает меня у себя дома. Крейтон сообщил, что Бегли — почитатель Уэллса и обладатель единственной в своем роде библиотеки из произведений писателя.

— Бегли — инженер-электрик или... астроном? — спросил я Крейтона.

Казалось, мой вопрос озадачил его.

— Простите, а почему же он должен быть инженером или даже... астрономом?

— Но как же иначе?.. Ведь он же энтузиаст Уэллса — он обязательно должен быть человеком... наук математических.

Крейтон рассмеялся.

— К сожалению, его лишь наполовину породили науки точные: он — архитектор.

Мне показалось закономерным, что человек, собравший уникальную библиотеку Уэллса, — архитектор, представитель специальности, которая соединила в одном лице науку и искусство. Ведь и Уэллс тоже в своем роде архитектор — в его лице соединилась математика и живопись, правда, не просто живопись, а живопись словом, но это уже не так важно.

В условленное время я был у Бегли. Меня встретил небольшой человек, спокойный и задумчиво-неторопливый — на нем была серая куртка, сшитая из толстой ворсистой материи, больше, пожалуй, осенняя, чем летняя, — с утра непогодило. Он извинился, что не сможет сию минуту уделить мне внимание (у моего хозяина — гость неожиданный — оказывается, это бывает и у англичан), и проводил меня в библиотеку.

— Вот мое богатство, — сказал он, указывая на полки с книгами. — По-моему, это одно из самых полных собраний Уэллса.

Наверно, Бегли был младше Уэллса лет на двадцать. Это расстояние необходимо было ему, чтобы постоянно иметь Уэллса в поле зрения, не упускать его из виду, скрупулезно отмечая каждый его большой и малый литературный успех, при этом, если это была книга, брошюра, журнальная публикация, газета, это находило отражение в библиотеке Бегли. Он точно шел за Уэллсом годы и годы, заботясь о том, чтобы то ценное, что совершал писатель, не расплескалось и не пролилось; все собрать в невидимый ковш.

Бегли задерживается со своим гостем — он точно хочет, чтобы время для первого осмотра библиотеки было у меня достаточным. Если девиз, обозначенный на экслибрисе, подсказан Бегли его жизнью, то мой хозяин натура деятельная: «Стремись совершить, и господь будет с тобой». Говорят, что первое впечатление всегда предпочтительнее. Как я убедился позже, первое впечатление было близко к истине и в данном случае. Именно в ту первую

встречу с Бегли и его сокровищами я подумал: очевидно, молодость Бегли и пора наибольшего увлечения коллекционированием Уэллса совпали у него с расцветом творчества писателя — иначе такой коллекции не соберешь. В библиотеке Бегли достаточно полно представлен Уэллс начала века, в первую очередь романы писателя: «Наяда», изданная в 1902 году, «Спящий проснется» — 1906-й, «Брак» — 1902-й, «Супруга Исаака Нормана» — 1914-й. И не только романы, но многое из научной публицистики Уэллса, в жанре которой, как известно, Уэллс работал всю жизнь и был большим мастером: «Влияние научного и технического прогресса на человеческую жизнь — опыт предвидения» (год напечатания — 1902-й), «Открытие грядущего» (тот же — 1902-й). В том, как Бегли собирал Уэллса (все было одинаково ценным: роман и текст предвыборной речи писателя, произнесенной в университете, многотомное собрание и пятицентовая брошюрка в яркой обложке), сказался и вкус Бегли, и его понимание задачи, которую он перед собой поставил: в его библиотеке должно быть представлено все, что имеет на титуле имя Уэллса.

Бегли закончил разговор и вернулся в библиотеку — он все еще был в своей теплой куртке, хотя туман расступался — день обещал быть ясным.

— Что руководило вами, господин Бегли, когда вы начали собирать библиотеку?

— О, на этот вопрос не так просто ответить!.. — почти воскликнул он. — Я видел, как несовершенен наш мир, и с годами тяжелее переживал это... А человек должен видеть свой завтрашний день. Дело даже не в том, что он хочет прожить больше остальных людей, нет. Он хочет жить сегодня, а это, поверьте мне, невозможно, если ты не видишь день завтрашний!.. Мне казалось, что такой человек, как господин Герберт Уэллс, поможет мне узреть будущее, ожидающее нашу старую планету!.. Нет, не только тем, что обладал талантом фантаста, но и тем, что умел улавливать все новое, что возникает на нашей планете сегодня...

— Вы имеете в виду и его поездку в Россию?

Солнце за окном становилось все ярче, и мой хозяин расстегнул пуговицу куртки.

— Да, разумеется, я говорю о России. Вы представьте положение писателя: пока он мечтал о будущем человечества и строил свою гипотезу о дне грядущем, на нашей

грешной земле родилось государство, которое всем своим обликом заявило, что именно оно и представляет день грядущий. Мог ли такой человек, как Уэллс, устоять перед тем, чтобы не отправиться... в это государство будущего! Время было нелегкое, грядущее могло и не устроить его...

Бегли пошел по комнате — в ней становилось жарко, и Бегли это почувствовал первым.

— Нет, это было не столько разочарование, сколько непонимание.

— Вы полагаете, что он был во многом провидцем, во многом — не во всем... Вы имели в виду и его книгу о России?..

— Да, пожалуй, хотя по себе знаю: уяснение того, что совершила Россия... требует времени,— он умолк, устремив глаза на книги — что-то поверял он им в эту минуту, что-то тайное, что не мог произнести вслух. — Мне всегда думалось: все, что сделал Уэллс, прямо относится к вам, быть может, даже вам это адресовано больше, чем нам. Для нас это фантастика, для вас... насущно...

Как ни прозрачна была последняя фраза Бегли, мне показалось, что она нуждается в разъяснении. Быть может, потому в разъяснении, что была недосказана. Должно было пройти какое-то время, чтобы он ее досказал.

2

— Вот великий парадокс искусства, — сказал Крейтон, когда в очередной раз мы заговорили с ним об Уэллсе. — Художник живет с нами в одном мире, в одном городе, на одной улице, можно допустить даже, что в одном доме. Он дышит одним воздухом с тобой, видит то, что видишь ты, а вот он перенес виденное на страницы книги, и ты вдруг обнаруживаешь: оказывается, он жил в каком-то ином мире, и твой мир, твой город, улица, дом не имеют к этому ровно никакого отношения, хотя географически носят то же название. У художника свой мир, в самом точном смысле этого слова: свой. Он даже окрасил его в какие-то свои краски, которые ты никогда не увидишь, сколько ни смотри вокруг... Я подумал об этом, когда в начале лета был в Стратфорде. По случаю большой шекспирской даты там открыта выставка — на этой выставке

эта мысль выражена зримо. Впрочем, что нечто большее, чем выставка,— закончил Крейтон.

Я знал, сколь сдержан в своих суждениях Крейтон, и его оценка некоего зрелища в Стратфорде увлекла меня, тем более что она имела прямое отношение к интересной мысли Крейтона об Уэллсе. Очевидно, о нашем разговоре Крейтон обмолвился дома, и жена его захотела не только мчаться с нами в Стратфорд, мчаться немедленно, но вызвалась даже сесть за руль — в рыцарской Великобритании автомашинами управляют жены. Мы выехали из Лондона в Стратфорд в ливень, и все сто шестьдесят миль, отделяющие Лондон от Стратфорда, стена ливня стояла перед нами, однако храбрая женщина за рулем нашей машины была выше всяких похвал — она пробилась к Стратфорду.

— Вот... это здесь,— произнес Крейтон, когда мы въехали на площадь, спускающуюся к Эйвону, и указал на сарай, занимающий почти всю территорию этой площади. Я взглянул на сарай: без единого окна, тщательно обшитый свежим, еще не успевшим потускнеть тесом, он, казалось, не пропускал ни единой капельки дневного света. Нам предстояло войти в ночь. Мы купили билеты, запаслись храбростью и предводимые отважной миссис Крейтон переступили порог того, что, как мы убедились тут же, имеет весьма отдаленное отношение к английскому понятию «экзибишн», а к русскому «выставка». Да, мы вошли в ночь, вошли внезапно без того, чтобы увидеть зарю вечернюю, и вышли из ночи, сопутствуемые отнюдь не зарей утренней. Три часа мы шли через шекспировскую Англию, шли какой-то своей стежкой, мудреной, нередко трудной, но всегда... до остановившегося дыхания интересной. Я не оговорился: через шекспировскую Англию... Казалось, где-то на распутье времен бросили капкан и вместе с полуночной тьмой и запахом мокрой травы ухватили кусок английского средневековья и, обернув его в мешковину и фанеру, заколотив досками, приволокли его на большую площадь Стратфорда. И заветный короб сберег все: и звук пастушеского рожка, звук мелодичный, который, точно незримый поводырь, осторожно ступает где-то впереди вас. И крики мальчишек на сельской околице, вперебой с кудахтаньем кур и ржанием стреноженных коней. И благоговейную тишину покоев Вестминстера, где щедрая рука королевы одаряет вельмож. И набережную Темзы, куда вы неожиданно выходите и останавливае-

тесь, внезапно застигнутые видом средневекового Лондона. И своеобычный облик театра «Глобус», где, поместившись на дощатом полу, вы смотрите «Гамлета», вернее, «Гамлета» слышите — в театре звучит только речь. И могучее древо жизни, огромное, слепленное из папье-маше древо, в обильных ветвях которого сплелись, объятые экстазом веселья и мук, шекспировские герои — они грозно вопрошают, просят о снисхождении, неистово заклинают, вздымают черные руки к небу, плачут, закрыв лицо ладонями... Мир Шекспира!.. Да, его мир, только его — этот мир не спутаешь с другим... у него поистине свой цвет. И ты вдруг вспоминаешь, что все эти три часа, пока ты шел через ночь, на тебя смотрели эти люди, отовсюду смотрели... и вели с тобой немой разговор, разговор нелегкий, о чем-то таком, что издревле было сутью бытия и что могуче взрыл и навечно облек в нетленную плоть художник... И еще: когда ты уже готовился покинуть стратфордский сарай, заполненный тьмой, ты вдруг увидел глядящие в упор глаза: скульптура, последняя в серии удивительных скульптур из папье-маше, какие ты видел здесь... Сидел человек во тьме и смотрел на тебя, смотрел со всей силой своих раздумий и точно требовал: подумай, человек, над тем, что ты видел... не отстраняй спасительной чаши, что великодушно протянул тебе художник, донеси ее до сухих губ, испей...

И вновь лил ливень, сплошной, тревожно гремящий, и храбрая женщина мчала нашу машину по старой стратфордской дороге. То, что мы увидели в сарае на берегу Эйвона, отняло у нас все слова — разумеется, это была не выставка, в традиционном смысле этого слова, — это было явление искусства, новое по жанру, рожденное способностью человека к образному мышлению, очень эмоциональное, в своем роде ярмарка искусств, в которой соединились и живопись, и скульптура, и музыка, и архитектура, и, разумеется, литература с театром... И в центре этого действия — Шекспир, мир его характеров, его, Шекспира, мир... не было бы того своеобразия, какое несет с собой великий художник, вряд ли бы это состоялось...

— Именно об этом думалось, когда мы возвращались из Стратфорда, думалось — не говорилось. И только где-то неподалеку от Лондона, когда справа в расступившемся тумане возникли остроконечные башни Виндзорского замка, Крейтон заговорил, заговорил так, будто бы ви-

денное в Стратфорде было не три часа тому назад, а только что:

— Теперь вы понимаете мою мысль: сколько художников, столько миров они несут в себе, хотя, казалось бы, в мире существует только один мир... Теперь представьте себе этакий же стратфордский сарай, населенный героями Уэллса, — от одной мысли дух захватывает! А ведь в нашем сознании этот мир существует. Больше того: при всем фантастическом облике этого мира мы считаем его земным...

— Как вы полагаете, друг Крейтон: почему?

Теперь я видел, что мы несколько совладали со стратфордскими впечатлениями и могли говорить на иные темы.

— Почему? Уэллс был... сыном земли. И интерес его к общественным проблемам определен тоже этим: сын земли? Только подумайте: писатель-фантаст, показавший нашествие марсиан на землю, едет в Россию, чтобы встретиться с вождем революции... Это способен сделать только очень земной человек...

— Земной?

Несколькими днями позже мы были с Крейтоном на приеме в советском посольстве. Прием происходил по случаю приезда в Лондон балета Большого театра. Гастроли уже начались, как всегда, здесь у «большого балета» с успехом немалым, ими была полна вся лондонская пресса, и прием в посольстве был достаточно представительным.

Как ни велико было число гостей, но первого часа было достаточно, чтобы каждый из них нашел в этой массе приглашенных своего собеседника. Гости разбрелись по зданию и саду — беседы происходили в самых неожиданных местах. Моим собеседником оказался Конни Зиллиакус, который слывет в лейбористских кругах как «крайне левый, едва ли не красный». Мы познакомились накануне в посольстве на просмотре документальных фильмов. Пока на экране удерживались Палех со Мстерой, мой собеседник был в добром настроении, однако, как только возникли очертания танков на более чем мирном майском параде, он затревожился.

— Я понимаю, что в наше смутное время такое обилие военного железа необходимо, но зачем его показывать на экране?.. — произнес Зиллиакус. Как мог, я пытался ему

разъяснить, что он неправ — и наши враги и друзья должны знать, что дело мира небезоружно.

Наверно, наша беседа на просмотре фильма прошла для моего собеседника не бесследно, потому что, встретив меня, он заметил:

— А все-таки мне больше нравятся мирные сюжеты на наших экранах!.. Однажды мы смотрели с моим другом Уэллсом хронику о конезаводе где-то на русском юге! Ах, какое это было зрелище!.. Уэллс любил смотреть ваши фильмы на мирные темы. Он говорил, что нигде здоровое начало человека не выражено так полно, как в России.

Наверно, внимание к тому, что вдруг обнаружил мой собеседник, воодушевило его, и мы пошли в сад.

— Я познакомился с Уэллсом в Британском музее, где он появлялся вдруг, чтобы полистать подшивку «Таймс», датированную концом века, — продолжал мой собеседник, увлекая на дорожку, которая была не так людна. — По-моему, это было уже после его второй поездки в Россию... Несмотря на возраст, весьма почтенный, он сохранил в одежде известную меру изысканности и изящества, которая скрадывала и возраст, и полноту. С годами он светлым костюмам предпочитал темные, иногда в полоску, обязательно с жилетом, а галстуку — «бабочку», которая в Англии выглядела не столь старомодной, как в Европе, — в одежде Англия была всегда консервативнее Европы. Он листал подшивки «Таймс» быстро, пробегая по вертикали статьи, ненадолго останавливаясь на хронике. Казалось, что это путешествие по страницам газеты никому не могло быть Уэллсом передоверено по той простой причине, что целью такого путешествия было желание оживить в сознании черты времени, не дать закоснеть памяти, оттолкнуть старость — она ведь начинается не столько с утраты сил физических, сколько умственных, в особенности памяти... Для такой солидной энциклопедии человеческих знаний, какую являл собой ум Уэллса, все это, наверно, было насущным. «Это была... гимнастика памяти?» — спросил я Уэллса, когда мы встретились с ним однажды в кулуарах парламента. Он сделал большие глаза, произнес не без обиды: «Да нет же... я просто собирал приметы времени. Ну, знаете, как у нас собирают вереск или ландыши». Я подумал: наверно, своим замечанием я тронул чувствительную струну. Старик и мысли не допускал, что нуждается в какой-то там «гимнастике па-

мяти» — он был щеголем и порядочным задавакой не только в одежде... В парламенте мы иногда встречались с Уэллсом за трапезой. Социалист по своим взглядам и, пожалуй, по происхождению, он был истинным тори... за столом. Его меню всегда отличалось изысканностью: белая рыба под грибным соусом, кусок мяса по-английски со стаканом красного вина. Иногда перед обедом рюмка водки, реже виски с сандвичем, прослоенным паюсной икрой. Он любил ходить пешком — это давало ему силы. Раза два мы выходили с ним из парламента вместе и, спустившись к реке, шли вдоль берега. Лондонцы знали его в лицо и, опознав, останавливались, уперев в него глаза, полные любопытства. Но встречи на улице не вызывали у него смятения: он снимал шляпу и, церемонно раскланявшись, продолжал путь. На берегу, как обычно, было ветрено, и однажды ветер сшиб с него шляпу. Наперегонки с юношей газетчиком я бросился за шляпой, однако услышал сзади сердитый окрик Уэллса: «Вы не сделаете этого — я хочу сам!» И действительно, он воинственно устремился вперед, держа перед собой палку, и поймал шляпу, которая со скоростью колеса стремилась к реке. Однажды мы зашли с ним в книжный магазин. Кажется, Уэллс намеревался купить только что вышедшую книгу по истории Египта. Но прежде чем он это сделал, покупатели, опознав его и разыскав в магазине книгу Уэллса (кажется, это было дешевое издание «Машины времени»), протянули ему с просьбой надписать. Писатель извлек массивное стило и принялся надписывать. Как ни спешил Уэллс покинуть магазин, он каждую книгу надписал тщательно. Помнится, эти надписи были не стандартны, и в каждой была капелька юмора — видно, все, что он делал, он делал основательно. Я видел Уэллса на трибуне — это было в пору, когда он баллотировался в парламент от округа, к которому принадлежал университет. Он написал текст речи и даже вооружился очками, чтобы прочесть, однако забыл про текст и очки, уложив их в кожаную папку, а потом сымпровизировал речь, довольно яркую. Както я увидел его на Пикадилли, он шел об руку с девушкой — быть может это была его юная читательница. В руках у девушки были цветы, ярко-белые. Казалось, это было вчера — он еще был совсем бодр и в этой прогулке по Пикадилли со сверстницей своей внучки, а может с самой внучкой, вспомнил начало жизни и был счастлив...

Я был благодарен моему собеседнику — рассказ его бесхитростен, но в рассказе этом я увидел черты живого Уэллса.

— В общем, он был земным человеком, совсем земным, — закончил свой рассказ мой собеседник, не подозревая, что произносит то же, что незадолго до него сказал Крейтон.

Я вспомнил разговор с Крейтоном, воспроизвел его замечание о мире Уэллса, отмеченном своими красками, самим своим обликом.

Мой собеседник задумался:

— Да, несомненно, у него был свой мир, но этот мир Уэллса лежал вне пределов мира, который обычно видит человек и, пожалуй, видел человек. Скажу больше: он сделал то, что, казалось, человеку сделать невозможно: он разомкнул поле видимого, отодвинул горизонты. Поднялся так высоко, как человек не поднимался до него, и дал возможность человеку увидеть такое, что извечно лежало за горизонтом...

— И Советская страна — это тоже... за горизонтом?

— Да, пожалуй, тоже за горизонтом, — улыбнулся мой собеседник.

3

Я возвращался в Россию морским путем и, прежде чем попасть в Москву, побывал в Ленинграде. Меня повлекло на Кронверкский: Горький принимает Уэллса там. Помню, что мне стоило труда проникнуть в знаменитую седьмую квартиру на четвертом этаже, где размещалась своеобразная «коммуна» Горького — семья Алексея Максимовича и семьи его друзей.

В настоящее время квартира поделена и принадлежит разным жильцам. Апартаменты Алексея Максимовича — четыре небольшие комнаты: кабинет, спальня, столовая, комната, где хранилась его коллекция «восточной экзотики», — занимали лишь небольшую часть квартиры. Где-то здесь у Алексея Максимовича был Ленин. Быть может, они стояли с Владимиром Ильичем вот у этого окна. Отсюда вид, типичный для улиц, соседствующих с Каменноостровским: островерхие крыши, больше ярко-серебряные, цинковые, фасады, обложенные цветной плиткой, — все чуть-чуть не русское, типичное для этого края Питера. О чем они говорили, о чем могли говорить? Если это было

летом двадцатого — Ленин был в Питере на Конгрессе Коминтерна и видел Горького — то беседа их коснулась всего, что явил конгресс, нарастания революционной ситуации в Европе. Уэллс был на Кронверкском в том же двадцатом, но тремя месяцами позже.

Та добрая воля, которой несомненно проникнута книга Уэллса, как мне кажется, во многом сообщена писателю в ходе бесед, которые он вел с Горьким. В этих беседах была тем большая необходимость, что действительность, которую мог наблюдать Уэллс, была суровой. Каждый, кто читает книгу Уэллса, не может не обратить внимания: как ни жестоки картины жизни, свидетелем которых был в том же Питере Уэллс, раздумья писателя о судьбах современной России проникнуты желанием понять происходящее, то есть качествами, которые Уэллсу были свойственны не всегда по отношению к России.

Не знаю, быть может, мое восприятие начальных глав книги субъективно, но мне всегда виделся рядом с Уэллсом умный и добрый советчик, мнение которого было англичанину дорого. Конечно же, это мог быть Горький, больше которого в Питере никто не общался с Уэллсом. Необходимость во встречах с таким человеком, как Горький, для Уэллса была тем насущнее, что, как следует из той же «России во мгле», англичанин виделся в Питере не только с ним. К тому же, когда человек находится в стране две недели, при этом в стране, устои которой поколеблены так, как были поколеблены устои России, какие-то смещения в восприятии неизбежны.

Известно, что среди тех, кого встречал Уэллс в Питере, были и друзья новой России, были и ее недруги. Не следует забывать, что из салтыковского дворца в Питере еще не был окончательно эвакуирован персонал английского посольства, из того самого салтыковского дворца, который в годы революции был цитаделью питерской контрреволюции, — Уэллс здесь бывал, встречался не только с англичанами, но и с русскими. Вряд ли в дни пребывания Уэллса в Питере салтыковский дворец ограничивался лишь ролью пассивного наблюдателя — между дворцом на Неве и домом на Кронверкском шла борьба за Уэллса.

Беседа, которая состоялась у англичанина в Кремле, началась на Кронверкском. Идея встречи Уэллса с Лениным могла возникнуть именно в ходе бесед с Горьким, при этом никто больше Горького не мог сделать в ту по-

ру, чтобы такая встреча состоялась. Когда Уэллс отправился в Москву, он еще продолжал мысленный спор со своим русским другом, быть может, в чем-то с ним соглашался, в чем-то яростно ему возражал. Возбуждение, вызванное беседами на Кронверкском, не могло быть преходящим.

4

Мои друзья помогли мне встретиться с Константином Антоновичем Габданком, старым литовским коммунистом, в первые годы революции членом коллегии Наркомпути, одним из руководителей продснабжения Питера. Константин Антонович разговаривал с английским писателем во время поездки Уэллса в Москву. Рассказ Габданка, на мой взгляд, интересен какими-то деталями, характеризующими состояние Уэллса перед встречей с Лениным. Я видел Константина Антоновича и говорил с ним. Габданку сейчас семьдесят шесть лет, и он живет в Вильнюсе. Он работает над книгой о первых годах революции и время от времени бывает в Москве. Случилось так, что мое обращение в литовское постпредство с просьбой помочь мне найти Габданка совпало с его приездом в Москву. Габданк охотно отозвался на мою просьбу, и мы встретились. Я увидел моложавого, хорошо сложенного человека, подтянутого. («Понимаю, что семьдесят шесть — не мало, однако не сдаюсь — по старой привычке хожу на лыжах и даже пробую становиться на коньки».) Габданк лаконично и точно ответил на мои вопросы, при этом мне стоило труда заставить его рассказать о себе. Я настоял на этом не только потому, что хотел соблюсти нормы такта — это имело прямое отношение к существу вопроса. Ведь Габданк, как увидит читатель ниже, мог противопоставить доводам Уэллса свои доводы потому, что жизнь его была жизнью солдата революции.

Габданк переехал в Петроград в начале первой мировой войны — родные места были заняты немцами, и литовцы, не желающие оставаться «под немцем», устремились на восток. Габданк приехал в Петроград и поступил в главные мастерские Северо-Западных железных дорог. Вначале работал монтером, потом токарем по металлу. Был вместе с питерскими пролетариями, штурмовавшими старый режим. В год революции вступил в партию большевиков и стал членом Петроградского Совета. Много

раз слушал Ленина. И его выступление с балкона дворца Кшесинской, и с трибуны Петросовета, и позже на Всероссийском съезде рабочей кооперации, а летом двадцатого на Конгрессе Коминтерна.

Однажды имел дело непосредственно с Владимиром Ильичем. Это было время, когда паровозы ходили на дровах, а дров не было. («Верите: Питеру недодавали хлеба из-за того, что паровозам не хватало дров, хотя вокруг леса, что море».) Габданк написал Дзержинскому жалобу на Главлеспром и тут же получил приглашение прибыть на заседание СТО. Председательствовал Владимир Ильич. За длинным столом Дзержинский, Андреев, Аванесов. «Кто провалил поставку дров... железной дороге?» — Ленин взглянул на Габданка — вопрос был поставлен, как всегда у Ленина, прямо. «Начальник Главлескома при ВСНХ, Владимир Ильич...» — произнес Габданк и подумал: дело принимает крутой оборот для начальника Главлескома — ему не избежать взыскания, и сурового. Но опасения были напрасными. Решение было твердым (его формулу предложил Ленин), но оно не потребовало взысканий. Учли: время было архитрудное. («Уже после заседания СТО я долго не мог успокоиться: Ленин выглядел худо. Признаюсь, меня возмущало: простой вопрос, а решается при прямом участии Ленина. Неужели нельзя без него? Наверно, нельзя. Вопрос, разумеется, простой, но насущно важный. Вот поэтому и решался при прямом участии Ленина».)

Вот и все, что Габданк рассказал о себе. Быть может, он мог рассказать и больше, но остальное, на его взгляд, не имело отношения к сути разговора. А что же было сутью разговора? Рассказ о встрече с Уэллсом. Вот он, этот рассказ.

— Все началось с того, что я получил предписание выехать в Москву. Мандат члена особой транспортной комиссии давал мне право на место в международном вагоне, который был в поезде. Когда я поднялся в вагон, то увидел, что он почти пуст. Я сказал «почти», так как в дальнем конце вагона увидел двух мужчин, одетых с неслыханной по тем временам роскошью. Впрочем, в вагоне было еще двое: военный, который держался особняком, и молодой матрос. Я спросил у матроса, на каком языке он объясняется с пассажирами. Он понял мой вопрос пространнее, чем я того хотел, и ответил, что его спутники — англичане, незадолго до этого приехавшие в Россию: из-

вестный писатель-утопист Герберт Уэллс с сыном. Из дальнейшего я понял, что мой молодой собеседник—матрос российского военного флота и едет с англичанами в Москву в качестве переводчика. Возможно, заметив, что переводчик вступил в разговор с новым пассажиром, старший из англичан медленно направился к нам и, встретившись со мною взглядом, поклонился. Видно, у Уэллса была способность легко завязывать отношения с людьми. Впрочем, может быть, этому еще способствовала и особая обстановка железнодорожного путешествия — в пути люди сходятся легче. Просто, не тратя времени на дополнительные вопросы, он спросил меня, кто я и куда еду.

Как мог, я рассказал о себе: я — питерский коммунист, в недавнем прошлом токарь, теперь член особой транспортной комиссии, один из тех, кого Ленин призвал возглавить продовольственное снабжение Петрограда. Уэллс заметно оживился. Он сказал, что едет в Москву для встречи с Лениным. Он стал говорить о своих петроградских впечатлениях, и я понял, что настроение моего собеседника близко к отчаянию. «Взгляните только: все мертво... Россия гибнет... — произнес он и посмотрел в окно, из которого была видна сейчас бесконечная вереница паровозов, в топках которых, казалось, навсегда погас огонь. — Гибнет Россия...» Меня взяла злость: «О какой гибнущей России говорит этот господин в безупречном синем костюме? Нет, не гибнет Россия!.. Если бы он знал, что делают те же питерские рабочие, чтобы вызволить Россию из беды, он бы не говорил о гибнущей России». А тут он еще подлил масла в огонь: «Без помощи извне Россия не подымется...» У меня лопнуло терпение, и я ему просто, по-рабочему врезал: «Пусть Англия не посылает свои войска в Россию — вот это и будет помощь извне... Видно, красивый матрос перевел мои слова не смягчая, так как Уэллс нахмурился. Я уже подумал, что мой дипломатический дебют на этом и закончится, однако Уэллс вдруг улыбнулся: «Да, вы правы, вы правы: нам незачем вмешиваться в дела России...» И вот что интересно: после того как мы преодолели в нашей беседе этот «перевал», я вдруг почувствовал, что лучше отношусь к Уэллсу. «А что делаете вы, чтобы справиться с разрухой, с эпидемией?.. Вот в Питере — сыпняк...» Я сказал, что сыпняк в Питер занесли двадцать тысяч пленных воинов Юденича, которых Красная Армия взяла в плен под Питером. «Не будь

этих... вояк, может, не было бы в Питере сыпного тифа». Потом он заговорил о детях. Смысл его вопроса, как я понял, заключался в следующем: «Вы говорите о будущем, а у вас голодают дети. Погибнут дети, вместе с ними погибнет и ваше будущее». Я сказал, что мы стараемся детей вывезти в деревню. Там легче, чем в большом городе: есть молоко и картошка. Рассказал о своей поездке в Карелию: там чоновские продовольственные отряды много сделали, чтобы помочь снабжению городов. Уэллс достал блокнот, принялся записывать — в этом я увидел доверие к рассказу и, быть может, к рассказчику. «Да, да... это очень важно», — говорил время от времени англичанин.

Мы простились за полночь: Уэллс ушел на свою половину, я — на свою. В вагоне было четыре купе, два — в первой половине вагона, два — во второй, посредине — умывальник. Едва стал засыпать, в вагоне переполох. Слышу в умывальной возбужденный голос Уэллса и еще более возбужденный проводника. И слова проводника, которые, казалось, к разговору никакого отношения не имеют: «Каша... Каша...». Утром спрашиваю у проводника: «Что там происходило ночью в умывальной? И при чем здесь... каша?» Проводник рассмеялся: «Англичанин начал мыться, а подходящей посудины нет, вот он и разбоевался. Я говорю ему: «Посудина была. Понимаешь: была, но в ней теперь мужики кашу варят, — Габданк улыбнулся, добавил серьезно: — Одним словом, понимать надо: какое нынче время в России».

Вот и все, что я хотел вам рассказать, — закончил мой собеседник. — Был октябрь двадцатого года, и Уэллс ехал к Ленину...

5

Наверно, смысл поездки в Россию, как и беседы с Лениным, до конца открылись Уэллсу не столько в момент поездки в Россию и, пожалуй, беседы, сколько позже. В какой-то мере во время работы над книгой, много больше — в последующие годы. Как это часто бывает с беседой, взволновавшей тебя, тем более беседой, которая переросла в спор, спор принципиальный, ей обеспечена долгая жизнь в твоей памяти — ни годы, ни события не вольны вытеснить ее. Больше того, события, точно ветер, врываются в костер твоей памяти и не дают утихнуть огню. А события эти были значительны — жила и набира-

ла силы Советская страна, и каждая новая весть о ней могла восприниматься Уэллсом как продолжение спора.

Таким образом, спор продолжался. Какую позицию занимал Уэллс теперь, да хотя бы в середине двадцатых годов и в начале тридцатых?

Заманчиво было побеседовать на эту тему с кем-то из тех, кто в это или не столь отдаленное от этого время знал Уэллса. Мне было известно: в годы пребывания в Великобритании много раз встречался с писателем наш посол в этой стране Иван Михайлович Майский. Поездка Уэллса в Москву — столь крупное событие в жизни Уэллса, при этом событие, определяющее самую суть отношений Уэллса к России, что она наверняка присутствовала в беседах Майского с англичанином. Мои творческие интересы не раз приводили меня к Ивану Михайловичу — он хорошо знал предреволюционный Лондон, где жили в ту пору Чичерин и Литвинов, так же как дипломатическую Москву первых лет революции.

Я был уверен, что он поможет мне и теперь. Из тех бесед, которые у меня были прежде, я знал, что первая встреча Ивана Михайловича с Уэллсом относится к 1927 году, то есть поре, которая у Уэллса лежит как бы на полпути от его первой поездки в Советскую Россию ко второй. Из этого следовало, что Майский был знаком с Уэллсом, когда Россия и русские впечатления занимали особенно большое место в жизни писателя. Из этих первых рассказов Майского было известно, что он бывал в доме Уэллса в лондонском пригороде Данмоу, когда еще была жива первая жена писателя Кэтрин, так же как Уэллс много раз бывал у Ивана Михайловича в посольстве. В те несколько лет, которые Майский отсутствовал в Великобритании (работа в Японии и Финляндии), личное общение заменили письма. Некоторые из писем, написанные микроскопическим почерком Уэллса, требующим не столько чтения, сколько расшифровки, по сей день хранятся в личном архиве Ивана Михайловича.

В том случае, когда мои беседы с Майским носили деловой характер, я называл ему интересующий меня вопрос заранее, с тем, чтобы Иван Михайлович имел возможность его обдумать. Так было и на этот раз.

...Квартира Ивана Михайловича на улице Горького. Маленькая комната, очень маленькая, немногим больше

исповедальной. Как это подчас бывает у дипломатов, она отразила какую-то пору в жизни Майского, судя по всему японскую: миниатюрная, коричневого дерева мебель с инкрустацией, пейзажи на вертикально висящих холстах, гобелены. Почти как у японцев: комната отдохновения, созерцательной мысли. Кстати, именно с этой комнатой у меня связаны рассказы Майского о встречах с Чичериным в его холостяцкой мансарде на Ист-енд... И вот: Уэллс.

— Да, разумеется, я говорил с ним о его поездке в Россию и о встрече с Владимиром Ильичем, — заговорил Майский. — Первое, что меня интересовало: какие причины повлекли Уэллса в Россию? Что заставило Уэллса покинуть относительно благополучную в ту пору Англию и отправиться в объятую великим ненастьем разрухи и голода Россию, да еще прихватить с собой сына? Уэллс вспомнил при этом свой давний интерес к всемирному государству, которое он представлял себе, идеей которого он в свое время был так увлечен, что считал ее своей религией. По его мнению, первоосновой такого государства должен быть план, а движущей силой — всемирная интеллигенция, которую писатель представлял себе как своеобразную корпорацию инженеров, техников, врачей, администраторов, учителей, а также промышленников из числа наиболее образованных лиц, возглавляющих транспорт, а также банкиров и летчиков... Вам показалось необычным это сочетание: банкиров и летчиков? Уэллсу это не казалось столь странным. Он полагал, что банкирам и летчикам в равной мере свойственно представление о нашей планете, как едином целом, — никто так не пренебрегает границами, как они... Уэллс был уверен, что всемирное государство может быть создано в результате... пропаганды, которую возьмут на себя все те, кто верит в эту идею и ей предан. Уэллс полагал, что сторонники всемирного государства должны быть своеобразными рыцарями этой идеи. Кстати, к последним словам он полушутя-полусерьезно обращался, когда говорил о своих сегодняшних и еще больше будущих единомышленниках. Он считал, что душевной чистоты и сплоченности этих людей должно быть достаточно, чтобы заставить капитулировать столь злую и агрессивную силу, как современный империализм. Разумеется, это была утопия, как многие утопические идеи Уэллса, необычная, в чем-то заманчивая, но в конечном счете лишенная реальной основы,

бесплотная. Но вот что интересно было и в этой утопии для нас: когда Уэллс говорил о претворении своего идеала в жизнь, он должен был считаться с таким значительным фактором, как Советская Россия, и полагал, что именно она является предтечей всемирного государства, каким его видел в своих мечтах Уэллс. Плановое начало в самом существе Советского государства, а потом партия, да... большевистская партия!.. Как это ни парадоксально для такого человека, как Уэллс, но его в высшей степени интересовало все, что относится к самой сути и характеру партии большевиков. Я пытался разобраться в этом, спрашивал себя: почему так... писатель-утопист, сторонник фантастических проектов и... партия большевиков? Видно, в сознании Уэллса представление о большевиках своеобразно преломилось, и он увидел в их лице рыцарей, борющихся за осуществление идеи всемирного государства. Он завидовал Ленину: ему бы, Уэллсу, такую партию — он, пожалуй бы, осуществил идею всемирного государства! Поэтому он не переставал интересоваться, как Ленин вызвал к жизни такую партию. Уэллс был одним из тех немногих буржуазных интеллигентов, которые видели заслугу Ленина прежде всего в том, что он создал партию большевиков, а потом дал жизнь идее Октября, а не наоборот. Однако это не единственная причина, заставившая Уэллса покинуть родной остров и отправиться в Россию. Другая причина: его интерес к необычному... «Такого еще земля не знала: надо видеть это, своими глазами видеть!» И Уэллс отправился в Россию.

Главный итог его поездки: Ленин! Здесь необходимы разъяснения. Известно предвзятое отношение Уэллса к Марксу. Не зная Маркса, не дав себе труда познать принципы марксизма, Уэллс закоснел в неприязненном отношении к великому учителю. Очевидно, какие-то черты Маркса, каким тот виделся Уэллсу, писатель хотел распространить на всех марксистов, когда направлялся в Кремль. Однако впечатление, произведенное живым Лениным, не имело ничего общего с примитивной схемой о человеке, которую выносил в своем сознании писатель. Уэллс был повержен, однако, как мог, защищался. «Мечтатель! Кремлевский мечтатель!» — воскликнул Уэллс, услышав рассказ Ильича о плане гидроэлектрификации России. Если вспомнить, какое ненастье голода и разрухи свирепствовало тогда в России и насколько безрадостно

было все, что видел Уэллс, то станет понятным вывод, к которому пришел писатель: «Кремлевский мечтатель!».

Однако к концу двадцатых годов Уэллс стал сознавать свою неправоту, а после второй поездки в Советскую Россию, которая совпала с выполнением первой пятилетки, убедился достаточно, что был не прав... Но как своеобычно размышлял Уэллс в этом случае. Он полагал, что Маркс — начетчик, а вот Ленин... человек ума творческого! Уэллс говорил мне: «Вы называете это «развитием марксизма», однако я назвал бы это по-иному: если жизнь требовала, Ленин, оставаясь верным Марксову учению, шел на поиск, на эксперимент... нет, не только вызвав к жизни план ГОЭЛРО, но еще более грандиозное новшество, как НЭП!..» Уэллс подчеркивал, что видит в Ленине человека революции, сутью которой всегда было творчество.

— А как встретила Уэллса, вернувшегося из России, официальная Великобритания? Верно ли, что откровения Уэллса явились для нее сюрпризом?

— По-моему, сюрпризом, хотя Уэллс отнюдь нам не льстил... Его атаковал в «Дейли экспресс» Черчилль, атаковал со свойственной ему яростью. Не забывайте: это была осень двадцатого года — только что потерпело поражение английское вторжение в Россию, поражение, которое для Черчилля означало больше, чем неудачный исход знаменитой дарданельской операции, вызвавшей его уход с поста морского министра... И вдруг Уэллс выступает в защиту России и Ленина: почтенный тори взъярился. Надо отдать должное Уэллсу, он ответил Черчиллю с завидной точностью и спокойствием, что Уэллсу удавалось не всегда... По словам Уэллса, сейчас же по возвращении из Росии он пошел к Керзону, к тому самому, чучела которого в отместку за антисоветизм наши комсомольцы позже сжигали на площадях. Как рассказывал мне Уэллс, он пытался убедить Керзона, что правительство России в нынешних сложных условиях является единственным возможным правительством и независимо от мнения британских министров, а может быть вопреки этому мнению, необходимо с этим считаться. Уэллс признал, что Керзон остался глух к его доводам — броню антисоветизма, в которую был облачен маститый министр Британии, ничто не могло пробить. Однако Уэллс продолжал действовать, и, как признавался он потом, торговый

договор с Россией был заключен и в какой-то мере благодаря его усилиям... Если же говорить о том, какое влияние на отношение Уэллса к Советской России оказала его поездка к нам в двадцатом году и встреча с Лениным, то ответ будет один: он был другом Советской страны, другом нелегким, но и в критике в наш адрес он был способен отличить главное от второстепенного: он хорошо понимал, что дала миру Россия Октябрьской революции, Россия Ленина... Кстати, это хранят сочинения Уэллса, особенно, разумеется, его научная публицистика, которая занимала столь большое место в его творчестве... Есть смысл исследовать все опубликованное и не опубликованное Уэллсом именно в этом свете, исследовать и собрать воедино — результат может быть для нас обнадеживающим...

Мне были интересны последние замечания Ивана Михайловича — просматривая библиотеку Бегли, я тоже почувствовал, как богат материал, характеризующий отношения Уэллса к России и к Советской России в особенности. Кстати, Бегли обещал передать библиотеку институту Горького. Сделал он это? Я позвонил в институт: Бегли сдержал слово — библиотека в Москве.

Я склоняюсь над книгами Уэллса — да, в высшей степени заманчиво собрать все это воедино. Прежде всего статьи, разбросанные в прессе, в сборниках, посвященных России (наверно, в библиотеке Бегли представлены не все), целые пассажи в труде Уэллса «Взгляд на историю», в знаменитой книге писателя «Опыт автобиографии».

Разумеется, все, что говорил Уэллс, — не однозначно. Больше того: это многотрудно, нередко требует обстоятельного разговора, полемики, возражения, однако по этой причине не должно предаваться забвению. К тому же благодарно поспорить с другом — все, что останется в итоге этого спора, будет твоим богатством.

6

И вновь я обратился к пометкам Ленина на книге Уэллса.

Как помнит читатель, с них был начат наш рассказ, ими мы хотели бы его и закончить. Кстати, за это время вышло новое издание «России во мгле». И в конце ее со ссылкой на «Иностранную литературу» воссозданы стра-

ницы экземпляра книги, прочитанной Лениным. Язык пометок, как всегда у Владимира Ильича, лаконичен и емок: подчеркнутые и отчеркнутые пассажи, вопросительный и восклицательный знаки, выразительный знак «NB». Как ни велико, надо полагать, было волнение, с которым Владимир Ильич читал эту книгу, самая эмоциональная пометка его на полях: восклицательный знак. Однако известная сдержанность реакции Ленина нас обмануть не может: очевидно, Владимир Ильич отдает должное доброй воле писателя, но воинственно полемизирует с ним. Предмет полемики: Маркс, марксизм. Единственный вопросительный знак, поставленный Лениным на полях книги Уэллса (хотя это место, разумеется, не единственное, подвергнутое Лениным критике), адресован пассажу, в котором говорится, что марксистская теория внушила русским коммунистам представление, что в России будет новое небо и новая земля.

На форзаце книги, куда Ленин вынес номера страниц со своими пометками, он собрал воедино все, что относится из отмеченного им к Марксу, обозначив: «Против Маркса».

Если же говорить о характере ленинских замечаний на книге Уэллса в целом, то мне казалось: смысл их откроется тем более полно, чем полнее я соотнесу их со временем, когда Ленин читал книгу Уэллса, со всем тем, что думал в этот момент Ленин о судьбе русского государства.

Поясню свою мысль.

Есть письмо Горького Ленину от 21 декабря 1921 года. В этом горьковском письме Ленин подчеркнул одну фразу, вернее конец ее. На первый взгляд ничего необычного в этой фразе нет. Вот она: «Ну-с, ходят ко мне немцы разных возрастов и профессий и все говорят о необходимости русско-германского союза». Ленин подчеркнул: «необходимости русско-германского союза». Повторяю: на первый взгляд в этой фразе не было ничего особенного. Со времен Бреста вопрос о русско-германском союзе возникал вновь и вновь, и перспектива такого союза не исключалась.

Однако соотнесенная с датой письма — 21 декабря 1921 года — эта фраза обретала смысл, какого в иных обстоятельствах не имела бы. Я хочу сказать: свой подлинный смысл.

Что я имею в виду? Если письмо Горького послано

21 декабря 1921 года, то оно было получено Лениным в конце декабря или в начале января следующего, 1922 года. Из истории мы знаем, что именно к этому времени относится первое полученное в Москве сообщение о намерении Антанты созвать международную конференцию и пригласить на нее Россию и Германию. Как понимает читатель, речь идет о конференции, которая позднее была созвана в Генуе и завершилась подписанием советско-германского договора в Рапалло. Известно, что идея этого договора, как средства противодействия нажиму Антанты на Россию, возникла еще до того, как советская делегация прибыла в Геную. Не могу утверждать, что фраза в письме Горького, подчеркнутая Лениным, была первым вестником Рапалло, но одно определенно: она свидетельствовала, в каком направлении в этот момент работала мысль Ленина. В этой связи четыре подчеркнутых Лениным слова очень интересны.

Если применить это средство к рассмотрению ленинских пометок на книге Уэллса, результат будет неожиданно значительным.

Заманчиво соотнести эти пометки с той же Генуей. В высшей степени интересна тема «Генуя и книга Уэллса «Россия во мгле». Еще более, на наш взгляд, весома тема «Генуя и пометки Ленина на книге Уэллса».

В самом деле, Уэллс был в Москве за год с лишним до того, как генуэзские дела завладели вниманием Ленина, а книга Уэллса легла на письменный стол Владимира Ильича и того меньше — месяцев за шесть до этого. Характерно, что не одна и не две, а серия пометок Ленина на книге английского писателя имеет прямое отношение к предстоящему диалогу между востоком и западом. Это в высшей степени благодарная тема ждет специального исследования, однако мне хотелось обратить внимание лишь на некоторые ее грани.

Как известно, Генуя взорвалась отчасти из-за того, что не было согласия по вопросу о долгах. Предъявив ультиматум об оплате старых русских долгов (долги делались царем, а позднее Керенским), Антанта отказалась возместить России ущерб, нанесенный интервенцией. Поэтому недвусмысленное ленинское «NB» адресовано тому месту книги Уэллса, где автор говорит, что «Россия попала в нынешнее бедственное положение из-за мировой войны». Чтобы быть последовательным, Уэллс должен был сказать не только о войне, но и о вторжении ар-

мий Антанты на территорию России, но на это, наверно, не хватало храбрости и у Уэллса.

Из истории подготовки Генуэзской конференции мы знаем, в какой мере глубоко Ленин изучал в тот момент перспективы развития экономических отношений с внешним миром. Его идея о широких связях с Америкой, идея, воплощенная в известном плане, который повез в мае 1918 года Раймонд Робинс американскому президенту, продолжала интересовать Владимира Ильича. Не думаю, чтобы утверждение Уэллса о том, что «единственная держава, которая может без содействия других стран помочь России в эту последнюю минуту, — Соединенные Штаты», соответствовало бы взгляду на этот вопрос Владимира Ильича, но внимание Ленина именно к этому месту книги Уэллса характерно.

Наверно, знаменательно и внимание Владимира Ильича к другому месту работы Уэллса, где писатель говорит о том, что «в случае краха цивилизованного строя в России и перехода ее к крестьянскому варварству, Европа на много лет будет отрезана от всех минеральных богатств России и лишится поставок других видов сырья из этого района». Весьма возможно, что это замечание Уэллса нашло отклик у Владимира Ильича в связи с интересом Ленина к концессионным делам Советской России, интересом, который был показателен как раз для той поры нашего государства.

Не думаю, что пометки Ленина против антимарксистских выкладок Уэллса в какой-то мере определены обстоятельствами времени; напиши Уэллс свою книгу десятью годами раньше, Ленин встретил бы подобные высказывания с той же непримиримостью.

Однако в книге Уэллса есть свидетельства, определяющие самую суть послевоенной поры в жизни Европы, отмеченной революционными взрывами. Не надо забывать, что это было время, когда Европу потрясали одна за другой три революции: в России, Германии, Венгрии. Потрясли и все еще потрясали. Поэтому в сознании Ленина реплика Уэллса о том, что в России «рухнула социальная и экономическая система, очень схожая с нашей и теснейшим образом с ней связанная», не могла восприниматься независимо от того, что переживала в то время Европа. Не могло в сознании Ленина звучать обособленно от происходящего в Европе и другое замечание Уэллса, на которое Владимир Ильич обратил внимание:

«...всюду, где развивается промышленность, возникает коммунистическое движение, как порождение пороков того строя, который дает людям некоторое образование, а затем порабощает их. Марксисты появились бы все равно, даже если бы Маркс никогда не существовал...» В связи с этой последней фразой, наверно, уместно такое замечание: последняя фраза Уэллса активно противостоит его антимарксистским утверждениям, нашедшим место в «России во мгле». Если возникновение марксизма в такой мере отвечало сути человека и времени, в какой об этом пишет Уэллс, то мы должны быть только благодарны человеку, сумевшему осмыслить это явление, научно обосновать и создать учение, ставшее азбукой борьбы человека за свободу.

И последний вопрос:

— А какой все-таки была общая оценка книги Уэллса Лениным? Была ли она для него хотя бы книгой непредвзятого наблюдателя, ответственного перед своей совестью?

Пометки Ленина на полях книги не дают ответа на этот вопрос, да и дать не могут — слишком лаконичен язык пометок, слишком точно они прикреплены к определенным местам книги Уэллса. Но если говорить об общем впечатлении от встречи с Уэллсом и его книгой, то даже эти пометки свидетельствуют: это впечатление не было отрицательным. Именно к этому сводится смысл пометок, большая часть которых отмечена сочувственным отношением Ленина. Если исключить место, где Уэллс пишет о Марксе и марксизме, что требует специального рассмотрения, его мнение по многим вопросам (Октябрь, Советское правительство, коммунисты, — с одной стороны, и капитализм, как и идеология и строй, — с другой), следует признать для нас доброжелательным.

Быть может, для отношения Ленина к Уэллсу характерно письмо Владимира Ильича Горькому, написанное 6 декабря 1921 года, то есть через год после беседы с Уэллсом и приблизительно через полгода после того, как была прочитана Лениным «Россия во мгле».

«...Меня просят написать Вам: не напишите ли *Бернарду Шоу*, чтобы он съездил в Америку, и *Уэллсу*, который-де теперь в Америке, чтобы они оба взялись для нас помогать сборам в помощь голодающим?

Хорошо бы, если бы Вы им написали.

Голодным попадет тогда побольше.
А голод сильный...»

В том же декабре Горький ответил Владимиру Ильичу:

«Уэллс, — видимо, уже отправился в Индию, куда он хотел ехать тотчас же по окончании конференции. Я писал ему, чтоб он повлиял на Гардинга, — чего он, кажется, и достиг, — а также, чтоб переговорил о помощи голодным с Комитетом Карнеджи и Джоном Рокфеллер — я посылал им мои воззвания. Ответа от Уэллса я не имею, но уверен, что мое письмо застало его в Америке, ибо в одной из своих статей он цитировал фразы из моего письма...»

Я воспроизвел не только письмо Ленина, но и Горького сознательно: мне представляется, что Уэллс, его взгляды, его отношение к Советской стране были предметом бесед Владимира Ильича с Горьким, и письма, воспроизведенные нами, в какой-то мере восприняли сам тон этих суждений об англичанине. В этом тоне были и доброжелательность и уважение.

А как Уэллс? Да не переоцениваем ли мы значения для него октябрьского для 1920 года? Быть может, желаемое мы приняли за действительное? Возможно, все, что произошло в душе Уэллса, было не столь значительным? Пусть на это ответит сам Уэллс своим отношением к Октябрю и к России Октября.

В том же Институте мировой литературы имени Горького нас познакомили с текстом письма Уэллса, кстати, никогда не публиковавшегося, которое со свойственной Уэллсу лаконичностью и полнотой дает ответ на вопрос, поставленный выше: «Письмо, адресованное журналу «Интернациональная литература», датировано 1933 годом. Вот его текст:

«Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий мировой истории. Она произвела глубочайший переворот в идеологических воззрениях человечества, и теперь не найти романа, пьесы, исследования в области социологии или истории, не испытавшего на себе ее воздействия. Влияние Октябрьской революции было даже более обширным и более значительным, чем влияние первой французской революции...

И несмотря на все сказанное — это еще не последняя

революция в мире... Такая революция еще будет. И произойдет она отнюдь не в странах атлантических цивилизаций, и она не потребует со стороны России ни руководства, ни контроля, ничего, кроме благожелательности и большого понимания. Перед Россией стоят свои огромные проблемы, которые ей предстоит решить, чтобы соответствовать роли, отведенной ей в окончательном объединении человечества.

Г. Уэллс».

...Нечто большое прервалось и воспрянуло в жизни Уэллса с поездкой в Россию. Немного дней в его жизни могли сравниться в этом с 6 октября 1920 года...

ДОРОГА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРВЫЙ ДИПЛОМАТ КОММУНЫ

1

Помню, это было осенью, и на Киевском вокзале пахло яблоками. Они лежали в корзинах и кошелках, эти яблоки, крепконалитые, усыпанные бликами, точно были сорваны в саду, над которым только что прошумел ливень. Еще помню, что не просто было пробиться к будапештскому поезду — перрон был заполнен провожающими.

— Простите, происходит нечто официальное? — спросил я кого-то из знакомых, прибывших раньше меня.

— Нет, ничего, кроме отъезда друзей.

Собственно, и я прибыл на вокзал в этой связи, но, только оглядев перрон, в полной мере оценил чрезвычайность происходящего. На родину возвращалась семья Бела Куна, вождя Венгерской коммуны и ее первого дипломата. Она возвращалась туда после того, как дымной июльской ночью памятного 1919 года покинула Будапешт, спасаясь от палачей Коммуны. Жена революционера и мать семьи: Ирина Кун. Дочь Агнесса и ее муж поэт Антал Гидаш. Сын революционера Николай Кун с женой и сыном. Собственно, я был знаком с Агнессой и Анталом. Те, кому не чужды интересы венгерской литературы, знают, как много сделали Агнесса и Антал для ее пропаганды в СССР.

Агнессе было четыре года, когда ее увезли из Будапешта. Ей не было шести, когда она оказалась в России.

С этой поры к ее венгерскому присоединился русский. Венгерский был языком семьи. На нем она говорила с отцом и матерью, а когда в Москву переехал дед — с ним. Русский — языком города, института, русских друзей Агнессы, их у нее было всегда много. Русский и венгерский своеобразно соединились в сознании Агнессы. Собственно, безупречное знание венгерского и русского предопределило и призвание Агнессы в жизни. Однако, что это за призвание? Не просто найти ему имя. Сказать, что Агнесса — литературовед и переводчик, знаток венгерской словесности — значит сказать не все. То, что в четырехтомнике Петефи шестьдесят четыре стихотворения, в том числе три поэмы «Витязь Янош», «Волшебный сон» и «Шалго», переведены Б. Л. Пастернаком, — немалая заслуга Агнессы. Впрочем, вместе с Пастернаком великого венгра переводили Маршак, Тихонов, Мартынов. И так не только Петефи, но и Араня, Ади, Верешмарти, Радноти.

Если верно, что понятие «родной язык» означает у многих народов «язык матери», то для Агнессы это верно вдвойне. Именно матери, ее желанию говорить с дочерью по-венгерски, Агнесса обязана тем, что вопреки напору лет и обстоятельств сберегла венгерский, сберегла настолько, чтобы чувствовать язык во всей полноте его интонаций. Но дело не только в разумении языка, но и понимании того прекрасного, что есть венгерская поэзия. И здесь любопытное противоречие: хотя дочь Куна переводчица прозы, ее главные усилия были обращены на перевод стихов. Сыграло свою роль принятое мнение: венгерская словесность славна в первую очередь поэзией. Нет, поэзия пользовалась всеми привилегиями в доме Кунов... Да и как могло быть иначе, когда рядом был Гидаш. Большой венгерский поэт, носитель революционного начала, он многие годы отдал изучению литературы русской — его познания здесь завидны. Отрадным итогом работы наших друзей явились книги, много прекрасных венгерских книг, изданных в эти годы по-русски...

До отхода поезда остаются минуты, а на перроне, как на большом приеме: гостей так много, что хозяев не хватает.

К дверям вагона идет Ирина Кун.

— Мне сказали, что мама хочет написать книгу о Беле Куне? — спрашиваю я Агнессу.

— Да, она готовится к этому — кстати, венгерские архивы могли быть здесь полезны...

Поезд ушел.

Полетели один за другим, будто вдогонку за ушедшим поездом, месяцы.

Приходит письмо от Агнессы, в конверте вместе с письмом фотография. Импровизированная трибуна под открытым небом, говорит Бела Кун. Судя по толпе, окружившей трибуну, где-то на нашем юге. Вопрос Агнессы: «Вот этот, облокотившийся рукой о борт трибуны, четвертый от отца, Джон Рид?..» Очевидно, книга Ирины Кун заметно продвинулась — вопрос Агнессы о Джоне Риде может быть вызван этим обстоятельством. В Будапешт пошло ответное письмо: «Да, это Джон Рид. Фотография сделана в конце лета или ранней осенью 1920 года — Бела Кун и Джон Рид были на конференции народов Востока в Баку».

Наверно, книгу Ирины о Куне ждет не только Венгрия — ее ждут повсюду, где помнят имя революционера, ее ждут и в России. Какой будет эта книга? Ирина Самойловна была сподвижницей страдной жизни Куна. На самых крутых поворотах этой жизни. И тогда, когда, проводив мужа в солдаты, осталась с младенцем на руках. И в те сто тридцать три огневых дня Коммуны, от рождения Коммуны до ее трагического часа. И в те минуты безвестности, когда, вернувшись в Россию, Кун ушел на фронт добивать гидру контрреволюции. И позже, когда по указанию Коминтерна вновь оказался в центре Европы, едва ли не у венгерской границы и был схвачен австрийской тайной полицией и предстал перед трибуналом... И во всех иных испытаниях, которые подстерегали борца за рабочую правду на его пути к цели, она была рядом, друг и жена революционера. Книга, которую она задумала, — не просто летопись жизни мужа, это книга-дневник самой Ирины Кун. А что значит для нее дневник? Прежде всего труд нелегкой мысли, труд раздумий — позади лет длинный путь. Надо осмыслить события этого пути. Может быть, немножко и для себя (когда мысль отслаивается на бумаге, она зримее), но главное для тех, кто молод: им бороться, им жить.

2

И вот ранняя весна, самая ранняя. Вокзал в Будапеште.

— А как в Москве сейчас? — спрашивает Агнесса. — Город еще в снегу, но на Гоголевском бульваре уже шумят грачи и у метро продают веточки мимозы, чуть подсохшие, от которой пальцы становятся желтыми, — она, смеясь, шевелит пальцами. — У вас будет много работы в Будапеште.

Я был в семье Кунов. Их дом по ту сторону Дуная, в Буде.

Дом приметен, и я нахожу его без труда.

Но для меня не просто войти в него — он для меня дом Куна.

Кажется, что книга, лежащая на садовой скамейке корешком вверх, раскрыта им — он сидел здесь только что и должен вернуться.

Переступаю порог — сумеречно. Тишина и запах сухих цветов.

Сейчас вечер и семья дома, но это не очень обнаруживается. Впрочем, Николая, наверно, нет — он врач-хирург — в клинике.

На столе — стопка писем, полученных от русских корреспондентов Агнессы.

— Библиотека венгерских поэтов продолжает выходить? — пытаюсь установить я.

— Да, разумеется, при этом не только в Москве, но и в Будапеште.

— Вы не оговорились: венгерских поэтов в русских переводах?

— Именно.

Оказывается, библиотека венгерских поэтов, которая трудом Агнессы и ее московских друзей, была издана в Москве, теперь воссоздается в Будапеште, воссоздается с большой тщательностью. Впрочем, это новое издание не просто воспроизводит старое. Оно будет пополнено переводами, которые сделаны советскими поэтами в последнее время.

— У вас по-прежнему много дел в Москве, Агнесса?

— И у меня, и, пожалуй, у мамы, особенно с тех пор, как она начала работу над книгой.

— Наверно, ей будут полезны не только архивы будапештские, но и московские?

— Да, разумеется, хотя и поездка в Москву для нее не проста.

— Но то, что трудно для мамы?..

— Конечно же, я побываю в архивах и разыщу все необходимое...

Когда-то, в работе над переводами Петефи и Ади, мама была помощницей Агнессы: она помогала уяснить нужное слово, добраться до сути, когда эта суть была не на поверхности, понять подтекст. Сейчас они поменялись ролями: помощницей, а может даже немножко секретарем, стала дочь, особенно, когда речь шла о русских источниках, а для будущей книги Ирины Кун это важно: слишком велика роль революционной России в жизни венгерского революционера. Ведь ядро книги в какой-то мере документально: письмо Ленина Бела Куну, радиодепеши Чичерина, статьи, речи, интервью самого Бела Куна, его показания на процессах, которые были в жизни революционера, телеграммы, адресованные реввоенсоветам армий и подписанные командующим южным фронтом М. В. Фрунзе и членом Реввоенсовета Бела Куном, приказы по фронту и директивы армиям, да мало ли документов! Я представляю состояние Агнессы: разыскать каждый такой документ — немалая радость, документ, в котором имя отца стоит рядом с именем Ленина. И не только Ленина, но и Чичерина, Калинина, Фрунзе. Разыскать. Пусть работа эта будет в какой-то мере даже секретарской, пусть она будет в точном смысле этого слова технической, для Агнессы она почетна: ведь речь идет о книге матери.

Наверно, у Ирины Кун потребность написать книгу вызрела с годами. Это должна быть книга не только о Бела Куне, но и о ней самой, Ирине Кун. Книга сурово-нелегких дум о прожитом. Потребность собрать эти мысли воедино, наверно, никогда для Ирины Кун не была так сильна, как теперь: с того жизненного холма, на который взошла Ирина Кун в свои семьдесят лет, прожитое видится лучше.

А что ей виделось с этого холма?

Ирина Кун происходит из семьи трансильванских интеллигентов, некогда состоятельных, но потом разорившихся. Она встретилась с Бела Куном, когда звезда молодого революционера только что взошла. Юноша в широкополой шляпе с красным галстуком, повязанным крупным узлом, был очень приметен. Его речи в защиту рабо-

чих вызывали всеобщее осуждение в кругу, к которому принадлежала Ирина. Как рисовался Ирине ее союз с Куном?.. Позже Ирина Кун рассказывала, что отношения начались с того, что Кун подарил ей книгу Бебеля «Женщина и социализм». Как этот подарок отождествлялся в сознании Ирины Кун с будущим, которое ее ожидало? Поверила бы она, если бы зримо встали в ее сознании пути и перепутья этой жизни? Да, события за событием — которые ее ожидали?

Ну, например, как вошла в камеру пересыльной тюрьмы и навстречу поднялся Бела Кун с перебинтованным лицом — только по глазам да, пожалуй, голосу Ирина узнала мужа.

Как в первоавгустовскую ночь девятнадцатого года покинула Будапешт, захваченный врагами Коммуны, и в автомобиле, по которому уже палили из явных и тайных засад, прибыла на Каленфельдский вокзал. А потом дымная ночь и всполохи огня у железнодорожной насыпи, и поезд, идущий к австрийской границе, и обыски, что длились едва ли не до зоревого часа...

Как пришла весть из Вены: где-то у австро-венгерской границы схвачен Бела Кун: если не будет передан венгерским властям, то предстанет перед австрийским трибуналом... А потом потекли дни, один мучительнее другого: венская реакция судила Куна.

Как стояла у серой балтийской воды и смотрела на запад и тревога за жизнь мужа, что жила все эти месяцы, вдруг странно собралась и спрессовалась в эту минуту: «Да появится ли заветный пароход с Бела Куном, освобожденным из австрийской неволи?»

Как, год спустя, уже в Москве, ждала вестей от мужа с русского юга, с Таврии, с сивашских болот, с Перекопа, от Бела Куна, ставшего членом Военного совета Южного фронта, которым командовал в то время Михаил Фрунзе.

Да только ли это? И самое ли это трудное из того, что пришлось пережить?

Вот если бы вдруг Ирина Кун обрела возможность обогнать время, взглянуть вперед и увидеть все то, что готовила ей жизнь, решилась бы она там, в своей трансильванской тиши стать женой революционера? Наверно, решилась бы, да это и не могло быть неожиданностью для нее. Наоборот, все, что знала она о Бела Куне, должно было сказать ей: ох, нелегкую стезю избрал он в жизни,

избрал для себя, а следовательно для нее. Не просто осмыслить то, что легло сейчас перед тобою, но осмыслить надо. Людям нужны и твоя память, и твоя мысль...

Уже покидая дом, я встречаюсь с Ириной Кун. В саду скопилась холодная влажность, и на плечах у нее шерстяной платок, мохнатый, не отличимый от сумерек. Я рассказываю Ирине Кун, как весной сорок пятого пересекал Трансильванские Альпы, направляясь военными дорогами к берегам Тиссы. Она слушает меня, улыбаясь, дополняя мой рассказ точной характеристикой мест, которые пересекла наша машина, — это родные места Ирины, отсюда происходит она, да и Бела Кун происходит отсюда.

— От трансильванских гор до Будапешта, — говорит она. — Да, Будапешта, города Коммуны...

И я начинаю понимать, сознаюсь, только теперь: а ведь я в городе Коммуны, Венгерской коммуны. В городе комиссаров Коммуны: и тех, кто стал министром Коммуны, и тех, кто был просто коммунаром, гражданином республики. И конечно, Бела Куна. Где-то здесь и знаменитая Вышеградская, где был истинный центр Коммуны, «Астория» и «Хунгария», где жили комиссары, где-то здесь Чепельская радиостанция, принимавшая депеши из России, где-то здесь будапештское предместье Эржебетварош, взявшее себе имя Ленина — первый в мире Ленинград...

Наверное, заманчиво подняться в полночь и пройти по Будапешту. По его большим и малым улицам, по его проспектам и площадям, по заветным тем путям и перепутьям, которыми в майскую ночь 1919 года шагала Коммуна?

Прошагать по Будапешту и взглянуть на него глазами Бела Куна?

Шагать и читать Ади:

> ...Идет
> вслед за мной, вышиной в десять сажен,
> добрейший князь Тишины...

3

И вот я вижу эту ночь, неяркую и теплую.

Бела Кун идет по Будапешту.

Где-то слева, за Дунаем, в многослойной листве садов вспыхнул мерцающий огонь и погас. Вспыхнул не однаж-

ды, с неправильными интервалами. Так сигналят с земли летящему в ночи аэроплану... Аэроплану?.,

Кун видел Самуэли перед отлетом. Видно, Тибор подготовил себя к полету не только психологически — три тысячи километров, да еще каких — через Карпаты! — не шутка... Но Самуэли уже был готов — даже внешне он напоминал летчика: кожаная куртка, фуражка, ветрозащитные очки. И не только внешне... Горькая складка у губ тоже от сознания опасности.

Помнится, Тибор подошел к письменному столу и открыл его.

— А где золото, которое я должен увезти в Россию? — усмехнулся он — видно, толки о том, что Самуэли летит к Ленину не иначе, как с награбленным венгерским золотом, уже докатились до Тибора.

Что-то было в этом аэроплане, прорвавшемся на восток, символическое: навести понтон между землей Венгерской коммуны и русской, как это сделал Тибор, значит перестать быть островом... Островом в мире, отнюдь не дружественном!..

Кун смотрит на небо. Ветер взрыл облака, и дальний край неба кажется нежно-синим, совсем летним.

В какой стороне Карпаты?.. Они на северо-восток отсюда. На северо-восток — значит, за великой Среднедунайской равниной, к северу от Дебрецена и к югу от Мишкольца, одним словом — за Тиссой — там Галиция и Россия там. Говорят, когда ветер от гор, слышен гул артиллерийской канонады, русской канонады...

Кун помнит тот сумеречный мартовский день, телеграмму из России: «Красный бронепоезд ворвался в Тарнополь!» Ну, разумеется, Тарнополь по ту сторону Карпат, больше того — от гор далеко, но в тот день казалось, что он — рядом...

Главное: не сдать позиций, продержаться!..

Сколько дней парижане противостояли версальцам? Семьдесят два! Венгерская коммуна уже здравствует шестьдесят четыре дня!..

Если ветер от Карпат, слышна канонада, а может быть, это эхо обвалов или мираж? Ведь человек, идущий через пустыню к вожделенному городу, видит его, хотя в пустыни на тысячи и тысячи километров хоть шаром покати. Силой страсти, что вызрела в нем, видит? Силой воображения? Может, и эта канонада привиделась?

Надо осознать: пока придет помощь, Коммуна — остров.

Поэтому победа в умении собрать силы Коммуны, сплотить их. Победа — в мощи рабочих полков и, пожалуй, в мощи и зрелости мысли рабочих комиссаров.

Кун помнит: в тот вечер, в тот первый вечер 21 марта, когда на собрании коммунистов Будапешта появился Самуэли и объявил, что провозглашена республика, какое ликование охватило всех, хотя позже, узнав о составе правительства, ропот прошел по рядам — не такого правительства хотели все. Не похож ли был этот ропот на глухое урчание осыпи, которая струйкой сбегает по каменным желобкам горных кряжей и является вестницей сокрушительного камнепада, когда в движение приходит лавина, способная изменить лик горы и преградить дорогу реке?.. Впрочем, ропот стих, как только было сообщено, что комиссаром иностранных дел станет Бела Кун. А потом грянули аплодисменты: Самуэли сказал, что новый комиссар пошлет телеграмму Ленину и предложит русской коммуне договор о военном союзе с Коммуной венгерской.

О чем думал Бела Кун, что овладело его сознанием в ту минуту: комиссар по иностранным делам? Наверно, история Венгрии не ведала, чтобы первый дипломат страны был сыном сельского писаря?

В Австро-Венгрии дипломаты вербовались из среды сановников и царедворцев. Школой дипломатии была сама жизнь — семья аристократа, его среда, круг его близких. Доморощенным скорее может быть премьер-министр, но не министр иностранных дел. Дипломатии учатся, как горному делу, терапии, металлургии, землеустройству и зодчеству. Однако в интересах революции иногда необходимо пренебречь и прописными истинами. Больше того, надо преодолеть гипноз этой истины и поступить вопреки ей. История Венгрии не знает, чтобы ее министр иностранных дел был сыном сельского писаря — теперь она будет это знать...

Думал ли Кун, что будет первым дипломатом новой Венгрии? Дипломатом Коммуны? Если и есть слова-антагонисты, слова, которые решительно отказываются стоять рядом, то, наверно, эти: дипломатом Коммуны.

А может быть, это кажущийся антагонизм? Ведь у Коммуны должны быть свои дипломаты?

Вот Ленин сказал: «Вы, конечно, правы, начиная переговоры с Антантой». Однако тут же добавил: «Но ни на минуту не верьте Антанте, она вас надует, надует и только выиграет время, чтобы лучше удушить вас и нас...»

Из чего складывается безопасность Коммуны? Наверно, из трех величин. Их больше, этих величин, но главных три: навести порядок в большом доме Коммуны — это первое. Призвать народ Венгрии на защиту Коммуны и дать ему оружие — второе. Видеть перспективу вооруженного столкновения с Антантой, однако отдалить этот конфликт — третье.

Умение отдалить столкновение — это и есть дипломатия Коммуны?.. Не надо уходить от разговора с Антантой.

«Правительство Венгерской Советской республики готово пойти на все, что содействует справедливому и честному миру...» Кому это писал Кун? Клемансо!.. «Готово пойти на все, что содействует справедливому и честному миру...» Только подумать: это адресовано Клемансо! Однако хорошая дипломатия не должна быть предвзятой. Она не отвергает контактов и с врагом. Сесть за стол переговоров с Клемансо? Если требует Коммуна, никаких предрассудков... Но Коммуна должна считаться с желанием Куна? Есть ей до этого дело? Не так уж много чести говорить с такой собакой, как Клемансо. Что-то есть в Клемансо от Тьера. Как у первого версальца, спина заросла жиром и мешает выпрямиться — он ходит, глядя исподлобья. Руки расставлены и чуть согнуты в локтях. Глаза постоянно зажжены чем-то гневно-патетическим, что возбуждает человека и сообщает ему силы, которых у него уже нет... Но ведь Клемансо пойдет на Венгрию не сам. Более чем вероятно, что пойдет не сам: белочехи, румынские бояре, белосербы и белохорваты, как, впрочем, и французы, их южная армия. Но так ли они монолитны, как кажутся? Может быть, есть возможность их расколоть?.. Вот это и есть задача дипломата. Хотя спасение не в дипломатии... В состоянии ли она отвратить беду?

Бела Кун идет по Будапешту.

Только тишина и дает возможность проникнуть в суть происходящего.

А что является этой сутью?

Найти единственно верный путь и сберечь Коммуну.

Наверно, далеким нашим потомкам, которые обретут возможность взглянуть на происходящее сегодня, многое покажется более очевидным, чем нам. Они, пожалуй, не откажут себе в удовольствии дать нам тумака! Да, через хребты лет и расстояний удостоить нас дружески-участливым тумаком: «Вот эти старики тугодумы не могли найти решения, когда все было так ясно».

А решение постоянно вызревает: вовремя остановиться, не дать себя увлечь чувству, пусть восторжествует расчет... Расчет? Да, когда войска Коммуны бьют белочехов, бьют не без радостной отваги и, что греха таить, удовольствия, и, кажется, готовы смести все преграды и дойти до Праги, остановить себя и избрать решение, которое может и не соответствовать настроению данной минуты: мир. Да, мир на манер брестского, который даст возможность перевести дыхание и выиграть драгоценное время.

Совпадение: именно в эти дни страны Антанты держат совет в Париже. В порядке дня конференции: итоги войны. Впрочем, так выглядит программа конференции, если перевести ее на официальный язык. На языке будней это звучит иначе: как поделить германское наследство и заковать в кандалы революцию. Нет, не только русскую, но и венгерскую. Итак, страны Антанты держат совет — русские и венгры дали им много работы.

Трижды прав Анатоль Франс, который как-то произнес, имея в виду тайную дипломатию: если бы Людовик XIV восстал из праха, то пожалуй, и не узнал бы Франции. Впрочем, если бы он зашел на Кэ д'Орсэ, то не отказал бы себе в удовольствии признать: я — дома. Если бы все те, кто положил начало Священному союзу, попали в кулуары Парижской конференции, то они, пожалуй, произнесли бы вслед за Людовиком XIV: мы — дома!..

Тут у Антанты была своя тактика. Те, кто вершил ее судьбами, понимали: Советская Россия, как и Советская Венгрия стремительно набирают силы. Если Советская Россия в силу своих размеров — материк, то Советская Венгрия—остров. Правда, остров прибрежный, отделенный от материка в своем роде проливом в виде карпатской гряды, но остров. Пока еще остров. Будь у Советов авиация помощнее, тогда бы не одиночные самолеты, а относительно мощные эскадрильи пошли бы из России в Венгрию и обратно, что дало бы возможность изменить островное положение Венгрии.

У Антанты одно намерение: убить Коммуну венгров. Коммуна говорит в ответ: мир.

Кажется, я вижу, как улыбается в ночи Кун: вот оно, «непротивление» коммуниста! Почти евангелический сюжет: недруг огрел тебя по одной щеке, подставь ему другую.

Неисповедимы пути твои, дипломат Коммуны...

А каким должен быть министр иностранных дел Коммуны?

По самому облику своему, стилю деятельности, линии поведения?

Кабинетным политиком, лукавым клерком от дипломатии, мастером осторожной беседы, где меланхолически-спокойная интонация, монотонная, как удар морской волны, призвана скрыть твою мысль и твое чувство? Каким должен быть дипломат Коммуны: человеком в маске или самим собой в конце концов? Трибун, несущий в народ правду революции, — это твое амплуа, товарищ Бела Кун?

Ну, например, мог бы сказать первый дипломат Коммуны так: «Сегодня, товарищи, у венской буржуазии мурашки бегают по спине, она уже приготовилась к самому худшему — установлению диктатуры пролетариата». Мог бы сказать так? Или послать призыв-набат, призыв — удар колокола, призыв — сигнал тревоги: «Глубокоуважаемый товарищ Ленин!.. Я отлично знаю, что не я, а сам пролетариат будет решать свою судьбу. Но я прошу Вас и впредь оказывать мне Ваше доверие... Шлю Вам самый сердечный привет как от себя, так и от своих дорогих товарищей и друзей, а также несколько статей моих соратников, борющихся и работающих рядом со мной в первых рядах революции».

И вновь Кун смотрит на далекий край неба. Небо светлеет, оно светлеет червонным зоревым светом именно так, над Карпатами. И вот уже занялся ветер, вызванный нарождающимся утром. Неровен час, услышишь гул канонады...

4

Незадолго до отъезда я вновь был у Кунов в их доме по ту сторону Дуная.

— Верно ли, что мама получила из Москвы переписку Куна с Чичериным? — спросил я Агнессу.

— Да, несколько радиодепеш, которые хранились в архиве МИДа.

— В этих радиодепешах — история Коммуны?

— Да, Коммуны и, пожалуй, России той поры...

Мы идем по дому.

— Мама, где ты? — говорит Агнесса.

Дверь в комнату открыта, но комната пуста. На столе стопка машинописных страниц, очешник с очками, карандаши (по всему видно, что хозяйка комнаты только что работала), раскрытая книга: быть может, избранные статьи и речи Бела Куна, а может быть, том Ленина?

Мы идем в сад, а я спрашиваю себя: когда Ирина Кун раскрывает том Ленина, наверно, на память приходит тот ноябрьский день 1922 года, когда она пришла вместе с Бела Куном на Конгресс Коминтерна и на лестнице встретила Ленина... Он пожал Бела Куну руку и, взглянув на Ирину, спросил участливо: «Жена?» А потом возник разговор. Он был коротким, этот разговор на лестнице Дома Союзов, но в нем было для Ирины нечто такое, что забыть не просто. Ленин спросил Ирину, как жилось на Урале, куда она переехала вместе с Бела Куном, как дался ей русский язык. «Надо выучить русский язык и хорошо выучить», — произнес он и начал расспрашивать о детях, о том, не тоскует ли она по родине, о здоровье ее — Владимир Ильич знал, что она болела. Наверно, все это было характерно для Ленина: через несколько минут он должен был выступить с докладом на более чем глобальную тему («Пять лет российской революции и перспективы мировой революции») и, наверно, был во власти того, что предстояло ему сказать делегатам, однако встретил человека, который ему дорог, и на минуту жизнь и заботы этого человека стали его заботами: русский язык, дети Куна, болезнь Ирины... Как же можно забыть все это?

Я смотрю на Ирину Кун — в сизых будапештских сумерках она мне кажется бледнее, чем тот раз в Москве, однако глаза ее стали и больше и ярче. Ранним вечером, когда линии улиц, высветленных электричеством, становятся четче, наверно, и у нее искушение взглянуть на город... Да, в этот час он точно поднимается тебе навстречу всей мощью своих мостов и заводов. Город Коммуны, а следовательно юности твоей. Если есть возможность силой памяти, силой мысли вызвать образ человека, кото-

рый для тебя бесценен, то, наверно, при взгляде на город.

— Коммуну называли островом... но ее спасение было в том, чтобы перестать быть островом? — спрашиваю я.

— Да, товарищ Бела Кун думал об этом, мечтал об этом, — был ответ.

Я вышел на улицу, в ее пролете был виден Дунай. И не только Дунай. Казалось, виден был Пешт. И степь за Пештом. И Тисса, что разделила степь надвое. И Карпаты за Тиссой. Те самые Карпаты, что стали мостом из Коммуны венгерской в Коммуну русскую. Мостом, о котором мечтал Бела Кун.

ДОРОГА ПЯТАЯ

РУССКАЯ ЗВЕЗДА ЛИНКОЛЬНА СТЕФФЕНСА

> Лучше быть непосредственно связанной с революцией, чем наблюдать ее. А Россия может продвинуть тебя на века вперед, к цивилизации. Она бросит тебя туда, куда пришла сама, и покажет тебе будущее. И это будет полезно сыну и мне. Россия — это как раз то, чего так не хватает и что так необходимо всем нашим молодым писателям: и Дороти Паркер, и Хему, и Дос Пассосу...
>
> *Линкольн Стеффенс.*
> Из письма Элле Уинтер

Когда зимой сорок второго зримо обозначились контуры нашей победы под Сталинградом, в Москву устремился поток корреспондентов. Не могу сказать, что их было мало в Москве и до этого, однако с победой наших войск на Волге корреспондентский корпус обрел такие размеры, каких он не имел здесь никогда прежде.

Ранней весной сорок третьего приказом по Политуправлению Красной Армии я был возвращен на работу в отдел печати Наркоминдела, который покинул в самом начале войны. Прибыв в Москву из только что освобожденного Воронежа, где я был корреспондентом «Красной звезды», я застал Наркоминдел уже на Кузнецком мосту. Это было хорошей новостью: в осень сорок первого Наркоминдел переехал в Куйбышев. Правда, отдел печати, а вместе с ним и многие иностранные корреспонденты, тут же возвратились в Москву и оставались здесь безвыездно.

Каждый раз, когда я приезжал в Москву с фронта, я не отказывал себе в удовольствии навестить своих товарищей по отделу. Как это ни парадоксально, но в грозное это время Наркоминдел вернулся едва ли не в те самые апартаменты гостиницы «Метрополь», которые покинул более чем двадцать лет назад.

И вот Наркоминдел теперь был вновь на Кузнецком, и это свидетельствовало: наши дела идут все лучше. Да и сам вид красной гостиной, в которой каждый вечер с получением в отделе очередной сводки Совинформбюро собирались корреспонденты, свидетельствовало о том же. Никогда прежде, да, пожалуй, и позже корреспондентский корпус в Москве не собирал столько первоклассных имен, сколько он собрал в эту весну сорок третьего года. Над просторами России вставало трудное солнце победы. Вставало зримо. И мир хотел видеть этот восход. Со времени Октября не было в мире события больше, а если взглянуть на него глазами тех, кто ежевечерне собирался в нашей красной гостиной, сенсационнее. В тот апрельский вечер 1943 года, когда я прямо с Казанского вокзала, при погонах и вещевом мешке, явился в отдел печати, мои товарищи по отделу (а среди них были и те, с кем я работал в Наркоминделе еще до войны) могли представить меня некоторым из корреспондентов.

Сейчас точно не помню, как состоялось это представление, однако, если оно имело место в тот день или последующие, вряд ли была необходимость пространно комментировать каждое имя: они были мне известны. Когда-нибудь я расскажу об этом своеобразном содружестве имен и лиц, которые собрала наша победа под более чем просторным кровом большого дома на Кузнецком мосту. Сейчас же хочу сказать, что то, что я делал в отделе печати во время войны, в какой-то мере напоминало работу военного корреспондента, впрочем, к обычным корреспондентским хлопотам прибавилась забота о разноплеменном и разноязычном корпусе военных газетчиков.

Что же касается маршрутов, то они мало чем отличались от маршрутов военкоров. Там была и Корсунь, куда в февральскую стынь и непогодь мы пробивались на доброй полудюжине У-2 (один сдавал — пересаживались на другой) с Ральфом Паркером, садились и на берег реки, и на дорогу, и в открытом поле. Здесь был и Ленинград, еще находящийся в блокаде, куда мы летали ночью через Ладожское озеро. Здесь были и Севастополь, и Одесса, и

район Ясс, а еще раньше Смоленск, Харьков, Карелия... Среди корреспондентов были военные газетчики, видавшие и гражданскую войну в Испании, и европейский театр этой войны, и воздушную войну над Англией, и войну на атлантических и тихоокеанских просторах, а были гражданские лица, для которых война в России была их боевым крещением, при этом несколько женщин.

Среди них Элла Уинтер. Она прибыла к нам в 1944 году и оставалась до конца войны.

Наши поездки по фронтам и для мужчин были испытанием достаточно суровым. Казалось бы, тем более трудными они будут для женщин. Однако я мог подумать об этом, имея в виду любую из корреспонденток, но только не Уинтер. В то время Уинтер было уже больше сорока. Ее большие темные глаза и крупные губы, ее манера одеваться ярко и необычно, ее голос, в котором было нечто от контральто, наконец предпочтение, которое она постоянно отдавала обществу корреспондентов перед кругом корреспонденток, выдавали в ней человека, которому были по плечу и не такие испытания. В поездках по фронтам она старалась быть ближе к тем местам, где пахнет огнем, и попытки наших офицеров оградить корреспондентов от превратностей войны были в тягость и ей.

— Поймите, что мы военные корреспонденты! Военные! — не раз говорила она.

Надо отдать должное Элле Уинтер: ее некоторая строптивость сочеталась с душевной деликатностью. Известно, что поездками корреспондентов в районы военных действий руководили штабы соединений и фронтов. Когда это происходило в момент крупных операций (корреспонденты хотели быть свидетелями этих операций), у фронтов было достаточно дел не менее важных, чем прием корреспондентов. Естественно, что до корреспондентов могли и не доходить руки. Это бывало редко, пожалуй, даже очень редко, но бывало. У корреспондентов это могло вызвать обиду, у многих корреспондентов, но только не у Эллы Уинтер. При всех обстоятельствах она оставалась корректна, терпелива, дружески-участлива. Наверно, это явилось одной из причин того, что у меня, например, установились с нею добрые отношения.

«Что она за человек? — нередко спрашивал я себя. — Что заставило ее предпочесть тишину и покой род-

ного очага изменчивой судьбе военного корреспондента и устремиться навстречу русским просторам, которые в нынешнее нелегкое время должны были казаться ей ой же какими грозными. Не характер же Эллы Уинтер заставил ее сделать это?»

Я недостаточно знал Уинтер, чтобы ответить на этот вопрос, и я спросил об этом Ральфа Паркера, который, казалось, был дружен с Уинтер.

— Видите ли, для нее Россия значит больше, чем мы думаем. Много больше.

Я готовился услышать любой ответ, но только не этот.

— Простите, как понять ваш ответ?

— Но ведь Элла — вдова Линкольна Стеффенса.

Элла — вдова Стеффенса! Знаменитого Линкольна Стеффенса. Впрочем, это следует объяснить подробнее.

В моем тогдашнем представлении Линкольн Стеффенс был американским Луначарским предреволюционной поры. Интеллигент-революционер, ищущий истину, бескомпромиссный, в чем-то заблуждающийся, в чем-то торящий свою собственную тропу, друг муз и друг художников, больше их советник, чем наставник.

Я знал, что поиски истины трижды приводили Стеффенса в Россию, при этом в свою вторую поездку Линкольн Стеффенс был у нас в составе миссии Буллита — знаменитая встреча Стеффенса с Лениным относится именно к этому времени.

Помню, что, когда я познакомился с жизнью Стеффенса ближе, сравнение с Луначарским показалось мне достаточно условным.

Полушутливо-полусерьезно Стеффенс называл себя «человеком Уолл-Стрита». Он действительно происходит из семьи бизнесмена, всеми своими корнями связанного с Уолл-Стритом. У Стеффенса было все, чтобы быть преемником отца: ум, достаточная энергия, как он доказал позже, своеобразная предприимчивость, однако не было желания быть преемником отца. Больше того, он принадлежал к тем, кого судьба жестоко сшибла со своими родителями. Впрочем, этому предшествовал процесс сложный и длительный, по крайней мере в жизни Стеффенса. Он полагал: прежде чем избрать свой путь в жизни, человек должен испытать себя в разных сферах трудовой и общественной деятельности, и, следуя этому правилу, Стеффенс побывал в трех университетах, не минул даже военной школы, пробовал себя в столь разных областях,

как общественные науки и искусство, мечтал о карьере профессионального юриста, ученого, искусствоведа, знатока экономики и финансов, пока на веки веков не стал газетчиком. Наверно, это было самой натурой Стеффенса: он не мыслил жизни вне общественных интересов страны. Высокая гражданственность была тем воздухом, которым дышал Стеффенс. Он был человеком, для которого общение с людьми, общение широкое и повседневное, было необходимостью. Никогда прежде социальные проблемы для Америки не стояли так остро, как в начале века, никогда пропасть между нищетой и богатством не была так велика, а сама борьба между богатыми и бедными — так остра. Стеффенс взялся за перо. У него был свой взгляд на явления. Он считал, что Америку с ее конституцией и общественными институтами губят плохие люди.

Человек бескомпромиссный и прямой, идущий на врага с открытым забралом, Стеффенс начал поход против сильных мира сего, поход, по размерам своим и страстности беспрецедентный в истории Америки. Он объезжает десятки городов: Чикаго, Филадельфия, Сент-Луис, Нью-Йорк, восточное и западное побережья, американский юг и север, опускается на своеобразное «дно» золотого клана Америки — листает бухгалтерские книги, бывает в банках и на биржах, беседует с финансистами и гангстерами, банковскими клерками и газетными хроникерами и неистово атакует всех тех, для кого коррупция, взятка, спекуляция, мошенничество стали первосутью существования — истинно «разгребатель грязи»! Да, это имя, которым Стеффенс так гордился, прочно укрепилось за ним, как и за его сподвижниками. Да, «разгребатели грязи», враги всяческой подлости и лжи, непримиримые воители против тех, кто позорит и оскверняет Америку, прекрасную Америку, родину Линкольна и Вашингтона... Стеффенс был готов бесконечно повторять: прекрасную Америку.

Однако было одно обстоятельство, которое немало смущало и его: если даже носитель зла был посрамлен и низвергнут и его преемником стал человек, во всех отношениях достойный, — время делало свое, своекорыстное американское время, и достойный человек начинал брать взятки с той же ловкостью и, пожалуй, бесстыдством, с какой это делал его предшественник. Это обстоятельство немало смущало Стеффенса, но он продолжал свой поход

с прежним упорством и воодушевлением: главное — разгрести грязь, разбросать ее тяжелые и липкие комья как можно дальше и открыть из-под нее Америку.

Наверно, Америка и прежде знала своих Дон-Кихотов. Знала и умела с ними расправляться: наемная пуля безошибочно находила жертву. Однако Стеффенс остался жив и продолжал борьбу. Продолжал, хотя и понимал: как ни глубоко вошли в землю лемеха его плуга, они не выворотили наружу всего бурьяна, а там, где он был извлечен из почвы и, кажется, обезврежен, пророс вновь. Видно, то, что зовется «позором городов», отождествляется не просто с плохими людьми, а с плохой системой, а люди — всего лишь порождение системы... Видно, Америка, прекрасная Америка не так прекрасна, как казалось Стеффенсу в начале века, когда он пошел в бой против сильных мира сего...

Вывод, который напрашивался сам собой, способен был смутить и Стеффенса: значит, Америке нужна революция не меньше, чем, например, Мексике, где она поднялась сейчас с неодолимой силой?.. Стеффенс устремился в Мексику: он искал там ответа на вопросы, которые стали для него насущными. «...Я здесь как американец и патриот, который учится, как отнестись к революции в своей стране, а она нам необходима не меньше, чем вам». Собственно, его встреча с Россией, революционной Россией, была подготовлена самой логикой жизни Стеффенса, всем тем, чем он жил и что пережил. Впрочем, причина могла быть и иной: возможно, Стеффенс поехал в Россию и потому, что ему была интересна русская революция сама по себе. Все эти проблемы были для меня так значительны, что я хотел получить ответы на них уже от Эллы Уинтер. Однако знала ли Уинтер Стеффенса в пору, когда он совершал свои поездки в Россию, первую, вторую, третью? Ведь Уинтер много моложе Стеффенса? Первый раз Стеффенс был в России определенно до встречи с Уинтер. Первый. А вот второй? Кстати, вторая поездка для меня особенно важна — в этот свой приезд в Россию Стеффенс разговаривал с Лениным, да, тот знаменитый разговор о праве революции карать своих врагов. Может быть, настало время прямо спросить об этом Уинтер?

— Простите, Элла, а когда вы впервые встретились со Стеффенсом... это было после Парижа и России?

Она рассмеялась, рассмеялась тем жизнелюбивым

смехом, который больше, чем что-либо иное, говорил, как ей приятен твой вопрос:

— Нет, это было во время Парижа и во время России.

Значит, первая встреча с Уинтер относится к тому самому времени, когда Стеффенс был в России и видел Ленина. Не исключено, что Уинтер могла сообщить о тех днях Стеффенса нечто такое, чего мы не знаем.

— А с чем Стеффенс вернулся из России?.. Его состояние?.. Вы это должны были почувствовать.

Она улыбнулась.

— Да, конечно, и это было заметно... Знаете, эти его слова, сказанные Баруху и ставшие позже крылатыми... по-моему, очень точно выражают его настроение после приезда из России...

— У него было впечатление, что в Москве с пониманием отнеслись к целям его миссии?

— Да, он был воодушевлен.

— Тогда почему все-таки миссия не оправдала надежд?.. Вы были в Париже в дни мирной конференции... вы были осведомлены, не так ли?..

Уинтер задумалась — не просто вспомнить то, что произошло двадцать с лишним лет назад, даже если ты был тому свидетелем.

— Мне кажется, — произнесла она, и слова были разделены паузами — она продолжала вспоминать, — союзники, направив Буллита в Россию и наделив его соответствующими правами, отступились... и от своих первоначальных намерений и от Буллита. В то время как Ленин остался верен договоренности с Буллитом, Вильсон и Ллойд-Джордж... отступились, — она оживилась, весело замахала руками. — В своем роде уникальная история... и с точки зрения общественной и человеческой, — она задумалась, в ее густых, сейчас близко сдвинутых бровях поселилась хмарь. — У Стеффенса это вызывало гнев. Кстати, история миссии напечатана самим Государственным департаментом... Да, чисто шекспировский конфликт в документах... На одном полюсе этого конфликта Ленин, на другом — знаменитая троица: Вильсон, Ллойд-Джордж, Клемансо.

Рассказ Уинтер увлек меня. Мне захотелось увидеть документы, о которых говорила Уинтер. Однако прошло время, и немалое, прежде чем удалось осуществить это. То, что я увидел, в самом деле напоминало шекспиров-

скую коллизию на современный лад. Да, действительно, Шекспир, как его представила бы сегодня литература факта.

Вот как это выглядело.

Миссия Буллита в Россию

(По документам Государственного департамента)

Париж. Кабинет Пишона, 16 января 1919 года.

Ллойд-Джордж: ...Надежда на падение большевистского правительства не осуществилась. В самом деле, имеются сведения, что в настоящее время большевики сильнее, чем когда-либо, что их внутреннее положение прочно, а влияние на народ усилилось... Есть также сведения, что крестьяне становятся на сторону большевиков. Едва ли следует великим державам вмешиваться, оказывая той или иной враждующей стороне финансовую поддержку или посылая военное снаряжение. Возможны три пути.

Первый. Правда, большевистское движение так же опасно для цивилизации, как германский милитаризм, но найдется ли кто-нибудь, кто предложит уничтожить его военной силой? Это значило бы, что надо занять несколько обширных русских областей. Немцы с миллионом человек на своем Восточном фронте занимают лишь краешек этой территории. Если бы я сейчас предложил послать для этой цели в Россию английские войска, в армии бы подняли мятеж. То же относится к американским войскам в Сибири, к канадским, а также к французским войскам. Мысль подавить большевизм военной силой — чистое безумие. Но, если это даже будет сделано, кто тогда займет Россию? Никто не сможет силой водворить порядок.

Второй. Блокада. Представляют ли себе присутствующие, что это значит... Эта блокада явилась бы блокадой смерти. Более того, люди, которые погибли в результате этой блокады, это те люди, которых союзники хотят задушить... Кто же может свергнуть большевиков? Мне назвали троих: Колчака, Деникина и Нокса... Если союзники рассчитывают на одного из этих людей, они строят здание на песке. Я слышал много разговоров о Деникине, но, взглянув на карту, я увидел, что Деникин занимает маленький клочок территории, на задворках у Черного

моря. Мне сообщили, что Деникин признал Колчака, но, взглянув на карту, я увидел, что между ними лежит весьма основательный кусок территории. Кроме того, Колчак окружил себя сторонниками старого режима, и, кажется, сам — монархист в душе. По-видимому, чехословаки отгадали это. Они совсем не склонны сражаться за восстановление в России старого порядка.

Третий. Подобно тому как Римская империя созывала глав отдельных провинций, подчиненных Риму, с тем, чтобы не давали ей отчет в своих действиях, следует пригласить русских в Париж предстать перед присутствующими. Я не вижу лучшего пути, чем третий.

Пишон предложил пригласить французского посла в России Нуланса и выслушать его. Его предложение осталось без ответа.

Вильсон: По-моему, господину Ллойд-Джорджу нечем возразить... Существует одно обстоятельство, которое, как я думаю, особенно стоит отметить... Большевистские вожди черпают силу в том аргументе, что если русский народ их не поддержит, то неизбежно последует иностранная интервенция, и что большевики защищают русский народ от военного господства иностранцев. Очень возможно, что если бы русские были уверены, что они гарантированы от нападения иностранцев, то большевистское движение потеряло бы под собой почву.

Итак, первый обмен мнениями обнаружил: Ллойд-Джордж и Вильсон — за приглашение русских. Всех русских, представляющих силы-антагонисты, сражающиеся на русских просторах. Однако этот обмен мнениями носил предварительный характер — не высказались Франция, Италия, Япония. Им предстояло высказаться — с одной стороны, Вильсон и Ллойд-Джордж, с другой — Клемансо. Это произошло тремя днями позже. Как обосновали свои мнения одна и другая стороны?

Приглашение, но только не в Париж

Париж. Все тот же кабинет Пишона, 21 января 1919 года.

Клемансо: Я против переговоров с большевиками. Признав их достойными вступить с нами в переговоры, мы как бы уравняли бы их в правах с собой... Большевизм

расширяется. Он захватил Балтийские области и Польшу, и как раз сегодня получены дурные сведения об его успехах в Будапеште и Вене. Италия также в опасности. Там опасность, по-видимому, больше, чем во Франции. Если большевизм, распространившись в Германии, перебросится через Австрию и Венгрию и достигнет Италии, то Европа окажется перед лицом огромной опасности... Когда я слушал здесь чтение документа, представленного президентом Вильсоном, я был поражен искусством, с которым большевики пытались поставить западню союзникам... Итак, если бы я действовал самостоятельно, я подождал бы и тем временем поставил бы преграды распространению большевизма. Но так как я не один, я вынужден сделать некоторую уступку... Я прошу президента Вильсона составить обращение ко всему миру, включая Россию и Германию.

На другой день, то есть 22 января, был составлен меморандум с предложением о конференции на Принцевых островах. Конференция была назначена на 15 февраля и тут же были отправлены соответствующие приглашения. Однако ответы были отнюдь не единодушны. Возникла необходимость в контакте неофициальном, но достаточно действенном, союзников с Советской республикой. Так возникла идея о миссии Буллита в Россию. Цель миссии: выяснить, на каких условиях Советское правительство согласно прекратить военные действия.

Перед отъездом в Россию

Вашингтон. Из показаний Вильяма Буллита сенатской комиссии по иностранным делам, 19 сентября 1919 года.

Буллит: ...Было решено, что я немедленно должен ехать в Россию и попытаться получить от Советского правительства точное изложение условий, на которых оно согласилось бы прекратить военные действия. Мне было приказано получить, если возможно, изложение этих условий и тотчас вернуться в Париж... План состоял в том, чтобы сделать советскому правительству такое предложение, которое оно, наверно, приняло бы.

Председатель: Эти предложения исходили от президента?

Буллит: Я получил их от полковника Хауза и беседо-

вал с м-ром Лансингом. Они мне и дали эти инструкции... Полковник Хауз просил меня уведомить м-ра Керра о моей миссии. Мы хранили это в полной тайне от всех за исключением англичан. Английская и американская делегации в продолжение всей конференции работали в полном контакте, и в сущности американская делегация не имела никаких секретов от британской делегации... Я рассказал все о своей поездке м-ру Керру и просил его добиться, если это возможно, чтобы м-р Бальфур и м-р Ллойд-Джордж дали мне общие указания об их точке зрения на мир с Россией и о том, что они собираются ради этого сделать. Затем мы с м-ром Керром разработали возможные основы мира с Россией...

К каким выводам пришла миссия Буллита

Из отчета Вильяма Буллита правительству США о результатах миссии в Россию.

«...В самой коммунистической партии существует различное отношение к вопросам иностранной политики, но эти разногласия не порождают личной вражды и не создают раскола в самой партии... Ленин, Чичерин и большинство коммунистической партии настаивает на том, что основной задачей момента является спасение от голодной смерти пролетариата Европы. Обаяние Ленина в России сейчас так велико, что группа Троцкого вынуждена нехотя следовать за ним. Действительно, Ленин практически держится правильного направления в политической жизни России. Он понимает нежелательность, с социалистической точки зрения, компромиссов, которые он вынужден допускать, но он готов их допускать... Ленин воспользовался возможностью, предоставленной ему поездкой, чтобы сделать определенное заявление о позиции советского правительства. Он встретил сопротивление со стороны Троцкого и военачальников, но без особого труда получил поддержку большинства Исполнительного комитета, и то предложение, которое мне было вручено, было в конце концов принято единогласно.

Моя беседа с советскими руководителями была достаточно обстоятельна, чтобы я мог с уверенностью сказать, что предложение это не представляет минимума условий советского правительства, и я могу детально указать, в

чем оно может быть изменено, не становясь неприемлемым для советского правительства...

...В настоящий момент в России только социалистическое правительство сможет утвердиться, не обращаясь к иностранным штыкам. Вместе с тем всякое правительство, пришедшее к власти таким образом, падет в тот момент, когда эта поддержка прекратится. Ленинское крыло коммунистической партии в настоящее время так же умеренно, как и любое социалистическое правительство, которое могло бы управлять Россией.

Никакой действительный мир не может быть установлен в Европе и во всем мире, пока не будет заключен мир с революцией. Это предложение советского правительства представляет возможность заключить мир с революцией на справедливых и разумных основаниях и, быть может, единственную возможность.

Если блокада будет снята и Советская Россия будет регулярно снабжаться всем необходимым, то русский народ можно будет крепче зажать в руках, чем с помощью блокады, а именно: с помощью страха прекращения снабжения. Сверх того, те партии, которые принципиально враждебны коммунистам, но в данное время поддерживают их, тогда смогут начать с ними борьбу.

...О Ленине уже создаются легенды... Его портреты, обычно сопровождаемые портретами Карла Маркса, висят повсюду. В России никогда не услышишь вместе имен Ленина и Троцкого, как обычно на Западе. Ленина считают единственным в своем роде... Когда я был у Ленина в Кремле, мне пришлось подождать несколько минут, пока он принимал делегацию крестьян. Они в своей деревне услышали, что товарищ Ленин голодает и прошли сотни миль, чтобы доставить ему 800 пудов хлеба, как подарок деревни Ленину. А непосредственно перед тем явилась другая делегация крестьян, до которой дошел слух, что товарищ Ленин работает в нетопленной комнате, они доставили печку и трехмесячный запас дров. Из всех вождей только Ленин получает такие подарки. Он отдает их в общий фонд.

В личном общении Ленин — замечательный человек, прямой и решительный...»

Вашингтон. Из показаний Вильяма Буллита сенатской комиссии по иностранным делам.

Буллит: Как только я приехал, полковник Хауз сообщил об этом по телефону президенту, сказав, что, по его мнению, вопрос крайне важен и что, по-видимому, представляется возможным установить мир в той части земли, где мира еще нет, там, где ведется 23 войны. Президент заявил, что примет меня на следующий день, но не смог этого сделать из-за головной боли, а затем он заявил полковнику Хаузу, что всецело занят Германией и не может думать о России и что русский вопрос он всецело предоставляет ему, полковнику Хаузу. Поэтому я имел дело только с полковником Хаузом, тем более что этот последний по данному вопросу является уполномоченным и президента и Ллойд-Джорджа. Я беседовал с ним ежедневно по 2—3 раза на день, убеждая его закончить дело до 10 апреля — срок, после которого, как вы помните, это предложение теряло силу...

Сенатор Нокс: Вы нам сообщили, что отправились в Россию с инструкциями государственного секретаря Лансинга, с разъяснениями американской политики, полученными от полковника Хауза, и с согласия м-ра Ллойд-Джорджа, который одобрил вашу миссию и цели, ради которых вы были посланы. Теперь скажите нам, известно ли вам о том, что ваш отчет и предложение советского правительства были официально рассмотрены мирной конференцией.

Буллит: Они никогда не были представлены на рассмотрение мирной конференции, которая, как мне известно, имела только шесть заседаний за все время своего существования.

Сенатор Нокс: Не утверждал ли м-р Ллойд-Джордж в речи в парламенте, что он никогда не получал предложения, с которым вы вернулись из России?

Буллит: Приблизительно через неделю после того, как я собственноручно передал м-ру Ллойд-Джорджу это официальное предложение в присутствии трех других лиц, он произнес речь в английском парламенте и дал понять британскому народу, что он решительно ничего не знает о таком предложении. Это был наиболее вопиющий слу-

чай обмана общественного мнения, какой я знаю за всю свою жизнь...

Сенатор Нокс: М-р Буллит, вы сложили с себя свои обязанности в Государственном департаменте и отказались от государственной службы, не так ли?

Буллит: Да, сэр, я вышел в отставку 17 мая.

Вот так выглядела миссия Буллита по документам, на которые обратила мое внимание Уинтер. Сознаюсь, что воспроизвел не все документы. Мне казалось, что надо воссоздать только те, которые дают представление о самой логике событий: с чего события начались, где они достигли апогея и как завершились. Только о развитии. Может поэтому, за пределами рассказа остались наиболее эмоциональные документы. Однако и в тех свидетельствах, которые мы воспроизвели, эта история не перестала бы быть в меньшей мере шекспировской. Легкость, с которой отступились от делегации Вильсон и Ллойд-Джордж, отступились грубо, даже не заботясь о том, как обставить самый акт отступничества и сделать его благовидным, поразительна.

Прежде чем завершить рассказ о миссии Буллита, было бы уместно предостеречь от одного заблуждения. Может создаться впечатление, что большевикам удалось обратить молодого Буллита в свою веру, и глава миссии выступил перед теми, кто послал его, как друг новой России. Если такое впечатление создается, его надо решительно опровергнуть. Это надо сделать не потому, что Буллит занял воинственно-антисоветскую позицию позже — для такого вывода не дает оснований сам материал девятнадцатого года и, в частности, отчет, который мы провели. Буллит шел на мир с Россией потому, что этот мир был кратчайшим путем к цели, которую ставили перед собой союзники: задушить большевиков. Нет, мы не оговорились: Буллит так и говорит — задушить.

Так думал Буллит — не Стеффенс.

Что же касается Стеффенса, то его влияние на выводы, к которым миссия пришла, могло быть только благотворным. Несомненно, в этом документе мнение Стеффенса отражено. В документе — не в позиции Буллита, тогдашней и, тем более, позднейшей.

Буллит — карьерный дипломат, далекий идеалам России. Он возглавил миссию не потому, что это отвечало

движениям его души, симпатиям к борьбе и страданиям русских. Буллит просто ставил на русскую лощадь, как в иных обстоятельствах он поставил бы на немецкую или французскую. Из расчета ставил. Это давало возможность молодому дипломату обрести положение, на завоевание которого в иных обстоятельствах потребовались бы десятилетия. Буллит и дверью хлопнул все по той же причине — уход из Госдепартамента был ему выгоднее дальнейшего пребывания в нем. Слава о молодом дипломате, благородном и строптивом, который не хотел поступиться принципами и подал в отставку, всячески поддерживалась и самим Буллитом — он верил, что это рано или поздно даст свои выгоды. По-своему Буллит рассчитал верно. В 1933 году, когда Рузвельт настоял на возобновлении отношений с СССР, Буллиту был предложен пост посла в СССР. Слава давнего друга России, пострадавшего за Россию, едва ли не являлась в те годы синонимом имени Буллита. Заняв пост посла в Москве, Буллит в своей деятельности мог пойти двумя путями. Первый путь: больше, чем когда-либо прежде, он обрел возможность подтвердить репутацию друга СССР и действительно сделать много доброго для улучшения отношений с Советской страной. Он мог бы поступить так, если бы все эти годы дружба с СССР была бы его истинной позицией, а не линией поведения. Второй путь: заняв столь высокий пост, каким является пост посла в СССР, Буллит впервые за последние двадцать лет мог выйти из роли, в которую своеобразно вошел весной девятнадцатого года, и публично обнаружить свои истинные симпатии и антипатии. Таким образом, перед Буллитом было два пути — он пошел вторым. По опыту девятнадцатого года он знал, что смена позиций сулит немалые выгоды, если осуществляется демонстративно. Тогда он хлопнул дверью. Хлопнул дверью и теперь. Цели как будто бы разные, однако эффект для Буллита был тот же. Остальное известно — встав на позиции воинственного антисоветизма, Буллит стоял на них до конца.

Так сложилась судьба Буллита. В итоге его первой миссии в Москву в девятьсот девятнадцатом. И в итоге второй в тридцать втором — тридцать четвертом.

А как сложилась судьба Стеффенса?

Его поездка в Москву в девятнадцатом и разговор с Лениным, достаточно пространный и острый, явились жестоким испытанием его взглядов на первоприроду демок-

ратии, на первосуть того, что было советской демократией.

Стеффенс, как известно, спросил Ленина, намерена ли революция продолжать репрессии против своих врагов. Ленин ответил вопросом на вопрос: «Кого это беспокоит... вас?» Стеффенс сказал, что это беспокоит не только его, но и Париж. Ленин возразил: «Хотите ли вы сказать, что те самые люди, которые только что организовали убийство семнадцати миллионов человек в бессмысленной войне, теперь озабочены гибелью нескольких тысяч во время революции?»

Как видит читатель, разговор между Лениным и Стеффенсом достиг накала немалого.

Со свойственной Стеффенсу бескомпромиссностью, он говорил не срезая углов.

Ленин отвечал ему убежденно и твердо.

Если мы хотим победы революции, мы не должны ее делать в белых перчатках — вот смысл того, что сказал тогда Стеффенсу Ленин.

А как отозвался на это Стеффенс?

Об этом я и хотел поговорить с Эллой Уинтер, когда в свой последний приезд в Москву она зашла ко мне в редакцию «Иностранной литературы».

— Вот книга, которая только что вышла в Нью-Йорке под моей редакцией, — сказала Элла Уинтер и развернула томик в глянцевом супере. — «Мир Линкольна Стеффенса» — так называется книга. Название точно: книга действительно обнимает мир мыслей и надежд Стеффенса о дне нынешнем и грядущем, об Америке и Европе, о войне, мире и революции, и, конечно же, о России, Октябре и Ленине. «Мировое правительство (имеется в виду Антанта. — *С. Д.*) может свергнуть Ленина и отбросить его назад в русские горы, — читала Элла Уинтер, — но нельзя вырвать мечты, вызванной им в сознании людей». И вот что Стеффенс говорил о Советской России и ее правительстве: «Новая система России растет со всей силой веры и мужества, надежды и свежего взгляда на жизнь и явления... Дайте новой системе несколько столетий, и она, я верю, создаст общество, самый рядовой член которого будет столь же благороден, как и лучшие люди нашего времени».

Элле Уинтер было легко выразить мнение Стеффенса — она держала в руках книгу, которая только что вышла.

— Линкольн был человеком страсти и мысли. У него был свой идеал справедливости. Идеал страны, в которой нет богатых и бедных. Идеал страны, где сами ценности, созданные человеком, распределены на справедливых началах. Где человек не испытывает угнетения... Где принципы честного человека не вступают в конфликт с принципами, на которых стоит государство. Где человек свободен от нужды, а следовательно, от страха. Стеффенс понимал, что не просто создать такой тип государства, но прообраз его он видел в Советской стране. Он верил в нее, был ей предан, как мог защищал. По-моему, я сказала обо всем этом даже не своими, а его словами — по крайней мере, в книге это все есть.

Она взяла перо и открыла титульный лист книги. В дарственной надписи, сделанной по-английски, тон задавали два русских слова: старый друг. Ну что ж, наверно, это было справедливо.

— Вот что, милая Элла: если вы полагаете, что после этого подарка у меня не будет к вам просьб, то вы ошибаетесь, — сказал я, принимая книгу.

С несвойственной ей покорностью она опустила свои большие глаза:

— Я готова.

— Не увлекла бы вас, Элла, такая статья: «Стеффенс и Ленин»?

— Ведь это же так трудно...

Как мог, я пытался убедить Уинтер написать статью: в ее руках архив Стеффенса, да лучше ее этой темы никто не знает — доказательство тому книга, которая лежит у меня на столе.

Как я понял, мысль написать статью и увлекла Уинтер, и внушила ей робость.

Уинтер не дала мне согласия, пообещав ответить позже, может быть письмом.

Действительно, через некоторое время письмо пришло.

Оказывается, Уинтер написала статью... Может быть, уместно было бы привести это письмо Уинтер — его содержание имело прямое отношение к существу вопроса: Уинтер говорила об истории отношений Стеффенса с Россией и Лениным, сообщала нечто такое, что малоизвестно.

Уинтер писала:

«Я закончила статью, о которой Вы меня просили: Ленин и Линкольн Стеффенс, поездки Стеффенса в Советский Союз. Статья получилась большая, о чем Вы также

просили, от 25 до 30 тысяч слов. Я включила в нее отрывки из писем Стеффенса той поры, его размышления о СССР, явившиеся результатом его трех поездок туда в 1917, 1918 и 1919 годах, его мысли и впечатления о миссии Буллита. Стеффенс приезжал еще в СССР на короткое время в 1923 году с сенатором Робертом М. Лафоллеттом, и это был его последний визит в СССР. Затем в 1930 году приезжала я и по возвращении подробно обо всем ему рассказала (у меня сохранились все мои письма того периода); в 1931 году я снова посетила СССР и снова подробно информировала его... Моя следующая поездка в СССР состоялась в 1944 году, когда я познакомилась с Вами.

Однако я написала книгу, излагающую в деталях мои первые две поездки и названную «Красное мужество», которая вышла в США и Англии в 1933 году и была хорошо принята.

В свою статью о Ленине и Стеффенсе я также включила отрывки из отчета о миссии Буллита, из различных статей Стеффенса в американских журналах, из его бесед, речей, писем домой и докладов крупным политическим деятелям Америки. Разве в Ленинской библиотеке нет экземпляров «Писем Линкольна Стеффенса» (Харкот Брейс, 1938), изданных мной и Грэнвиллом Хиксом? Или «Речей Линкольна Стеффенса» (Харкот Брейс, 1936), содержащих многие его соображения по политическим проблемам, представляющим для Вас интерес? Или «Мира Линкольна Стеффенса», которую я подарила Вам в Москве этим летом (Хилл и Уэнг, 1963), изданную мной и Гербертом Шапиро, со вступительным словом, написанным профессором Барроузом Дунхамом? Безусловно, библиотека должна это иметь, а если нет, пожалуйста, сообщите мне, и я постараюсь выслать эти книги Вам, как только попаду в Америку (книги изданы в тридцатых годах и с тех пор не переиздавались).

Я собираюсь туда, чтобы издать свою автобиографию, экземпляр которой я Вам оставила (в гранках). Я вышлю Вам законченную книгу, как только она выйдет, чтобы Вы могли использовать уже откорректированные главы для напечатания в «Иностранной литературе». Я прошу Вас написать мне до моего отъезда в США, который состоится числа 15 октября. Мне очень хочется услышать о Ваших планах, можете ли Вы опубликовать в Вашем журнале мою длинную статью о Ленине и Стеффенсе, и

то ли это, что Вам нужно? В США я достану Вам фотостатьи «Писем Стеффенса», где говорится о Ленине, и, возможно, отрывки из «Автобиографии», где он рассказывает о встречах с Лениным, написанной его рукой. У меня есть первоначальный экземпляр «Автобиографии» и оригиналы многих его писем. Подлинники работ Стеффенса находятся в Колумбийском университете, куда я их сдала после его смерти с тем, чтобы они были доступны для студентов и ученых.

Интересно, что сейчас в США и в Западной Европе, как и в СССР, усилился интерес к Ленину, к первым годам существования Советской власти и к Линкольну Стеффенсу и его работе. ...С сердечным приветом,

Ваша Элла Уинтер».

А вслед за этим пришла статья Уинтер и стопка великолепных фотографий Стеффенса и Уинтер, в том числе редкие семейные, где Линкольн и Элла сфотографированы с сыном. Статья так и называлась: «Ленин и Линкольн Стеффенс». Там есть строки, которые прямо отвечают на вопрос, интересующий нас: каким Уинтер помнит Стеффенса после того, как он вернулся в 1919 году из Москвы. Ответ Уинтер достаточно лаконичен, но точен — кстати, она воспроизводит и знаменитые стеффенсовские слова, сказанные им Баруху по возвращении из Москвы:

«...В 1919 году в Париже, когда я впервые встретила Стеффенса, он рассказал мне о своей беседе с Лениным. Стеффенс как раз вернулся из Москвы, куда ездил с миссией Буллита. Это была секретная миссия, имеющая целью выяснить, действительно ли эти непонятные большевики хотят мира и на каких условиях участники мирной конференции — президент Вильсон и Ллойд-Джордж, сеньор Орланди и Клемансо могли бы с ними договориться. В то время мало кто знал об этих ужасных, делающих революцию большевиках. Линкольн Стеффенс был проницательным наблюдателем. Он с большим интересом отнесся к своей первой встрече с Владимиром Ильичем. По возвращении в Париж он сказал и с тех пор эти слова, по крайней мере в Америке, стали крылатыми: «Я был в будущем, и оно прокладывает себе путь».

Вы могли видеть этого американца в Москве. Ему за семьдесят, но его светлые, не замутненные годами глаза полны живой зоркости. У него широкий шаг, неторопливый и мягкий. Он очень высок, и его белая голова видна издали...

Да, все началось с ленинской записи. Она была более чем лаконична. Всего одна строка.

«Джером Девис, балтиморский профессор, 1 милл. долларов».

Ленин, обычно подчеркивающий в своих записях лишь особо важное, отметил эту строку двумя жирными линиями...

Джером Девис?

Я вспомнил вьюжный ноябрь сорок третьего года, фронтовую дорогу на Смоленск, уже лежащую под снежным настом, и человека в меховой шубе, крытой жесткой парусиной. Березка у дороги, под которой он стоял с нашим солдатом-бородачом, успела расцвести морозным снегом и обнажиться, а беседа их все продолжалась.

«А знаете, — сказал мне Джером Девис, когда мы ехали с ним белым полем, — все мои корреспонденции в «Торонто стар» посвящены одной теме: русскому солдату, каким я увидел его теперь и каким знал в ту войну».

Джером Девис не оговорился: в ту войну.

Из того немногого, что Девис рассказал мне тогда, я узнал, что впервые он приехал в Россию еще до революции и покинул ее летом семнадцатого года, хотя и возвращался сюда неоднократно позже: в двадцать первом, в двадцать седьмом и в начале тридцатых годов, при Рузвельте...

«Да, при Рузвельте, — заметил Девис, — но я тогда допустил ошибку...»

В тот раз я не решился спрашивать Девиса, что он имел в виду, надеясь, что он сам пояснит смысл своей фразы.

Как-то весной сорок четвертого года в румынском городке Ботошани, который накануне заняли наши войска, Девис рассказал мне о встрече с Франклином Рузвельтом.

«Это было в тридцать третьем году, в том самом году, когда Рузвельт решил признать Советскую Россию, —

сказал Джером Девис. — Но, прежде чем сделать этот шаг, президент захотел говорить со всеми, кто знает Россию. Среди них был и я. Президент сказал мне: «Я хочу признать Россию», и я сказал президенту: «О'кей!» В тот раз я ушел из Уайт-Хауз лишь на другой день. Много часов я рассказывал президенту о России. Но потом президент задал мне второй вопрос, и я сделал ошибку. Вы хотите знать, какую?.. Рузвельт спросил меня, что я думаю, если он назначит американским послом в Россию Вильяма Буллита... Я знаю, что Буллит хорошо говорил о своей поездке в Россию в девятнадцатом году, и я ответил: «О'кей!» Это и была моя ошибка. Надо было сказать «ноу», а я сказал «о'кей» ...Буллит был не лучший наш посол в России...»

Я смотрел на Девиса и думал: «Что заставило этого человека, теперь уже немолодого, столько лет прожить в стороне от дома?» Было в нем что-то от подвижника, искателя истины, отправившегося в нелегкий поход, а от начала похода до конца — что от начала до конца жизни.

Все это пришло мне на память, когда я вновь перечитал ленинскую запись:

«Джером Девис, балтиморский профессор, 1 милл. долларов».

Кстати, теперь я заметил, что вся запись, в которой содержится строка о Девисе, выглядит в виде двадцатистрочной колонки: каждая фраза — строка. Запись предельно сжата, но общий смысл ее ясен: речь идет об издании работ ученых Петрограда. Под своеобразной рубрикой «Редакция за нами» Ленин записал имена ученых, которые могли бы взять на себя редактирование этих работ. Там есть такое имя: Пинкевич. Да, да, доктор педагогических наук А. П. Пинкевич, который возглавил Комитет по улучшению быта ученых после отъезда А. М. Горького за границу. «Пинкевич, принять (до субботы, здесь, в Москве). Найти через Горького». Так и написано: «Найти через Горького». Имя Горького стоит и вначале, и, таким образом, вся запись идет как бы под знаком этого имени. Очевидно, мы имеем дело с краткой записью беседы с Горьким. А если так, то имя Джерома Девиса тоже было упомянуто в беседе Ленина с Горьким.

Мне показалось заманчивым расшифровать эту строку в ленинских записях: я был знаком с человеком, о котором шла речь, и всего лишь в прошлом году получил

от него письмо. Да, Джером Девис, знавший лично многих наших американских друзей, от Джона Рида до Альберта Риса Вильямса, прислал мне письмо, в котором рассказал об этих людях. Быть может, обращение к Джерому Девису — единственная возможность проникнуть в смысл этой ленинской записи.

Но вот вопрос: когда происходила беседа, о которой идет речь? К сожалению, сам документ не датирован, однако, как отмечают редакторы Ленинского сборника, где этот документ помещен, в настольном календаре Ленина есть две пометки о приеме Пинкевича, того самого Альберта Петровича Пинкевича, о котором просил Ленина Горький. Как свидетельствуют пометки Владимира Ильича в календаре, он принимал Пинкевича дважды: 29 сентября и 19 октября 1921 года.

Альберт Петрович Пинкевич?.. Погодите, но ведь он оставил воспоминания о своих встречах с Лениным. Кстати, не о тех ли самых встречах?.. «Уезжая, Алексей Максимович Горький передал с согласия В. И. Ленина и Комиссии по улучшению быта ученых обязанности председателя мне (в качестве заместителя). За месяц до отъезда (в сентябре) он условился с Владимиром Ильичем, что мы приедем к нему и переговорим о ряде дел комиссии. Но Алексей Максимович заболел, и в назначенный день и час мне пришлось быть принятым одному...»

У Пинкевича острый и верный глаз, в его записях портрет Ильича убедительно верен: «Он совсем не брюнет, каким его изображают: рыжеватые усы и борода, цвет лица блондина. Он неожиданно невысок, однако широкоплеч, крепко и ладно скроен, у него своеобразной формы голова — с большим лбом, почти голая...»

И дальше, когда знакомство произошло («минут пятнадцать уходит на расспросы о вашей работе в прошлом и настоящем») и речь коснулась самой сути:

«...Теперь Владимир Ильич спрашивает о Горьком, участливо, тепло, дружески. Заботится о том, чтобы при нем был кто-то во время поездки.

— Надо к нему человека рукастого, — добавляет он и смеется.

Но вот о деле, приведшем меня к нему. Говорю снова, не без смущения, что надеюсь на его помощь, что боюсь, как бы не стало хуже с отъездом Алексея Максимовича. И, немного привыкнув к Ильичу, решаюсь сказать:

— Мы (то есть комиссия), признаться, часто думали, что многое делается именно для Алексея Максимовича. А у нас, остающихся, нет ни его связей, ни обаяния его имени, и вся надежда — на вас, на вашу помощь.

Он слушал сначала серьезно, к концу моей речи рассмеялся:

— Ладно, давайте будем вам помогать».

Как известно, Владимир Ильич и в отсутствие Горького следил за работой Комиссии по улучшению быта ученых и оказывал ей действенную помощь. Кстати, об этом пишет и А. П. Пинкевич в своих воспоминаниях.

Итак, Ленин первый раз принял Пинкевича 29 сентября. Встреча Горького с Лениным предшествовала этой встрече. Значит, Ленин принимал Горького где-то в середине сентября. Пинкевич говорит: «За месяц до отъезда». Горький уехал в Италию 16 октября. Следовательно, его встреча с Владимиром Ильичем была в середине сентября.

Вот вопрос: не был ли Джером Девис в России в сентябре 1921 года и не встречался ли он в это время с Горьким?

Я решил внимательно исследовать нашу прессу. Старые газеты обладают силой необыкновенной. Порой только они способны восстановить безнадежно утраченное. Но в этот раз поиски не дали результатов. По стране шел голод, и его белый огонь, казалось, лег на газетные полосы... Я обратился к ленинским документам той поры: текстам его статей и докладов, к оперативным документам и тем особым документам, которые не имеют жанра (две-три строки, написанные на календарном листе стремительным ленинским почерком). Шла ли речь о наших внутренних делах или делах внешних, одна тема присутствовала повсюду: голод, борьба с голодом. У Ленина была папка, или, как он говорил, «обложка», в которой хранились дела, связанные с покупкой продовольствия за рубежом. На одном из документов он начертал в эти дни: «В обложку о закупке продовольствия за границей напоминать мне каждый день». Я листал газеты и документы, листал и не мог найти ответа, хотя ключ к заветной строке был где-то здесь...

Мне казалось, что я напал на верный след, когда вновь перечитал стенограмму допроса американцев, наших друзей и врагов, на так называемой «сенатской комиссии Овермена». Читатель помнит: вся когорта наших друзей,

и прежде всего Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Раймонд Робинс, Луиза Брайант, Бесси Битти, явилась на эту комиссию, чтобы исчерпывающе объяснить и подтвердить свои симпатии к России. Внимательно исследуя тексты показаний, я набрел там на имя Джерома Девиса и впервые почувствовал, что в моих руках решение задачи. О Джероме Девисе говорил Альберт Рис Вильямс.

«Есть в Америке люди, которые протянули руку помощи русскому народу, которые работали в Советах, которые своими глазами видели русскую революцию, которые лично знакомы с советскими руководителями. Им также известны все антисоветские россказни тех американцев, которые так и не поняли, что такое Советы. Пригласите их сюда, и они нарисуют совершенно иную картину русских событий. Они расскажут вам о том, что создание Советского правительства — это честнейшая попытка перестроить жизнь общества.

Когда рабочие и крестьяне вооружились, Красная гвардия выступила на борьбу с немцами... Джером Девис передал русским вагон продовольствия. Ему активно помогал и другой наш соотечественник, Хэмрис. Девис и Хэмрис работали с русскими и потому могли узнать и понять их. Они знают правду о положении в России, и их показания будут не похожи на те, которые вы здесь слушали. Следует заметить, что сотрудники американского Красного Креста, действовавшие через Советы, не только поняли их значение, но и прониклись к ним доверием и симпатией».

Но этот документ всего лишь подвел меня к ответу на вопрос. Но прямо на вопрос мог ответить только Девис.

Мне было известно, как нелегко застать его в Соединенных Штатах. С тех пор как Девис связал себя с борьбой за мир, он побывал во многих странах. Уже после войны он был трижды в Советском Союзе. Две большие книги, написанные в последние годы Джеромом Девисом, переведены на многие языки.

Я написал письмо Девису, обстоятельно изложив в нем сущность моей просьбы, но, прежде чем сдать его на почту, попытался установить, где сейчас Девис и не собирается ли он в ближайшее время в Москву. Ответ, который я получил, не явился для меня неожиданностью: Девис находится на пути в Москву. Он едет на конгресс в защиту мира...

И вот мы сидим с Девисом, и раскрытая книга лежит перед нами. Он никогда не видел этой записи Ленина. Никогда. Может, поэтому ему так трудно овладеть собой.

— Это уандерфул, да, да... поразительно! — замечает он, и его бледная рука тянется к книге.

Видел ли он Горького в двадцать первом году? Видел! Что означает миллион долларов?..

Он берет книгу и пододвигает к себе.

— Но ведь это был двадцать первый год... двадцать первый... Нет, сразу не скажешь... — Он вновь смотрит на книгу, повторяет, теперь тише, чем прежде: — Уандерфул... уандерфул...

Сейчас он расскажет все. А пока он поднялся и стал поодаль. Я не видел его почти двадцать лет. По-прежнему грозно-тревожны глаза, но лицо стало бледнее да глазницы чуть-чуть глубже, а голос такой же, есть в нем петушиная голосистость, то ли юношеская, то ли стариковская.

— Впервые я приехал в Россию в тысяча девятьсот пятнадцатом году как волонтер для работы среди военнопленных, — начал он свой рассказ. — Вначале строил бани и прачечные для пленных, потом клубы для русских солдат. Ни то ни другое не пользовалось поддержкой властей. За мной следили и днем и ночью. Чтобы отрубить «хвост», надо было войти в баню и потом выпрыгнуть в окно. Когда произошла революция, мне сказали: «Это и ваша работа!» Я был доволен: «Хорошая работа!»

Рядом с книгой лежит портативный радиоприемник в желтой коже — наверно, то немногое, что берет этот человек в дорогу. Мне даже видится: непрочный голос этого приемника — единственное, что связывает человека с внешним миром, когда самолет несет его над грозными увалами и падями океана.

— На фронте началось... братание, — говорит Девис, — я решил перейти линию фронта и проникнуть в Германию. Моими товарищами были коммунисты. Прямо из русских окопов мы попали в немецкие. Жизнь в России многому меня научила. Я узнал душу русского человека, а это немало.

Видно, где-то над городом встала дождевая туча. Девис зажигает свет. Теперь я уже привык к Девису, и мне кажется, что за эти двадцать лет он не изменился. На нем такой же костюм, как прежде, просторноватый.

Да и пальто, что висит, чем-то напоминает то, фронтовое, под жесткой парусиной.

— Я вернулся в Россию в двадцать первом году, — продолжает Девис. — Новая беда свалилась на Россию — голод. В Америке вот уже два года действовала организация помощи голодающим. Мне казалось, что в это тяжелое для России время я могу ей быть полезен. До Лондона я доехал вместе с одним буржуа-филантропом. Он полагал, что русские не примут помощи. «После того как мы открыто вмешались в русские дела (мой собеседник имел в виду американскую интервенцию), русские, если еще не отказались от нашей помощи, то вот-вот откажутся...» Я как мог возражал своему собеседнику. Помощь России предлагало не правительство, а рядовые американцы — это не одно и то же. В то время, как продолжался наш спор, в Лондонском порту стоял пароход, готовый к отплытию в Ригу. Мне удалось сломить упорство своего собеседника, когда до отплытия оставалось не больше часа. Я схватил чемодан и выбежал из гостиницы. К счастью, у подъезда оказалось такси. Я пообещал шоферу фунт, если он быстро доставит меня в порт. Мы прибыли в порт, когда пароход уже вышел в море. Я нанял моторный бот и наказал ему идти вслед за пароходом. Видно, на корабле заметили нас и убавили ход. По веревочной лестнице я взобрался на корабль. «Вы кто... беглый каторжник или американец?» — спросил меня капитан. «Американец...» — был мой ответ. «О, тогда мне все понятно», — улыбнулся капитан. Через две недели я был в России, а еще через несколько дней меня принимал Горький...— Джером Девис бережно прикрывает рукой книжную страницу.— Миллион долларов... это сумма помощи голодающим.— Он молчит, потом произносит негромко, и в его голосе слышны и строгое раздумье, и, как мне кажется, восторг: — В этот раз, собирая эти деньги, я проехал по всей Америке. «Слово о России» — так назывался мой доклад. Актовый зал университета и заводской двор, просторный школьный класс и поляна в парке были полны народа. Слушателями были люди небогатые, но их было много, и они, я это видел, верили в Россию. Нет, это... уандерфул, уандерфул...

Здесь мне хочется напомнить, что Девис был в России в ту пору, когда там находилась большая группа американцев-интернационалистов, друзей русской революции, и среди них Рид, Вильямс, Брайант, Битти и при-

соединившийся к ним позднее Робинс. Возможно, Ленин в какой-то мере причислял Девиса к американцам-интернационалистам, поддерживающим дело новой России. По крайней мере фотография, подаренная Владимиром Ильичем Девису, хранит надпись, которая об этом косвенно свидетельствует: «Наилучшие пожелания американским интернационалистам. Ленин».

В 1963 году Девис опубликовал книгу «Мировые лидеры, которых я знал». Сама плеяда «мировых лидеров», с которыми так или иначе свела судьба Джерома Девиса, была колоритна: Рузвельт и Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди и Иосиф Сталин, рабочий лидер Сидней Хиллмен и друг русской революции Раймонд Робинс. В книге есть и портрет В. И. Ленина.

Не скажу, чтобы глава, посвященная Ленину, содержала нечто такое, что явилось бы для нас откровением, однако в воспоминаниях американца есть подробности ценные.

«В первый раз я увидел Владимира Ильича Ленина, когда он приехал в Петроград в апреле 1917 года... Сгорая от нетерпения, я пришел на Финляндский вокзал, чтобы наблюдать демонстрацию. Хотя площадь была велика, близлежащие улицы были забиты народом. Выйдя из вокзала, Ленин поднялся на броневик и начал свое выступление с того, что поздравил рабочих, освободивших Россию от царизма. Он закончил его призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Меня глубоко поразил облик Ленина. Он выглядел молодым, энергичным. Чувствовалось, что абсолютно искренен в стремлении помочь массам».

Для отношения Девиса к русской революции и к Ленину характерно такое место в книге: «С начала революции мне было ясно, что большевики сохранят власть и что Россия станет одной из сильнейших держав Европы». И, наверно, прямым следствием этой формулы является обращение Девиса к читателям, которым американец своеобразно увенчал свой рассказ о Ленине: «Пусть каждый читатель задаст себе вопрос: «Каковы те уроки, которые мне следует извлечь из жизни Ленина? Одухотворен ли я так же, как он? Отдаю ли я всего себя делу, в которое уверовал, так же, как он? Посвятил ли я свою жизнь тому, чтобы помочь людям всего мира добиться справедливости и счастья?»

Я хотел бы дополнить этот рассказ фактом, который стал мне известен уже после того, как рассказ был написан.

Новое, пятое издание собрания Сочинений В. И. Ленина воспроизводит запись Владимира Ильича в календаре, относящуюся к встрече с Горьким. Публикация сопровождается краткой биографией Девиса («...американский общественный деятель, педагог, социолог. В 1916—1918 годах был в России. Сочувственно отнесся к Октябрьской социалистической революции. Был одним из организаторов сбора средств в Америке голодающим в Советской России... Неоднократно посещал Советский Союз. Является активным участником движения борьбы за мир») и комментарием, который меня особенно заинтересовал.

Вот он: «Запись об 1 млн. долларов относится к Джерому Девису, принимавшему активное участие в сборе продовольствия и денег в США для голодающих Поволжья. Д. Девис приезжал в Петроград по делам голодающих и встречался с А. М. Горьким незадолго до его беседы с В. И. Лениным».

Мне было приятно узнать, что эта короткая справка учитывает результаты моего поиска.

МОСТ ИЗ ГОДА В ГОД

Да, мост из года в год, из той заповедной поры, когда над тусклыми невскими водами взвился красный стяг в завтрашний день.

В самом деле, что мы знаем о людях, с которыми нас свел Ленин, если их вчерашний день соединить с днем сегодняшним и даже завтрашним? Многие из них прожили долгую жизнь после революции. Отступили они от убеждений своей молодости или остались верны им? Итак, мост из вчерашнего дня в день сегодняшний...

Роберт Майнор.

Бесси Битти.

Билл Хейвуд.

Сегодня Ленин — это целый мир, огромный и богатый. Если на карте этого мира осветить только одну точку — Ленин разговаривает с Америкой — картину, очевидцами которой мы станет, не легко объять. Разумеется, в своих беседах с людьми, приехавшими из-за океана,

Ленин был и доброжелателен и радушно терпим. Но главное в ином: Ленин был непримирим, когда речь шла о принципах, он был непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящейся сказать другу «нет», если он заблуждается.

Итак, перебросим мост из года в год...

Помните Роберта Майнора, вольнолюбивую, храбрую и такую талантливую натуру? Майнора-художника, своеобразного летописца русской революции, чьи рисунки одинаково хороши по исполнению и заложенной в них мысли, обычно остро отточенной, исполненной и ума и юмора? Майнора-публициста, редактора «Дейли уоркер»? Майнора-трибуна, вожака рабочей рати? Помните его воспоминания о русской революции и встречах с Лениным?.. Помните этот эпизод, когда, не разобравшись в сути дела, он решил просить Ленина вступиться за американца, отданного суду трибунала, и ответ Ленина: «Дезертировал... Похитил жалование полка... Не могу ходатайствовать...». Помните Майнора?

> Здесь в камере дежурит бессменно.
> Но я услышал с воли твой привет.
> И льется сверху ясный звездный свет,
> Ко мне сюда проникнув через стены...

Это Лоуэнфелс. Его «Сонеты о любви и свободе». Их колыбелью были камни одиночной камеры. Как писал поэт, он обратился к этой древней форме, чтобы сплести воедино старое и новое, традиционное со злободневным. Сонеты больше, чем остальные шесть книг Лоуэнфелса, стали известны миру: их издали во Франции и Индии, Латинской Америке и Германии, в Китае, Италии, Польше. Язык сонетов живописен и точен. Именно точен. Это язык человека, привыкшего иметь дело с материалом, который требует крепкого и верного резца. Быть может, это характерно для Лоуэнфелса. Он не только поэт, но и ученый-литературовед — знаток Уолта Уитмена.

Стоит ли говорить, как интересно было одно сочетание этих двух имен: Лоуэнфелс и Майнор. Но почему Лоуэнфелс и Майнор? Мне сказали, что поэт знал Майнора. Я послал письмо Лоуэнфелсу. То, что он рассказал о Майноре в этом письме (в нем описано три эпизода, на первый взгляд малоприметных), освещает и облик и жизненный путь этого человека.

Вот письмо Лоуэнфелса о Майноре.

«Я встречался с Робертом Майнором несколько раз в 1940—1950 годы. В ту пору он являлся одним из руководящих деятелей Коммунистической партии. Он был грузноват, высок и возвышался над собеседником подобно башне.

С трибуны он говорил медленно, по записям, подчеркивая свои мысли естественными жестами. Я его помню в Филадельфии вскоре после Пирл Харбора — он был главным докладчиком на митинге, созванном Коммунистической партией:

— Сейчас все зависит от победы в войне. Все остальные факторы занимают второстепенное место. Мы все должны подчинить делу победы.

Как-то Майнор выступал на собрании Мюзик Фаунд Холл в Филадельфии. Я был тогда филадельфийским корреспондентом «Дейли уоркер». Накануне мне удалось добыть интересные факты для статьи (забыл сейчас какие), не имеющие, впрочем, ничего общего с темой митинга. Я отозвал Боба Майнора в сторону, сообщил ему об этих фактах и спросил, написать ли мне эту статью или передать ее по телефону (я адресовал этот вопрос Майнору, зная о его опыте работы в газете). Он ответил:

— За долгие годы работы в газете я постиг истину: новость — только тогда новость, когда она — новость.

В другой раз, тоже в Филадельфии, я сопровождал Майнора из гостиницы в зал, где он должен был выступать. В тот раз, как мне припоминается, впервые мы оказались с ним в комнате один на один.

Я постучал в дверь — он сказал: «Войдите». Он сидел на кровати, заваленной бумагами и книгами. Я взял одну из них, она была на немецком языке.

— Что вы делаете? — спросил я.

— Изучаю Маркса, — ответил он.

Для него было типично делать все тщательно, обращаясь к первоисточникам.

Последний штрих. Наш районный руководитель в Филадельфии вышел из партии. Это было примерно в 1944 году. Я обедал с Бобом Майнором и в разговоре сказал что-то о хороших качествах Дэрси (так звали этого человека). Боб ничего не ответил, но тень гнева прошла по его лицу, как темное облако. Я знал, что был неправ. Не сказав ни слова, Боб Майнор дал мне понять то, что

я никогда после не забывал: «Человек, переставший быть коммунистом, не имеет хороших качеств».

Помните Бесси Битти, доброго и храброго друга Рида и Вильямса, вместе с которыми она была в Зимнем в исторический день штурма? Помните ее записки, исполненные участия и восторга перед суровой романтикой революции, перед ее мужественной силой — «Красное сердце России»? Помните путешествие Бесси Битти по голодающему Поволжью вместе с Михаилом Ивановичем Калининым, остановки агитпарохода «Сарапулец» в приволжских селах, разговоры Калинина с крестьянами, их самоотречение, их решимость победить беду?.. Помните встречу Бесси Битти с Лениным после поездки на Волгу?

Как сложилась судьба Бесси Битти?.. Говорят, она прожила долгую жизнь?

Все годы жизни Бесси Битти прошли на американском Западе. Кто ее может знать?

Джон Говард Лоусон?..

Я вспомнил книгу Лоусона, которую прочел накануне: «Фильмы в битве идей». Как мне казалось, автор, отлично знающий мировой кинематограф, исследовал его и как художник. Я высказал это мнение одному американскому другу, который был знаком с Лоусоном. Мой друг считал это качество характерным для Лоусона: ведь он не только критик, но и драматург. Но в тот раз я услышал и нечто иное о Лоусоне: он — философ-марксист, человек большого интеллекта, один из признанных авторитетов прогрессивного искусства США.

Я написал Лоусону письмо.

Ответ пришел не скоро (как мне рассказывал Лоусон позже, многие детали ему пришлось восстанавливать в беседе с друзьями Бесси Битти), но в этом ответе было все, чтобы представить себе жизнь Бесси Битти после возвращения ее из России.

Вот письмо Джона Говарда Лоусона о Бесси Битти.

«Я считаю Бесси Битти образцом энергичной, волевой, независимой женщины с исключительно богатым воображением, появление которой было вызвано самими условиями социальной жизни Америки в конце XIX и начале XX столетия. Вечно в поисках новых приключений, новых горизонтов... После своей удивительной поездки верхом через Неваду в 1905 или 1906 году она в 1917 году пересекла Сибирь, чтобы своими глазами увидеть больше-

вистскую революцию. Передо мной лежит ее книга о героях-золотоискателях «Кто-то в Неваде». Мне кажется, что существует связь между этим романтическим описанием людей, создавших западный штат, и ее увлечением Великой Советской революцией, описанной в книге «Красное сердце России» и опубликованной в 1918 году.

Битти описывает события революции просто и зачастую красиво: «В России были сорваны покровы с жизни, она была столь же непрекрытой, как ветви серебристых берез, пока их не укроет зима. Все, что было истинным, существенным, самое плохое и самое хорошее в людях — все стало явным. Герои никогда особенно не волновали меня, но для меня останется вечным чудом то поразительное число скромных и незаметных подвигов, которые могут совершать в повседневной жизни самые обычные люди».

Битти не так часто упоминает в своей книге о самом Ленине. (Она брала у него интервью позднее, когда посетила Советский Союз в 1921 году, и я сделаю все возможное, чтобы найти это интервью.) Битти рассказывает в книге о посещении Лениным новогоднего митинга перед тем, как первая армия революционных добровольцев уходила на фронт: «Наконец вошел Ленин. Его встретили мощной волной приветствий. Карие глаза Ленина блестели от мороза, на щеках горели красные пятна. На нем была черная меховая шапка и черное пальто. Ленин производил впечатление живого приветливого человека... Я стояла рядом с трибуной, и он пожал мне руку перед тем, как подняться на трибуну».

Джон Говард Лоусон сопроводил свое письмо «Заметками о Бесси Битти».

«Бесси Битти была дочерью Томаса Эдварда и Джейн Боксвел Битти из графства Уэксфорд в Ирландии. Семья Битти эмигрировала в Соединенные Штаты в начале 1880-х годов, сначала в штат Айова, затем в Калифорнию, где в январе 1886 года родилась Бесси (в Лос-Анжелосе). Затем у нее появились два брата и сестра. Старший брат Гарвей все еще живет в Англии. Госпожа Битти была одним из руководителей движения женских клубов в Лос-Анжелосе, хорошо известным и уважаемым человеком. Одно время семья владела довольно значительной собственностью в Лос-Анжелосе. Как говорилось в интервью «Нью-Йорк Геральд Трибюн» от 20 августа

1943 года: «Она родилась с серебряной ложкой во рту, но столовое серебро поизносилось во время депрессии» (видно имеется в виду 1893 год). Во всяком случае, к тому времени, когда Бесси исполнилось 12 лет, она решила стать писательницей и к 1904 году стала полноправным штатным сотрудником лос-анжелосской «Геральд Трибюн».

Когда газета послала ее в невадский золотоносный район, чтобы написать очерк, она так заинтересовалась предметом своего изображения, что бросила газету и написала книгу «Кто-то в Неваде».

В 1917 году она начала печатать серию статей под заглавием «В мире во время войны» и посетила Японию, Китай и Россию. В течение восьми месяцев она жила в Петрограде в «военной гостинице...» Эта поездка, подобно поездке в Неваду, была предпринята ею самостоятельно, без задания редакции. Весной 1917 года она пересекла Тихий океан и по Транссибирской железной дороге почти всю Россию и возвратилась домой в начале 1918 года. «По возвращении в Соединенные Штаты она читала лекции о России. В 1918 году вышла ее книга «Красное сердце России». С 1918 года по 1921 год она была главным редактором «Макколс мэгезин». Она снова поехала в Россию в 1921 году корреспондентом «Гуд-Хаус-кипинг энд Херст Интернэшл мэгезин» и брала интервью у Ленина... Позже она побывала на Ближнем Востоке и в Турции».

В 1940 году миссис Битти начала писать радиопередачи для женщин, которые прекратились с ее смертью... В военные годы она уделяла много времени в своих программах освещению жизни Соединенных Штатов, призывала женщин в ряды доноров... В 1943 году она получила радиопремию Международной женской выставки прикладного искусства в знак признания ее усилий, которые она посвятила тому, чтобы объяснить необходимость единства внутри Объединенных Наций.

Бесси Битти была женщиной неукротимой энергии, цельности характера и очень большой личной смелости, — заканчивает свое письмо Лоусон. — Знание жизни соединялось в ней с сентиментальностью. И все же она была сильной и действительно замечательной личностью, несмотря на все изменения, происшедшие в ее жизни. Русская революция была ее величайшим переживанием. По крайней мере это было так, когда я ее встречал.

И даже если впечатления «Красного сердца России» стали тускнеть, я думаю, что в годы работы на радио она свято берегла их».

Мне остается добавить, что я видел Лоусона и разговаривал с ним. Лоусон приехал в Подмосковье, в старый сосновый бор, чтобы закончить пьесу, да, ту самую пьесу, которую напечатала «Иностранная литература». Я имею в виду «Чудеса в гостиной». Разговор шел об американском кино и пьесе. Однако у нас с Лоусоном была заповедная тема, к которой, как мне казалось, мы неминуемо придем, — Бесси Битти.

— Видно, по природе своей, — сказал Лоусон, — она была честным человеком. Я никогда не считал ее в полной мере единомышленницей Рида и Вильямса, но она всегда была чутка к правде...

Помните Билля Хейвуда, Биг Билля, Большого Билля, как звала его рабочая Америка? Потомок первоамериканцев, распахавших первую ее борозду и вскрывших первый ее пласт угля и соли, Билл Хейвуд прошел суровую школу рабочего. Тем убедительнее был его призыв к сплочению и борьбе рабочей Америки. Как это было в Америке и прежде, силы рабочих были сломлены не столько в результате фронтальной атаки, сколько посредством заговора. Хейвуд должен был покинуть Америку — земля русской революции явилась для него землей спасения. Как единомышленника и брата принял Хейвуда Ленин. Человек деятельной энергии, Хейвуд был одержим идеей создать в России своеобразную индустриальную республику рабочих, собрав со всех концов земли друзей коммунизма, друзей русской революции.

Помните, приезд Билля Хейвуда в Москву и разговор с Лениным об индустриальной республике иностранных рабочих, которая должна была лечь на землях Кузбасса: короткий, но выразительный диалог, исполненный грозной силы и суровости между Лениным и Хейвудом? «Мы хотим, чтобы все, кто едет к нам, были предупреждены, как им будет трудно. Предупреждены!— сказал Ленин.— Надо, чтобы к нам ехали только те, кто готов на лишения, самые тяжелые, неизбежно связанные с восстановлением промышленности в стране отсталой и неслыханно разоренной... Вы понимаете меня?..» И ответ Хейвуда: «Понимаю, товарищ Ленин». — «Надо, чтобы наши друзья были готовы работать с максимальным напря-

жением сил и наибольшей производительностью. Вы понимаете меня, товарищ Хейвуд?» И ответ Хейвуда: «Да, конечно». — «Надо, чтобы наши друзья не забывали крайнюю нервность голодных и измученных русских рабочих и крестьян... Не забывать и всячески помогать русским братьям, чтобы создать дружные отношения, чтобы победить недоверие и зависть. Ясно ли это нашим друзьям?» И ответ Хейвуда: «Ясно, товарищ Ленин». Поистине это был разговор революционной России с рабочей Америкой.

А что сберегли ум и сердца американцев об этом человеке, в какой мере образ Хейвуда, человека и воителя, сохранился в сознании его современников?

Не легко в сегодняшней Америке разыскать человека, который бы лично знал Билля Хейвуда — не следует забывать, что Биг Билль покинул Америку пятьдесят лет назад. По совету Лоусона я обратился к Арту Шилдсу. Я знал Шилдса по его статьям в «Дейли уоркер». Шилдс был внешнеполитическим обозревателем газеты, однако статьи его были не совсем обычны для журналиста-международника. В них острота политического зрения сочеталась с великолепным ощущением пропорции и красок. Статьи Шилдса по существу были маленькими рассказами, со своей композицией, своей системой образов и языка. Впрочем, короткое письмо, которое Арт Шилдс прислал о Билле Хейвуде, как мне кажется, отражает эти качества Шилдса-публициста.

«Я встречал Билля Хейвуда несколько раз, и воспоминания о нем свежи в моей памяти, — пишет Арт Шилдс.— Я слушал Билля Хейвуда дважды, когда он был в расцвете своих сил. Первый раз в Форвард-Холл на Ист-Сайде — его речь была обращена к бастующим ткачам Петерсона. Что это был за человек? Он, казалось, ощущал зал. В его речи была сила. Когда он говорил «единство рабочего класса мира», вы чувствовали это, вы видели это воочию. Его могучая фигура будто возвышалась над залом. Его единственный глаз, казалось, был устремлен на врага, в то время как тело было готово к прыжку. Несомненно он был для меня героем, и пришло в движение само воображение мое.

Я вновь слушал его год спустя или около этого на митинге горняков в Колорадо. Он был все еще хорош, но прежняя жизнедеятельность в какой-то мере уже оста-

вила его. Он выехал в Советский Союз вскоре после этого. Уверен, что героизм Билля был в значительной мере причиной того, почему его личность производила столь сильное впечатление. Народ знал, что это был неприступный, точно скала, вожак горняков, который не останавливался перед тем, чтобы бить врагов своими обнаженными кулаками. Рабочие западных штатов Америки любили Билля Хейвуда, как человека, который вышел из их среды. У него был отличный ум. Билль обладал реальным пониманием марксизма. Он был также хорошим писателем. Статьи Хейвуда можно найти в «Международном социалистическом журнале». Некоторые из них затрагивают вопросы стачечной борьбы. В той мере, в какой знаю я, Билль не отрицал саботажа, как средства борьбы рабочих, но я не помню, чтобы он защищал это средство... Он хорошо понимал суть капиталистического государства (в отличие от ультрасиндикалистов). Вот почему он присоединился к коммунистам так быстро».

Мне были дороги письма Лоуэнфелса, Лоусона, Шилдса. В письмах-свидетельствах были живые черты американцев, разговаривавших с Лениным, а следовательно, черты времени, для нас незабываемого...

ДОРОГА ШЕСТАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ИЗ ОССАЙНИНГА

Бывают события, к которым человек возвращается всю жизнь. Они, эти события, как незакатное солнце, стоят над жизненной дорогой человека. Как ни трудна дорога — солнце с человеком. Где-то оно высветлит спасительным лучом ущелье, где-то растопит завал — непобедимо дневное светило. Для американца Альберта Риса Вильямса этим незакатным солнцем была русская революция. Она вошла в его жизнь, когда ему было немногим больше тридцати, и составила смысл его деятельности и бытия в последующие сорок пять лет. Ей он посвятил одну из своих первых книг и книгу, замысел которой возник у него, когда он видел уже тот берег. Очевидно, она ему была очень нужна, эта книга, если он отдал ей свои последние дни. Однако как мог человек иной страны, языка, общественной среды и в сущности иного в тот момент строя взглядов так близко принять к сердцу муки и радости России? Чем в конце концов Россия и ее революция были для Вильямса?

Очевидцы, бывавшие в Америке, свидетельствуют: нет зрелища грознее и величественнее, чем торнадо — буря, идущая долиной Миссисипи. Точно лемехом, распахивает землю торнадо — такое возможно, если воспрянут силы природы, если придет в движение все, что копилось в ее тайных кладовых. Нечто, напоминающее торнадо, однако не в природе, а в социальной жизни, испытала Америка в начале века — наверно, это была не

революция, но в ней было все от великого предгрозья. Рабочая Америка, возглавляемая «красными казначеями» Хейвудом и Дебсом (Хейвуд начинал как секретарь-казначей федерации рудокопов, Дебс — братства кочегаров), поднялась с невиданной доселе силой. Лоренс, Лоуэлл, Нью-Бедфорд, Петерсон — такого могучего взрыва народного гнева американская земля не ведала. Истинным бардом поднимающейся революции стал Джо Хилл — революционная Америка штурмовала стены своих Бастилий с песнями Джо Хилла. «Кейси Джонс», «Рабочие мира, пробудитесь», «Аллилуйя», «Я — бродяга», «Мятежная девушка», «Если бы я стал солдатом», «Не забирайте у меня папу». Последние две песни были направлены против войны — она уже обозначалась в европейском далеке, и шовинистический туман обволок Америку. Революцию хотели сшибить войной. Но не только этим: обратились к карающему железу — оно было бескомпромиссным. Хилла казнили, Хейвуд избежал этой участи, покинув Америку, Дебса заточили в безвестной глуши, а тысячи и тысячи непокорных бросили за океан воевать за «американскую свободу» — в какой-то мере европейская война была для Америки начала века Вьетнамом.

Альберт Рис Вильямс не был сподвижником ни Хейвуда, ни Дебса. Ни он, ни его родные не относились к эксплуатируемому большинству. Даже наоборот: он происходил из семьи священника и одно время хотел стать преемником отца. Собственно, его общественное и всякое иное положение как бы подготовило его к тому, чтобы все бури Америки прошли мимо него. Однако получилось не так: он уже видел шабаш ведьм. Он полагал, что с победой врагов революции Америка утратила единственную в своем роде возможность восстановить справедливость. Вильямс и не мог думать иначе: его могучим сподвижником и, пожалуй, наставником была совесть. Да, всемогущая совесть, родившаяся в извечной борьбе добра со злом.

Вряд ли какой-либо иной силе, кроме своей совести, Вильямс обязан тем, что открыл для себя русский Октябрь. Первое, самое первое, что могло прийти на ум Вильямсу: все, что было повержено в Америке, воспрянуло в России. Мысль казалась убедительной: ни одна страна так и не напоминала американцу его родину, как Россия. И свободным размахом просторов. И свободолю-

бивым характером людей. И тем ощущением широты их мысли, натуры, взглядов на явления жизни, какой исполнена сама история России и Америки. Для Вильямса это было похоже на чудо: мечта об американской свободе, какой ее видели сыны Америки, обрела кровь и плоть в России. Но только ли это? Казалось, что возвращены к жизни сами жертвы революции. Все те, кого посекло жадное железо американских палачей, окунув с головой в землю. Борющаяся Америка с надеждой смотрела на океан — все, кто верил, что палачам воздастся сторицей за их палачество, были окрылены вестями, идущими из России.

Русская революция завладела умами американцев. Однако вряд ли революция нашла бы в их сознании такой отклик, если бы ее идеи не воплотились в образе тех, кто был ее ратоборцами. Человек, для которого главным компасом в жизни была совесть, в Ленине увидел свой идеал. Известную книгу Вильямса «Ленин, человек и его дело» поучительно рассмотреть именно в этом свете: что увидел американец в Ленине, что ему было дорого в вожде русской революции. Верность Ленина заповеди коммунистов: богатства, которыми владеет человек, должны быть распределены справедливо. Его готовность всем пожертвовать ради осуществления идеала. Его бескомпромиссность. Его скромность. Его принципиальность. Его интеллект.

Американские биографы Вильямса из числа новейших склонны утверждать, что Ленин пытался обратить Вильямса в свою веру, однако тот воспротивился этому. Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно, надо установить, что следует понимать под тем, что биографы называют «верой Ленина». Если имеется в виду коммунизм, а обращение в веру означает вступление в ряды коммунистов, то это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ленин полагал, что мировоззрение человека и выбор им пути в жизни — дело его сознания. Конечно же, Ленин боролся за душу Вильямса, как он боролся за души Рида, Майнора, Хейвуда, Робинса. Разумеется, он хотел, чтобы они поняли, какие принципы лежат в основе русской революции, но Ленин не мог не видеть, что все они, при доброжелательном отношении к Советской стране, — люди разные: одни станут коммунистами, другие на всю жизнь будут друзьями коммунистов. Вильямс относился ко вторым. Таким образом, в нашем полку прибыло, од-

нако новейшие биографы Вильямса пытаются истолковать все это как поражение русских друзей Вильямса, в частности Ленина. Иначе говоря, победу они пытаются выдать за поражение. Разумеется, это голословно и опровергается прежде всего жизнью самого Вильямса, событиями, на которые эта жизнь опирается.

Ведь это Вильямс:

был среди солдат, штурмующих Зимний.

Вместе с Лениным с трибуны Михайловского манежа напутствовал добровольцев, уходящих на фронт.

Стал организатором интернационального отряда, призванного вместе с молодой Красной Армией защитить столицу революционной России от немцев.

Возвысил гневный голос против клеветников революционной России, когда пришел его черед единоборствовать с комиссией Овермена.

Объехал десятки городов, неся слово правды о революционной России, — американские Север и Юг, Восток и Запад слушали Вильямса.

Вернувшись в Советскую страну, он в сущности остался рядовым от революции, с рабочими — рабочий, с крестьянами — крестьянин, в эти годы он жил и на Украине (на Полтавщине, в гоголевской Диканьке), и на Волге, и далеко на Севере, под Архангельском.

Вновь проехал по всей американской стране уже в годы войны — на его докладах о сражающейся России побывали сотни тысяч.

Подарил миру много прекрасных книг, без которых сегодня нельзя представить себе ни литературу о Ленине, ни литературу об Октябрьской революции: «Ленин, человек и его дело», «Сквозь русскую революцию», «Советы».

Да мог бы человек совершить все это, если бы им не руководила любовь к новой России, ставшей для него второй родиной? Кстати, этой теме посвящена и последняя книга Вильямса — книга эта существенна для пути, пройденного Вильямсом.

В чем смысл ее?

4

Кресло пододвинуто к окну. Окно просторное, от пола до потолка, как на аэровокзале: в него видны и земля и небо. Комната полна света, и седины Вильямса светлы, точ-

но кора берез весною. Среди тех, кто сейчас подходит к Вильямсу, почти нет стариков, кто знал его прежде. Все молодежь, для которой Вильямс в своем роде живая история, легенда. Да и слова, что при этом произносятся, можно произнести, когда перед тобой живая история.

Эта вереница людей, желающих сказать свое слово Вильямсу, иссякает только под вечер.

Мы медленно спускаемся по каменным ступеням, и я помогаю Вильямсу.

— Мне трудно писать главу за главой, да я и не считаю это нужным, — говорит Вильямс. — Человеческая память анархичнее сознания. Вот она воссоздала первоянварский эпизод восемнадцатого года, воссоздала с такой яркостью, будто сама призывает записать его. Бери карандаш и пиши, пиши, не раздумывая, опоздаешь — все погибнет, все обратится в пепел. В другой раз она выхватила из прошлого нечто такое, чему ты был свидетелем десятью годами позже, — не теряй времени и в этом случае, запиши... Да, я понимаю, что мои главки напоминают кадры будущей киноленты. Я их «отснял», не зная, в каком месте фильма они поместятся. Самое значительное совершится за монтажным столом. Я жду долгожданной минуты — это всегда увлекательно.

Я знаю, откуда у Вильямса это сравнение с кинокадрами и киномонтажом. Люсита, жена и друг Вильямса, говорит, что Альберт один факт, одну мысль записывает пять, семь, десять раз. Этот метод, по словам Люситы, подсказал Вильямсу Линкольн Стеффенс. Вот как это было. Вильямс навестил Стеффенса. В этот день у Стеффенса были и другие гости. Вильямс заметил: в течение дня хозяин вновь и вновь рассказывал одну и ту же историю. Новому гостю — по-новому. Это настолько поразило Вильямса, что он не преминул выразить хозяину свое удивление. Нисколько не смутившись, Стеффенс ответил, что, как он полагает, каждая история имеет одну верную версию. Но прежде чем удастся нащупать твердое ядрышко этой верной версии, необходимо повторить рассказ много раз. Иначе говоря, Стеффенс делал то, что делает кинорежиссер, снимающий фильм: каждый эпизод снимается много раз. Делаются, выражаясь киноязыком, дубли. В фильм попадает лучший. Видно, это объяснение показалось Вильямсу настолько убедительным, что он сделал метод Стеффенса своим.

— Но вот что интересно, — продолжает Вильямс. — Ничто так не может встревожить память, встревожить и обновить, как встреча с местами, где события произошли... Не просто в моем возрасте собраться в дорогу, столь дальнюю и трудную, как поездка в Россию, но собраться надо, — я еду за памятью, за молодостью, за новой книгой...

Вильямс рассказывает об Америке, об Оссайнинге, где он живет, о людях разного профессионального и социального облика, которых он видит в Оссайнинге, и нет, нет да задаст вопрос: «А над чем работаете вы?.. Что это будет за книга по жанру, по манере, по колориту?..» Мне кажется, что он спрашивает тебя об этом и по соображениям такта. Он точно хочет сказать этим: «Я отнюдь не переоцениваю значение своей работы, отнюдь... и вниманием к труду товарища подтверждаю это».

— Вот вам мой совет, — произносит Вильямс, когда мы оказываемся на улице. — Не будьте рабом материала, не давайте ему взять вас в плен. Главное — сберечь дух событий... — Он останавливается и внимательно смотрит в пролет улицы. — По-моему, там стоит Люсита, — произносит он, не отрывая глаз; там действительно в кругу друзей стоит Люсита Вильямс.

Он прибавляет шагу, говорит волнуясь:

— Когда будет готова книжка, пришлите ее мне... Впрочем, я уже просил об этом кого-то...

Люсита убыстряет шаг, а я думаю: так вот она какая, Люсита Вильямс, храбрая спутница Риса на тысяче- и тысячекилометровом его пути по России. Она знала Поволжье, объятое злым огнем голода, и архангельские тони и гати, и украинские села, где-то рядом с гоголевской Диканькой, — небогатые поля и нивы неоглядной нашей страны, куда на годы и годы ушел Рис, решив проникнуть в суть того большого, что волновало его тогда: насколько крута дорога России, идущей по пути, который указал ей Ленин. Но что заставило молодую женщину бросить родные берега и обречь себя на жизнь подвижницы? Наверно, любовь — она все может. Но, мне так кажется, не только любовь, но и верность идее, которая с годами и для Люситы определила смысл жизни.

Сейчас Рис протянет руку, большую и белую, чуть-чуть расслабленную, и простится. Если он и в этот свой

приезд не сказал ничего о новой книге, значит, работа над нею не продвинулась настолько, чтобы можно было об этом говорить.

2

Вильямс вернулся в Москву через полтора года.

Мы идем с Вильямсом улицей Качалова. Полуденное небо кажется белым, но здесь хорошо. Иногда купы старых деревьев оказываются над нами, заслоняя знойное небо, и мы невольно замедляем шаг.

— Я как-то слыхал, что после окончания «Десяти дней» Рид задумал новую книгу... — замечаю я.

— Да, при этом написал несколько очерков, которые должны были в нее войти, — говорит Вильямс.

— Верно ли, что то была книга о Ленине?

— Да, так задумал ее Рид. Я понимаю его: не было задачи труднее и благодарнее ни вчера, ни сегодня, — произносит после некоторого раздумья мой собеседник.

— Не хотите ли вы сказать, дорогой Вильямс, что ваша новая книга призвана решить эту же задачу?

— Да, я хочу сказать именно это, — произносит Вильямс.

Прошла машина, прошла осторожно, будто опасаясь вспугнуть тишину, которая наступила вслед за последней фразой Вильямса. Значит, новая книга Риса посвящена той самой теме, которую избрал для своей будущей большой работы Джон Рид. Вильямс пишет о Ленине, в этот раз не только о Ленине — революционном стратеге, но и государственном деятеле, строителе, кремлевском провидце, чья вера и решимость указали России ее новую дорогу. Истинно, нет задачи труднее и благодарнее.

— Не следует ли, дорогой друг, ваш ответ понимать так, что работа над рукописью близка к завершению?

— Ну, что ж... можете понимать и так, — отвечает Вильямс все так же добродушно и становится строгим. — Вы сберегли мой нью-йоркский адрес?..

Вильямсы уехали. Быть может, они уже достигли американского берега. Друзья Вильямса звонят друг другу: «Вы имеете что-либо от Риса?» (И в Москве его зовут

так.) Иногда эти звонки настойчиво тревожны, и это тоже понятно: семьдесят восемь — немало. Наконец пришло первое письмо: он здоров, набирает силы. В Оссайнинг полетели письма. Послал свое и я, вместе с книгой, только что вышедшей. Вильямс просил прислать, сказал, что нужна для работы. Такое ощущение, что книга пошла не только к Вильямсу, но и к Риду, Стеффенсу, Майнору. Ведь он явился к нам из той героической поры. Нелегко ждать, когда ты убедил себя в этом. Прошел месяц, второй. Говорят, Вильямс вновь заболел, сейчас в больнице. И вот декабрь шестьдесят первого. Пришел пакет из Америки. Обратный адрес не вызывает сомнений: «Альберт Рис Вильямс, 116, Хейкесавеню, Оссайнинг, Нью-Йорк». Медленно распечатываю. Такое впечатление, что лощеная бумага грохочет — так жестка она и крепка.

Прочел один раз, второй. Дело не в добрых словах, адресованных книге, а в неизмеримо большем: есть в этом письме светлое ощущение революции как самой сокровенной и неизгладимо-мужественной поры в жизни человека.

«Только теперь я закончил чтение вашего рассказа о встречах и беседах Ленина с американцами... Я почувствовал, что вновь шагаю по улицам и площадям революции, пересекаю мосты Невы, прохожу воротами Кремля, иду кремлевскими скверами...»

Была в этом письме стариковская мудрость и доброе напутствие:

«Как я уже отмечал, это письмо с выражением благодарности должно было быть послано вам несколько недель назад. В этой связи оно должно было явиться и моим поздравлением с годовщиной Октября. Но мы говорим: «время бежит», и как быстро! — могу добавить я. И вот уже теперь, когда на меня надвигается 1962 год, я приношу свои поздравления с Новым годом, и я, очевидно, первый из поздравивших вас. Пусть наступающий год принесет мир этой земле. Примите мои поздравления с Новым годом».

Во мне еще жило волнение, вызванное этим письмом, когда пришла телеграмма из Америки, телеграмма, которой мы все так боялись и так старались отвратить хотя бы в своем сознании: умер Альберт Рис Вильямс. Теперь я перечитывал письмо Вильямса, и мне открывался в этом письме все новый смысл: «Пусть 1962 год принесет

мир этой земле». В этой фразе и великая страсть к жизни, и завещание живым, неумирающее завещание, которое хотел оставить и оставил Вильямс: «Мир — земле».

Но вот вопрос насущный. «А закончил ли Вильямс книгу, над которой работал все эти годы?..» Вильямс говорил, что работа близка к завершению... Мне так кажется, что Вильямс успел «отснять» значительный материал и готовился сесть за монтажный стол... Но успел ли?

3

С тех пор прошли и те два года, которых недоставало Вильямсу, чтобы отметить свое восьмидесятилетие. На торжествах по случаю этой даты была Люсита Вильямс.

— Когда я познакомилась с Альбертом, среди тех девяти соперниц, которые противостояли мне, была одна, которую я считала самой серьезной, — Россия... — произносит Люсита, и глаза радостно светлеют. — У меня было одно средство совладать с этой соперницей: поехать вместе с Альбертом в Россию... И я это сделала.

Мы уславливаемся встретиться с Люситой Вильямс в гостинице «Советская», в которой она останавливалась и прежде. Все вопросы, которые я намерен задать Люсите, у меня собрались в одном: «Как новая книга Вильямса?.. Что он успел сделать?..» Пока я думаю над тем, каким поводом воспользоваться, чтобы подступиться к главному, Люсита протягивает руку помощи:

— Альберт успел сделать главное — книга написана.

— Это книга о Ленине?

— Да, о Ленине и Октябрьской революции.

— В ней есть нечто новое?..

— Да, разумеется.

— Вы привезли ее?

— Две главы.

Наверно, Люсита Вильямс понимает, какое волнение охватывает меня.

— Вы, конечно, помните этот диалог между Лениным и Вильямсом на броневике в Михайловском манеже, — произносит она. — Помните и то, что Рис, смело ринувшийся в бой (какое счастье заговорить по-русски, да еще с такой аудиторией!), был вынужден признать, что у него

для этого нет необходимых знаний, и обратился за помощью к Ленину, который находился рядом. Все это известно. Неизвестно другое, как мне кажется, не менее важное, что явилось своеобразным продолжением разговора Ленина и Вильямса... Две главы. Хотите прочесть? — улыбается она. — Сейчас?

Люсита склоняется над стопкой рукописных страниц, отыскивая нужные главы. Свет настольной лампы, пригашенный матерчатым абажуром, обтекает ее лицо. Нет, она не была похожа на Вильямса. Маленькая, с сухими и добрыми руками, она казалась человеком иного, чем Вильямс, типа. Но вот сияние глаз, именно сияние, не утратившее своей силы, несмотря на возраст, и улыбка, медленно разгорающаяся, в которой и робкое участие, и радушие, и зоркое внимание к тому, что составляет мир твоих забот и дум, — все это от Вильямса.

Я читаю.

Да, пожалуй, Вильямс рассказал здесь нечто такое, чего еще не знали. Оказывается, в 1918 году Владимир Ильич предложил создать из американских друзей небольшую группу для изучения принципов марксизма. «Если вас соберется четыре-пять человек, я постараюсь найти время, чтобы раз в неделю заниматься с вами», — сказал Ленин. Вильямс тогда не воспользовался предложением Владимира Ильича и не мог простить себе этого всю жизнь, как не могли простить ему и американские друзья, которым он это рассказывал. «Я пытался объяснить, — вспоминает Вильямс свои разговоры с друзьями, — но все мои доводы с раздражением отметались. Только сумасшедший мог упустить такой случай. Какая была честь для меня! Так ведь это было равносильно тому, чтобы учиться теории относительности или квантовой теории у Эйнштейна, равносильно возможности беседовать с Сократом в Афинах... Скорее всего, это произошло где-то между 1 января и 18 февраля, когда в Россию вторглись немецкие войска. Как рассказывал мне товарищ Рейнштейн, Ленин говорил ему, что Вильямсу, возможно, недостает полного понимания большевистских принципов и идей. Очевидно, это делало меня подходящим кандидатом... Из этого следует вывод, что Ленину было приятно заниматься обучением не слишком закаленного в политическом отношении американского радикала... Я убежден, что это было просто обычное проявление его привычки давать людям именно то, в чем они

нуждаются больше всего, и в этом не было ни малейшего оттенка благотворительности... Вспоминалось, что в одном из двух утерянных писем ко мне шла речь об этой группе по изучению марксизма. Ленин говорил мне, что занятия с небольшой группой были бы для него развлечением и отдыхом... Мой отказ заниматься в той группе не изменил наших отношений. Ленин уважал убеждения каждого человека и никого не принуждал идти дальше, чем тот хотел сам...»

Стоит ли говорить, насколько значительно все, что рассказал Вильямс. Мы знали, что за годы революции Ленин приобрел среди американцев много друзей. У Ленина были основания предполагать, что люди эти могут стать убежденными марксистами. Кстати, зимой восемнадцатого года все они были в России. Идея маленькой академии не удалась, но многие из тех, кто испытал на себе влияние великого учителя, стали воинами за американскую свободу.

Мы прощаемся с Люситой Вильямс в надежде встретиться вновь в ближайшие год-полтора. Я выражаю надежду, что в следующий приезд Люситы Вильямс в Москву буду иметь возможность ознакомиться с новыми главами книги Альберта Риса Вильямса.

— Работа велика? — спрашиваю я.

— Да, конечно, — замечает Люсита задумчиво. — Надо еще и еще прочесть то, что он оставил в рукописи. Каждая запись должна быть расшифрована и осторожно переписана. Все, что составляет рукопись книги, надо собрать воедино... Но я должна, — она подносит руку к виску, ей трудно говорить. — Вы понимаете: должна...

4

Люсита Вильямс уехала. Я получаю от нее все новые письма. Увлечение, с которым работал над новой книгой о Ленине Вильямс, передалось его другу. Немного слов в письмах Люситы о книге мужа, но очевидно одно: нет для Люситы дела важнее. Она работает.

И вот осень шестьдесят шестого — Люсита в Москве. Все та же гостиница на Ленинградском шоссе. Добрые глаза, сохранившие блеск и сияние молодости, добрые руки. Только в голосе усталость — видно, дорога была нелегкой.

— А как книга?

— Книга — здесь.
— Вся?
— Да, разумеется.

Сейчас я вижу: два больших чемодана, лежащих на полу, распахнуты, в них рукописи. Но Люсите еще нужно несколько дней, прежде чем она сможет усадить тебя за стол и пододвинуть папку с рукописью. Я жду, а в укромной комнатке гостиницы (кажется, что это все та же комната, в которой я бывал у нее прежде) ни ночью, ни днем не гасится свет — Люсита работает. Ее советские друзья, как могут, пытаются ей помочь.

Из Горького приехала Ирина Киреева. Приехала и попросила Люситу принять ее. Киреева — университетский работник, литературовед, Вильямс, его наследие — специальность Киреевой. Несколько последних лет она отдала собиранию и изучению текстов Вильямса. И того, что он напечатал в СССР, и того, что в разное время опубликовал у себя на родине. В силу факта, значение которого трудно переоценить, две женщины, не знавшие друг друга, оказались союзницами в главном, что определяет их жизнь и их призвание в жизни. Одна подвигнулась на этот труд, руководимая сердцем, другая мыслью, что работа эта очень нужна ее соотечественникам. «Бывает же так: человек явился, когда он особенно нужен, — сказала мне Люсита. — Рис любил Волгу...» Встреча с женщиной из Горького настраивает ее на лирический лад. Наверно, она думает о том, что память России благодарна. В далеком Оссайнинге умер друг русской революции Альберт Рис Вильямс, а дети России продолжают разговаривать с ним, как с живым.

В эти дни я смотрел с Люситой новый фильм о революции. В фильме — Альберт Рис Вильямс. Если не ошибаюсь, впервые в художественном кино. Фильм показывался для Люситы, и в затемненном зале было не больше десяти человек. Я сидел с Люситой рядом. Было понятно ее состояние. Быть может, ей было чуть-чуть страшно. Как бы талантлив и честен ни был артист, он никогда не сравнится с тем, что она хотела бы сегодня увидеть. Не много храбрости, наверно, было и у тех друзей Люситы, которые пригласили ее смотреть фильм. Они понимали: как ни доброжелательна Люсита, она способна сказать: «Нет» — здесь она бескомпромиссна. Она сказала: «Да». Это прежде всего относилось к актеру, сыгравшему Вильямса, — им был эстонский актер Оя. Чем-то незри-

мым, но очень верным он убедил ее. В фильме воссоздан тот знаменитый эпизод в Михайловском манеже, когда Вильямс решился говорить с трибуны по-русски и, обнаружив, что ему недостает слов, обратился за помощью к Ленину. Диалог между Вильямсом и Лениным развивался стремительно при поощрительном внимании всего зала. В общем, актер уловил нечто такое, что заставляло верить. В этот вечер Люсита увидела Вильямса. Живого. Наверно, слова, что Россия не дала умереть Вильямсу, — не пустая фраза.

А работа в комнатке Люситы на Ленинградском шоссе, кажется, идет к концу.

Звонит Люсита — рукопись можно читать. Чемоданы распахнуты, как в первый день приезда, но на столе лежит папка с рукописью — действительно, можно читать.

Велик первый день революции, но не менее велик день второй... именно этот второй день призван обнаружить, что дала революция людям. Вильямс вернулся в Россию, чтобы увидеть этот второй день. И поселился на Волге, на Украине, у Белого моря, чтобы увидеть этот второй день. И по этой причине приезжал к нам еще много раз. Все по той же причине — чтобы увидеть второй день нового мира. Ему повезло, нашему другу Альберту Рису Вильямсу. Из тех знаменитых пяти американцев, кто видел русский Октябрь, — Рид, Вильямс, Робинс, Брайант, Битти — он один перешагнул предел шестидесятых годов. Это преимущество немалое. Это значит, что он видел и взлет нашего индустриального могущества, и великую ратную победу над фашизмом, и наши большие свершения в науке — решение космической задачи. Это же счастье — дожить до тех заповедных дней, когда страна Октябрьской революции выводит на орбиту первый спутник Земли... Разумеется, Вильямс был свидетелем не только наших побед, но и наших ошибок — тем более ценны и значительны выводы, к которым приходит в своей работе наш друг. Таким образом, в книге, которую задумал Вильямс, он решил использовать преимущества, которые ему давали его почти восемьдесят лет: взглянуть на Октябрь из этого второго дня.

Есть удивительное свойство памяти: человеку, прожившему большую жизнь, часто стоит немалого труда вспомнить то, что было совсем недавно, но он отлично

помнит то, что было на заре его жизни. Память Вильямса обладала этим свойством. Впрочем, октябрьские события Вильямс запомнил не только поэтому. Сами события были неповторимы по своей значимости. Вильямс тогда же написал множество статей, а вслед за этим свои знаменитые книги. Он воссоздал эти события в многочисленных выступлениях перед Америкой — каждый эпизод был повторен там многократ.

Автор увидел Октябрь в перспективе событий, которые свершились благодаря Октябрю. Пусть Вильямс не говорит о победе над фашизмом, победе, которой мир обязан Советской стране. Пусть в книге физически не присутствует мир стран социализма, вызванный к жизни победой в войне. Пусть зримо не обозначено бытие народов, обретших независимость благодаря победе над фашизмом, а следовательно благодаря Октябрю. Пусть всего этого нет у Вильямса, но дыхание этих событий ощутимо в книге нашего друга.

Говорят, что Вильямс работал над книгой семь лет. Вернее же сказать, что он работал над нею все годы, прошедшие после революции. Нет, он не просто возвращался к этой книге в помыслах своих. Все годы в квартире Вильямса в Оссайнинге под Нью-Йорком собиралась библиотека о русском Октябре. Складывалось досье прессы. Записывались главы, страницы, пассажи, строки. И разумеется, читались друзьям. Но иногда круг друзей опасно суживался, и Вильямс оставался вдвоем с человеком, которого ничто не могло от него отторгнуть. Вдвоем. Как на кочующей по морю льдине. Работа прекращалась? Если бы остался один, она, пожалуй, прекратилась бы. Но человек, бывший с Вильямсом рядом, никогда не оставлял его одного. Никогда — как бы круто ни пролегли жизненные маршруты Вильямса. Ни в украинском селе, где Вильямс познавал колхозную проблему, став механиком. Ни на Волге, где он изучал принципы советской педагогики, работая воспитателем в колонии для беспризорных. Ни на Русском Севере... Если у человека, оказавшегося в другом крае земли, была необходимость, чтобы рядом с ним была его Америка — разговаривать с нею, делать ее поверенной твоих трудных дум, осторожно торить с ней свою нелегкую стезю в жизни, то Люсита Вильямс была ему и Америкой.

Известна истина: нет друга, если его нет рядом в са-

мую нужную для человека пору. Для Вильямса этой порой были те семь лет, когда он работал над своей последней книгой. Надо понять состояние Вильямса, для которого тревожнее всех тревог была мысль: ему может не хватить жизни. И надо понять состояние Люситы: все, что можно сделать самой, надо сделать, это единственный способ облегчить труд друга. Вильямс избрал не самое экономное средство работы, хотя, быть может, самое действенное. Как я говорил уже, он перенес в свою работу метод, которым пользуются в кино: делал своеобразные «дубли» отдельных мест книги и потом выбирал лучший из них. Делал «дубли» легко, а выбирал не без труда. Неизменно привлекал в советчики друга — по многу раз читал. Собственно, в «дублях» книга закончена — надо было отобрать лучшее. И произошло то, чего больше всего боялся Вильямс. Жизни не хватило. Не хватило того самого драгоценного года, которого всегда недостает человеку, чтобы реализовать свой замысел. И наверно, это было и самым большим испытанием для Люситы и в конце концов ее подвигом: она как бы продлила жизнь Вильямса на тот год, которого недоставало Вильямсу, продлила, чтобы закончить труд, который можно было назвать трудом его жизни. В конце 1966 года Люсита привезла рукопись в Москву и передала «Иностранной литературе».

Как-то Люсита Вильямс сказала, имея в виду книгу мужа:

— Он остался в этой книге сражающимся.

Так и сказала: сражающимся.

Велико значение книг об Октябре, написанных нашими друзьями Ридом, Вильямсом, Стеффенсом, Брайант, Битти. Трудно переоценить значение этих книг для американцев — сами собой эти книги сложились в своеобразную библиотеку о русской революции (кстати, благодарно было бы эту библиотеку выпустить для русского читателя, пополнив всем тем, что не было у нас издано), библиотеку бесценную, явившуюся в своем роде ориентиром, по которому американец, да и не только он, устанавливал правду о революционной России.

Но среди книг об Октябре были книги и иного рода — не без участия крупнейших издательств, заинтересованных в дискриминации правды. Риду, Вильямсу, Стеффенсу и их друзьям были противопоставлены Сиссен, Кеннан и летучая стая писак во главе с Керенским. Достаточно

сравнить эти два ряда книг, чтобы понять многое. Но иногда простого сопоставления имен и книг недостаточно — надо взять лопату и разгрести ложь. Работа малоприятная, но для истинного революционера необходимая. Вильямс полагал, что это должен сделать именно он. По праву очевидца. По праву человека, чье имя никто не в состоянии поставить под сомнение. По праву революционера в конце концов. Вильямс бы не был самим собой, если бы поступил иначе.

В начале статьи мы сказали: его привела к нам совесть. Это достаточно характеризует Вильямса, да и русский идеал, которому он посвятил свою более чем страдную жизнь, это характеризует вполне. Разумеется, с годами пришло к Вильямсу и революционное сознание, и опыт революционера-воителя, и убежденность, что твое место в борьбе ты никому не переуступишь, однако первоначальным ядром была именно совесть. Она проторила путь Вильямсу в Россию, как она во многом определила симпатии к русской революции и Рида, и Стеффенса, и Робинса. И в который раз мы не можем не сказать себе: какие же великолепные были это люди, друзья Советской России.

Избранный ими путь отнюдь не был усыпан розами — встав на сторону Октября, они бросили вызов злым и могущественным силам. Со времен печальной памяти комиссии Овермена враги СССР ведут на них атаку, пытаясь скомпрометировать труд их жизни, но тщетно — настоящее не ржавеет. Подлинными рыцарями правды, до последнего дыхания честными и бескомпромиссными, мы сохраним их в нашем сознании.

Да, предо мною новая книга Альберта Риса Вильямса о Ленине.

Вот эта глава посвящена речи Владимира Ильича, той самой, из которой мир узнал, что Октябрь свершился и принял свои знаменитые декреты. Речи, обращенной через делегатов Второго съезда Советов к народу России. Речи, в которой Ленин впервые предстал как глава революционного правительства и вождь Октября, победоносного Октября, громоподобное эхо которого подхватят века. В своих первых книгах о Ленине и Октябре Вильямс описал встречу народа со своим вождем и вдохновенное слово Ленина об Октябрьской победе. Сейчас Вильямс

вновь вернулся к впечатлениям той поры. Вернулся и воссоздал ее с такой полнотой и, так мне кажется, силой мысли, с какой не смог это сделать первый раз. Да, так бывает в жизни: все, что человек увидел на заре утренней, если ей может быть уподоблена молодость, с необыкновенной ясностью явилось к человеку, когда была уже близка заря вечерняя. По крайней мере, глава, которая лежит передо мной, освещает такие грани события, какие не часто удавалось воссоздать в книгах об Октябре. Впрочем, повторяю, это впечатление личное.

Прежде всего: Ленин!

«...Не только мы с Ридом, но и сотни делегатов, заполнивших огромный колонный зал Смольного, в ту ночь впервые увидели Ленина... Я не отрывал взгляд от крепкой приземистой фигуры человека в поношенном костюме из плотной ткани, человека, который с пачкой бумаг в руке быстро прошел к трибуне и окинул зал острым веселым взглядом... С таким же вниманием смотрели на Ленина большие горящие глаза Раймонда Робинса (который пришел сюда одним из первых и сидел до пяти часов утра), так же напряженно разглядывали Ленина солдаты, матросы, рабочие, вся бурлящая масса делегатов съезда...»

Как видит читатель, портрет, написанный Вильямсом, даже этот первый портрет, освещенный светлым солнцем победы, больше строг, чем эмоционален и отнюдь не торжествен.

«...Я не спускал глаз с докладчика, тщетно пытаясь представить себе, что он должен чувствовать сейчас, когда революция и руководимая им партия слились воедино и во главе этого могущего единства, его воплощением стал несомненно он, Ленин».

Вильямс внимательно слушает Ленина — наверно, американец доброжелателен, но он ничего не принимает на веру. Наоборот, его мысль воинственна, он как бы вступает в спор с Лениным, мобилизуя доводы, которые способны противостоять логике большевиков.

«Ленин произнес несколько вводных фраз к предлагаемой декларации о мире, над которой он работал в квартире Бонч-Бруевича с половины четвертого утра, пока остальные спали. Вопрос о мире, настолько жгучий и ясный, спокойно объяснил он слушателям, что документ, который он собирался прочесть, не нуждается в комментариях... Язык декрета показался мне слишком

мягким для Ленина: «...сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности...» Неужели это говорит воинственный Ленин? Невероятно! Декрет определял понятие «аннексия» и хотя лозунг «никаких аннексий и контрибуций» давно уже стал лозунгом умеренных социалистов, здесь, в определении Ленина, он приобрел новое значение. Слова ветшают и обесцениваются не от частого употребления, а от того, что они остаются без употребления, т. е. не претворяются в дела. В этом смысле они сходны разве что с клетками головного мозга человека. Ленин дал им новую жизнь, причем не ораторским искусством, а всей силой своей личности и политической линией своей партии».

Вильямс вспоминает свою первую книжку о Ленине. Ему трудно устоять перед искушением воспроизвести эти впечатления и поделиться раздумьями, рожденными опытом. Он точно отошел от картины, чтобы иметь возможность обнять ее взглядом. Надо отдать должное Вильямсу: в его глазах достаточно силы, и панорама события открывается ему полно.

«В небольшой книжке о Ленине я уже рассказывал о впечатлении, которое произвел на нас Ленин в ту ночь (26 октября — 8 ноября). Мы тогда впервые увидели человека, которого знали до сих пор по рассказам его молодых последователей. Как потом и многие другие, я описывал его манеру раскачиваться на каблуках, засунув большие пальцы в вырезы жилета, его голос, в котором нам послышалось тогда «больше резких, сухих нот, чем ораторски проникновенных». Я мог бы этим и ограничиться — получился бы довольно домашний портрет человека, чувствующего себя, как рыба в воде, в этом огромном зале, до отказа заполненном людьми и дымом дешевого табака, перед устремленным на него взглядом тысяч глаз, ищущих и вопрошающих.

Меня часто потом спрашивали, не снизил ли я умышленно свое первое впечатление, применив известный чеховский прием усиления драматизма при помощи антикульминации. Безусловно, в какой-то мере это было так. Но главное в том, что для нас, американцев, привыкших к другому типу политических деятелей, Ленин представлял загадку. ...Человек абсолютной непринужденности, он был в то же время начисто лишен того, что называют внушительностью.

...Была у него и еще одна важная черта — его беспредельная вера в революционную инициативу народа. Эта вера давала ему удивительную свободу, и, как я часто замечал, доставляла большую радость. Всю зиму 1917—1918 года до своего отъезда из Москвы во Владивосток весной 1918 года, каждый раз, встречая Ленина, я не переставал удивляться этой свободе, которая объясняет и его личное бесстрашие за себя и отсутствие какого бы то ни было притворства. Эта вера в массы не мешала ему, однако, лично браться за любую проблему, которая вставала перед ним, и выкапывать те, что были глубоко спрятаны. При этом юмор и способность радоваться никогда не изменяли ему, проявляясь в тысячах мелочей, в том, как он ходил, как читал (пожирая глазами) газету, с какой ненасытностью и точностью решал каждую новую задачу. В 1919 году Рэнсом, вернувшись в Петроград после беседы с Лениным, писал: «По дороге домой из Кремля я пытался вспомнить, кто из политических деятелей его калибра обладал таким же веселым характером, и не мог вспомнить никого». Рэнсом объясняет это тем, что Ленин — «первый великий вождь, который не придает никакого значения своей собственной личности».

Когда Ленин в ту октябрьскую ночь прошел по сцене к трибуне так же обыденно, как это сделал бы опытный учитель, ежедневно появляющийся перед своим классом, английский корреспондент Джулиус Вест, сидевший рядом со мной за столом прессы, шепнул: «Если его одеть немного получше, то можно было бы по внешности принять за среднего мэра или банкира из какого-нибудь небольшого французского городка».

Это была дешевая острота, но многие из нас подхватили ее и часто с тех пор повторяли в своих книгах и статьях. Совсем не смешная, она стала избитой. Вся обстановка противоречила ей: тишина и неподвижность зала, напряженное внимание слушателей, громоздкие плечи серых шинелей, вплотную прижатые друг к другу, недоверчивые глаза крестьян (по большей части просто сельских пролетариев), боящихся пропустить хоть одно слово или что-нибудь не понять... Ленин кончил читать. Зал подался вперед, волна за волной прокатились аплодисменты, и поднялась буря оваций. Вряд ли какой-нибудь мэр выступал в такой обстановке и встречал такой прием! Из задних рядов раздался голос: «Да здравствует

Ленин!» Со всех концов огромного зала ему откликнулось эхо: «Ленин! Ленин!»

Но Вильямс оглядывает зал: рядом делегаты, рядом трудовая Россия, чьим подвигом свершился Октябрь. Всего лишь летом Вильямс объехал многие города и села России, был в Поволжье, ездил на Украину. Казалось, что Россия, которую видел американец, собралась в Смольном. Для американца нет явления значительнее: Ленин и рабоче-крестьянская Россия. Что написано на лицах делегатов, слушающих Ленина?.. Уважительное внимание, строгая доброта или то извечное, неколебимо крестьянское, рожденное лихолетьем русской жизни, что породило в мужике и сдержанность и недоверие?

«...Итак, свершилось. Принят первый декрет новой власти. Люди заулыбались, глаза их засияли, головы гордо поднялись. Это надо было видеть! Рядом со мной поднялся высокий солдат и со слезами на глазах обнял рабочего, который тоже встал с места и бешено аплодировал. Маленький жилистый матрос бросал в воздух бескозырку. Судя по ленточке, это был моряк Балтийского флота, может быть один из тех, перед кем мы с Ридом выступали несколько недель тому назад. Выборгский красногвардеец с воспаленными от бессонницы глазами и осунувшимся небритым лицом огляделся вокруг, перекрестился и тихо сказал: «Пусть будет конец войне».

В конце зала кто-то запел «Интернационал», и все тут же подхватили. С тех пор, каждый раз, когда я слышу звуки этого самого знаменитого рабочего гимна, я вижу взволнованную, торжественную толпу, охваченных единым порывом мужчин и женщин, я вижу Ленина и рядом с ним всех большевистских руководителей, стоя поющих вместе с залом.

Той осенью мы часто слышали и пели «Интернационал». Но в ту ночь, когда вместе с нами пел Ленин, вы бы слышали как мы пели! Люди плакали и обнимались. Потом мы запели медленный, скорбный похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой», посвященный памяти тех, кто погиб во время Февральской революции и был похоронен в братской могиле на Марсовом поле...»
Помню, что когда я прочел это место в новой книге Вильямса, я подумал: значение этой работы нашего друга еще предстоит оценить, но одно несомненно уже сегодня — не-

забываем Ленин в этой книге. Я читал это место вновь и вновь, пытаясь понять, в чем секрет впечатления, которое оно на меня произвело. Возможно, мой ответ не полон, но для меня он верен в главном: это место книги очень личное, и Ленин у американца тоже своеобычен, потому что он воссоздан, как увидел его в ту ночь Вильямс, как восприняло его сердце Вильямса.

А каков сам Вильямс, какую веру поколебал в нем Октябрь, в какую веру обратил?..

«И вот теперь в Смольном, вглядываясь в суровые лица людей, напряженно ловящих каждое слово, я почувствовал, как во мне поднимается горячая волна симпатии к красногвардейцам, матросам и солдатам, так замечательно выполнившим свой революционный долг. Только ослепленные предрассудками люди, подумал я, могут остаться к этому равнодушными...»

Я заканчиваю чтение и долго не могу отнять глаза от страницы, которая лежит передо мной. Ну, конечно же, это исповедь друга, для которого встреча с Лениным и Россией явилась началом большого пути.

— Ну, как? — спрашивает Люсита.

Часом позже мы расстаемся. Очень хочется, чтобы книга Вильямса — плод его благородных раздумий о Стране Советов поскорее увидела свет. Мы говорим с Люситой об этом. Мы прощаемся, и я склоняюсь над доброй рукой Люситы.

— Погодите... у меня есть для вас нечто такое, что будет вам дорого.

Она идет к письменному столу и тут же возвращается со стопкой тщательно исписанных страниц. Я узнаю простой карандаш Риса, непропорциональную узкую полоску текста на странице, выносы на поля и почерк, как пожатие его руки, нетвердый, добрый.

— Хочу, чтобы это хранилось у вас, — говорит Люсита. — Как память...

Не надо листать — все понятно: это черновик последнего письма Вильямса ко мне, написанного за два месяца до смерти.

«...Пусть наступающий год принесет мир этой земле...»

Уже на улице не могу удержаться, чтобы не раскрыть папку еще раз.

«...Мир — этой земле, — повторяю я, — ...Мир — земле...»

Все началось со слов, смысл которых открылся мне позже.

— Нет руки могучее, чем у революции, — сказал Альберт Рис Вильямс. — Если раскалывает, то навсегда. Если сближает — навечно.

О ком говорил Вильямс и почему рядом с этой фразой не стоит имя?

Впрочем, разговор продолжался, и Вильямс произнес еще несколько слов, которые могли быть ключом к первой фразе.

— Интересно взглянуть на документы восемнадцатого года из сегодняшнего дня. Например, на известный план торговли с Америкой... — добавил Вильямс подумав.

Значит, не все слова были столь общими, как первые. Вильямс говорил о плане Раймонда Робинса, о том самом плане, который американец увез в Америку весной восемнадцатого года. Следовательно, между первой фразой и второй была незримая связь, больше того, первая вызвала вторую. Вильямс и Робинс... не были ли они как раз теми, кого революция сблизила навечно? Однако это были всего лишь мои предположения — в том, что говорил тогда Вильямс, я не мог найти доказательства.

Уж так, наверно, повелось: только после смерти друга мы способны понять, как много вопросов мы не задали ему, как много он не сказал нам такого, что мог бы сказать. Но, может быть, в данном случае не все было потеряно — то, о чем нельзя было спросить Вильямса, можно было спросить Люситу Вильямс.

— Они были очень дружны, — сказала Люсита Вильямс. — Дружны до того печального часа, когда из Флориды, где жил Робинс, перестали приходить письма. Оказывается, революция может сблизить даже столь разных людей, как Робинс и Вильямс. И не только сблизить, но сделать их единомышленниками.

В том, что сказала подруга Вильямса, как мне казалось, было зерно, обещающее добрый росток.

Кем были Вильямс и Робинс по своим семейным и общественным истокам, по своим взглядам?

Вильямс — в сущности интеллигент-пролетарий из тех образованных пролетариев, ряды которых множатся

с каждым днем — у них действительно одна цель и одно оружие с заводскими рабочими. То, что Вильямс был сыном проповедника и в какой-то мере сам проповедник, не меняет дела.

Робинс — в прошлом пролетарий, в далеком прошлом, а ныне — господин, далеко не архимиллионер, но человек состоятельный вполне и по-своему верный американским принципам, чтобы оберегать устои, на которых стоит сегодня Америка.

Вильямса явно не устраивала американская демократия. Он видел ее язвы и понимал, что они вызваны социальным неравенством. Вильямс полагал, что реформы, даже самые радикальные, не способны эту демократию усовершенствовать — в конце концов социальное неравенство этими реформами не лечится.

Робинса, пожалуй, устраивали бы и реформы. Как ни сурова была его юность, его идеалом был буржуа — друг рабочих. По-своему просвещенный и религиозный, близко стоящий к интересам трудящихся, едва ли не разделяющий вместе с ними прибыль от производства и заботу о производстве. Можно было только удивляться, почему столь трезвый человек и реальный политик, как Робинс, не чувствовал, насколько утопична его мечта.

Впрочем, если из того, что мы сказали, получается, что Вильямс и Робинс были антагонистами, это не верно. Они были разными людьми, но не антагонистами. Больше того, у них было нечто общее, что единоборствовало с тем, что их разделяло. Любовь к человеку. У Вильямса она опиралась на жизнь интеллигента-бессребренника, ставшего социалистом — он всю жизнь считал себя социалистом, считал не без гордости. Для него это означало: он не просто американский интеллигент, что для него почетно, а человек передовых взглядов. Кстати, на том знаменитом митинге в Михайловском манеже, где Ленин и Вильямс напутствовали выборжцев, уходящих на фронт, Владимир Ильич, представляя Вильямса, назвал его «американским социалистом». Таким образом, для Вильямса его человеколюбие проистекало из всей его жизни, из взглядов на жизнь.

Наверно, гуманизм Робинса имел другую основу. Гуманизм человека, вышедшего из самых низов народа и понимающего, как этому народу худо. Скажу больше: у Робинса был комплекс вины перед собственным наро-

дом и многие из его поступков будут выглядеть не столь неожиданно, если их рассмотреть в этом свете. Человек по сути своей честный и совестливый, он не мог примирить совесть с тем, что силой обстоятельств оказался с теми, кого разделяет с народом непроходимая пропасть, поэтому многие из поступков Робинса были, в сущности, попыткой найти общий язык с собственным народом, а следовательно и со своей совестью. Русская революция была одной из этих попыток. Кстати, главное, как мне кажется, что понял Ленин в Робинсе и что дало возможность Владимиру Ильичу найти с ним какое-то взаимопонимание, была эта особенность американца.

Было еще одно обстоятельство, которое сближало Вильямса и Робинса: церковь. Не думаю, чтобы здесь они были единомышленниками. Робинс искал в церкви бога. Не столько в церкви, сколько в самом статуте современного христианства — в Библии. Вильямс был сыном и отцом проповедников. Он смотрел на религию, как на средство совершенствования человека.

Но вот что характерно: сколь ни важна была церковь, как фактор, сближающий этих двух людей, не она была той первопричиной, которая повлекла их друг к другу. Первопричиной их дружбы была революция. Не бог, а революция. В самой природе этого факта — достаточный материал для раздумий — два верующих человека, которых в прежние времена сделала бы единомышленниками вера во всевышнего, сегодня стали друзьями благодаря революции, которая всей своей сутью отвергает веру во всевышнего, воинственно отвергает.

На первый взгляд кажется даже противоестественным, как идеалы революции, к тому же революции пролетарской, могли увлечь людей столь далеких ей по образу жизни и в известной степени мироощущению.

Все это пришло мне на ум, когда я задал Люсите Вильямс вопрос, который в свое время не задал Вильямсу.

Как вы помните, она обмолвилась о переписке между Вильямсом и Робинсом.

Очень хотелось взглянуть на переписку Вильямса и Робинса, однако просить об этом вдову Вильямса я не решался. Не решался по многим причинам. Есть пись-

ма, которые до поры до времени должны быть достоянием письменного стола. Люди как бы заключили незримый договор не нарушать тайны, завещанной человеком, которому эти письма единственно принадлежат.

Наверно, надо было запастись терпением. Как это ни трудно, такое решение единственное. Однако ждать пришлось недолго.

Я помню этот день: был конец лета. Неожиданно знойного, совсем не московского. Солнце уже ушло из комнаты, в которой мы сидели с Люситой Вильямс.

— Я привезла переписку Альберта с Раймондом Робинсом — может, это будет вам интересно, — сказала она.

Я подумал: из тех американцев, из тех знаменитых американцев, которые видели Октябрь и Ленина, Робинс и Вильямс дожили до наших дней. Они были последними из могикан. И вот вопрос: логика времени их поставила лицом к лицу или нечто иное, большое и непреходящее, что сокрыто в самих процессах нашего времени, в психологии того, что есть Вильямс и Робинс?

Не знаю, является ли письмо, которым открывается переписка, действительно первым, но в нем были черты письма первого — радость возобновления отношений, надежда на встречу.

Письмо Робинса тем более характерно, что оно написано человеком, понимающим, что его тяжкий недуг и перспектива в недалеком будущем отправиться в «лучший мир» дают ему право быть бескомпромиссно-прямым и откровенным в большей мере, чем всем остальным. Впрочем, человек по природе своей жизнелюбивый, он не склонен был предаваться печали, если даже на это были свои основания.

Итак, первое письмо Робинса.

«Дорогой Альберт Рис Вильямс!

В сентябре[1] у нас несколько дней гостила миссис Гамберг, и мы говорили с ней о Вас и Вашей превосходной книге о Советской России. Возвратившись в Нью-Йорк, она прислала восхитительную фотографию, на которой Вы сняты со своим сыном. Глядя на эту фотографию,

---

[1] Письмо датировано ноябрем 1939 года.

и смог прийти к заключению, что его мать должна быть замечательной и прелестной женщиной. Вот уже четыре года, как часть моего тела парализована — результат катастрофы, когда у меня был сломан в трех местах позвоночник. Знающие доктора трижды предсказывали мне в течение трех лет, что я отправлюсь в лучший мир, но каждый раз я выздоравливал, мне становилось легче. А сейчас я не могу двигаться без посторонней помощи и почтенные специалисты утверждают, что я никогда уже не буду в состоянии делать это. Разумеется, я не могу примириться с таким приговором — ежедневно почти четыре часа, превозмогая боль, я посвящаю специальной гимнастике. Кое-какие успехи, небольшие, добытые упорным трудом, уже есть. Но паралич есть паралич. Я буду продолжать борьбу до тех пор, пока не закатится моя звезда. Я посылаю несколько газетных вырезок, которые дадут представление о наших местах. Не многие мечты сбываются, не многие стоят того, чтобы сбыться, и то, что Вы страстно желаете в 16 лет, Вы зачастую уже не пожелаете в последующие годы. Если Вы окажетесь где-нибудь по соседству, загляните к нам на часок, пообедаем, а может, захотите переночевать у нас или остаться на более долгое время, если это не нарушит Ваших планов. Посылаю также отрывок письма одному английскому общественному деятелю, который стоял вместе с нами за Советы и который переживает сейчас мучительные дни... Это даст Вам представление о моей сегодняшней точке зрения, единственной, которой я, очевидно, буду придерживаться, как бы ни развивались события...

Примите мое глубокое уважение и самые лучшие пожелания Вам и Вашей семье от моей семьи и меня лично.

Искренне Ваш *Раймонд Робинс*».

Я воспроизвел письмо Робинса полностью со всем тем, что в нем есть для нас важного и, может быть, второстепенного. Почему я это сделал? Робинс не может пожаловаться на отсутствие интереса к себе, по крайней мере у нас, в Советской стране. Однако в своих высказываниях о Робинсе мы были отнюдь не единодушны. Об этом нелегко писать, но высказывались мнения, к счастью, единичные, что облик друга СССР удобен Робинсу. Письмо, которое мы воспроизвели, относится к 1939 году,

когда такая точка зрения уже существовала. Как видно из письма, оно носило сугубо личный характер и отнюдь не было рассчитано на то, чтобы быть известным в СССР. Тем важнее для нас главная мысль и главный вывод письма, касающийся отношения Раймонда Робинса к Стране Советов. Впрочем, доброе отношение Робинса к Вильямсу, больше того, нежность, которой проникнуто все письмо, — это в конце концов тоже отношение к Советской стране: «...мы говорили с ней о Вас и Вашей превосходной книге о Советской России».

Как видно из письма, Робинс просил Вильямса навестить его в Чинсгат, во Флориде. Вильямс воспользовался приглашением лишь через три года. Потребность в этой встрече была тем большей, что был апрель 1942 года, грозный апрель более чем грозного 1942 года, канун нового наступления немцев на Страну Советов. В самом этом факте сокрыт великий смысл: немцы грозят гибелью Стране Советов, и два человека, два старых человека, связанных узами бескорыстной привязанности к России и ее революции, встречаются в далекой Флориде. Конечно же, они понимали, что их встреча не окажет влияния на исход войны, но тревога за судьбу России так велика, что они не могут отказать себе в желании видеться.

«Дорогой Альберт Рис Вильямс!

Получил Вашу телеграмму. Если Вы поедете поездом, то лучше всего сделать пересадку в Джексонвиле. Удобнее доехать до Крума или Инвернесса...»

Далее идет подробное описание того, где надо сделать пересадку и на какой станции сойти, а также со все той же предупредительностью, кто встретит Вильямса на станции (за рулем будет мистер Флетчер Уэстер или мисс фон Боровски), а также, чьим вниманием гость будет пользоваться на самой усадьбе (миссис Робинс, а также мисс Лайза фон Боровски — следят за садом и угодьями, мисс Лайли Бретерхоф — птичница, м-р Флетчер Уэстон — слуга и массажист, Маргарит Харрис — горничная и т. д.).

Мы можем только догадываться, что составляло содержание бесед друзей.

Прямых свидетельств у нас нет, есть косвенные. Какие именно? Прежде всего письмо Робинса, написанное другу вскоре после того, как тот покинул Чинсгат.

«11 июня 1942 г.

Дорогой Вильямс!

Получил Ваше доброе письмо от 8-го сего месяца; оно обрадовало всех Ваших чинсгатских друзей.

Мы все желаем Вам всяческого успеха в Вашей деятельности в области литературы и истории, и мы уверены, что в своей работе Вы сделаете много стоящего, много такого, что так нужно сегодня.

Я хотел познакомиться со статьей Хиндуса о России, но пока не нашел, где она была опубликована. Знаете ли Вы о его благополучном прибытии в Москву?

Следовало бы оказывать больше помощи Китаю, как в интересах его самого, так и его значения для России и Объединенных Наций в качестве базы для воздушного нападения на Японию. До сих пор всегда силы свободных народов были «слишком незначительны и действовали слишком поздно» во всех областях Тихого океана, за исключением сражений в Карибском море и на острове Мидуэй.

Когда Вы устанете от своих текущих дел, прочтите книгу Северского о победе с помощью воздушного могущества, если, конечно, Вы еще не читали ее. Что касается меня, то я считаю, что в мировой войне за свободу, которую мы ведем сегодня, эта книга является для нас значительной.

Я не знаю, насколько хорошо Вы знакомы с Японией, но если не слишком близко, то Вы найдете для себя полезную книгу Уилларда Прайса «Дети страны восходящего солнца». Это лучшая из книг, которые мне довелось прочесть о «немцах» на Тихом океане и о том, что привело их туда...

Все еще с радостью вспоминаю о том, как Вы у нас гостили, и желаю всего самого лучшего.

Ваш от всего сердца

Раймонд Робинс».

По своему тону это письмо мне показалось более откровенно дружественным и непосредственным, чем прежние письма Робинса — тон письму задает обращение: «Дорогой Вильямс!» Само письмо напоминало продолжение беседы, которая прервалась с отъездом Вильямса из Чинсгат. Письмо обнимает весь круг военных тем: прежде всего положение в России и в бассейне Тихого

океана, а также все, что относится к позиции Китая и Японии.

Однако была ли эта встреча просто встречей друзей — дань памяти, дань потребностям сердца или здесь были и некие деловые интересы. Хочу думать, что друзья встретились не только потому, что встреча им была приятна. Робинс рад успеху Вильямса на посту редактора газеты с более чем поэтическим названием «Звезда северного кедра». Мы знаем: все, что делал Вильямс в газете, служило борьбе России. Но не только в газете. Вильямс возобновил поездки по Америке. Как в двадцатые годы, после возвращения из Москвы. Поездки с рассказами о войне. Рассказы, которые неизменно собирали тысячные аудитории, заканчивались сбором средств. Наверно, суммы, собранные Вильямсом, были не столь велики, но это в конце концов не так важно. Главное, это был подвиг друга, желающего прийти на помощь другу. Видно, главной целью апрельской поездки Вильямса во Флориду была помощь сражающейся России.

Мне этот факт кажется значительным. И я не могу не подумать: как все-таки благодарно было для новой России все то, что сделал Ленин, чтобы завоевать на сторону Октября симпатии честных людей зарубежного мира. Ведь Вильямса и Робинса сделал друзьями Октября Ленин — сколько бессонных ночей провел он, сражаясь с Робинсом, именно сражаясь, — нелегко было убедить американца с доверием отнестись к революции и ее людям. Да и беседы с Вильямсом стоили сил немалых — здесь многое было под силу только интеллекту и опыту жизни Ленина. И вот семена, брошенные щедрой Ильичевой рукой, взошли с такой, казалось бы, покоряющей силой, взошли там, где меньше всего можно было их ожидать.

К сожалению, у нас лишь одно письмо Вильямса, но зато какое прекрасное это письмо — сколько в нем доброты и истинного участия. Письмо вызвано горестным событием в жизни Робинса — умерла его жена. Вильямс знал: тем, что Робинс сумел совладать с недугом и устоять, он во многом обязан ей. Позже Робинс говорил, что она погибла, спасая его, Робинса. Одновременно письмо Вильямса — это рассказ о том большом и прекрасном, что делал он в годы войны и что явилось в какой-то мере осуществлением тех надежд и планов, которые владели друзьями во время их встречи весной 1942 года.

«Дорогой Робинс,
минуло почти три года, как я был в Чинсгат, наслаждаясь Вашим гостеприимством, таким открытым и таким необыкновенным, как и Ваш большой дом, стоящий среди сосен. Наши встречи очень много дали мне, оставив неизгладимое впечатление. Та стойкость, веселая и, я бы даже сказал, жизнерадостная, с которой Вы несете свое несчастье, то постоянное и неусыпное внимание, с которым миссис Робинс следила за Вашим здоровьем и благополучием, и та спокойная и бескорыстная преданность Вам обоим Мэри Драйер[1]. И вот теперь этот жизненный уклад разрушен, и я представляю себе, как должна быть тяжела для Вас и Мэри эта утрата и разлука.

Кто-то сказал, что не столько надо бояться смерти, сколько того, чтобы умереть, так и не узнав, что такое настоящая жизнь. Я немного знал о той широте общественных интересов и общественной деятельности миссис Робинс, но, прочтя в «Нью-Йорк таймс» посвященную ее памяти статью, я еще больше понял, какую содержательную и полноценную жизнь она прожила. Что касается ее личной жизни, то она находила полное удовлетворение в том, что всю себя без остатка посвятила Вам. И это должно служить Вам утешением. Сейчас во всяком случае она обрела вечный покой и сознание того, что Вы прожили с нею такую большую жизнь, должно служить Вам хотя бы некоторым утешением.

Очень хочется знать, какие мысли у вас возникают при виде того, как советский малыш превращается в гиганта. Я испытываю большое желание поехать в Россию, и я уже почти решился на это, когда Уоллес пригласил меня сопровождать его. Но я был занят, пытаясь написать заново историю тех первых дней революции. Кроме того, меня просят выступить с лекциями. Почти на каждом собрании, когда я упоминаю Ваше имя, Ваши многочисленные друзья осаждают меня вопросами о Вас. Я рассказываю о той неделе, которую я провел в Вашем доме, о том, что, несмотря на недуг, Вы сохраняете всю свою прежнюю остроту ума и бодрость духа. И то, что мне говорили о Вас позже Франк Адам, Томас Ламонт и другие, подтверждает, что Вы и сегодня такой же.

Я верю, что с той же стойкостью, с какой Вы держались на многих процессах, Вы преодолеете огромное го-

[1] Сестра Р. Робинса, жившая в ту пору в Чинсгат.

ре, которое на Вас теперь обрушилось. Эдвар Карпентер говорит: «Мы не находим слов, когда смерть вырывает друзей из наших рядов. Наши небольшие запасы ума и мудрости, наши принципы, наши девизы, накопленные нашим жизненным опытом, не могут проникнуть в то великое, чьи крылья застлали свет и что зовется смертью». Было бы хорошо, если бы можно было выразить свое сочувствие тем, чтобы быть Вам полезным. Как бы мне хотелось, чтобы я смог для Вас что-либо сделать. Дайте мне знать, могу ли я быть Вам полезен.

Тем временем я шлю Вам обоим мои молитвы и мои самые лучшие пожелания.

Как всегда *Альберт Рис Вильямс».*

И вот ответное письмо Робинса:

«Дорогой товарищ по Великой Советской Революции в Петрограде в ноябре 1917 года!

Лишь около недели назад я стал оправляться от болезни, которая сковала меня после смерти жены.

Я был душевно рад, получив Ваше великодушное письмо, полное глубокого сочувствия и понимания.

Я всегда буду рад получить от Вас весточку и хочу знать, как Вы живете и работаете.

Как Вы хорошо знаете, мой интерес к Советской России неизменен. Те из нас, кто был свидетелем этого Великого начинания, родившегося из самого огня Революции, хотя бы отчасти поняли, что такое свобода и свет, о котором мечтал Ленин.

С неизменным уважением и самыми лучшими пожеланиями

Искренне Ваш

Раймонд Робинс».

Да, Робинс мог начать письмо к другу более чем знаменательным обращением: «Дорогой товарищ по Великой Советской Революции в Петрограде в ноябре 1917 года!» Одно это обращение говорит о многом. Оно, это обращение, могло бы быть своеобразным девизом к этой переписке. Но смысл этих писем не только в этом. Сам факт, что крупный делец и глубоко верующий человек пришел к пониманию революции, вызывал повсюду разные толки. Высказывалось мнение, что это не более

как камуфляж. Это мнение было тем более правдоподобным, что первые контакты Робинса с Советским правительством были продиктованы целями отнюдь не добрыми. Строго говоря, Робинс явился в Смольный как представитель американского посла Френсиса, и задача, которую поставил посол перед Робинсом, мало чем отличалась от задачи разведывательной. Таким образом, официальное положение Робинса — глава миссии Красного Креста — не соответствовало функциям, которые он взял на себя. Больше того, это официальное положение как бы маскировало действительные обязанности Робинса. Все, кто ставил искренность Робинса под сомнение, считали, что Робинсу была удобна маска, которую он обрел, и что он и в дальнейшем был человеком о двух лицах.

Все, кто держался этой точки зрения, в сущности ставили под сомнение то большое, что совершил с мировоззрением этого человека Ленин в те долгие смольнинские, а потом кремлевские часы и часы, когда он беседовал с Робинсом. Кстати, Ленин верил в искренность того, что произошло с Робинсом. Верил и подтвердил это свое мнение весьма недвусмысленно. Когда возник вопрос о развитии экономических связей между Россией и Америкой, Ленин просил Робинса быть тем лицом, которое возьмет на себя все переговоры на эту тему с президентом Вильсоном, и вручил американцу текст плана. Известен наконец мандат, который Ленин дал Робинсу перед отъездом американца на родину. На бланке «Председатель Совета Народных Комиссаров» рукой Ленина зачеркнуто «Петроград» и написано «Москва, Кремль, 11.5.1918». Мандат предписывал «оказывать всяческое содействие беспрепятственному и быстрейшему проезду из Москвы во Владивосток полковнику Робинсу». Мандат подписал: «Предс. СНК В. Ульянов (Ленин)».

Очевидно, Ленин достаточно доверял Робинсу, поручая ему столь ответственное дело, как переговоры по плану русско-американских экономических связей с президентом США. Все, кто ставил поведение Робинса под сомнение, держались иной точки зрения. Таким образом, существовали два мнения о Робинсе, при этом первое принадлежало Владимиру Ильичу.

Какая же из этих двух точек зрения выдержала испытание временем? Нет, не только испытание календарных лет, хотя жизненная дорога Робинса была достаточно долгой и сами размеры жизненного пути уже являют-

ся испытанием достаточным — Раймонд Робинс умер в 1955 году. Речь идет о том, что все эти годы Робинс подвергался атакам наижесточайшим.

Известно, с каким мужеством он защищал свою позицию на известном допросе сенатской комиссии Овермена.

Меньше известно, как атаковала Робинса американская пресса, при этом солидная «Нью-Йорк таймс» не составляла исключения.

Пусть читатель разрешит мне привести репортерский отчет из этой газеты, датированный 5 апреля 1919 года, — кстати, характерно, что и эта заметка оказалась в стопке писем, переданной мне Люситой Вильямс.

Вот заголовок отчета:

Генерал Добржанский заявил: «У главы Красного Креста — большевистские советчики».

А вот текст:

«Генерал А. Н. Добржанский, помощник военного министра в дореволюционной России, заявил на собрании членов Технологического клуба, которое состоялось вчера вечером в Граммерси Парк, 37, что он считает, что полковник Раймонд Робинс, глава миссии Красного Креста в России, был введен в заблуждение относительно положения в этой стране.

Генерал подверг критике источники, из которых полковник Робинс черпает информацию... Докладчик заявил, что большевики контролируют не больше чем одну десятую часть территории России, не больше чем одну десятую часть населения, и «что Америка могла бы спасти Россию и спасти мир от ужасов большевизма, отказавшись признавать большевистское правительство».

Одним из аргументов, выдвинутых генералом Добржанским, подтверждающих его уверенность в том, что концепции полковника Робинса были «интенсивно окрашены», было то, что связь Робинса с указанными представителями власти велась через секретарей, которые являлись агентами большевиков, а именно: через немцев, изменивших свои имена по приезде в Россию и выдающих себя за интернационалистов».

Генерал Добржанский также отметил, что во время переговоров с большевистскими лидерами посланец Красного Креста использовал большевистского переводчика, а в качестве своего секретаря имел «откровенного

большевика, интернационалиста немецкого происхождения».

«До тех пор пока Робинс развивал свою большевистскую деятельность по частным каналам, я не мог разоблачить его, — подчеркнул Добржанский в заключение. — По теперь, когда он начал пропагандистскую кампанию... я обязан уведомить американский народ, и Робинс должен будет ответить за свою недозволенную политическую деятельность...»

Очевидно, две точки зрения на Робинса были подвергнуты отнюдь не только испытанию календарных лет,— стенограмма допроса в комиссии Овермена, как и репортерский отчет в «Нью-Йорк таймс», показывают: все эти годы дом американца в Чинсгат подвергался достаточно интенсивному обстрелу, при этом снаряды ложились в непосредственной близости от дома.

А как Робинс?

Письма, которые мы воспроизвели, в сущности являются свидетельствами совести человека. И значение этих писем для нас в том, что они показывают с убедительностью и искренностью исповеди: Раймонд Робинс, которого к дружбе с Советской страной подвигнул Ленин, — наш друг, наш большой друг.

И если уж говорить о письмах, имеющих значение исповеди, уместно привести еще одно письмо — я обнаружил его в той же стопке.

Это письмо Робинса сестре Мэри Драйер, которую он горячо любил, — в письме есть большой кусок, прямо относящийся к теме нашего разговора.

Вот он:

«Скоро наступит двадцатая годовщина великой революции. Минуло уже два десятилетия, а ведь были мудрые мужи, которые предвещали ей прожить всего несколько недель и сколько раз уже заявляли о том, что она умерла... Если... война не наступит до того, как полетят снежинки, то Советы переживут этот век». И далее Робинс старается воссоздать облик Советской страны, как понимает и видит ее он. «Производство ради человека, а не ради прибылей; равные возможности каждому ребенку, родившемуся в этой стране; никакого расового антагонизма; никаких предрассудков относительно цвета кожи, никаких разделений на классы; никакой проституции на почве полового неравенства, нужды или страха; образование, доступное каждому ребенку: от детского

сада до университета; никакой религиозной вражды; никакого ущемления или разделения на религиозной почве; научный и практический подход, применяемый ко всему жизненному укладу, труду и методам производства и в культуре; массовое машинное производство в промышленности и в сельском хозяйстве; торжество творческого разума во всех областях деятельности — замечательные достижения в области географических открытий последних лет... и завоевание Арктики». Письмо заканчивается достаточно красноречиво: «И подумать только, что в течение одного часа, в марте 1918 года... революция была спасена от того, чтобы быть уничтоженной японскими пушками и штыками, — парень не зря прожил свою жизнь».

Если существовало два мнения о Робинсе, то следует признать: победило первое, то, которое отстаивал Ленин.

ДОРОГА СЕДЬМАЯ

ПАМЯТЬ

В жизни каждого человека есть событие, которым отмечено его возмужание. Возмужание ума, опыта, самой способности торить жизненные тропы, без которой юноше трудно стать и воином, и мужем, и гражданином. Для моих сверстников (да только ли для них?) таким событием явилось... Помню осень тридцать третьего года в моем родном Армавире, на Кубани, поздний вечер с крупнозвездным небом, сотни людей, стоящих на площади, и голос Москвы, одновременно и тревожно-суровый и, так мне казалось, торжественный:

«Я допускаю, что я говорю языком резким и суровым, — сказал сегодня Димитров в Лейпциге. — Моя борьба и моя жизнь тоже были резкими и суровыми. Но мой язык — язык откровенный и искренний. Я имею обыкновение называть вещи своими именами».

...Нет, это было похоже на чудо: храбрый человек, которого еще в прошлом году никто не знал из нас даже по имени, вошел и в твою жизнь — не было тревоги большей, чем тревога за его судьбу.

«Я не адвокат, который по обязанности защищает здесь своего подзащитного, — гремит радио над городом. — Я защищаю себя самого как обвиняемый коммунист. Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь. Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения. Я защищаю смысл и содержание своей жизни. Поэтому каждое произнесенное мною

перед судом слово — это, так сказать, кровь от крови и плоть от плоти моей...»

Никогда не забыть этого ощущения: в каменных палатах имперского суда в Лейпциге судили поистине друга и единомышленника, и он могуче отбивал удары и наступал, наступал яростно, пренебрегая неравенством сил, больше того, победив это неравенство.

И я не мог не спросить себя:

Что лежало у самих истоков этого человека?

Извечное братство русского и болгарского? То непреходящее, что несла с собой совместно пролитая кровь — на свете нет цемента сильнее? А может, то грозное, что родилось в конце века — братство коммунистов, ленинское братство?..

Шли годы, и осень тридцать третьего, казалось, должна была отодвинуться в глубь лет, стать историей, а она жила. Она жила в суровые годы нашего единоборства с фашизмом и под Мадридом, и позже, у стен Севастополя и Ржева... Помню ржевские леса, побитые артиллерийским огнем, точно железной оспой, и колокольню ржевской церкви над снежным полем. Она, эта белая ржевская колоколенка, в эту зиму сорок второго — сорок третьего была для нашей двадцатой армии и ориентиром и вожделенной целью в ее трудных, стоящих немалой крови попытках взять Ржев.

Однажды ночью тропа вывела меня к лесной сторожке, в которой нашла приют редакция «Красного кавалериста», да, того знаменитого, что возник в год буденновского рейда на Запад. Быть может, я прошел бы мимо сторожки, если бы не характерный шум печатной машины — «американки». У машины стоял офицер, как я установил потом, один из редакторов «Кавалериста», и печатал газету. Не помню, был ли то номер, взятый с машины, или какой-то другой номер, но хорошо помню, что держал газету со статьей о подвиге Димитрова. То, что я прочел в статье, было и прежде известно, но статья заставила с новой силой пережить подвиг Димитрова — очевидно, из ржевского леса виделось больше. В победе Димитрова над фашизмом, в победе его веры и духа мы старались провидеть и нашу грядущую победу.

— Сколько буду жить, буду помнить подвиг брата-коммуниста, — хотелось повторять вслед за автором статьи. — Сколько буду жить...

Память человека непобедима, — ничего с нею не поделаешь и сегодня. Для меня старинный и добрый Лейпциг еще и город, с которым волею судеб связано печальной памяти событие 1933 года. Может, поэтому в первый же день по приезде в Лейпциг я встал с зарей в надежде взглянуть на каменную громаду большого дома, известного тем, что здесь Димитров судил фашизм.

Не просто рассказать, как я стоял в это утро перед полированными камнями этого дома, как открыл тяжелую дверь и по пустынным залам проник на второй этаж, как упрашивал сторожа (час ранний!) показать мне зал, где происходил процесс, как на пороге этого зала встретил Петру Раденкову, болгарскую коммунистку, посвятившую себя изучению жизни и борьбы своего великого соотечественника, и как два часа слушал ее рассказ о жизни Димитрова — в этом рассказе были и мысль, и страсть, и то вдохновение, без которого нельзя рассказать о жизни человека. Мы уже заканчивали осмотр экспозиции, когда перед нами вновь возникла фотография трех болгарских коммунистов, слушающих приговор.

— Танев погиб в начале войны? — спросил я мою собеседницу.

— Да, в сорок первом, — ответила она. — В составе группы парашютистов он высадился где-то в Болгарии и в неравной схватке был сражен...

— Попов жив? — спросил я, не сводя глаз с фотографии. Рослый и крепкоплечий, Попов смотрел на меня открыто и прямо.

— Да, единственный из троих.

Уже расставаясь с Петрой Раденковой, я спросил, приходилось ли ей читать юридическую историю процесса.

— Что говорят юристы о ходе процесса и о его исходе? — пояснил я свой вопрос. — Ведь Димитров и его товарищи сражались с людьми, весьма искушенными в премудростях права...

Моя собеседница заметила, что ей на этот вопрос ответить нелегко, однако в Лейпциге находится человек, лучше которого эту проблему сегодня никто не знает.

— Вы хотите сказать, что в Лейпциге... Джон Притт?

У меня были основания для такого вопроса: Притт был председателем знаменитого контрпроцесса, который в те дни проходил в Лондоне и во многом способствовал спасению Димитрова и его товарищей.

Час спустя я уже говорил с Приттом, мне была интересна встреча с ним тем более, что я немного знал англичанина — незадолго до этого я виделся с ним в Лондоне.

— У меня такое впечатление, что наша лондонская беседа и не прерывалась, — смеется Притт и сосредоточенно потирает лоб, собираясь с мыслями. — Вы знаете, что процесс в Лейпциге сложился так, что Димитров и его товарищи должны были единоборствовать с составом суда, обвинением, свидетелями и защитой, — убереги меня, господи, от такой защиты, а я уж сам как-нибудь спасусь!.. В этих условиях спасение было не только в мужестве, жизненном опыте, преданности высоким идеалам — в этом нельзя было отказать обвиняемым, но и в знаниях, общих и, пожалуй, юридических, помноженных на знание языка, что в тех условиях было обстоятельством наиважнейшим. И здесь Димитров явил все свои данные, построив защиту так логично, как может сделать это только профессиональный юрист. Когда мы говорили о Димитрове, мы говорили о подвиге мужества, и это верно: солдат революции, он явил стойкость духа легендарную. Но, очевидно, надо говорить и о подвиге знаний, подвиге культуры. Прочтите речи Димитрова: он сражался с немецкими судьями, опираясь на Гете и Шиллера... А о том, в какой мере это было действенным, спросите Попова!

Мне показалось, что я ослышался.

— Вы сказали: «Спросите Попова»? Вы имеете в виду сотоварища Димитрова по процессу — Благоя Попова?

— Да, разумеется... Он в Лейпциге и с минуты на минуту должен быть здесь.

Судьбе, видно, было угодно вознаградить меня!

Я подхожу к каменным перилам галереи — отсюда хорошо видны и вестибюль и парадная дверь. Человек, которого я жду, должен прийти оттуда. В огромном здании все еще по-утреннему тихо. Где-то бьют часы, бьют с придыханием, и их удары, отраженные в металле и мраморе, казалось, сотрясают здание.

Но что я знаю о человеке, которого предстоит мне сейчас увидеть? Из троих болгар он самый молодой. Вожак болгарского комсомола — секретарь ЦК. Кажется, он земляк Димитрова — из одной околии. Впрочем, истинным землячеством для них явилось единомыслие и союз, который это единомыслие утверждал. В двадцать третьем (Болгария в огне восстания) он был вместе

с Димитровым против фашистов болгарских, десять лет спустя — немецких.

Парадная дверь открылась, и я услышал шаги человека. Человек поднимался по лестнице, и сейчас я видел не только его седую голову. Поднимался нелегко, будто нес на своей сутулой спине все эти годы. Может, тридцать, а может, все шестьдесят три. Он поднялся и, казалось, пошел мне навстречу, пошел медленно — между нами было шагов десять, и ему явно не хватало этого расстояния, чтобы успокоить сердце.

— Не думал, что вновь побываю здесь... Однако чем черт не шутит! — произносит он и незаметно касается ладонью груди. — Да, сердце... чуть-чуть, — говорит он негромко. — Как будто и не так стар, но одна штукатурка осталась!..

Мы идем из комнаты в комнату этого большого дома, и уже во второй раз в это утро передо мной возникает лейпцигская эпопея, теперь рассказанная ее участником.

В одной из комнат Попов задерживается чуть дольше. Перед нами точная копия одиночной камеры: койка, подобие стола, прикрепленного к стене, кандалы.

— Все человеку под силу, но вот кандалы... Не дай бог надсмотрщику плохого настроения: так скрутит вот это железо, что руки занемеют! Хочешь уснуть и не можешь: особенно худо ночью, все муки — в кандалах!..

Длинный ряд комнат точно пресекся. Возникли высокие темного дерева двери, подчеркнуто торжественные.

— Зал суда?

Легкая белизна трогает и без того бледное лицо Попова.

— Да.

Сторож гремит увесистой связкой ключей, гремит безмятежно, и морщины на лбу моего спутника становятся жестче.

Повернулся ключ, дверь открылась почти бесшумно.

Какую-то секунду мой спутник стоит перед распахнутой дверью, потом не без усилий входит в зал.

Тишина и сумерки, заметно коричневые, это от дерева, в него одет зал.

Такое впечатление, что я уже был здесь. Может, поэтому пустой зал для меня населен: матово поблескивают круглые шлемы охраны, где-то позади нетерпеливо шелестит бумага — корреспонденты, неистово хрустит пальцами Торглер, председатель не выпускает из рук коло-

кольчика: «Подсудимый Димитров! Вы дошли до крайнего предела!»

Мой спутник переводит взгляд на ряды стульев. Он подходит ко второму ряду, останавливается у четвертого стула слева, как-то по-особому, осторожно, кладет руки на спинку.

— Димитров сидел здесь.

На какой-то миг молчание моего спутника сомкнулось с молчанием зала.

— Говорят, что мир узнал Димитрова после Лейпцига? Быть может, это и верно, если говорить о внешнем мире, — Болгария знала его всегда. Не было события, которое бы так всколыхнуло и потрясло Болгарию, как восстание двадцать третьего года, — Димитров был одним из его вожаков... — Попов умолкает и обводит строгими глазами зал. — Сейчас же после ареста нас изолировали и разделили намертво: в тюрьме — каменные стены, на процессе — часовые, они сидели между нами... Деятельностью суда и следствием руководил Геринг. В одном лице — и палач и свидетель. Допрос Геринга был кульминацией процесса. Вчера я слушал здесь магнитофонную запись этого допроса. — Он улыбнулся, как мне показалось, впервые. — Редкое, необычное чувство — вот так через тридцать с лишним лет приехать сюда, войти в этот зал и вдруг услышать...

Сторож вновь загремел ключами, раздалось шипение включенного репродуктора, и два голоса, накаленных добела, вторглись в зал: Димитров — Геринг. Да, я услышал тот знаменитый диалог, когда узник, рискуя быть четвертованным (я не оговорился: четвертованным!), воздал своему палачу полную меру презрения.

ГЕРИНГ: С моей точки зрения, это было политическое преступление, и я точно так же был убежден, что преступников надо искать в вашей партии. Ваша партия — это партия преступников, которую надо уничтожить! И если на следственные органы и было оказано влияние в этом направлении, то они были направлены по верным следам.

ДИМИТРОВ: Известно ли г-ну премьер-министру, что эта партия, которую «надо уничтожить», является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отноше-

ния, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я запрещаю вам вести здесь коммунистическую пропаганду.

ДИМИТРОВ: Г-н Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду! (Затем, обращаясь к Герингу.) Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа. Известно ли это...

Я слушаю Димитрова и не могу не думать: какой верностью надо быть верным Родине социализма; какой любовью любить ее, чтобы вот так, поистине без страха и упрека, выступить в ее защиту!

А поединок, казалось, достиг предела.

ГЕРИНГ (громко кричит): Я вам скажу, что известно германскому народу... Германскому народу известно, что здесь вы бессовестно себя ведете, что вы явились сюда, чтобы поджечь рейхстаг. Но я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судье, и бросать мне упреки! Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить.

ДИМИТРОВ: Я очень доволен ответом господина премьер-министра... У меня есть еще вопрос, относящийся к делу.

ГЕРИНГ (кричит): Вон!..

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Выведите его!

ДИМИТРОВ: Вы, наверно, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?

ГЕРИНГ: Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как вы только выйдете из суда!..

Микрофон выключен, и, казалось, вновь в зал вошла тишина, а в сознании еще звучит реплика Димитрова: «Вы, наверно, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?»

— В это утро Геринг сжег себя, а заодно и процесс, который с таким трудом сооружал, — произносит Попов. — Теперь, как отметила одна газета, мир по крайней мере знал, что являла собой так называемая тайна о поджоге рейхстага...

Двумя днями позже я был в Берлине. По людной Унтер-ден-Линден я дошел до Бранденбургских ворот и справа, за стеной, разделяющей город надвое, увидел характерный купол рейхстага со знаменем Федератив-

ной Германии на флагштоке. Я смотрел на здание рейхстага и медленно развевающееся знамя и думал о том, что в природе нет ничего тверже памяти, нет и, пожалуй, не должно быть... Я смотрел на это знамя, тяжелое, застланное городскими дымами, и думал о Ржеве с его белой колоколенкой, о ржевском лесе, выкрошенном артиллерийским огнем, и о статье в армейской газете, которую прочел в этом лесу однажды ночью.

— Сколько буду жить, буду помнить подвиг брата-коммуниста, — вдруг встали в памяти слова той ночи. — Сколько буду жить...

* * *

Что же все-таки лежало у истоков этого человека?

Нигде этот вопрос не звучал для меня так насущно, как в Болгарии.

Что лежало у истоков человека?

Извечное братство русского и болгарского?

Я был на орлиной скале Шипки, где сшиблись русские и турки в своей решимости овладеть перевалом. Объехал крепостные редуты Плевны, бывшие дальними и ближними рубежами осажденного города. Пересек Казанлыкскую долину, знаменитую долину роз, на которой сам отсвет цветов воспринял свечение пролитой здесь русской и болгарской крови.

Если говорить об истоках, определивших жизнь человека, наверняка это были и Шипка, и Плевна, и Казанлык — боевое братство болгар и русских. Наверняка, но не только это.

Во время поездки по Болгарии я был в Варне, точнее в порту Варны. Портовики-ветераны, грузчики и матросы, повели меня в дальний конец большого, мощенного булыжником двора, где, по их рассказам, начинался старый варнинский порт. «Здесь стоял тот самый корабль, который вез оружие в Россию — дорога в Одессу легла так...» — человек, говоривший со мной, рассек ладонью море.

Если говорить об истоках, определивших жизнь человека, наверняка это была и Варна, революционное братство болгар и русских. Наверняка, но не только это.

В Софии мне сказали, что цел родительский дом Димитрова на Ополченской, дом, в котором Георгий Михайлович прожил тридцать пять лет... Признаюсь, что, когда

в пролете окраинной софийской улицы возник этот дом с тремя окнами, расположенными по фасаду как-то вразброс, я испытал нечто такое, что суждено испытать человеку, когда он становится неожиданным свидетелем чуда. Вспомнился тот вечер на площади степного кубанского города и громоподобное димитровское слово на процессе. И неожиданная встреча в ржевском лесу. И накаленный добела диалог двоих — Димитрова и Геринга в каменных палатах имперского суда в Лейпциге. Вспомнилось все это, и действительно было ощущение чуда: вон в какой трепет обратил каменную лейпцигскую громаду скромный дом на Ополченской!..

Что-то в облике этого дома на софийской улице Ополченской показалось мне поначалу родным, южнорусским. Сразу и не скажешь, что именно: беленные синеватой известью стены или черепичная крыша, ярко-белые наличники окон или высокое крыльцо, обеденный стол под тенистым деревом или низки красного перца, развешенные по карнизу... Но только поначалу: на самом деле, это был болгарский дом. Вот ты переступил порог дома и по крутым ступеням спустился вниз: Димитровы жили вначале в полуподвале — здесь все болгарское. И круглый столик на низких ножках, вокруг которого семья усаживалась прямо на полу, положив под себя ковровые подушки. И массивные матицы, поддерживающие потолок. И заметно старая икона характерного византийского письма. И вот эта прялка, у которой сидела старая Параскева, мудрая хранительница очага Димитровых, мать трех дочерей и четырех сыновей, да, четырех, один из которых погиб на войне балканской, другой умер в царской неволе, третий казнен болгарскими опричниками, а четвертому дано воздать за всех четырех, да еще за горе-горькое страдалицы-матери...

Я иду по дому вместе с женщиной, в чьи гладко зачесанные волосы точно вплелась синеватая седина — она легла в волосах прядями. В облике женщины есть что-то фамильное, димитровское: в особой округлости подбородка, в вырезе рта, очень четкого, в самом взгляде чистых и ярких глаз, в открытости этого взгляда. Это младшая сестра Димитрова — Параскева. Время от времени она протягивает руку (она у нее загорело-бронзовая), обводит часть комнаты:

— Видите умывальник?.. Здесь Георгий прятал листовки...

Наверно, и сейчас это произнести не просто: брат прятал листовки. Гонимый брат, дважды заочно приговоренный к смерти.

Мне кажется, что вопрос, который я пронес через эти годы, я задам и ей:

— Что лежало у истоков человека?.. У самых истоков?

Она задумывается:

— У истоков? — ее густые брови тревожно вздрогнули. — У истоков? Вот этот дом, каким видите его вы!.. Дом и еще... вот это, — она указала на полки с книгами.

Едва войдя сюда, я обратил внимание на эти полки. На них нельзя не обратить внимания. Библиотека так велика, что ее как-то трудно соотнести с более чем скромными размерами дома. Да, все сокровища здесь, на этих книжных полках. Протягиваю руку, раскрываю первую книгу: Ленин.

Теперь я вижу: здесь истоки человека. Здесь.

ДОРОГА ВОСЬМАЯ

В СТОКГОЛЬМЕ, У АЛЕКСАНДРЫ КОЛЛОНТАЙ

1

Это было летом сорок восьмого года в доме отдыха под Москвой. Помню, что была середина лета, дождливого и грибного. В те редкие дни, когда бывало сухо, обитатели дома от мала до велика уходили в лес, на речку (возможно, речка брала начало от ключа и за все лето так и не успела прогреться, оставаясь калено-студеной). В доме, пожалуй, оставалась только Александра Михайловна да кто-то из ее близких, кто ей помогал и за нею ухаживал.

В такое время коляску, в которой она сидела, выкатывали на поляну или ставили под дерево. Признаюсь, что я часто наблюдал за Александрой Михайловной. Меня поражало, что даже скованная недугом, она смотрела вокруг глазами, в которых не было боли. Видно, она была наблюдательным человеком: вот так, сидя одна в своей коляске, она умела видеть живую картину природы, возникающую в непреходящей новизне.

Как ей было ни одиноко, она редко заговаривала с отдыхающими первой, понимая, что то, что дозволено другим, не дозволено Коллонтай. Но однажды она заговорила первой — спор, возникший между молодыми дипломатами, увлек и ее.

— Но ведь не это же главное достоинство дипломата! — произнесла Александра Михайловна улыбаясь.

Юноша, только что утверждавший, что таким достоинством является умение дипломата вовремя сказать своему оппоненту «нет», затих и медленно перевел глаза на Коллонтай.

— Тогда что, Александра Михайловна? — спросил он с почтительной робостью.

— Искусство завязывать отношения с людьми и развивать эти отношения, — сказала Коллонтай. — Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом.

Потом я часто повторял слова Коллонтай, услышанные на поляне: «Искусство завязывать отношения с людьми и развивать эти отношения!» А потом это убежденное: «Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом». Наверное, впечатление, произведенное этими словами, усиливалось от того, что они были произнесены Коллонтай. Мои ровесники помнят, что Александра Михайловна была тем нашим современником, о ком и при жизни ходили легенды. Она принадлежала к той плеяде русских революционеров, которые по силе духа и силе интеллекта были людьми редкими. Будучи жителями века девятнадцатого, они уже были гражданами будущего. Человек высокоодаренный, она была талантливым литератором, блестящим оратором, в речи которого содержались и страстность, и острая полемичность, и сила аргументации — ее современники помнят, с каким успехом проходили ее лекционные турне по Европе и Америке... Кстати, степень знания языков у нее была такая, что она с одинаковой уверенностью могла выступать перед любой аудиторией и в Старом и в Новом Свете. Известно, с каким дружеским участием и тактом Ленин руководил деятельностью Коллонтай, поощрял ее в успехах, ободрял при неудачах, бывало, и нередко критиковал, но неизменно был к ней щедро доброжелателен, добр. Именно по предложению Ильича Коллонтай была введена в состав первого Советского правительства и стала первой женщиной — народным комиссаром.

А потом дипломатическая деятельность — двадцать лет на посту советского полпреда, посланника, посла в Скандинавии, при этом пятнадцать — в Швеции — такого второго факта в истории нашей дипломатии нет. Помню, в ту пору, когда Коллонтай была послом, ее имя сопровождалось неизменным комментарием: «Алексан-

дра Михайловна знает Скандинавию, как никто лучше — у нее там еще старые связи...»

И вот встреча с Александрой Михайловной в Подмосковье и эти ее слова о главном достоинстве дипломата: «Искусство завязывать отношения и развивать их...» Сознаюсь, я часто обращался в своих мыслях к этой встрече и к этим словам Коллонтай — в них есть материал для раздумий. Как бы это было благодарно, думал я, побывать в Стокгольме и в живом общении с кругом людей, который был здесь кругом Коллонтай, нет, пожалуй, даже больше — миром Коллонтай, исследовать, как эти связи устанавливала она, устанавливала и развивала. Да, повидать людей, знавших Коллонтай, побывать в местах, связанных с ее именем, быть может, ознакомиться с письмами, которые написала Александра Михайловна своим шведским корреспондентам. Мне было известно: Александра Михайловна, как никто другой, умела писать письма — искусство, к сожалению, утраченное в наше время. Ее переписка с некоторыми ее шведскими друзьями берет начало в истоках века и продолжается на протяжении десятилетий.

И вот стокгольмское лето 1968 года.

Солнце затопило город, и люди ищут спасения на зеленых островах парков. В полдень в городе так тихо, будто это не полдень, а полночь. Редко-редко пройдет ватага заморских туристов, как все туристы суматошно-крикливая, и потом тишина и ветер долго еще не могут отмыть их голосов и сладковато-пряного запаха их сигарет — казалось, и то и другое впеклось в стокгольмский гранит.

Но тишина обманчива. Город жив, и у него есть свой кратер, где день и ночь клокочет лава. Кратер этот — площадь у торгового центра США. Она вечно ненастна грозовым ненастьем гнева:

— Янки, вон из Вьетнама!

Ничто так не волнует сегодня Швецию, как Вьетнам.

И между Швецией и Вьетнамом сегодня существует своеобразный воздушный мост. Во Вьетнам летят ученые, журналисты, медики, писатели. Несколько лет назад во Вьетнаме побывала романистка Сарра Лидман — ее книгу с вьетнамскими репортажами я видел в шведских семьях.

Я был у Сарры Лидман дома. Над обеденным столом висел портрет Хо Ши Мина. Большой портрет, приклеен-

ный прозрачными полосками «скотча» прямо к стене!

— Нам надо учиться у них, как отстаивать свою независимость, — подняла Лидман глаза к портрету.

А вот какой разговор произошел у меня с академиком Артуром Лундквистом. По словам Лундквиста, он работает над историческим романом из эпохи борьбы Швеции за независимость.

— Как все исторические романы, написанные сегодня, он будет перекликаться с современностью? — спросил я.

— Да, там будут действовать партизаны, — был ответ.

— Эту тему подсказал вам... Вьетнам?

— Да, разумеется.

— И читатель это поймет?

— Я надеюсь.

Когда у той же Сарры Лидман зашел разговор о шведском нейтралитете во время войны, хозяйка дома призналась не без горечи:

— Мы стыдимся этого нейтралитета. Когда настоящие люди сражались со злом фашизма, мы сидели в стороне и ждали, чем это кончится.

Если бы Лидман продолжила свою гневную реплику и сказала: «По крайней мере сегодня мы должны вести себя иначе», в ее устах это прозвучало бы логично. Сама Лидман, да и многие другие ее коллеги-писатели нейтральной Швеции предпочитают сегодня иные берега и страны. У Лидман это была Южная Африка, у Пера Вестберга — Африка и Латинская Америка. Они не просто бывали в этих странах, они там жили, и эти страны оставили след в их книгах. У Лидман — два романа об Африке, у Вестберга — роман об Африке и Латинской Америке, у Эрика Лундквиста — книги очерков... Не очень похоже, чтобы шведов влекла в эти страны тоска по темпераментной экзотике юга. Что-то было в этом более осмысленное и значительное. То, что я слышал на этот счет в Швеции, исполнено подлинной тревоги за судьбы времени и поколения. «Если предположить, что есть шведский социализм, то уместен вопрос: в каких отношениях этот социализм находится со шведским нейтралитетом? — спрашивали мои собеседники и добавляли резонно: — Разве сегодня такое время, чтобы социализм избрал позицию наблюдателя?» Я не хочу сказать, что внимание ко всему, что горит, возникло у шведов из чувства протеста к бестрепетным шведским будням. Воз-

мужало само сознание человека. Он живет в обществе, разделенном на классы, и уже одним этим его симпатии и антипатии точно определены. Он — гражданин Вселенной и понимает, что в ответе за все, что творится на земле. В ответе — делом, а это значит кровью, жизнью. Вот это понимание насущных дел земли, как твоих собственных дел, было самым характерным в настроениях людей, с которыми я говорил в Швеции, в настроениях всех и, в частности, людей искусства.

Среди тех, кто пришел в тот день к Лидман, была скульптор Сири Деркерт. Предполагалось, что Деркерт будет днем, однако она запоздала — как я заметил, и хозяйка и гости ждали ее не без волнения. «Вот это работа Сири, — сказала мне Лидман, указав на распахнутую дверь балкона, за которой была видна высеченная из камня голова девушки. — Однако то, что она делает теперь, еще интереснее, — добавила хозяйка восхищенно. — Панно из цветного бетона!.. Панно!.. И потом фрески Сири в стокгольмском метро! Видели? Нет?.. Напрасно!» А я смотрел на скульптуру девушки, высеченную не без изящества, и старался представить себе Деркерт. Наверно, я принял девушку на балконе за автопортрет, так как сама Деркерт возникла в моем сознании чем-то похожей на эту свою скульптуру: этакая лань, юная и стремительная. И вот поздно вечером раздался звонок и я услышал голос Лидман: «Пришла наша мама!.. Наша мама пришла!» А вслед за этим я увидел маленькую женщину с лицом старой крестьянки (Деркéрт около восьмидесяти), которая, наверно, выглядела в этот вечер даже хуже, чем обычно, так как смертельно устала. На Деркерт был берет, из-под которого выглядывала челка седых волос, к плечу был подвешен на тонком ремешке, не очень умело пришитом, старый портфель. Деркерт вздохнула и как-то жалостливо приподняла усталые руки, дав снять с себя портфель и пальто, и повалилась на предусмотрительно подставленный стул, вымолвив со вздохом: «В моем возрасте и... бетон! Ох!» Попив чаю, Сири Деркерт оживилась, тем более что речь зашла о выступлениях французских и западногерманских студентов.

— В какой мере эти выступления способны поколебать существующий порядок? — спросила Деркерт и, взметнув маленький кулачишко, добавила: — Хорошо было бы, если бы поколебали!

А потом я поехал смотреть стокгольмскую станцию метро с фресками Сири Деркерт. То, что я увидел, глубоко взволновало меня. Самобытностью, застигающей врасплох, силой. В моем сознании, признаться, это даже не очень соотносилось со слабыми силами старой женщины: фрески были сделаны по бетону. Да, в этом уже было для художника сознание силы. Фрески писались по бетону, наиболее могучему из современных материалов, ставшему самой плотью нашего времени. Бетон был наложен на стены двумя слоями: нижний, круто замешанный на черном камне, верхний — без камня. Фрески писались по отвердевшему бетону. Писались, разумеется, не кистью, а железом — каждый удар — штрих. Железо рассекало первый слой бетона, вскрывая слой второй, зачерненный камнем. Все фрески были написаны этими штрихами, победно-четкими, как бы густо-сажевыми. Скупое и контрастное письмо. Да, в своем роде черно-белая графика на камне. Несмываемая, вечная. Тема фресок под стать материалу: «Марсельеза» и «Интернационал». Деркерт как бы пропела гимны. Пропела по-шведски. В ее рисунках, прерываемых нотными фразами, жила борющаяся Швеция. Борющаяся за свободу. Говорят, фрески Деркерт излишне лаконичны, а подчас и заумны. Может быть, однако общее впечатление сильное. Это одновременно труд и художника и борца за правду, больше того — революционера.

Для меня Деркерт и ее фрески в стокгольмском метро стали синонимом сегодняшней Швеции. Хочу вспомнить Стокгольм и вижу старую женщину, смертельно уставшую, с портфелем, подвешенным на тонком ремешке к плечу, и эти ее рисунки на стенах стокгольмского метро, рисунки железом по камню — что-то в этом твердом письме от почерка, которым пишет сегодня свои огненные письмена революция... Вот так и получилось, что встреча с Деркерт, художником и борцом, как бы предваряла для меня встречу в Стокгольме с Александрой Коллонтай, и я счел это для себя предзнаменованием добрым...

Моя первая деловая беседа состоялась в правлении Общества «Швеция — СССР».

Признаться, я почувствовал нечто родное, когда, открыв входную дверь, услышал окающий волжский говорок, а вслед за этим песню, тоже волжскую — в обществе крутили русский фильм.

Говорят, первое впечатление всегда верно. Верным оно оказалось и на этот раз. Забегая вперед, хочу сказать, что мои стокгольмские дни были и для меня столь счастливыми, потому что я постоянно чувствовал добрую руку наших друзей из общества. Что-то было в этом доме (пусть не обижаются на меня мои друзья) наивно-милое и сердечное. И их русский говор с характерным финско-шведским акцентом. И их церемонная почтительность в обращении друг к другу и, в особенности, к гостям. И их дежурный кофе, который распивался ежедневно в одиннадцать при непременном кворуме хозяев и гостей и закусывался чудесным кренделем. И их пунктуальность, которая почти всегда сопровождалась памяткой, врученной тебе как бы между прочим, однако означающей: «Разумеется, ты не забудешь, но на всякий случай спрячь в карман вот эту картонку...»

Тут я должен нарушить анонимный характер моего рассказа и назвать имя: Ирина Странд, или, как она просила называть себя, Ирина Львовна. По своему служебному положению: генеральный секретарь, а в отношениях со мной — просто добрый гений. Все беседы, которые у меня были в Стокгольме, организовывала она и памятками на твердом картоне снабжала меня тоже она. Впрочем, в том случае, если мой будущий собеседник говорил только по-шведски, Ирина Львовна вручала рулевое колесо кому-то из своих коллег (а в обществе ее место было в какой-то мере у рулевого колеса) и уезжала со мной.

— Вашим собеседником завтра будет Соня Брантинг, дочь Карла Ялмара Брантинга, в своем роде отца шведской социал-демократии, который немало сделал для Коллонтай, когда она оказалась в шведской тюрьме в четырнадцатом году. Как вы знаете, путь Брантинга был отнюдь не прямолинеен, но это уже другая тема.

Как потом я убедился, несколько слов, произнесенных Ириной Львовной, при первой же нашей встрече, были очень похожи на нее: Ирина Львовна была немногословна, обязательна и точна.

— Вот, что существенно, — продолжала Ирина Львовна, — Ялмар Брантинг умер в 1926 году, но остались его дети: Жорж и Соня. Они пошли дальше отца. Жорж был деятельным антифашистом, одним из инициаторов больших общественных начинаний, направленных против гитлеризма в 30-х годах. Вместе с Приттом,

он был организатором контрпроцесса над Димитровым, который был проведен в дни лейпцигского судилища в Лондоне. Сестра, Соня Брантинг, была единомышленницей брата во всем. Коллонтай была дружна с этой семьей. Для нее Жорж и Соня Брантинги были близки не только человечески. Она находила с ними общий язык по многим проблемам, которые волновали тогда Европу. Соне Брантинг семьдесят восемь лет, но она жизнелюбива и деятельна... В общем, дети пошли дальше отца, хотя отец в свое время был человеком определенно радикальным — кстати, об этом говорит его переписка с Лениным.

Я вспомнил, что читал письма Ленина Брантингу, когда писал о конгрессе социалистов в Копенгагене, однако теперь мне хотелось прочесть их вновь. Оригиналы их хранятся в Стокгольмском архиве рабочего движения.

И вот все три письма передо мной.

Первое письмо послано из Мюнхена в Стокгольм и помечено 19 апреля 1901 года.

Оно вызвано желанием Владимира Ильича и его товарищей по партии иметь более широкую информацию о борьбе финнов против деспотии царизма. Видно, информация о финских делах, которую получала редакция «Зари» и «Искры» через Россию, была недостаточной и Владимир Ильич хотел бы получать ее непосредственно из Финляндии.

«Особенно хорошо было бы для нас, конечно, если бы мы смогли найти постоянного финского сотрудника, который посылал бы нам, во-первых, ежемесячно заметки (4—8 тысяч знаков), а, во-вторых, время от времени и большие статьи и обзоры. Последние нужны нам для «Зари», а первые — для нелегальной русской газеты «Искра», редакция которой обратилась к нам с этой просьбой».

Сознаюсь, что меня интересовало это письмо в одном смысле: как оно характеризует отношения между большевиками и шведскими социал-демократами и в какой мере оно говорит о доверии? Просьба о корреспонденте могла быть обращена к товарищам по совместной борьбе, просьба эта была для той поры ответственной, однако вряд ли это письмо, если брать во внимание только это письмо, давало основание для ответа на вопрос, который нас интересовал.

Очевидно, следовало познакомиться с остальными письмами.

Второе письмо написано 23 или 24 апреля 1906 года и является приглашением Брантингу на Стокгольмский съезд РСДРП — как известно, четвертый объединительный съезд происходил с 23 апреля по 8 мая по новому стилю.

«Стокгольмский съезд социал-демократической рабочей партии России, — гласит письмо, — приветствует в Вашем лице, дорогой товарищ, шведскую братскую партию и приглашает Вас на заседания с совещательным голосом».

Под письмом подпись: «С социал-демократическим приветом от имени президиума Ф. Дан, Н. Ленин».

Приглашение на съезд даже с совещательным голосом, на съезд, который решал кардинальные вопросы движения (аграрный вопрос, оценка момента и классовых задач пролетариата, отношение к государственной думе, организационные вопросы) означало многое. В данном случае не следовало забывать, что на съезде погоду делали меньшевики — большинство было у них — состав съезда: 62 меньшевика и 46 большевиков. Следовательно, приглашение могло и не определять в полной мере отношения большевиков к Брантингу.

Наконец, третье письмо относится к осени 1907 года и, как это видно из письма Н. К. Крупской от 5 (18) октября, направлено с А. И. Ульяновой-Елизаровой, которая в это время находилась за границей. Адресат письма и дата не указаны. Однако этим адресатом мог быть только Брантинг, на имя которого в декабре 1905 года комиссия в составе Е. Д. Стасовой, И. П. Ладыжникова и Р. П. Абрамова, оставшаяся в Женеве после отъезда в Россию Ленина, переслала библиотеку и архив большевистской партии.

Письмо гласит:

«Подательница этого письма является нашим партийным товарищем... В особенности она имеет поручение разыскать в Стокгольме наши социал-демократические книги и документы и, в случае необходимости, переслать их дальше. Эти книги и т. д. находятся частью в подвале Стокгольмского народного дома (в деревянных ящиках),

частью, быть может, у товарищей Бёрьессена или Бьёрка.

Надеюсь, что с Вашей помощью подательница этого письма окажется в состоянии выполнить данное ей поручение, которое я считаю весьма важным.

С наилучшими пожеланиями *Н. Ленин*».

Если иметь в виду вопрос, поставленный вначале, то третье письмо было наиболее характерным. Как следует из этого письма, Брантинг был тем шведским социалистом, с которым у большевиков были важные контакты. Да это и естественно: речь идет о начале века. Реформизм шведских социал-демократов обозначился достаточно (собственно, они были с русскими меньшевиками), но Ленин и его сподвижники, очевидно больше в целях тактических, не отвергали контакта с Брантингом и его сподвижниками.

В том же самом Стокгольмском архиве рабочего движения, где хранятся письма Ленина, я видел письмо А. М. Коллонтай, адресованное Брантингу. Письмо написано, как и письма Владимира Ильича Брантингу, по-немецки. Оно не датировано (указано число — 13 апреля и нет года), однако судя по содержанию (приезд депутатов думы в Стокгольм), оно могло быть послано в 1913 году.

Вот это письмо:

«Уважаемый товарищ Брантинг,
обращаюсь к Вам со следующей просьбой: в течение ближайших недель в Стокгольм должны приехать несколько депутатов Думы. Вероятно, среди них будет находиться господин Маклаков (кадет).

Очень важно, чтобы г-н Маклаков получил прилагаемое письмо. Могу я просить Вас передать письмо ему?

Простите, что причиняю Вам беспокойство, но Вы ведь понимаете, дорогой товарищ, что это не личное дело.

С социалистическим приветом и глубоким уважением

Ал. Коллонтай.

13 апр.»

Таким образом, письмо Коллонтай также свидетельствует об известных контактах, которые существовали у русских социалистов с социал-демократами Швеции,

в том числе с Брантингом. Если иметь в виду русских коммунистов, то эти контакты ослабевали по мере приближения войны и обострения идейной борьбы вокруг главной проблемы: пролетарская революция и диктатура пролетариата. С невиданной до этого остротой и силой этот вопрос возник перед рабочим движением Швеции в ходе осенних событий памятного семнадцатого года, во многом явившихся результатом революции в России. Собственно, поведение Брантинга в эти дни ничего общего с поведением революционера не имело — во многом благодаря усилиям Брантинга и его единомышленников устои буржуазной Швеции остались незыблемыми. Линия поведения Брантинга была жестоко осуждена Лениным.

2

Итак, мне предстояло встретиться с Соней Брантинг. Случилось, что на одной из площадей Стокгольма я видел групповой памятник зачинателям шведского социализма. В центре группы — Брантинг. То ли он действительно был так росл, то ли авторы группы хотели возвысить его над всеми теми, кто были его сподвижниками, он выглядит в этой скульптурной группе богатырем. Казалось, дочь Брантинга должна была унаследовать эту могучесть. Признаться, я чуть-чуть растерялся, когда на другой день увидел перед собой маленькую женщину, которая, быстро приблизившись ко мне, протянула сухую и твердую руку.

— Как вы уже, наверно, знаете, отец принимал участие в судьбе г-жи Коллонтай еще накануне первой войны, — начала свой рассказ Соня Брантинг. — Она прибыла в Швецию и со свойственной ей энергией начала собирать молодежь, которой была ненавистна война. У Коллонтай были товарищи среди шведов. Она выступала на собраниях, писала в газетах. Сейчас трудно сказать, кто явился инициатором ареста Коллонтай в Швеции. Отец считал, что шведское правительство, отдавшее приказ об аресте Коллонтай, было тут не самостоятельно. Очевидно, имело место представление союзников. Может быть, русских дипломатов в Швеции. Так или иначе, Коллонтай оказалась в шведской тюрьме. Вначале она сидела в Стокгольме, потом ее перевели в старинную крепость Мальмё. Вопрос о Коллонтай был поднят в риксдаге. Мне было тогда уже 23 года, и я хо-

рошо помню, что позиция шведского премьера и его соратников по правительству возмущала отца. Шведские социалисты действовали тем настоятельнее, что была опасность выдачи Коллонтай русским. Кампания за освобождение русской революционерки велась широко; в ней участвовала общественность, пресса. Правительство вынуждено было уступить и выслать Коллонтай в Данию. Таким образом, в деле Коллонтай правительство потерпело поражение. Однако, чтобы как-то оправдать себя в глазах общественности, правительство обвинило Коллонтай во всех смертных грехах, заявив, что высылает русскую революционерку из пределов страны навечно. Так было и записано: «Навечно».

— Вы полагаете, что Коллонтай была заключена в шведскую тюрьму не без участия царских властей?

— Да, очевидно, — отвечает она.

— Так было не только с Коллонтай? — спрашиваю я.

Она поднимает на меня глаза — она хотела бы, чтобы я пояснил свой вопрос.

Я вспоминаю случай, о котором мне поведала французская писательница Натали Саррот. Случай из жизни самой Саррот, вернее ее близких. Как известно, Саррот по происхождению русская. Она попала во Францию в результате события, происшедшего с ее родным дядей. В 1907 году, по заданию революционной организации, дядя Саррот участвовал в ограблении банка в Фонарном переулке в Петрограде. Операция удалась, однако ценой немалой. Полиция учинила погоню за революционером, но ему удалось бежать в Швейцарию. Не оставляя надежды схватить революционера, полиция обратилась к средству, достаточно вероломному: в Швейцарию была послана телеграмма, якобы от имени человека, которому революционер был близок. В телеграмме назначалось свидание революционеру. Местом свидания был Стокгольм. Когда русский прибыл в Швецию, он был тут же арестован. Царские власти предъявили ультиматум: выдать революционера. Это требование мотивировалось тем, что речь идет о человеке, совершившем преступление уголовное — ограбление банка. Выманив революционера в Стокгольм, а затем предъявив ультиматум, царские власти рассчитывали на успех — влияние, которым они не располагали в Швейцарии, в Швеции они имели. Если бы эта операция царским властям удалась, русскому не избежать веревки. Тогда на ноги была по-

ставлена вся Европа — в кампанию за спасение русского включились Франс, Жорес, Верхарн и многие другие. Шведские власти поставили себя между Сциллой и Харибдой. Они приняли то же решение, к которому обратились позже, когда узником оказалась Коллонтай: они выслали русского за пределы Швеции. Однако эта история, закончившаяся, казалось, победой русского, имела для него конец трагический: когда корабль, на котором он покинул Швецию, прибыл во французский порт, революционера нашли в каюте мертвым.

Я рассказал эту историю Соне Брантинг, не упомянув имени революционера. Я сделал это не умышленно. Моя собеседница слушала меня, утвердительно кивая головой: «Да, да...» Когда я кончил, она, встрепенувшись, спросила:

— Вы рассказали о Черняке?

Признаться, я был удивлен немало: история, о которой я поведал, была для нашего современника малоизвестной.

— Я помню эту историю, — сказала Брантинг. — Мне о ней рассказывал отец. Кстати, Черняк был не убит, а отравлен газом. Да, в своей каюте отравлен газом...

Мне казалось, что реплика Брантинг дает мне возможность спросить ее о том, что интересовало меня в связи с этой историей.

— И зависимость шведской полиции от русской была такой же, как в деле с Коллонтай? — спросил я.

— Да, по всей видимости, — ответила Брантинг.

Ирина Львовна права — возраст никак не сказался на остроте реакции, да, пожалуй, и памяти Сони Брантинг — вон с какой точностью она вспомнила историю с Черняком, историю, которая немногим младше Брантинг. Глаза у нее необыкновенные, неуловимые по самой своей окраске, неожиданно-пристальные, выражающие и лукавинку (это выражение наиболее характерно для нее) и радость, безудержно-детскую. Собственно, острота ее реакции — в ее глазах, да, пожалуй, в речи — ей легче говорить по-французски. Она говорит с той легкостью и быстротой импровизации фразы, с какой умели говорить на этом языке в прошлом веке и за пределами Франции. «Я учила французский в стокгольмском лицее — там умели преподавать французский... На каком языке мы говорили с Коллонтай? — она задумывается,

кажется, впервые ее память сработала не так быстро. — По-моему, на французском, большей частью на французском...»

Она встает, громко стучит каблуками.

— Наверно, такой второй случай трудно найти в истории: человек, высланный «навечно», вернулся в Швецию послом великой державы, — продолжает Соня Брантинг, усаживаясь в кресле, которое она только что покинула. — Мне кажется, что Коллонтай помнила, какое участие отец принимал в ее судьбе, и отдавала всему этому должное. Но наши отношения с Коллонтай, мои и брата, развивались уже после смерти отца. Отец умер в 1926 году, а Коллонтай прибыла в Швецию в тридцатом. В течение почти пятнадцати лет я имела возможность близко наблюдать Коллонтай. Довольно часто я бывала у нее в посольской квартире на Виллагатан. Нередко и она нас навещала в отцовском доме на Нортуллагатан, так же как в нашем деревенском доме в Вальстаннес, в тридцати пяти километрах от Стокгольма.

Должна прямо сказать, что работа Коллонтай в Швеции была трудной, я бы сказала, даже чрезвычайно трудной. Те пятнадцать лет, которые Коллонтай пробыла в Швеции в качестве посла Советской страны, были годами сложными: война с Финляндией, советско-германский пакт, вторая мировая война, и в этой связи новая война с Финляндией — все эти и многие другие события поставили перед Коллонтай такие проблемы, какие даже для нашего нелегкого времени были проблемами трудными. Хотя мы и живем в середине XX века, но инерция предрассудков сейчас не менее велика, чем во времена прежние.

И в Швеции Коллонтай должна была преодолеть своеобразную стену этих предрассудков. Коллонтай представляла мир социализма, и одно это немало осложняло ее положение. К тому же она была послом-женщиной, что и для Швеции было беспрецедентным. Я считаю, — и не потому что Коллонтай была моим другом, — она выполнила свою миссию с редким талантом. Конечно, она была умна и по-настоящему интеллигентна. Она говорила и писала на всех европейских языках, а за годы работы в Скандинавии познала норвежский и шведский. В отличие от тех послов, которые, прожив в стране много лет, так и уезжали из нее, не освоив языка страны, она в Норвегии говорила по-норвежски, в Швеции — по-шведски.

Для чтения шведской прессы ей не нужны были референты-переводчики, она выступала перед шведами на их родном языке. Ее письма шведским корреспондентам нередко были написаны по-шведски. Между нею и народом страны, в которой она была аккредитована, не было таким образом ни языкового, ни какого-либо иного барьера. Ее собеседником мог быть рабочий и король: она была достаточно уверенна в обращении с ними.

Здесь мне хотелось бы отметить одно качество моего друга — храбрость. Да, она была человеком безбоязненным. На всю жизнь мне запомнился прием в большом зале Гранд-отеля весной 1945 года, незадолго до великой победы русских, в канун отъезда Коллонтай из Швеции на Родину. Она была уже очень больна: паралич сковал ее, — не двигалась левая рука, да и движения правой руки, как мне казалось, были затруднены. Но все это можно было заметить в ней вчера, но не сегодня, на этом приеме, где торжествовала великая радость победы, перед лицом почти двухсот человек. Она сидела в своем кресле, точно освещенная светом этой радости.

Она никак не обнаруживала, что больна. Она не хотела, да и не могла этого обнаружить. Не могла допустить, чтобы ее жалели. В этом своем жизнелюбии, я так хочу думать, в этой храбрости своей, она открыто и щедро приветствовала друзей Советской страны, вместе с нами радовалась победе.

На другой день я был в гостях у Сони Брантинг в отцовском доме на Нортуллагатан, 3. Наверное, это одна из самых колоритных улиц Стокгольма. Через дорогу от дома Брантингов — Стокгольмский университет, а рядом с ним зеленый холм с башней старой стокгольмской обсерватории. Эта башня хорошо видна из квартиры Брантингов, находящейся на четвертом или пятом этаже большого дома, и является как бы зримым напоминанием о Ялмаре Брантинге.

— Как вы, наверное, знаете, отец хотел быть астрономом и всю юность провел вот на этой башне, — говорит Соня Брантинг, подходя к окну. — Впрочем, увлечение астрономией осталось у него на всю жизнь. Изменив профессии, он остался верен призванию и целые ночи проводил на этой вышке. Нет, это увлечение нельзя было назвать любительским — его интерес к астрономии был интересом знатока. Темы, которые он пытался решать

в астрономии, были подсказаны настоящим знанием предмета.

Соня Брантинг нет-нет, да и поднимет глаза, чтобы взглянуть на башню: слишком много говорит эта башня на зеленом холме ее сердцу.

Потом Брантинг встает, и я слышу, как стучат ее каблуки уже из соседней комнаты. Видно, это ее комната: со скрупулезностью, как мне видится, стариковской, туда собрано множество вещей, больше, чем комната может вместить. А между тем хозяйка возвращается, и на столе возникает стопка фотографий — мы узнаем русских друзей Брантингов. Портрет Марии Федоровны Андреевой, по-моему, редкий, относящийся к тем годам, когда она жила в Финляндии. Портрет Александры Михайловны с ее автографом. Групповые фотографии друзей Брантингов, Жоржа и Сони в их деревенском доме в Вальстаннес.

Когда Соня Брантинг умолкает, я могу обозреть комнату, в которой мы сидим. Наш столик расположен под торшером, сделанным в виде уличного фонаря. Такими эти фонари с помещенными внутри керосиновыми лампами были в прошлом веке. Вечером под этим фонарем, наверно, очень уютно — он должен располагать к беседе сокровенной.

— Скажите, Коллонтай бывала здесь?

— Да, много раз. И не только здесь...

Она ведет меня в соседнюю комнату — нет, это не просто комната, это зала, с портретами в золотых багетах.

— Портреты маминых родных... вот тот в эполетах был генерал-губернатором Стокгольма, — проводит она небрежной рукой. — Отец не любил ни портретов, ни тех, кто на них изображен, и велел отдать портреты родственникам...

— Простите, а дом... ваш?

Мне кажется, что она на секунду запоздала с ответом:

— Да, наш.

— Дом построен в начале века? Я сужу об этом по лифту — он очень старомоден...

Она улыбается.

— Нет, лифт... недавно, года с четырнадцатого. Дом много старше лифта.

Она замечает, что я все еще смотрю на портрет человека в эполетах.

— Я вернула этот портрет недавно...

Наверно, у Брантинга было основание убрать портрет человека в эполетах из своей квартиры — ведь под крышей этого дома в свое время собиралась молодая Швеция, жаждущая перемен. И не только интеллигенты, но и рабочие: на монументе, что стоит посреди Стокгольма, я видел рядом с Брантингом портного... Молодая Швеция была в ту пору революционной.

Быть может, и Мария Ульянова была принята Брантингом здесь — ведь письма Ленина, те, что я видел в стокгольмском архиве, могли храниться и в этом доме.

Мы возвращаемся к столику, что стоит под громоздкой коробкой уличного фонаря, и Соня Брантинг уходит в свой теремок, чтобы вернуться с массивной книгой, которую она едва охватывает.

— Вот тут о нем все сказано...

Я раскрываю книгу: своеобразная дань шведской социал-демократии своему прародителю — книга о Брантинге. Да, монография, иллюстрированная с почти расточительной щедростью, — благодарное чадо воздает хвалу своему предтече, нет, не только за диво рождения, но и за еще большее диво спасения.

— У нас его зовут реформистом, — произносит она и испытующе смотрит на меня.

Приходит Яков Брантинг, сын Жоржа Брантинга, журналист и поэт. Высокий, светлолицый, с маленькой золотисто-рыжей бородкой, он держится с благородной простотой и скромностью.

— Нет, публикацию шведских стихов в России надо начинать не с меня, — говорит он смущаясь. — У нас много поэтов, которые больше меня достойны этого...

Мне стоит труда убедить его прислать стихи. Он уходит, и я замечаю, что разговор с ним заметно взволновал хозяйку дома:

— Он очень похож на деда и характером — у того тоже была эта добрая строгость... — говорит она.

Она вспоминает брата.

— Он был человеком, свободным от предрассудков, непримиримым к всяческому злу. Может, поэтому он с такой энергией и воодушевлением атаковал фашизм. У брата с сестрой часто общая вера. Для нас этой верой была ненависть к фашизму... Собственно, это и сделало нас друзьями Коллонтай.

Я знаю: Соня Брантинг нашла формулу дружбы мо-

лодых Брантингов с Коллонтай — антифашизм, деятельный и непримиримый, сделал ее с братом друзьями Коллонтай.

— Когда я гостила у госпожи Коллонтай в Москве...

— Вы были у нее в Москве?

— Да, я жила у нее на Большой Калужской, в сорок восьмом. Мы вспоминали Швецию, и она однажды сказала: «Стать другом — это найти язык сердца. Нет ничего дороже, как найти язык сердца».

— С Коллонтай вы нашли этот язык?

— Да, так мне кажется.

Прежде чем покинуть Нортуллагатан, я перешел улицу и поднялся на холм, где стоит зеленая вышка стокгольмской обсерватории, той самой, под сенью которой родился шведский социализм. С зеленого холма пятиэтажный дом Брантингов казался меньше обычного. Я смотрел на этот дом и мысленно отыскивал окна квартиры, в которой я только что был. Я думал о трех поколениях семьи Брантингов, у каждого из которых был свой путь, нелегкий. Разговор с Соней Брантинг обнаружил это достаточно. Она хотела быть дочерью своего отца, наверно, по-своему гордилась этим, гордилась в такой мере, что критику в его адрес относила и в адрес свой, хотя и понимала многое из того, что отец, так мне думается, понять не мог...

3

Когда на другое утро я встретился с Ириной Львовной, имя моего следующего собеседника было уже известно.

— Я только что говорила со Стефаном Далем, в своем роде главным славистом Королевской библиотеки. Я сказала господину Далю о вашем желании видеть его, он готов быть у вас в гостинице через час.

Действительно, через час Стефан Даль был у меня. Сухощавый, чуть-чуть сутуловатый, стремительный в движениях и речи, кстати, речи русской, он внимательно выслушал меня, изъявив готовность оказать мне содействие в моих поисках.

— Я жду вас в Королевской библиотеке в понедельник. Все, чем библиотека располагает, — в вашем распоряжении, — откланялся он, склонив голову, при этом я ощутил жестковатое рукопожатие его руки, и удалился.

Когда в понедельник я позвонил ему, мне послыша-

лись в его голосе нотки, которых я не обнаружил прежде, — Даль волновался.

— Кажется, что-то... проклюнулось стоящее, — произнес он, — как условились, я жду вас в библиотеке.

Я взял такси и устремился в библиотеку. Даль встретил меня у входа.

— Прошу вас — мы пройдем сейчас в мой кабинет — там все приготовлено.

Я последовал за Стефаном Далем. В том, как он шел по коридору, приподняв плечи, как он подошел к двери и, открыв ее, отступил, наклонив голову, — было нечто протокольное — какой-то стежкой, для меня неведомой, эта манера держать себя и говорить пришла в сегодняшний день из того века и, как я заметил в Стокгольме, стала достоянием не только Стефана Даля.

Между тем Даль усадил меня за свободный стол и с той же радостной церемонностью, с какой сделал все остальное, положил на стол папку, на вид достаточно объемистую.

— Вот то, чем я хотел обрадовать вас, — сказал он, и я почувствовал, что ему доставляет истинное удовольствие произнести эти несколько слов. — Здесь письма госпожи Коллонтай. Сто писем. Они адресованы Элен Микельсен. Это имя вы можете и не знать. Микельсен — писательница, автор повести, посвященной жизни шведов, живущих в провинции Сконе. Ее наставницей и, может быть, руководительницей была другая наша писательница, Элен Кей.

— Чему же посвящены сто писем Коллонтай Микельсен? — спросил Даль, как мне показалось, он успел просмотреть письма и составил общее представление об их содержании. — Вот первое письмо Коллонтай — оно помечено двадцать шестым годом. Собственно, в этом письме своеобразная проекция всего того, что Коллонтай писала Микельсен позже. Однако о чем идет речь в этом письме? Коллонтай пишет, что ей понравилась мысль Микельсен написать книгу о женщинах русской революции, и обещает всячески помочь Микельсен, если она пожелает эту свою идею претворить в жизнь. Разумеется, она называет имена русских женщин, которые, по ее мнению, являются женщинами русской революции. Это Надежда Крупская, Клавдия Николаева, Елена Стасова. Поддержка Коллонтай воодушевила Микельсен. Она взялась за работу. Книга была написана и вышла в свет. Но друж-

ба, которой положила начало эта книга, продолжалась. Может быть, об этом лучше всего скажет сама переписка.

Меня необыкновенно воодушевила перспектива познакомиться с этими письмами Коллонтай. Заманчивым было то, что все сто писем были адресованы одному лицу, обнимали почти пятнадцать лет и относились к поре, в высшей степени значительной.

— Простите, господин Даль, но мне мало прочесть эти письма, мне надо их иметь.

— Оригиналы — собственность Королевской библиотеки в Стокгольме и завещаны госпожой Микельсен библиотеке, — заявил Стефан Даль все с той же торжественной твердостью.

— А копии? — спросил я. — Точные копии, может быть, фотокопии?

Даль выдержал паузу.

— Ну что ж, я готов оказать содействие, чтобы фотокопии писем Микельсен, всех ста писем, были вами получены. — Стефан Даль вновь умолк и значительно добавил: — Однако я смогу выполнить это свое обещание при одном условии.

— Каком, господин Даль? — спросил я, сознавая, что сам мой тон должен был дать понять господину Далю, что я готов на любое его условие.

— Если возникнет вопрос о публикации писем, вы должны указать, что оригиналы их хранятся в Королевской библиотеке в Стокгольме.

Стоило ли говорить, что неделю спустя обязательный Стефан Даль прислал мне микрофильм, на котором были воспроизведены письма Александры Коллонтай Элен Микельсен.

Очевидно, мне надо было поблагодарить более чем щедрого Стефана Даля и откланяться, но у меня оставался невыясненным один вопрос:

— Быть может, Королевской библиотеке известно... нечто изданное о Коллонтай?.. — спросил я Стефана Даля, поднимаясь из-за стола. — Я имею в виду: изданное в Швеции?

— Известно, — сказал Даль с той определенностью, какая не оставляла сомнений, что такая книга ему известна.

— Что именно, господин Даль?

— Книга Густава Юхансона «Посол революции».

— Юхансона?

— Нет, не совсем так. На титуле этой книги стоит иное имя, но я... библиотекарь, и настоящее имя автора, как вы понимаете, должно быть мне известно.

Я поблагодарил Стефана Даля и покинул библиотеку.

4

Вечером следующего дня я отправился к автору книги «Посол революции». На куске твердого картона, который, как обычно, хранил адрес моего будущего собеседника, рядом с именем Густава Юхансона значилось имя его жены Евы Пальмэр. Очевидно, это была не просто протокольная вежливость. Юхансон — видный публицист и многолетний редактор коммунистической газеты. Пальмэр — общественная деятельница, вице-президент ассоциации «Швеция — СССР».

Меня встретил хозяин, у которого все было приятно округлым — и лицо, и плечи, и улыбка. Он сделал движение рукой, которое показалось мне тоже чуть-чуть кругловатым, и представил жене. Если верно, что красивый человек всегда остается красивым, это следует сказать о Еве Пальмэр. Годы не спешили отнять у нее то, что дано было ей от природы.

— Теперь уже можно признаться. Книгу «Посол революции» написал я, — произносит Юхансон, смеясь. Он идет в соседнюю комнату и возвращается с экземпляром книги. — Однако должен вас разочаровать: книга заканчивается годами революции, а вас интересует тема — Коллонтай-дипломат. Ей посвящено в книге только название: «Посол революции».

— Простите, но вы — автор книги о Коллонтай?

— Да.

— И вы знали ее лично?

— Разумеется.

— В Швеции... на посту советского посла?

— Да.

— А почему вы решили написать о ней книгу? Вы... именно? Потому, что она представляла Советский Союз и к тому же была послом-женщиной? Так?

Я хотел встревожить память моего собеседника, а заодно заставить его обратиться к доводам, которые не лежат на поверхности.

— Нет, не только поэтому, — горячо возразил Юхансон, и я понял, что, кажется, рассчитал верно, — главным

для меня было то, что она представляла здесь Советскую страну. Я — коммунист, и это мое желание естественно. Имело ли значение, что она к тому же была женщиной? Возможно. Однако это могло и увлечь и насторожить. Увлечь потому, что придавало теме и колорит и своеобразие. Насторожить, потому что отчасти по этой причине у нас о Коллонтай писали много. Правда, писали под одним знаком: старались ее изобразить дамой света. Как она была одета на последнем приеме. Когда прибыла на прием и когда отбыла. С кем говорила. Если удавалось проникнуть в смысл беседы — о чем шла речь. Короче: пресса старалась вписать Коллонтай в картину светского Стокгольма. Быть может, все это было и колоритно, но такого автора, как я, увлечь не могло. Тогда что увлекло меня? Меня увлекло дело!.. Все, что сделала Коллонтай на посту советского посла в Швеции! Ее вклад, на мой взгляд, неоценимый, чтобы между нашими странами было взаимопонимание. Дело — вот главное!.. И то, что это совершил советский посол, и то, что это сделала женщина!.. Однако главное — дело!

Вы же знаете, что в жизни посла есть события, которые с наибольшей полнотой отразили его умение и опыт, — продолжал Юхансон. — У Коллонтай таких событий было два: первый договор с Финляндией, второй договор с Финляндией. Да, март сорокового и сентябрь сорок четвертого годов. Именно через Коллонтай велись переговоры с финнами. Ее престиж, ее умение во многом способствовали, чтобы переговоры завершились миром. Я сказал престиж и в этой связи должен вновь подчеркнуть: Коллонтай не только успела завоевать авторитет у шведов и в течение пятнадцати лет пребывания на посту посла СССР его умножить, она, как мне кажется, показала пример того, как можно этот авторитет обратить на пользу своего народа...

— Вы говорили о своей книге с Коллонтай?

— Да, конечно, и даже... воспользовался некоторыми документами из ее личного архива. Мы полагали, что книгу надо ограничить предреволюционной деятельностью Коллонтай. Для всего последующего тогда не настало время. Но и то, что было сказано, вызвало резонанс значительный, особенно в Скандинавии...

— Книга вышла в Скандинавских странах?

— Да, в Финляндии, Норвегии, Дании тоже...

Юхансон, кажется, подвел меня к тому, чтобы я

задал ему вопрос, ради которого я пришел в этот дом.

— А вот, если бы вам пришлось продолжить свою книгу...

Мой собеседник приумолк — его круглые плечи настороженно приподнялись.

— Так... так.

— Если бы вам пришлось продолжить книгу, вы бы поставили вопрос именно так, как только что сказали мне: дело — вот главное?..

— Да, несомненно... постарался бы рассказать о том, что удалось ей сделать в эти пятнадцать лет в Швеции...

— И чем бы вы объяснили ее успех?

Круглая грудь моего собеседника исторгла вздох, как мне кажется, облегченный: он понял, ради чего я громоздил свои вопросы.

— У нее были и ум, и страсть, которая так необходима человеку, чтобы энергия его не остывала, в любом возрасте — не остывала, и обаяние, без которого, наверно, нет посла... Короче: она умела располагать к себе людей и делать их друзьями, своими друзьями, а следовательно, своей страны... Но это, пожалуй, лучше меня объяснит Ева, — взглянул он на жену, которая, не оставляя обязанностей предупредительной хозяйки, с почтительным вниманием следила за беседой.

— Когда Коллонтай начинала, не многие отваживались идти в советское посольство, — осторожно включилась в беседу наша хозяйка. — Понятие «советский» вызывало смятение, больше того — страх. Поэтому нужен был такой человек, как Коллонтай, чтобы завязать первый узелок отношений. В посольство могли и не пойти, а к Коллонтай шли. Но и к ней шли только самые смелые. Группа стокгольмских интеллигентов, которые собирались у Коллонтай, была известна в городе под именем «кружка Коллонтай». Люди разные, хотя в своем роде и единомышленники. Что вело их к Коллонтай? Очевидно, симпатии к СССР, но в не меньшей степени — антифашизм. Да, это было время, когда фашизм набирал силы, и поэтому симпатии к Советской стране носили воинственно антифашистский характер. Я это знаю потому, что кружок Коллонтай посещал мой отец. Он был профессором химии, и там были некоторые его коллеги, все воинственные антифашисты. Люди непреклонные в своих симпатиях и антипатиях. Процесс Димитрова. Война в Испании. Мюнхен. Их ненависть к фашизму нередко вы-

ражалась не столько в речах, сколько в смехе. Нередко в этом кружке появлялся Карл Герхард — талантливый актер-сатирик, в памфлетах которого был один враг — фашизм. Песенка о троянском коне, посвященная немцам, поселившимся в Швеции и готовым взорвать ее изнутри, была одной из самых популярных песен в ту пору. Он и его друзья, настроенные так же непримиримо к немцам, были постоянными гостями на приемах Коллонтай. Кружок Коллонтай стал ядром Общества «Швеция — СССР», деятельность которого отразила новую фазу отношений шведов к Советской стране, все то, что было вызвано советской победой над фашизмом... Да и приемы в советском посольстве обрели иные масштабы — посольская квартира Коллонтай стала явно мала для таких приемов. Тот же Герхард как-то сказал: «Пригласили двести гостей, а пришло пятьсот!» Однако хозяйка, казалось, была рада всем пятистам — и тем, кого пригласили, и тем, кто пришел сам.

— Надо было видеть, с каким искусством она вела себя на таком приеме, — подхватывает Юхансон. — Она была мастером короткой беседы, мгновенно сымпровизированной, полной ума и юмора. Я часто думал, как в ее сознании складываются десятки и десятки бесед, которые она успевала провести в течение такого приема. Ведь эти беседы ею осмысливались и, очевидно, приводились к общему знаменателю и помогали понять, что происходит в мире, что происходит в Швеции... В общем, она была хозяйкой большого дома, дома открытого...

Я смотрю на стену прямо перед нами. Ее занимает полотно, писанное маслом. На полотне — праздничный стол, кажется, в доме моих хозяев, и за столом множество гостей. Да, это семейный праздник. В центре стола, надо думать, Юхансон — да, судя по круглой улыбке, он, Густав, счастлив, как счастлива и Ева — она сидит тут же. Художник подсмотрел мгновенье, заповедное в жизни семьи, заповедное для Юхансонов и характерное. Праздничный стол, наверно, дает лишь приблизительное представление о круге друзей этого дома. Не зря же Юхансон сказал о Коллонтай: «Она была хозяйкой большого дома, дома открытого». Ему явно импонировали эти слова: «Дома открытого!» Видно, у Юхансонов много друзей, их дом — доброе прибежище веселого и дружного народа. Впрочем, чтобы понять это, не надо обращаться к картинам, висящим на стене. Характер наших хозяев,

их желание прийти тебе на помощь свидетельствуют об этом определеннее.

Будто угадав мою мысль, хозяйка спрашивает мужа:

— Погоди, Густав, кто может знать Коллонтай еще? Кто?

Неожиданная мысль осеняет ее:

— Дочь Стриндберга! Да, нашего писателя Августа Стриндберга! Он умер давно, но жива дочь. Она была замужем за русским. Они жили в Финляндии и там, кажется, знали семью Коллонтай.

Она устремляется к телефону и вдруг останавливается.

— Господи, так ведь ей уже много лет! Сколько ей может быть лет, Густав? Девяносто? Девяносто пять? Помнит ли она все это? Нет, я ей все-таки позвоню! — Ева продолжает путь к телефону. Звонит. Через несколько минут возвращается. — Оказывается, ей всего восемьдесят семь. Коллонтай знал ее муж. Муж — не она. Ах, жаль, что уже нет бургомистра Линдхагена — он был добрым другом Коллонтай и другом старым. И Ады Нильсон нет. Ада могла бы быть вам очень полезной. Вот еще кто знает Коллонтай — профессор Нанна Сварц. Она лечила Коллонтай. Мы сделаем все, чтобы ее разыскали.

Мы проходим в следующую комнату. На стене — портрет. Человек преклонных лет. Умное, доброе и красивое лицо.

— Кто это? — спрашиваю я у хозяйки.

— Отец... Да, я говорила вам о нем... Кружок Коллонтай — это он.

Я поднимаю глаза на портрет отца Евы. Наверно, она пошла в Общество «СССР — Швеция» и стала его вице-президентом не только потому, что была дочерью своего отца, но, быть может, немножко и поэтому.

5

Вот новая встреча с Ириной Львовной. Она уже знает о моей последней беседе в семье Юхансонов. И разговор о Линдхагене, бургомистре Стокгольма, его жене, его сестре, с которыми Коллонтай была связана едва ли не тридцать пять лет, известен Ирине Львовне. Где-то в Стокгольме должны храниться письма, адресованные этой семье. Много писем, некоторые из них помечены ед-

ва ли не пятнадцатым годом. Последнее — сорок третьим. По мере того как я продолжаю свои поиски, у меня накапливаются все новые и новые сведения об этой семье. Видный шведский социалист левого толка. На той знаменитой фотографии, где возвращающийся в Россию Ленин шагает вместе с группой шведских друзей, Линдхаген — рядом с Лениным. Да, вот этот рослый, в коротком пальто и модной шляпе, которую он надел с некоторой франтоватостью, слегка набекрень.

Мне сказали: социалист левого толка. Да, Линдхаген был одним из тех, кого решительно не устроила программа шведских социал-демократов. Он говорил об этом. Его авторитет многолетнего бургомистра Стокгольма был столь велик, что он продолжал оставаться на этом посту и после того, как стал коммунистом.

Сестра Карла — Анна Линдхаген была ему верным помощником. По ее почину, в частности, Стокгольм был окружен сетью маленьких дач-садов, построенных для трудящихся. Жена Карла — Ирина Линдхаген была известной деятельницей организации молодых работниц Швеции. Таким образом, семья Линдхагенов была одной из тех шведских семей, которые посвятили себя служению общественным идеалам. В высшей степени показательно, что Коллонтай обратила внимание именно на эту семью и на многие десятилетия подружилась с нею.

Итак, писем Коллонтай в архиве истории рабочего движения Швеции не оказалось. Мне сказали, что, прежде чем я прекращу свои поиски, мне необходимо попытать счастья еще в нескольких местах. Одно из них: городской архив Стокгольма. И вот я прошел в дальний конец Кунгстгатан, пересек один за другим три моста, поднялся улицей, идущей в гору, и очутился перед скульптурой девушки, исполненной в манере, достаточно свободной. Скажу прямо: не часто вход в хранилище старых манускриптов украшался столь легкомысленным символом. Однако я преодолел и это препятствие, вступив в пределы самого хранилища. Оно было построено с той легкостью и изяществом, с каким сегодня в Швеции строятся даже здания архивов. Хозяевами почтенного учреждения, в которое я вступил, были молодые архивариусы. Двадцатилетний архивариус — это звучит почти кощунственно, но в данном случае дело обстояло именно так — передо мною были молодые архивариусы. Я сказал,

что приехал из Москвы и хотел бы видеть архив Линдхагена.

— К нам... прямо из Москвы? — спросили архивариусы, и это сообщило им такую энергию, что через полчаса архив Линдхагена был у меня на столе.

Я решил начать с папки, в которой была собрана корреспонденция Линдхагена, полученная им в связи с восьмидесятилетием, — мне казалось, что авторы нескольких сот корреспонденций, поставленные перед необходимостью приветствовать восьмидесятилетнего юбиляра, дадут мне о нем такое количество сведений, какое я не почерпну нигде.

Однако то, что я увидел, превзошло мои ожидания.

Представьте себе сотни писем и телеграмм, приветственных открыток и визитных карточек, дружеских шаржей и альбомов, присланных людьми разных положений и возрастов — от сверстников Линдхагена до детей, едва научившихся выводить буквы.

Письма из Стокгольма, из разных мест Швеции, из разных мест Скандинавии и, пожалуй, Европы. Я почувствовал необыкновенную популярность этого человека, посвятившего свою жизнь благоустройству и всяческому преуспеянию Стокгольма.

Как ни объемиста была эта папка, я отыскал в ней и письмо Коллонтай. Письмо старого друга, исполненное ума и сердечности. Конечно же, она не могла не поздравить доброго товарища, с которым впервые повстречалась и подружилась едва ли не в начале века. В начале века? Да, по моим расчетам, в году десятом. Так, где же письма Коллонтай, которые поместились между десятым годом и датой 80-летия Линдхагена?

Я вскрываю одну за другой еще несколько папок — писем нет. Наверно, на моем лице обозначилось уныние — к столу начинают собираться молодые архивариусы. Возникает своеобразный совет. То, что они мне сказали вначале, встревожило меня немало. Оказывается, в архиве сейчас самая страдная пора: Стокгольм разъезжается на каникулы. Стокгольм, а значит многие из ученых, которые работают в архиве. У молодых архивариусов перед учеными свои обязательства. В общем, архиву трудно. Однако эта отнюдь не оптимистическая тирада была увенчана фразой, для меня обнадеживающей: «Но ведь вы приехали специально из Москвы!» Это решило все. Было условлено, что в ближайший вторник я вновь

побываю в архиве. Все, что можно найти, будет найдено и предоставлено в мое распоряжение.

И вот вторник. Иду по Кунгстгатан, перехожу один за другим три моста и устремляюсь в гору, туда, где стоит правильный квадрат городского архива. Я снова за столом, который обжил накануне. К папкам, которые добыл я тогда, прибавились новые.

— Кажется, нам удалось найти письма, о которых вы просили, — говорит молодой архивариус, указывая глазами на папку, лежащую в центре стола. — Сочетание таких имен, как Коллонтай и Линдхаген, для нас столь значительно... впрочем, все, что мы обнаружили, может быть, и не имеет такой ценности для вас?

Невольно я спрашиваю себя: действительно, какую ценность может иметь для меня эта переписка? Что я жду от нее?

Для меня ценность этой переписки в единственном: как строила Коллонтай свои отношения с семьей Линдхагенов, как она поддерживала эти отношения, как развивала?

Кстати, может быть, есть возможность проследить за перепиской с истоков?

Я открываю папку и невольно ловлю себя на том, что делаю это с той робкой неторопливостью, какая вдруг появляется в тебе, когда перед тобой нечто ценное. Обращаю внимание на характерную печатку Александры Михайловны, поставленную в левом углу каждой страницы, — ромб и вписанные в него инициалы, а также уже знакомую мне по прежним письмам роспись.

Если судить по письмам, то первая встреча Коллонтай с Карлом Линдхагеном произошла в 1910 году в Копенгагене в дни конгресса II Интернационала, а может быть, в Мальмё, где Александра Михайловна выступала в те дни с речью. Два первых письма Александры Михайловны Линдхагену написаны в течение года, прошедшего после конгресса. Первое послано из Вены и имеет дату: 12 октября 1910 года. Вот это письмо:

«Уважаемый товарищ Линдхаген!

Примите сердечную благодарность за любезную присылку текста закона. Эти материалы имеют большую ценность для нас, особенно потому, что социал-демократическая фракция Думы в настоящее время разрабатывает законы об охране рабочих.

Я всегда с большим удовольствием вспоминаю наше совместное пребывание в Мальмё. Если Вы встретите товарища Брантинга, передайте ему, пожалуйста, горячий привет. Мой постоянный адрес остается прежним: Хубертус-аллее, 16, Груневальд, Берлин. С сердечным партийным приветом

Александра Коллонтай».

Второе письмо — без даты. К счастью, это не письмо, а открытка, и почтовые штемпели могут сообщить дату отправления и получения: отправлено 26 июня 1911 года, получено 28 июня.

«Уважаемый товарищ Линдхаген!

С Вашей стороны действительно было очень любезно прислать обещанные материалы для русского проекта законов. Спешу выразить Вам мою признательную и самую сердечную благодарность. Эти материалы содержат много ценного для нас и существенно облегчат мне работу.

С большим интересом я также прочла Вашу статью, написанную так ясно, талантливо и популярно.

Надеюсь увидеться с Вами еще и шлю Вам партийный привет и глубокую благодарность за присланное.

Александра Коллонтай».

Третье письмо помечено 1914 годом (дата поставлена не рукой Коллонтай и взята в скобки, очевидно, письмо датировано адресатом). Коллонтай обращается с просьбой к фру Линдхаген. Сама просьба характерна: из круга своих стокгольмских друзей, которых к тому времени было немало, Александра Михайловна выбрала именно семью Линдхаген, чтобы обратиться с этой просьбой. По-моему, это показывает, что в дни пребывания в Швеции (а это было в тот самый приезд Коллонтай в Швецию, когда она подверглась жестокой атаке правительства и прессы, была арестована и выслана из страны) Александра Михайловна сблизилась с семьей Линдхагенов и, очевидно, семья эта помогла ей немало — в письме есть указание на это.

«Глубокоуважаемая и дорогая товарищ Линдхаген!

Прежде всего хочу сердечно поблагодарить Вас и Вашего милого мужа за Вашу любезность и доброту. Вы не

можете себе представить, как мне было тяжело покидать Швецию! Мне было там так хорошо, и мне так пришлись по душе шведы, что я была готова задержаться там надолго. Что ж, этому желанию не суждено сбыться. Я также очень сожалею, что не видела Вас. Но у меня, правда, было много работы, и всегда срочной, и при этом бесконечно много забот о моих русских друзьях, находящихся в стесненных обстоятельствах. Так время и прошло.

Теперь я хотела бы, дорогая фру Линдхаген, просить Вас об одной любезности. Я должна была получить из Берлина мои зимние и меховые вещи на имя фрекен Карлсон, владелицы пансиона, где я жила прежде (Биргер Ярлсгатан, 29). И вот, в связи с моим внезапным отъездом, я не смогла распорядиться относительно моих вещей. К тому же я опасаюсь, что фрекен Карлсон, особенно после глупой и злой статьи в «Ню Даглихт Аллехандa» о моем отъезде и обо всем, что произошло, не очень-то будет беспокоиться о моих вещах. Поэтому я прошу Вас, дорогая фру Линдхаген, позвоните по телефону *как можно скорее* фрекен Карлсон (Бирген Ярлсгатан, 29), скажите, что говорит фру Линдхаген, супруга бургомистра (это произведет на нее большое впечатление), и попросите ее передать вещи, которые пришлют из Берлина, — фру Линдлей их и заберет. Пожалуйста, извините меня за эту просьбу, но было бы очень плохо, если бы все мои зимние вещи пропали! Значит, я могу надеяться, что Вы передадите фрекен Карлсон по телефону мою просьбу и со своей стороны попросите ее сохранить вещи до тех пор, пока их не заберет фру Линдлей. Еще раз сердечный привет Вам, товарищу Линдхагену и фрекен Линдхаген.

С партийным приветом
и выражениями дружбы *Ал. Коллонтай».*

Следующие три письма адресованы Анне Линдхаген, сестре Карла Линдхагена — мне кажется, что именно Анна Линдхаген на первых порах сыграла важную роль, чтобы сблизить Александру Михайловну с семьей Линдхаген.

Письмо выдержано в тоне благородной простоты и строгости, какой был принят в отношениях между товарищами по борьбе.

«Дорогая товарищ Линдхаген!

Посылаю Вам манифест женщин-социалисток, который я только что получила для Вас...

Была ли удачной Ваша поездка в Гаагу? Каковы Ваши впечатления?

Если у Вас будет свободная минута, не напишите ли Вы мне несколько слов? Я буду очень рада.

Шлю Вам свой дружеский привет и желаю сохранить хорошее настроение, быть полной сил и мужества. В наше грустное время так нужно мужество!

С социалистическим приветом
Александра Коллонтай».

Второе письмо Анне Линдхаген определяет следующий шаг в отношениях корреспондентов, в нем сильнее дружески-доверительная интонация.

«Дорогой друг и товарищ Линдхаген!

Посылаю Вам экземпляр письма Цеткин... и копию циркуляра, который товарищи из Голландии просили меня переслать Вам и доставить норвежским товарищам.

Я верю, я уверена, что Вы сейчас же ответите мне телеграфом «Да», как я сама делаю. Еще остается согласовать вопрос о том, чтобы организовать временный центр женщин-социалисток, пока Клара в тюрьме.

Мы верим, что голландские товарищи смогут взять это на себя. Если Вы того же мнения, то напишите мне письмо и поддержите это предложение.

Дорогой товарищ, я буду счастлива получить, наконец, новости о Вашей жизни.

...С уважением и дружеским приветом Вашему брату и его жене.

С социалистическим приветом *А. К.»*

На письмах нет даты, но по всей вероятности они написаны в первой половине пятнадцатого года. В частности, на это указывает фраза «...пока Клара в тюрьме...» — как известно, Клара Цеткин была заключена в тюрьму после возвращения с конференции в Берне, направленной против войны. Последняя фраза второго письма «...с уважением и дружеским приветом Вашему брату и его же-

не...» указывает: Коллонтай уже была знакома с семьей Линдхагенов достаточно. Письмо Карлу Линдхагену прямо посвящено наизлободневной проблеме войны.

В этом письме больше, чем в предыдущих, чувствуется жизнелюбиво-деятельная натура Коллонтай, ее умение говорить с друзьями с той искренностью и прямотой, которая так располагала к Коллонтай и вызывала доверие.

«Дорогой товарищ Линдхаген, простите, что я не ответила Вам на письмо сразу же, но последнее время у меня было много волнений. 26 сентября я уезжаю в Америку по приглашению Социалистической партии Америки. Я пробуду там до февраля, ибо с 12 октября до 12 января руковожу конференцией... интернационалистов.

Дорогой товарищ, я не согласна с Вашим мнением по поводу письма Кларе Цеткин. О, я Вас понимаю, понимаю, что бедная маленькая Бельгия причиняет Вам боль. Но не кажется ли Вам, что это вина всей системы великих держав, а не одного государства? Посмотрите, что сделала Россия с Галицией... это грустно, это ужасно, что великие державы подавляют малые...

Бесконечно жаль, дорогой товарищ, что не имела удовольствия увидеться с Вами. Но я уверена и надеюсь, что мы... будем работать вместе для общего дела.

...Желаю Вам, дорогой товарищ, всего хорошего, успеха в нашей работе и мужества в жизни, которая всегда так трудна!

Ваша *Александра Коллонтай*»

Мне кажется, что из ранних писем Коллонтай семье Линдхагена в мои руки попали лишь некоторые письма, но и они дают представление о характере отношений Александры Михайловны с семьей стокгольмского бургомистра. Это отношения друзей, объединенных верностью социалистическому идеалу. Письма показывают, сколь благородной была первооснова отношений Александры Михайловны с семьей Линдхагенов — впрочем, благодатному этому началу еще предстояло себя обнаружить.

Последнее из предреволюционных писем написано осенью пятнадцатого года.

Следующее письмо (повторяю: из имеющихся у меня) почти через пятнадцать лет, а именно: в июне 1930 года.

Два письма.

Первое писала русская революционерка Коллонтай, второе — посланник Коллонтай.

Если быть точным, то июньское послание Линдхагенам написано до того, как Александра Михайловна стала посланником.

«25 июня 1930 г. Уважаемые и дорогие фру и герр Линдхаген, я опять приехала в Стокгольм на короткое время. Не доставите ли Вы мне большое удовольствие и не отобедаете ли у меня в 6 часов? День назначьте сами, предпочтительно суббота 18 или понедельник 30 июня, или вторник 1 июля. Я хочу также пригласить герра Мёллера с женой и фрекен Анну Линдхаген.

...С наилучшими пожеланиями Вам и Вашей дорогой жене, Ваша *Александра Коллонтай».*

Следующее письмо помечено тридцать первым годом — это уже письмо посланника. Коллонтай часто пишет Линдхагену — в нашем распоряжении письма, обнимающие почти все годы дипломатической работы Александры Михайловны в Швеции. Письма эти показывают, с каким искусством Коллонтай — посланник и посол поддерживала свои стокгольмские контакты. Если говорить о стиле этих писем, то они в какой-то мере напоминают беседу Коллонтай на большом приеме — письма лаконичны, точны, исполнены ясной мысли. Замечательна способность Коллонтай найти повод для такого письма: разумеется, приглашение в посольство или в загородную резиденцию посольства («Надеюсь, что Вы не забыли, что я с радостью жду Вас в воскресенье 3 мая к себе на завтрак?», «26 января я устраиваю чай между 4 и 6 часами у себя (Виллагатан, 15), если Вы будете, это будет большой радостью для меня», «Мне будет приятно, если Вы и фру Линдхаген приедете ко мне позавтракать и мы поговорим подробно обо всех волнующих нас вопросах» и т. д.), но далеко не только это. Коллонтай откликается на новую книгу Линдхагена («С большим удовольствием я прочла Ваше «Движение» и, как всегда, восхищена свежим течением Вашей мысли»). Благодарит за письмо («Благодарю Вас за интересную запись на заседании Первой Палаты от 30 апреля. Очень любезно было с Вашей стороны вспомнить обо мне»). Делится впечатлением о речи Линдхагена в риксдаге («Очень интересно бывает

прочесть Ваши выступления на страницах «Риксдагсферхандлингар». Мир был бы лучше, если бы в нем было больше людей, которые думают и действуют, как бургомистр Линдхаген»). Выражает признательность за присылку мемуаров («Это в высшей степени интересная книга. Для меня она представляет особый интерес из-за описания событий, имевших место во время Вашей поездки по Англии в восемнадцатом году»). Благодарит за предложения, которые Линдхаген сделал в Малой палате риксдага и которые касались улучшения экономических контактов с СССР («Хочу сердечно поблагодарить Вас за предложения в Малой палате и за протокол риксдага. Один экземпляр я послала герру Литвинову с приветом от бургомистра»).

Как свидетельствуют эти письма, Коллонтай читает все книги Линдхагена. Она не пропускает ни единой речи в риксдаге. Она в курсе его бургомистерских дел. Она читает все, что сообщает о Линдхагене пресса... Разумеется, она все это делает по обязанности старого товарища и друга, но не в последнюю очередь обращается к этому в силу непреклонных обязанностей посла. Именно в силу своих обязанностей посла она считает необходимым замечать все события в жизни Линдхагена и реагировать на них. Двадцать три письма, написанных Линдхагену послом Коллонтай, достаточно свидетельствуют об этом, как наверняка в еще большей степени подтверждают это беседы Коллонтай с Линдхагеном. Письма указывают на то, что эти беседы были часты: «...скоро я совсем поправлюсь и буду рада встретиться с бургомистром у меня или в Олстене», «Я была бы очень рада видеть Вас у себя... Позвоню Вам, чтобы договориться, когда мы сможем встретиться. Лучшие пожелания также и фру Линдхаген», «Я охотно приеду в Олстен, как только у меня будет немного времени. Всю зиму было много работы, а свободного времени никакого».

И вот итог: Линдхаген был одним из тех шведских друзей, на кого Коллонтай опиралась в своих усилиях, направленных на улучшение отношений с Советской страной. Надо думать, что Линдхаген стоял на этих позициях в силу социалистических убеждений, в силу веры своей, что дружба с великим соседом на востоке отвечает коренным интересам Швеции, однако в том, как он обнаружил эту свою позицию и реализовал, не последнюю роль играли отношения с Коллонтай, отношения многолетние

и истинно дружеские. Все годы, пока Коллонтай была послом в Швеции, она могла рассчитывать на совет, дружеское участие и внимание Линдхагена. На совет и участие даже тогда, когда отношения между нашими странами подвергались жестоким испытаниям.

В мае сорок первого, за месяц до того, как вермахт атаковал советские рубежи, Коллонтай писала Линдхагену:

«Я абсолютно согласна с Вами, что между Швецией и Советским Союзом будет царить согласие в совместной борьбе за мир, и я верю, что мы делаем все, что в наших силах.

Как-нибудь приеду к бургомистру, чтобы обсудить все большие и интересные проблемы, которые затронуты в Вашем выступлении и в письмах ко мне».

И почти год спустя, когда Советская страна крушила гитлеровскую военную машину:

«Примите мою самую искреннюю благодарность за Ваше замечательное письмо. Меня радует, что оно написано так дружески».

Говорят, хороший посол тем и отличается от всех прочих, что каждый новый день его деятельности дарит стране новых друзей. История отношений Коллонтай с семьей Линдхагенов показывает, что Александра Михайловна была именно таким послом.

6

Соня Брантинг сказала мне: «Когда я была у нее на Виллагатан». И Ева Пальмэр не преминула заметить: «То, что называлось «кружком Коллонтай», собиралось на Виллагатан. Отец бывал у Коллонтай там...» Чем больше людей вовлечено в разговор о Коллонтай, тем чаще я слышу: «Виллагатан, Виллагатан...» Мысль, которая осеняет меня, отнюдь не оригинальна: «А нельзя ли взглянуть на Виллагатан? И на самую улицу, и на посольство, и на квартиру посла? Кстати, и посольство и посольская квартира сегодня там же, где они были при Коллонтай?» Я прошу передать мою просьбу нашему послу В. Ф. Мальцеву и получаю его согласие.

Посольские друзья привозят меня на Виллагатан. Я припоминаю, что был здесь несколько дней назад, когда ездил в Королевскую библиотеку.

Неширокая улица, зеленая и тихая, как и надлежит быть посольской улице, расположена неподалеку от центра. По московским масштабам это — улица Качалова. Посольство расположено по Виллагатан, 17. Квартира посла почти рядом с посольством — Виллагатан, 13.

Мы поднимаемся в квартиру.

Это представительская квартира. В какой-то мере та часть посольства, где оно принимает гостей, в том числе и по праздникам, даже праздникам большим, — октябрьский прием в посольстве обычно происходит здесь.

Как сообщают товарищи, сопровождавшие меня, Коллонтай жила тут лишь до болезни. Я иду из комнаты в комнату, повторяя, настойчиво повторяя: «Лишь до болезни, лишь до болезни... Значит, то, что произошло с нею летом 1942 года, произошло здесь». А за окном безоблачно, и в квартире много света. Может быть, поэтому так ослепителен тщательно натертый пол, так ярки обои, так негасимы белые потолки. За этой новизной нелегко распознать зримые приметы жизни Коллонтай здесь. Поэтому так трудно представить то лето 1942 года, то страдное лето для страны и для Коллонтай, когда где-то здесь жестокий недуг сразил Александру Михайловну.

Чтобы понять душевное состояние Коллонтай, надо просто развернуть газеты того времени. Пал Севастополь. Немцы захватили Донбасс. Их головные части вышли к Волге, Кубани и Тереку. И до этой поры было трудно, но так никогда. Чтобы понять состояние Коллонтай, надо представить себе, как это выглядело со страниц шведской прессы. Паралич разбил Александру Михайловну в один из этих дней. Коллонтай потеряла сознание, лишилась речи, способности двигаться. Жизнелюбивый человек, неутомимо-деятельный, жестоким ударом болезни был точно срублен. Коллонтай отвезли в Стокгольмский госпиталь Красного Креста.

Мы идем в здание посольства. Здесь она жила и работала, когда вернулась. Большая комната, почти квадратная, с единственным просветом, выходящим на Виллагатан. Это — кабинет. Где-то рядом была ее жилая комната.

Друзья Коллонтай мне рассказали, что сознание и дар речи вернулись к ней на другой день. Она очень просила

дать ей возможность вернуться к работе. Вначале ей разрешили заниматься делами лишь в течение часа, потом — трех. Она принимала посетителей, читала прессу, пробовала писать. Писала карандашом, вначале медленно, потом все увереннее. Ее письма, написанные в эту пору, сохранились.

Несмотря на столь тяжелое состояние, она оставалась на посту посла до окончания войны. В сущности ее просьба была удовлетворена. Лишь в марте 1945 года, за месяц с лишним до окончания войны, специальным военным самолетом, который послало правительство в Стокгольм, Коллонтай вернулась на Родину.

Говорят, это было на рассвете. Да, хмурым мартовским утром 1945 года Коллонтай была здесь в последний раз. Я стою у окна кабинета и смотрю вниз. Где-то там стоял посольский автомобиль. Наверно, у нее была минута тишины, минута заповедной тишины, когда она собиралась войти в машину. Все эти пятнадцать нелегких лет встали перед нею в эту минуту. Пятнадцать лет великой воли, мысли и, я так думаю, храбрости.

Помнится, Соня Брантинг сказала: «Она была храброй женщиной. Храброй». Брантинг знала большой мир Стокгольма со всем разнообразием лиц, которые могли противостоять Коллонтай. Чтобы совладать с этим миром, надо было иметь немалое мужество. Тем больше мужества должно быть у женщины. Поэтому Брантинг сказала тогда: «Она была храброй женщиной!»

7

Я заглядываю в свои записи, которые сделал, когда был у Юхансона и Пальмэр. Рядом с именем Линдхагена стоит имя Ады Нильсон.

Ирина Львовна пытается припомнить все, что знает об Аде Нильсон. Известный врач, популярный и широко почитаемый в Швеции, она посвятила себя борьбе за женское равноправие. Человек бескомпромиссный, она по своим взглядам была скорее либералом, чем социалистом. Однако это не мешало ей быть другом Коллонтай. Впрочем, это не помешало Коллонтай, коммунистке и государственному человеку, сблизиться с Адой Нильсон и влиять на нее. Наверно, то, что могла бы рассказать Ада Нильсон о шведских связях Александры Михайловны, вряд ли поведал бы кто-то другой из шве-

дов, но Нильсон немногим пережила свою русскую подругу.

— Однако, быть может, сохранились какие-то свидетельства их отношений... ведь их дружба длилась десятилетия?

— Письма?..

— Возможно, и письма.

— Да, письма должны быть... по крайней мере триста писем Коллонтай к Аде Нильсон.

Прошло несколько дней, однако они мало прибавили к тому, что мне сказала Ирина Львовна. Письма целы, но в соответствии с волей Ады, они переданы библиотеке Гетеборга. Чтобы «прикоснуться» к письмам, надо или выехать в Гетеборг или затребовать письма в Стокгольм. Но и это решение пока принять нельзя — сегодня этих писем в библиотеке нет.

— Хорошо, если нет возможности увидеть все письма, быть может, удастся «прикоснуться» к некоторым?

— Есть текст мемуаров Ады Нильсон...

— И там... письма Коллонтай?

— Да.

И вот передо мною воспоминания Ады Нильсон, и в них большая глава, посвященная истории почти тридцатилетней дружбы с Коллонтай. Но меня интересуют письма, в первую очередь — письма. Здесь их много, однако самым ярким является вот это письмо из Сальшебадена, в нем — вся Коллонтай, ее ощущение полноты жизни, ее восприятие прекрасного, ее отношение к труду дипломата, ее понимание этого труда.

Вот это письмо.

«Сальшебаден, 7/9 1939. Моя милая, милая Ада, вчера мне очень хотелось сказать тебе, как высоко я ценю нашу дружбу и как я тебе благодарна за все, что ты даешь мне. Наша духовная гармония, наше единодушие, когда речь идет о мировых событиях и роли моей страны — первой страны социализма..., именно это и важно.

Сегодня утром я получила удовольствие от моей прогулки в Сальшебаден. Я люблю осень, осенние дни, небо и море глубокого синего цвета, первые жгучие краски осени, и воздух, в котором есть что-то освежающее и бодрящее. Внезапно у меня появилось ощущение, которое я так хорошо знаю со времен юности: жизнь — существо-

вание — прекрасны! Осень, — так представляется мне всегда, — осень что-то обещает; еще могут прийти хорошие дни...

Весной мне никогда не бывает очень весело. Весна для меня слишком беспокойна. Я меланхолична. Но осень что-то обещает. Что, собственно? Да, надежду, что я еще успею немного сделать зимой... И немного покоя в мире, где так напряженно. Но только никакого застоя! Это хуже всего.

Милая Ада! Разве ты в молодости не хотела, чтобы мир освободился от своих «традиций»? Теперь мир находится в процессе полной перестройки. Не этого ли мы хотели в молодости? Человечество не понимает, что именно с помощью этих переворотов и столкновений мы делаем шаг вперед.

XX век за 30—40 лет ушел вперед на несколько сотен лет. Именно вперед — вопреки всему! Разве не появился совершенно новый способ разрешать конфликты между государствами, который теперь осуществляет СССР? Разве не умнее и не гуманнее разрешать проблемы путем переговоров, а не хвататься за оружие? В этом заложена совершенно новая идея, новый метод. Это — сущность Лиги Наций.

Но человечество все еще не хочет или не может понять этого... Я вижу очертания внешней политики будущего. Возможно, еще будут войны, несколько войн, но уже развивается новый метод... которым человек будет разрешать конфликты между государствами. И это делает меня счастливой. В особенности же то, что именно Советский Союз пытается идти таким путем.

Социалистическое государство должно, безусловно, применять новые формы также и во внешней политике.

Это я хотела тебе сказать. Так я это чувствую. И потому я не пессимист и смотрю в будущее с радостью и уверенностью.

Ты меня понимаешь, милая Ада?

Твоя Александра.

P. S. Несколько дней тому назад я получила письмо от поляков, уехавших из Польши. Они хотят «мстить» мне... «Если вам дорога жизнь — уезжайте отсюда», — пишут эти несчастные люди. Я улыбнулась. Так ли уж «дорога мне жизнь»? Я люблю жизнь и наслаждаюсь ею. Я прожила жизнь наполненную, интенсивную. И все же,

ах, если бы эти грозящие мне люди знали, как прекрасно, когда о тебе говорят: «умер на баррикадах».

Умереть за свою идею — достойное и логическое завершение моей жизни...»

Ценность писем к Аде Нильсон в том, что они дают представление о жизни и настроениях Александры Михайловны в канун войны и во время войны. Как известно, Александра Михайловна была делегатом СССР в Лиге Наций. Коллонтай часто писала Нильсон из Женевы. Ее письма Нильсон, помеченные тридцать шестым — тридцать восьмым годами, отражают чувство тревоги, которое охватило тогда и Коллонтай, — фашизм наращивал силы, а англо-французы все еще пытались совладать с ним с помощью умиротворения.

«Женева, 22.IX.1936

Мы работаем и работаем, но каков результат? Никакого практического результата во всех важных вопросах: Испания, пересмотр пакта, разоружение. Главное настроение здесь — «пассивность». Великие державы вспоминают о Локкарно, и все должны приспосабливаться к их разговорам. Что даст Локкарно и что это значит?

Я работаю гораздо больше, чем в прошлом году, заседаю в двух комиссиях. Но не по женскому вопросу — он не стоит в повестке дня.

Испания — как это больно! ...На поле битвы решается не только судьба Испании — не только Европы — судьба всего мира — фашизм пытается победить демократию!»

И в следующем году:

«Женева 26/9 1937. Любимая Ада, дискуссии по женскому вопросу закончены, и принята резолюция. Но борьба была тяжелой. Я довольна своей работой. Но в более важных областях еще не пришли к каким-либо важным результатам...»

«Женева, 22/9 1938. Мы живем в тревожной, нервной атмосфере. Принесение Чехословакии в жертву не может удовлетворить агрессоров. Они предъявят новые требования. А Испания! А Китай!.. Отвратительная политика агрессоров здесь ощущается еще сильнее...»

И вот началась война.

Коллонтай видела свою задачу в том, чтобы в той мере, в какой это зависит от посла СССР, воспрепятство-

вать вступлению Швеции в войну на стороне Германии, сберечь шведский нейтралитет. Эта задача была архитрудной. Слишком могущественны были силы, толкавшие Швецию к поддержке агрессора — чаша весов склонялась в пользу немцев — каждый четвертый или пятый снаряд, падающий на русскую землю, был сделан из шведского металла.

Немцы требовали большего — об этом свидетельствует Ада Нильсон, рассказывая о жизни Коллонтай в эти дни:

«В середине лета 41 года Финляндия обратилась к шведскому правительству с просьбой разрешить немецкой дивизии пройти из Южной Норвегии через Швецию в Финляндию. Срочно собрался риксдаг, и согласие было дано... Я была приглашена на обед в Виллагатан.

— Ну, что ты теперь скажешь? — был первый вопрос Коллонтай.

— Да, неприятно, — ответила я, — но власти дали разрешение и теперь можно только сожалеть об этом.

— Ясно, что это отклонение от нейтралитета...»

Как ни горестны были эти события, Александра Михайловна делала все, чтобы удержать Швецию от вступления в войну. Линия шведского нейтралитета напоминала кривую, которая чутко улавливала положение на фронте. Дважды излом этой кривой был особенно крут. Первый раз в самом начале войны. Второй раз: летом сорок второго года, когда пал Севастополь и немцы захватили Донбасс. Шведский нейтралитет, даже в тех неполноценных формах, какие он обрел к тому времени, подвергся наижесточайшей атаке — прогерманизм обрел силу, какую он не имел в Швеции никогда прежде. Не трудно представить себе положение советского посла в эти дни. Чем труднее было положение дел на фронте, тем более неприязненным был тон большой прессы. Во враждебных письмах не было недостатка и прежде, сейчас количество их возросло заметно. По давней традиции революционных лет Коллонтай считала: как ни суровы испытания, есть возможность с ними совладать. В центре благополучной Швеции, на комфортабельной Виллагатан был принят образ жизни, которым жила военная Россия. Работали круглые сутки, ограничили часы сна. В середине августа, когда положение на фронте стало особенно тревожным, Коллонтай не спала несколько ночей.

Врачи предупредили Александру Михайловну, что это может плохо кончиться. Она пренебрегла предостережением — исход для Александры Михайловны был трагическим.

Вот свидетельство Ады Нильсон:

«...В середине августа 42 года я должна была поехать... в отпуск и обратилась к инженеру Коллонтай[1] с просьбой следить, чтобы Александра не работала до упаду. «Ах, — ответил он, — Вы сами знаете, что она не разрешает влиять на себя, работа для нее прежде всего». Но это и привело к беде. Коллонтай сидела беспрерывно по 8 часов за письменным столом, и когда она вечером должна была сесть в лифт, чтобы подняться в свою комнату, у нее произошло тяжелое кровоизлияние в мозг. Она не потеряла сознания, пока не привела в порядок, как обычно, свои бумаги, но в тот же вечер ее перевезли в больницу... Ее многолетний секретарь, фру Лоренсон, на следующее утро позвонила мне... Сойдя с поезда, который прибыл на центральный вокзал около 10 вечера, я поехала прямо в больницу, где старшая медсестра Инга Бьорнлунд ждала меня в дверях и провела в комнату больной. Там меня ждало тяжелое зрелище. Лицо ее было сине-черным, деформированным, надежды на жизнь, казалось, почти не было...

Большинство врачей считали, что случай безнадежен... Профессор Сварц считала, что можно попытаться сделать инъекции гепарина. Этот метод лечения был тогда спорным... Врачи-консультанты придерживались разных точек зрения. С согласия инженера Коллонтай проф. Сварц сделала такую попытку; она сама сделала инъекцию — медленно и осторожно, я стояла и проверяла пульс — и после небольшого промежутка времени пациентка глубоко вздохнула и с тех пор стала дышать спокойно... Жизнь была спасена».

8

Когда в очередной раз мы встретились с Ириной Львовной, желтый квадрат картона уже был заполнен.

«Профессор Нанна Сварц 17.VI в 9.45 утра», — прочел я.

Да, профессор Нанна Сварц, врач Александры Ми-

[1] Речь идет о сыне А. М. Коллонтай.

хайловны и очевидица события, происшедшего с Коллонтай в августе 1942 года.

В той цепи рассказов, которые я уже услышал, этот последний мне важен.

И вот утро 17 июня, безоблачное, с выцветшим, почти белым небом и черными, точно обрезанными под линейку тенями на асфальте.

— У профессора все еще частная практика и время расписано по минутам... — говорит Ирина Львовна.

— До меня и после меня будут больные? — спрашиваю я.

— Да, мне так кажется.

— И поэтому мне отпущено время не больше, чем очередному больному?

— !!!

Поднимаюсь на третий этаж, отыскиваю металлическую дощечку на двери с именем профессора, звоню. Так и есть: дверь открывает сестра в белом халате. Дежурный поклон, и она указывает взглядом на журнальный столик в гостиной со стопкой журналов — все признаки квартиры практикующего врача, непобедимо интернациональные. Мне не очень хочется, чтобы меня принимали за больного, и я называю себя. Сейчас я вижу: сестра и без представления опознала меня — возможно, что-то во мне есть такое, что отличает от стокгольмских пациентов профессора Сварц.

Я осматриваюсь: видно, профессор любит живопись, при этом современную. Для семидесяти восьми лет это хороший знак. И не только живопись. В правом углу — большая фотография со скульптуры Миллса «Всадник».

— Профессор просит вас... пожалуйста.

Нанна Сварц выходит мне навстречу.

Верхняя пуговица халата расстегнута — профессор, наверно, закончила прием только что. Виден воротник блузы, строго стянутый темным бантом.

— Госпожа Коллонтай никогда не говорила со мной о политике, — произносит профессор, приглашая меня к столу и точно обозначая границы, в которых она хотела бы вести разговор.

— Собственно, вопрос, который интересует меня, больше человеческий, — говорю я.

— Ну, что ж... слушаю вас, — произносит она и, отодвинувшись от стола, кладет руку на руку, и я вижу крупное обручальное кольцо на безымянном пальце Нан-

ны Сварц, крупное, но заметно тонкое, источенное годами — наверно, достаточно взглянуть на кольцо, чтобы сказать: оно принадлежит старому человеку. Эта ее блуза с бантом в сочетании с прической, чуть мужской, подчеркивают, как мне кажется, строговатость ее натуры и не очень соотносятся с обручальным кольцом. — Слушаю вас.

Я говорю — она слушает, глядя на руки, которые недвижимы. Вот вопрос: как сложились ее отношения с Коллонтай до того, как профессора вызвали в госпиталь Красного Креста, куда была доставлена Коллонтай... И потом: не могла бы Нанна Сварц припомнить, как себя чувствовала Коллонтай, вплоть до отъезда посла в Москву, ведь три года она все еще оставалась в Стокгольме.

— Да, почти три года, — произносит Сварц, пытаясь сосредоточиться. — Впервые я встретила ее в тридцать шестом году. Был конгресс врачей и после конгресса прием. Меня представили ей. Мы обменялись какими-то словами, наверно, самыми обычными, так как разговор не запомнился. Шесть лет я ее не видела, да, до августа сорок второго года, когда с нею произошел этот случай, хотя, очевидно, она как-то следила за мной, держала в поле зрения. И вот август сорок второго. Нет, я была не в Стокгольме, я была под Гетеборгом, там происходила конференция врачей... Да, звонок: «Просит Стокгольм — что-то срочное». Беру трубку: Эми Лоренсон, секретарь посла: «Произошло нечто ужасное: у мадам Коллонтай инсульт, общий паралич, она без сознания. Нет, она уже не дома — ее отвезли в госпиталь Красного Креста». Разумеется, я тут же оставила все дела и выехала в Стокгольм. Когда я явилась в госпиталь, госпожа Коллонтай все еще была без сознания. Все, что мне удалось узнать о причинах приступа, соответствовало моим предположениям: у нее было много работы, она не спала несколько ночей. Я сделала все, что в моих силах, — сознание вернулось к ней на следующий день. «Вы так добры», — были ее первые слова. Дело, разумеется, не в словах, а в том, что она узнала меня — это был уже симптом, симптом обнадеживающий. В общем, ей стало лучше. Я бы сказала, что улучшение пошло неожиданно быстро. К ней вернулась ясность мышления, но она быстро уставала. Она обрела способность двигаться лишь отчасти — левая сторона оставалась парализованной. Она выписа-

лась из госпиталя и поселилась в посольстве. Я была у нее там неоднократно. Единственный в своем роде случай: наперекор тяжелому недугу Коллонтай продолжала работать. Я видела, как она читала прессу, писала — к счастью, правая рука действовала. Видела, как она принимала посетителей — у нее, как обычно, было много людей. Мы разрешили ей работать не больше трех часов в день. Она все еще быстро уставала. К тому же давление продолжало оставаться высоким: 200×170... Шла война, и она не считала возможным покинуть свой пост. Она оставалась на посту почти до конца войны...

Нанна Сварц умолкает. Я замечаю: по мере того как она рассказывала, ее голос точно оттаивал и точно размывалась строгость, которую я заметил в ней вначале.

— А как она покинула Швецию?.. — спрашиваю я — мне кажется, что Нанна Сварц не закончила рассказ. — Это было в марте сорок пятого?

— Да, это было в марте, — говорит профессор, — госпожа Коллонтай позвонила мне и сказала, что в стокгольмском аэропорту ожидает ее русский военный самолет и в самолете две медсестры... Я обрадовалась: «Это хорошо, что с вами будут две медсестры». И тогда госпожа Коллонтай сказала: «Я была бы спокойна, если бы с медсестрами были и вы, профессор...» Короче: на другой день я вылетела в Москву на русском военном самолете вместе с госпожой Коллонтай... В общем, ее отъезд почти совпал с окончанием войны — это было не случайно... Она довела все свои дела в Швеции до конца — ее труд был полезен.

— Простите, но это уже... политика, — замечаю я. — Мы условились с вами не говорить о ней...

Она смеется:

— Да, да, госпожа Коллонтай никогда не говорила со мной о политике... Никогда не говорила со мной о политике...

Уже простившись с Нанной Сварц, я спрашиваю ее:

— Вы видели Коллонтай в последний раз в сорок пятом?

— Да, в тот раз, когда я отвезла ее в Москву.

— И не переписывались?

— Я получила от нее несколько писем.

— Это письма... очень личные?

— Да, разумеется, но в них... никакой тайны... Вы хотели бы посмотреть их?

— Если бы Вы сочли это возможным.

— С удовольствием, но они для меня так дороги, что я храню их вместе с моими самыми ценными бумагами...

Днем позже я получил срочной стокгольмской почтой два письма Коллонтай Нанне Сварц и, сняв с них фотокопии, отослал с благодарностью обратно.

В первом из этих писем, датированном 21 февраля 1949 года, есть такие строки:

«Дорогой профессор, я пишу сама, карандашом, чтобы мой дорогой доктор смог увидеть, как обстоит дело с моим почерком. Все мои дневники и воспоминания я пишу карандашом сама, а потом их перепечатывают на машинке. Я работаю каждый день два-три часа, и за те четыре года, что я живу в Москве, я обязалась передать в печать десять книг приблизительно по 320 страниц в каждой. Я еще далеко не завершила работу над своими воспоминаниями, но самое главное уже сделано».

Вот я и закончил рассказ.

Помните слова Александры Михайловны о призвании дипломата: «Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом...»

Работа Коллонтай в Швеции — пример того, как надо строить отношения с людьми, как надо пестовать друзей.

Коллонтай покинула Швецию четверть века назад, однако многое из того, что она сделала, дает плоды и по сей день. И это потому, что она была в своей деятельности не одинока. Она уехала из Швеции, оставив много друзей. Друзья живут вместе с памятью о человеке — в Швеции помнят Коллонтай.

И в заключение примечание, сугубо практическое. Мне остается добавить, что я привез в Москву фотокопии почти всех писем, которые воспроизвожу здесь. Я сказал: «Почти». У меня нет писем Александры Михайловны к Аде Нильсон. Тот, кто еще поедет в Швецию с аналогичной задачей, очевидно, должен их добыть. На мой взгляд, письма Коллонтай являются ценными документами нашей истории. Письма писались в единственном экземпляре, и в наших архивах их нет. Если мы не можем добыть оригиналы писем, мы безусловно должны иметь их копии.

Есть фотография Ленина, одна из тех, по которой его облик стал известен революционной России. Что-то откровенно-радостное, что он пережил только что, отразилось на его лице. Оно прекрасно выражением спокойного раздумия. Это один из первых послеоктябрьских портретов Ильича: его бородка, едва заметная на портрете, еще не отросла с тех пор, как была по причинам конспирации сбрита. Видно, эта фотография нравилась и Владимиру Ильичу, именно ею открываются его сочинения, вышедшие после революции, — выбор портрета не мог быть сделан без Ленина.

Позже, когда я поинтересовался историей портрета, подтвердилось то, что это одно из первых изображений Ильича времен революции, и то, что сам Владимир Ильич в то время предпочитал эту фотографию всем другим. Портрет был сделан 31 января 1918 года известным нашим фотохудожником М. С. Наппельбаумом. Когда этот портрет был подготовлен для печати, Владимир Ильич написал на обороте оригинала: «Очень благодарю товарища Наппельбаума».

Портрет получил широкое распространение и у нас и за рубежом. Фотоотдел при ВЦИК размножил изображение вождя в сотнях тысячах экземпляров. Только что начавший тогда выходить журнал «Пламя» напечатал эту фотографию на обложке первого номера. А годом позже портрет был напечатан массовым тиражом по новому тогда методу меццо-тинто, при этом так увеличен, чтобы его можно было вывешивать в избах-читальнях и клубах.

Наверно, этот портрет я видел много раз прежде, но запомнился он по тому воспроизведению, которое сопровождается дарственной надписью Владимира Ильича по-немецки. В переводе надпись гласит:

«Дорогому товарищу Отто Гримлюнду, Москва, 6 марта 1919 г. Владимир Ульянов (Ленин)».

Естественно, я подумал: «А кто такой Отто Гримлюнд, которому Ленин подарил портрет, и что значит дарственная надпись? И просто ли это знак приязни или нечто большее, скрывающее события, которые нам не известны?»

То, что у нас публиковалось о Гримлюнде, было лаконичным. Шведский журналист. Известен тем, что вес-

ной 1917 года встречал возвращающегося из Швейцарии в Россию Ленина в прибрежном шведском городке Треллеборге. Неоднократно бывал в Советской стране. В последние годы отошел от участия в политической жизни страны, однако продолжает работать в Обществе «Швеция — СССР». Видел Ленина и разговаривал с ним.

«Жив ли Гримлюнд?» — хотелось спросить, но достаточно краткая наша публикация хранила на этот счет молчание.

Позже я узнал, что есть еще одна фотография Ильича с дарственной надписью Гримлюнду. Портрет подарен в апреле двадцатого года и надпись гласит: «Дорогому другу, товарищу Отто Гримлюнду».

И я спросил себя, может быть, с большей настойчивостью, чем прежде: «Кто все-таки этот Гримлюнд?»

Потом я узнал: Гримлюнд жив и даже бывает в Москве.

Работает над книгой об Октябре и Ленине. С этой целью последнее время и был в Москве. Добывал новые материалы, проверял старые.

Должен быть вновь, но, кажется, приболел.

И вот весна 1968 года.

Стокгольм.

...Большой старик, седой, белолицый, нас встречает на пороге квартиры. Протягивает горячую ладонь и ведет нас к невысокому столику, на котором с холостяцкой тщательностью расставлены бутылки с вином и целая батарея бокалов. Быстрой и точной рукой, отнюдь не дрожащей, он разливает вино.

— Мне приятна эта встреча, — произносит он воодушевленно. Очки слетели с переносицы и повисли на правом ухе, раскачиваясь в такт легким всплескам вина. — За ваше здоровье.

Он выпивает свой бокал, не пытаясь водрузить очки на переносицу, — они все еще раскачиваются.

— Мне сказали, что вы впервые встретили Ленина весной 1917 года, но ведь это же неточно. Первую встречу следует отнести на много лет раньше, — пытаюсь я с ходу вовлечь его в спор. Я знаю, что это лучшее средство заставить его заговорить по существу.

— Вы правы, — темпераментно отвечает он. — Конечно же, не весной 1917-го, а задолго до этого. Первая встреча — Копенгаген.

— Десятый год?

— Да, конгресс социалистов в Копенгагене, в десятом. К этому времени и относится моя первая встреча. Собственно, встречей этого назвать нельзя. Я видел Ленина издали. Ах, каким представительным был этот конгресс! Француз Жорес, американец Хейвуд, немцы Роза Люксембург и Карл Либкнехт, русские Ленин и Коллонтай. Ленина я знал по имени, теперь я видел его воочию. Небольшого роста, крепкоплечий, с едва заметной бородкой, — он мне показался олицетворением энергии. Но на этом мои впечатления и закончились. Я знал, что это Ленин. Я видел его. Вот и все. Другое дело — Коллонтай. Она мне привиделась в тот раз светящейся птицей. Если быть точным, то это было несколькими днями позже. Нет, не в Копенгагене, а в Мальмё. На огромной площади, куда собрались тысячи людей, состоялся митинг. Она говорила с тем воодушевлением, которое очень соответствовало всему ее облику. Природа редко наделяет так щедро одного человека: и ум, точный и живой, и редкая широта знаний, и недюжинная энергия. И все это в сочетании с юной грацией, необыкновенным голосом, способностью говорить с людьми, если даже их много тысяч, как в тот раз в Мальмё. Одним словом, светящаяся птица. Ленин не выступал в Мальмё. А жаль. Хотелось услышать и его. В тот раз я не знал, что пройдет всего семь лет и я приеду, нет, не в Мальмё, а в Треллеборг, чтобы встретить Ленина, возвращавшегося на родину. Да, это произошло почти через семь лет, в марте 1917 года... Знаете, свержение царя было похоже, когда на реке взламывают лед — река пришла в движение. Да, река ожила и в Россию устремились гонимые. Все те, что годы и годы ждали заветного этого часа, отправились на родину. В каких-нибудь полтора месяца опустели великие центры русской эмиграции: Лондон, Нью-Йорк, Берн. И вдруг весть, более чем неожиданная: едет Ленин. Неожиданная потому, что меньше всего можно было ожидать, что новое русское правительство разрешит Ленину въезд в Россию, ведь он выступал против войны. Однако все указывало на то, что сообщение достоверно: в Треллеборг действительно прибывал Ленин. Если быть точным, то это сообщение вначале стало известно не мне,

а моему товарищу Фредерику Стрёму. Он прислал мне письмо (а жил я тогда в Мальмё) и просил быть у него. Я явился и застал там одного русского. Они-то и сообщили, что пароходом из Засница прибывает группа русских и среди них Ленин. Я выехал в Треллеборг. Мне хотелось встретить Ленина. Вот этот момент точно перед глазами. Подошел паром. Первый, кого я вижу: швейцарский социалист Фриц Платтен. Это он сопровождал русских в их небезопасном путешествии через Германию. Я издали приветствую Платтена, и вскоре те, что стоят на пароме, и те, что пришли их встречать, узнают друг друга и обмениваются приветственными жестами и улыбками. Мне нетрудно обнаружить Ленина, ведь я его видел семь лет назад. Я хорошо его запомнил. Эта бородка и прищур глаз, этот живой взгляд... Вот он! Я невольно провожаю их взглядом, когда русские сходят на берег. Иду им навстречу. «Приветствуем вас на шведской земле...» «Здравствуйте, товарищи...» Обычные вопросы: как дорога, спокойно ли было — еще шла война, такое путешествие должно быть небезопасным. Но Ленина интересует не столько день минувший, сколько будущий: «Скажите, товарищи, а как с поездом?.. Когда мы сможем быть в Стокгольме?» — «Поезд уходит вечером. В Стокгольме — на рассвете». — «Вот и хорошо — значит, будет время поговорить». Да, его состояние понятно: предстоит встреча с Россией, революционной Россией, и он считает часы до этой встречи. Вот и ночь он хотел бы отдать беседе. Очевидно, беседе о насущных делах революции.

Поезд. Женщины разместились в одном купе, мужчины — в другом. Тот, кто хочет спать, поднимается на верхнюю полку. Тот, кто не спешит со сном, остается внизу. Ленин среди этих вторых. Быстро устанавливаю, что в этой группе я младший. Это не прибавляет смелости, тем более, если рядом Ленин. Нащупываю карандаш, блокнот. Журналисту полагается быть и похрабрее. Но молчание расковал Ленин — первый вопрос задал он: «Скажите, а что пишут о нашем приезде стокгольмские газеты?» Нет, не из праздного любопытства он задал этот вопрос. Мир на все лады обсуждает возвращение большевиков на родину. Недруги утверждают, что поездка Ленина инспирирована немцами. По этой причине, мол, им разрешен был выезд из Швейцарии, как и проезд через Германию. Все, кто знаком с позицией русских боль-

шевиков во время войны, кто знает Циммервальд и все последующее, тому очевидно: такое обвинение ни на чем не основано. Ленин спокоен, однако его мысль напряжена: наверно, он думает о том, как ответить врагам.

Гримлюнд рассказывает, а я вижу поезд, идущий к Стокгольму. Если приникнуть к стеклу, можно рассмотреть во тьме очертания леса и всполохи огня, отраженного на гладкой воде озер, то изжелта-оранжевого, то ярко-синего, то красного. Что это за огонь? Рыбаки разложили костры у воды или крестьяне жгут древесный уголь? Костры колеблются в ночи, и время от времени их неверное пламя врывается в окно вагона, у которого сидят два человека.

Сколько лет собеседникам?

Одному сорок семь, другому двадцать четыре. Тогда почему говорит молодой, а старший слушает? Казалось бы, должно быть наоборот?

А может быть, это доверие к молодости, к ее верному чувству, ее верному взгляду и самой способности отличать правду от лжи?

За окном тьма становится еще ярче и гуще и многократ сильнее всполохи огня...

«Как Брантинг, его влияние?» — А Ленин уже припас следующий вопрос: «Что нового в позиции нейтральной Швеции? Да, по главным вопросам войны и мира?» Еще вопрос: «А нет ли новых тенденций в линии шведских социалистов? Как велика сейчас партия? Ее престиж в массах? Ее численность? Как много членов партии в риксдаге? Что собой представляют профсоюзы? Их вожди? Их реальные дела? Молодежь? Ее организации? Их борьба? Их тактика?» Таким образом, замысел Владимира Ильича удался: разговор получился.

Давно уснул вагон. Вот уже захрапели верхние полки, а внизу за одним вопросом следует другой. Казалось, Ленин задался целью: до того, как поезд придет в Стокгольм, он должен знать обстановку хотя бы в общих чертах.

— Трудно сказать, в какой мере глубоки и обстоятельны были мои ответы на вопросы Владимира Ильича, но ведь у Ленина была способность воспринимать ответ собеседника не только в пределах тех слов, которые произнесет его собеседник, отвечая на вопрос, но и улавливать тенденцию ответа, живое развитие мысли. Мне хочется верить, что в эту ночь Ленин услышал от молодого

шведского социалиста нечто такое, что хотел услышать.
Гримлюнд говорит, а мне все видится эта ночь, через которую бежит поезд. Если выключить грохот, которым наполнил идущий поезд все вокруг, то будет слышно, как горы, леса и даже сами озера вздыхают от гудящих взрывов — где-то далеко, далеко люди рвут тугие шведские скалы и землю щедро кропит гранитный дождь — торят в камне дорогу, медленно и верно, с неодолимым здешним упорством тянут ее на северо-восток, к неоскудевающим озерам леса.

А у окна не пресекается своя нить, накрепко скрученная, твердая: далеко за полночь затянулась беседа.

Что увлекло молодого шведского журналиста? Извлек он в ту ночь перо и блокнот? Как потом признавался Гримлюнд, он пытался взять реванш и на вопросы Ленина ответил своими вопросами. Он хотел знать, чем живет сегодняшняя Россия и что представляет собой русская революция, нынешняя и грядущая?

— Беседа с Лениным в ночном поезде, идущем в Стокгольм весной 1917 года, надолго запомнилась мне, — продолжает Гримлюнд. — В этой беседе для меня было и предчувствие надвигающейся грозы, и понимание, достаточно определенное, что революция встречает ее во всеоружии. Все это сделало эту ночь, по крайней мере для меня, событием значительным, у которого должно было быть продолжение.

Позже, когда я видел Ленина, мне все казалось, хочет он этого или нет, но в своем сознании он связывает мой облик и самое мое имя с этим разговором в ночном поезде, идущем в Стокгольм. Разумеется, не только этот разговор определил отношение Ленина ко мне, но, наверно, и этот разговор. Что-то незримое, но определенно важное, помогло в эту ночь взаимопониманию.

— Значит, в послеоктябрьское время вы много раз видели Ленина?

— Да, видел, — ответил Гримлюнд. — Об этом я хочу рассказать в книге, над которой сейчас работаю.

— Это будет книга воспоминаний?

— Да, о Швеции и России. Об Октябре и Ленине. О том, что я видел в те годы, чему был свидетелем. Кстати, запись ночной беседы с Лениным тогда не была напечатана, она цела и могла бы войти в книгу.

Очевидно, все, что лежит на большом столе Гримлюнда, имеет отношение к его будущей книге: и стопка

фотографий, и подшивка старых газет, и толстые тома бюллетеней РОСТА, которые выпускались в Швеции.

— Эти бюллетени мне сейчас очень помогают. В сущности, это летопись тех дней. Многие из сообщений, которые я нахожу в бюллетенях РОСТА, помогают воссоздать и какой-то эпизод в моей жизни. Дело в том, что эти бюллетени в Швеции выпускал в 1918 году я. Да, я был представителем РОСТА в Швеции — шведские социалисты были заинтересованы в том, чтобы правдиво представить события в России.

Если говорить о работе над книгой, то своеобразной записной тетрадью, которая помогает мне восстановить события во всей их объемности и хронологии, а тем самым их суть, в конце концов являются мои статьи тех лет. Вот хотя бы такая статья, — он разворачивает газету, лежащую подле. — Это газета шведских социалистов. Она выпущена ко второй годовщине русского Октября. Тут и моя статья.

Перед нами многостраничная газета, напечатанная на тусклой бумаге, иллюстрированная множеством фотографий, со статьями, отражающими все видимые стороны тогдашней советской жизни, и большой статьей нашего собеседника. Статья озаглавлена: «Владимир Ильич Ленин». Большая статья о Ленине ко второй годовщине Октября. В статье — вера в необоримое начало ленинской мысли, убежденность, что дело Ленина правое, надежда на то большое, что зрело в мире и в сознании людей. Чтобы до конца проникнуть в смысл статьи, надо чуть-чуть знать жизнь автора, все то, что связало его с русской революцией, так же как и то, что автору, когда он писал статью, было двадцать четыре года.

Наш хозяин пододвигает к нам большую стопку фотографий.

— Вот это — Воровский. Я знал его и тогда, когда он работал в стокгольмском отделении фирмы «Сименс-Шуккерт». Эта фирма до сих пор действует в Стокгольме. Потом он стал представителем Советского правительства в Швеции. В своем роде первым советским послом. Эта перемена в положении: был инженером, стал послом, — мало чем отразилась на образе жизни Воровского. Он даже не сменил квартиру на улице Капитанов.

Каким я помню Воровского? Он являл собой редкий тип интеллигента, который был одинаково силен в во-

просах технических и гуманитарных. И еще одна особенность, свойственная ему: в работе он был целеустремлен и спокоен. Это от уверенности и ясности понимания своей миссии, задачи своей. Взгляните на эти портреты. По-моему, здесь Воровский очень похож на себя. Впрочем, у меня есть и другие фотографии ваших первых дипломатов, фотографии, которых, быть может, вы прежде и не видели. Вот Карахан, а это Иоффе, а вот здесь историческое событие в своем роде. Помните освобождение Литвинова из лондонской тюрьмы в 1918 году и обмен его на какого-то британского шпиона?

— На Брюса Локкарта? — подсказываю я.

— Да, да, кажется, на Локкарта. Обмен состоялся на русско-финской границе, туда выезжал Воровский. Был там и я, как, впрочем, и другие корреспонденты. Кстати, там был знаменитый Артур Рэнсом, писатель и журналист, которого не раз принимал Ленин. Вот на этой фотографии он легко обнаруживается. Этот, в русской поддевке и серой каракулевой шапке, какую носят ваши казаки. А эта большая фотография сделана вскоре после того, как обмен состоялся. Вот видите, Воровский, где-то тут должен быть и Литвинов... А вот это — одна из редких фотографий президиума Первого Конгресса Коминтерна. Нет, я не видел такой ни в одном из ваших изданий. Крайний справа, Фриц Платтен, да, тот самый, который был рядом с Лениным тогда в Треллеборге, впрочем, он был рядом с Лениным и позднее — это он защитил собой Владимира Ильича во время покушения на него 1 января 1918 года. Я сберег эти фотографии, и теперь они займут свое место в книге.

Я ловлю себя на мысли: много из того, что я пытался восстановить в своих работах по драгоценным крупицам архивных материалов, по воспоминаниям современников, разбросанным в повременной печати, Отто Гримлюнд легко восстановит по своим собственным воспоминаниям. Он был этому свидетель. Хотя бы акт обмена Литвинова на Локкарта на советско-финской границе. Помню, сколько труда стоило написать эту сцену в «Дипломатах». Материалов, рисующих зримую картину событий, практически нет, да и свидетелей не осталось. Оказывается, свидетель есть. Как доказательство тому — фотография на столе. Описать событие по документам, а потом увидеть это событие вот так зримо, как я увидел его на фотографиях Гримлюнда в Стокгольме, значит обре-

сти редкую возможность проверить свое зрительное мышление.

А Гримлюнд продолжает рассказ, и героями этого рассказа являются участники другого события, вошедшего в нашу историю под именем «миссии Буллита». Сейчас он рассказывает о том, как весной 1919 года миссия Буллита прибыла в Петроград.

— Помню, что на Дворцовой площади был парад, и американцы прибыли туда недоверчиво-настороженные, не скрывающие этого своего состояния. Но вот парад начался. Надо было видеть, как это зрелище советской доблести, поражающее не столько оружием, сколько духом своим, и следа не оставило от скептицизма американцев. Я видел, как они кричали вместе со всеми «Ура!». Разумеется, это зрелище было чисто эмоциональным, но и оно что-то значило.

— Это было до поездки миссии в Москву, до встречи с Лениным?

— По-моему, по пути в Москву.

Ответ Гримлюнда говорит мне о многом. Очевидно, парад в Петрограде явился для американцев своеобразным предисловием к встрече с Лениным.

(Уже вернувшись в Москву, я пытался в отчете миссии Буллита найти то место, где он говорит о параде в Петрограде. Это место настолько любопытно, что мне хотелось бы его воспроизвести: «Я видел в Петрограде смотр 15 тысяч солдат, — отмечает Буллит. — Они прекрасно маршировали, и их экипировка, обувь, обмундирование, винтовки, пулеметы и легкая артиллерия были превосходны. Но у них нет артиллерии, аэропланов, газовых снарядов, жидкого огня и никаких вообще более утонченных орудий истребления. Все утверждают, что набор в армию легче всего происходит в местностях, которые раньше находились под властью Советов, потом были захвачены антисоветскими силами, а затем снова заняты Красной армией... Убежденные коммунисты, составляющие основные кадры армии, сражаются с энтузиазмом, напоминающим времена крестовых походов... Дисциплина восстановлена, и в целом дух армии очень высок, особенно в свете ее недавних успехов. Солдаты уже не напоминают забитых собак, как было в царской армии, и держат себя, как свободные граждане... Они очень популярны в народе...»)

И вновь наш разговор возвращается к главной теме: Ленин.

— Вы помните этот особняк на Софийской набережной в Москве? Да, да, там, где сейчас находится английское посольство, — вспоминает Гримлюнд, и его вдруг охватывает неудержимое веселье. — Я жил в этом особняке. Впрочем, надо рассказать обо всем по порядку.

Он задумывается, все еще улыбаясь, потом произносит:

— Вот как это было. Красная Армия взяла в плен десять шведов. Это произошло где-то на севере, во время боев с англичанами. Не знаю, как шведы попали в английскую армию, как сражались, но в плен они пошли с энтузиазмом. Так или иначе, а шведов привезли в Москву. Когда в очередной раз я приехал в Москву, меня встретил Дзержинский. «Послушайте, Гримлюнд. У нас сидят шведы. Помогите их допросить. Понимаю, как необычна эта просьба, но шведы говорят только по-шведски...» Разумеется, я дал согласие, допрос состоялся. Видимо, бес попутал шведов, и они оказались в армии британцев, о чем теперь, как показалось мне, сожалеют.

Через несколько дней я встретил Дзержинского вновь. «Ну, как шведы, Гримлюнд? Допросил?» — «Да, допросил, товарищ Дзержинский». — «Так что же будем делать с ними?» Я задумался. В самом деле, что делать с десятью пленными? У меня было такое впечатление, что они пошли в армию интервентов по недопониманию, больше того, по принуждению. Я сказал об этом Дзержинскому. «Ты полагаешь, Гримлюнд, что их надо отпустить и выслать в Швецию?» — «Думаю, что так было бы разумно». — «Ну что ж, спросим об этом Владимира Ильича».

И вот через несколько дней, как сейчас помню, это было в кремлевской столовой, товарищ Дзержинский подвел меня к Владимиру Ильичу: «Товарищ Отто Гримлюнд помог нам допросить шведов, Владимир Ильич». — «Это тех, которых захватили где-то около Архангельска?» — «Да, Владимир Ильич, этих шведов. Товарищ Гримлюнд считает, что шведы раскаялись и самое лучшее — дать им возможность вернуться на родину». Владимир Ильич посмотрел на меня, как мне показалось, строго: «Вы полагаете, что они раскаялись?» — «Да, так кажется мне, Владимир Ильич», — ответил я. Ленин вдруг улыбнулся. «Вот что, — обратился он к Дзержин-

скому. — Поговорите еще со Сталиным. Шведы ведь у нас в России — национальное меньшинство, а наркомом по национальным меньшинствам является он». Мне показалось, что Ленин хотел еще подумать, прежде чем принять решение, и избрал такой вариант ответа.

Однако через несколько дней решение было принято. Не знаю, имел ли место разговор со Сталиным, но решение подписал и он: «Освободить пленных шведов и дать возможность им вернуться в Швецию».

И вот однажды на Софийскую набережную, где я жил, является красноармеец с распиской в руках: «Вы — Отто Гримлюнд?» — «Я». — «Распишитесь, что приняли от меня десять шведов». Выглянул я в окно и все понял: шведы действительно были тут. Значит, все было организовано, как нельзя более целесообразно: шведы освобождены и переданы с рук на руки своему ходатаю.

Я поставил свою подпись под распиской и вышел к своим соотечественникам, думая, что же мне с ними делать. Я вспомнил, что в Москве есть представительство одной шведской фирмы. Не передать ли ей пленных шведов, подумал я. Все-таки у нее большие возможности отправить их на родину. Так и решил. Наверно, зрелище идущих через Москву пленных шведов, возглавляемых шведским социалистом, было необычно. По крайней мере, когда я вспоминаю об этом сейчас, не могу не улыбнуться. Но тогда все обстояло именно так. В ту же ночь (по-моему, все это произошло ночью) я передал шведов представителю фирмы. Любопытно, что некоторые из этих десяти шведов живы до сих пор. Среди них довольно известный наш актер Фишер. Мне говорили, что на днях он выступал по телевидению с подробным рассказом о том, как попал к русским в плен и был освобожден по распоряжению Ленина.

Гримлюнд задумался. Эта история о последнем шведском походе на Россию, которую он рассказал так весело, встревожила его память и, так мне казалось, мысль.

Наверно, у Гримлюнда боролось два чувства. Первое: понимание, что шведы вдосталь хлебнули горя и одно это помогло им внять голосу правды. Второе: если зло останется безнаказанным, оно может обратиться в новое зло — человек должен отвечать за свои поступки.

Думаю, что решение и Гримлюнду далось не просто.

Он принял первое решение и, очевидно, доказал, что оно справедливо.

Русские с ним согласились, и шведы были возвращены на родину, а Гримлюнд продолжал размышлять над своим решением и пристально следил за тем, как складывалась судьба тех, кто вернулся на родину.

Еще раз оглядываю большой письменный стол Гримлюнда, заваленный бумагами, и обнаруживаю в дальнем конце его магнитофон. Мне говорили, что недавно Гримлюнд был болен, и его работа над книгой прервалась. Я не мог не подумать: возможно, Гримлюнд опасался, что болезнь сорвет его работу над книгой и по этой причине обратился к магнитофонной записи. Было бы бесконечно обидно, если бы не удалось записать весь рассказ Гримлюнда. Будто проникнув в мои мысли, Гримлюнд замечает:

— Конечно, заманчиво записать все, что ты помнишь, просто записать. При этом точно воспроизвести свои статьи тех лет, а их немало. Кстати, такое воспроизведение имеет свои достоинства: статьи написаны по свежим следам, а описание событий в них более точное, чем то, которое ты можешь сообщить им сегодня. Заманчиво в работе над книгой пойти этим путем. Однако вряд ли это было бы правильным. Хочется написать настоящую книгу, так, чтобы она и написана была в меру твоего литературного умения.

— Когда книга будет закончена?

— Думаю, что в начале 1969 года, — отвечает Гримлюнд. — Однако для этого следует еще раз побывать в Москве и поработать в архиве. Хочется, чтобы фактическая сторона книги была безупречной.

Оглядываю стол, за которым сидим. Вижу толстую тетрадь с полуисписанной страницей... Видно, это писалось только что: рукопись книги о Ленине и русском Октябре? И я не могу не подумать: наверно, в жизни Гримлюнда сейчас самое дорогое — вот эта тетрадь. Да, надо дожить до таких седин, до каких дожил он, чтобы понять, как это дорого.

Беседа идет к концу, и я осторожно спрашиваю Гримлюнда о портрете с дарственной надписью. Вернее, о портретах. Ведь речь шла о двух портретах.

— Да, портреты целы, — говорит Гримлюнд, и его большая рука, по-стариковски неторопливая, тянется к папке. — Оба целы...

Он раскрывает папку, и портреты ложатся на стол.

Они лежат на столе, два портрета Ленина. Если быть точным, то это один портрет в двух экземплярах, да, тот самый портрет работы Наппельбаума, однако надписи на портрете разные.

— Вот этот второй портрет, помеченный двадцатым годом, мне особенно дорог. Первый я попросил у Ленина, второй он подарил сам. Я так думаю: в знак благодарности... — он задумался, точно стараясь воссоздать в памяти, как был подарен этот второй портрет, в знак благодарности подарен. — Закончу книгу — открою ее портретом Ленина, одним из этих двух... — произнес он, оживившись. — И в книге обо всем расскажу...

— И про то, как ехали с Лениным апрельской ночью из Треллеборга в Стокгольм?..

— Да, об этом... с этого все началось.

Он так и сказал: с этого все началось. Очевидно, в этих словах и ответ на вопрос, который я себе поставил, направляясь к Гримлюнду: что определило его отношения с Владимиром Ильичем, отношения, которые отразили и дарственные надписи на портретах. Мы можем и не знать больше того, что рассказал нам Гримлюнд, но, очевидно, и этого одного достаточно: Ленин вспомнил ту ночь, ту апрельскую ночь, когда ехал из Треллеборга в Стокгольм, ехал навстречу революции и будущему. Такому суждено быть только раз в жизни. Суждено быть и не забыться.

А чем явилось все это для самого Гримлюнда?

Пусть позволено будет мне воспроизвести высказывание одного шведского друга, мнением которого я дорожу:

— Гримлюнду выпало редкое счастье быть очевидцем событий, определивших сам климат нашего времени. Однако события эти в сущности определили лишь начало жизни Гримлюнда: где-то в тридцатых годах он ушел с дороги борьбы... И только совсем недавно, когда Швеция праздновала полустолетнюю годовщину русской революции, я вдруг услышал старого Гримлюнда. На торжествах, устроенных Обществом «Швеция — СССР», слово было предоставлено ему, и он заговорил о величии идей, вызвавших революцию к жизни, о величии людей, эти идеи осуществивших. Я слушал Гримлюнда и думал: прозрение оправдано, если даже главный перевал жизни у человека остался позади...

ДОРОГА ДЕВЯТАЯ

НАНСЕН ПИШЕТ В РОССИЮ

Помню, что в моем родительском доме на Кубани была книга о Фритьофе Нансене. Не помню, была ли эта книга иллюстрированной, но в памяти отпечаталось лицо Нансена, открытое, сурово-доброе. Возможно, представление о лице норвежца дала мне сама книга, ее текст, как я его воспринял в те годы. Это было жестокое время для России. Голод шел по стране, страшный голод. Наверно, я вижу сейчас те годы так, как я увидел их десятилетним мальчишкой — это были не только глаза ребенка, но и глаза самой боли. Я вижу поезда, идущие сквозь зимнюю замять, и людей на крышах вагонов. Вижу заснеженную привокзальную площадь и неподвижных, как после боя, людей на снегу. И вот в ту жестокую пору газеты часто писали о Нансене — что-то хорошее он делал для России, что-то такое, что способно было взволновать и детскую душу. Кстати, газеты писали, что Нансен был в Москве, а потом поехал на Волгу — там засуха была особенно зла. Трудно сказать, что вошло в сознание раньше: книга о «Фраме» или весть о поездке Нансена на Волгу, но одно и другое слилось для меня воедино в имени норвежца, которое моему ребячьему сердцу представлялось добрым: Фритьоф Нансен.

И я подумал: что повлекло его в Россию, что заставило оставить дела науки, без которых человек не мыслил своей жизни, и все последние годы посвятить дея-

тельности, которая имела к Нансену отношение не большее, чем к любому из его современников?

Вряд ли я смог бы ответить на этот вопрос, даже если хотел, — я не знал жизни Нансена. Не думаю, чтобы знание жизни ученого, которое пришло с годами, помогло найти безошибочный ответ — просто ответов стало больше. Втайне я надеялся: если когда-нибудь удастся побывать в Норвегии, я постараюсь добраться до корней того, что интересовало меня издавна. Так, как смогут ответить на этот вопрос в Осло, нигде ответить не смогут.

1

И вот Норвегия, Осло. Конец мая. Весь город в розово-белом дыму сирени. Никогда не видел прежде: не кусты, а деревья сирени. Город полонен сиренью, да, пожалуй, русами — семнадцати- и восемнадцатилетними парнями и девушками, только что окончившими гимназию. Вид у них ошалело-бравый. Красные фуражки, украшенные кистью и пластмассовым жуком на пружине, который постоянно вздрагивает. На синих пиджаках парней — ярко-красные аппликации. У каждой школы — свои: кот с изогнутой спиной, точно перед ним незнакомая собака; голова шипящей змеи; козел, изготовившийся для удара. Плотина прорвалась, и город заполнен русами. Месяц вольной жизни, когда дозволяется то, что никогда не дозволялось прежде и, пожалуй, не будет разрешено впредь. К ним снисходительно доброе отношение: все, мол, были русами. Пройдены школьные тернии, и впереди ой какие тернии жизни. А сейчас привал на пути, передых до того, как начать восхождение. И русы дают волю страстям. Такое впечатление, что после того, как они закончили гимназию, там уже никого не осталось. Но впечатление это обманчиво. В самый разгар буйства русов город оглашается звуками оркестров. Оркестры, как водопады, хлынули со всех холмов Осло. Это парад школьников — они ведь тоже закончили год. У каждой школы своя парадная форма. Что-то в этой форме от того, как была одета гвардия в прошлом веке. Мундиры. Бело-голубые, бело-красные, ярко-синие. Кивера. Эполеты. Аксельбанты. Зрелище ослепительное. Оркестры играют беспрерывно. Нет, не только бравурно-маршевую музыку, но и сложную, с настроением и психологией, в частности Грига. И повсюду на пути следования школ стоят на

тротуарах русы: всесильный бес поселился в них на весь месяц. Они, пожалуй, единственные, кто свободен от восхищения — они-то знают истинную цену всему этому грохоту и блеску.

Однако то, что не трогает русов, меня, признаться, трогает. Праздник молодости слишком зримо сомкнулся с праздником природы — недаром же эта пора совпала с цветением сирени, вон как расцветило сизо-красными и багрово-синими всполохами гору. А я иду по городу и думаю: а ведь это же город Нансена. И мир Осло, как он отложился в устоях и традициях города, был миром Нансена. Наверно, с какой-то из этих школ вот в такие же сиреневые сумерки он маршировал под звуки оркестра, а потом вместе с русами предавался их храброму буйству, а потом... В Национальном театре, чьи большие красновато-коричневые стены не могут быть затенены и старыми дубами, он смотрел Ибсена. А в университете — его широкое с колоннами здание через дорогу от театра — он первый раз раскрыл свой план похода через Гренландию на лыжах. И где-то здесь, у главного причала — порт рядом, — встал впервые «Фрам». До сих пор стоит знаменитый корабль Нансена, и при желании отсюда можно увидеть островерхую зеленую крышу, которой он прикрыт на своей вечной стоянке.

Я так спешил попасть в музей, что приехал туда едва ли не за два часа до открытия. Возвращаться в город не было смысла, и я решил спуститься к воде, откуда, как мне казалось, открывался вид на Осло. Но едва я обогнул здание морского музея, который расположен рядом с музеем «Фрама», как мое внимание привлекло странное сооружение. По своим размерам и отчасти формам оно напоминало слоненка, сшитого из толстых листов железа и простроченного прочной клепкой.

— Что это могло бы быть? — услышал я голос за спиной. Я оглянулся — передо мной стоял человек весьма почтенного возраста, на нем была соломенная шляпа и легкий костюм, сшитый из пористой рогожки, — судя по тому, что человек заговорил по-английски, он определенно принял меня за туриста.

— Да не подводный ли это домик Пиккара? — сказал я наобум.

— Нет, для Пиккара он слишком стар, — заметил незнакомец.

— Тогда подводная лодка, одна из тех, что были созданы в начале века и, кажется, принадлежали немцам? — заметил я.

— А ведь это больше похоже на истину, — произнес он.

Так или иначе, а пока мы устанавливали назначение железного «слоненка» (сравнение это давало лишь приблизительное представление о странном сооружении, которое было сейчас перед нами), его национальность и возраст, мы познакомились. Незнакомец оказался старым чиновником бергенского порта, впрочем, находящимся уже много лет на пенсии, который был сотрудником знаменитой «конторы Нансена», возникшей вскоре после того, как норвежский ученый стал верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных. Мой собеседник — он назвал себя Руалом Ларсеном, пишет в некотором роде мемуары и в этой связи явился в музей морского дела. До открытия музея оставалось добрых полтора часа, и мы спустились к берегу, однако не покинув густой тени, которую простерло до самой воды большое здание музея. Давно уже было установлено назначение «слоненка» (он оказался подводной лодкой, построенной в начале века и рассчитанной на экипаж из двух человек), а мы не расходились. Разговор зашел о Нансене, и я дал возможность моему собеседнику сказать все, что он хотел сказать.

Вот что рассказал мне Руал Ларсен в те полтора часа, пока мы ждали открытия музея.

— Нет, что ни говорите, а жизнь Нансена — это пример того, как человек приносит себя в жертву времени, — начал Ларсен, устраиваясь на крашеной скамейке, стоящей у дерева, и предлагая мне место рядом с собой. — У него была одна цель всю жизнь: продолжать исследование Арктики. Ему казалось, что он завершил лишь первый этап этой работы — Северный полюс. На очереди — второй: полюс Южный. Однако полюс Южный навсегда остался его вожделенной мечтой. Вторглись события, оказавшиеся сильнее Нансена. Пришел девятьсот пятый год и все переиначил в жизни Нансена, впрочем, не только в его жизни, но и в истории всей Норвегии: после ста лет борьбы, борьбы злой, когда дело... того гляди могло дойти и до оружия. Норвегия отказалась от унии со Швецией и обрела независимость. Если быть точным, то независимости еще не было, ее надо было еще выхо-

потать у Европы. Да, добиться того, чтобы Европа не отдала нас Швеции вместе с потрохами!.. И вот тогда пришел Нансен: двери любой европейской канцелярии широко распахивались, когда появлялся он, — Ларсен произнес «он» с той значительностью, которая не оставляла сомнений: речь идет о Нансене. Ларсен сказал «он» и измерил взглядом острый конус музея «Фрама», который был виден поодаль. Он взглянул на островерхую крышу так, будто бы там сейчас был Нансен и мог его услышать. — Но это еще не все: в 1906 году со все той же задачей укрепления своей независимости Норвегия направила Нансена послом в Лондон. Норвегия приказала, чтобы он занял твердую позицию (цель у него все та же: отстоять норвежский суверенитет), и Нансен занял эту позицию — она была тверже твердой... Он продолжал свою деятельность, которая по сути была дипломатической и во время первой войны, а затем направился за океан, убеждая Америку смягчить режим блокады. Тогда для Норвегии не было задачи важнее: блокада отрезала Норвегию от моря, а море для нас все равно, что для России хлебное поле. Отсечь море — значит обречь страну на голод. Словом, Нансен должен был уговорить американцев снять блокаду. Задача не простая, но Нансен ее решил. Вряд ли кто-либо предполагал в ту пору, в том числе и сам Нансен, что эта его деятельность на пользу Норвегии явится началом работы, масштабы которой еще не знало человечество.

Я не могу сказать, что близко знал Нансена, хотя и работал в некотором роде под его началом, — он сказал «его началом» и вновь взглянул на островерхий шалаш, в котором стоял «Фрам». — Однажды, когда речь шла об американской блокаде норвежского побережья, Нансен разговаривал в Бергене с портовиками и, очевидно, по совету своих бергенских друзей, пригласил меня принять участие в этой встрече. Если вы бывали в Бергене, быть может, знаете наш старый город, да, на горе за бергенской крепостью, там сегодня в некотором роде заповедник нашей старины — разговор происходил там. Видно, Нансен хотел понять проблему и собрал всех, кто стоит у морских ворот Норвегии. Помню, что я удивился его умению слушать — говорили все, но только не он. Он смотрел на тебя голубыми глазами и в знак согласия кивал головой, как бы поощряя: «Ты говоришь дело, ты определенно говоришь дело...» Только в конце беседы, ког-

да один из наших удачливых капитанов, чье судно вопреки блокаде возвратилось в порт — и кажется — не однажды с рыбой, когда этот капитан сказал, что ему не страшна война, Нансен нахмурился: «Кто говорит, что война ему нипочем, не понимает ни в войне, ни в жизни...» Я потом часто вспоминал эти слова Нансена. По-моему, он был одним из тех, кто и умом и сердцем познал трагедию войны. Познал еще до того, как увидел все ее несчастья, а увидеть ему пришлось много. Познал и явился горячим сторонником того, что позже получило название коллективной безопасности.

Да, он считал, что новое такое несчастье можно предотвратить, если удастся создать суд справедливости народов, союз народов. Этот союз народов он хотел видеть в лице Лиги Наций, он был горячим сторонником ее идеи, он верил в Лигу Наций. Норвегия, воздавая должное престижу Нансена за рубежом, поставила его во главе своей делегации в Лиге Наций. Но обязанности Нансена в Лиге Наций неожиданно обрели глобальные размеры. Неожиданно? Нет, в этом была своя закономерность. С тех пор как было подписано перемирие, прошло полтора года, однако все еще в разных местах земного шара, в ее далеких углах жили тысячи и тысячи пленных. Задача заключалась в том, чтобы вернуть их на родину. Как считали повсюду, во главе этой работы должен стать человек, который заслуживает всеобщего уважения и своим душевным величием. Было названо имя Нансена. Говорят, поначалу он отказался. Я понимаю его. Он — ученый и не мыслил своей жизни без науки. В трудную для Норвегии пору он принес ей в жертву свои творческие интересы и мечтал вернуться к делам науки. Но разве страдания, которые теперь пали на голову сотен тысяч невинных людей, заслуживали меньшего участия? Нансен согласился. Так он стал верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных. То, что сделал тогда он, известно: почти полмиллиона пленных, которых разбросала война по всей земле, — если мне память не изменяет, пленные находились в двадцати шести странах, — вернулись на родину.

Мой собеседник снял шляпу и положил рядом. Солнце забиралось все выше, и тень от большого здания музея становилась заметно короче. Несмотря на близость воды, ветер не умерял жары.

— Помните эти слова Нансена, которые он сказал удачливому капитану в старом Бергене: «Кто говорит, что не боится войны, не понимает ни в войне, ни в жизни»? — поднял на меня глаза Ларсен. — Наверно, и сам Нансен возвращался к этой мысли не раз!.. Наверняка возвращался! ...Едва было покончено с проблемой военнопленных, возникла новая — беженцы! Да, война вызвала невиданное доселе движение народов! Смертельное дыхание огня (это способен сделать только огонь!) заставило людей оставить родные очаги, землю, могилы детей и отцов и устремиться навстречу неизвестности и нужде. Эти тысячи одиноких, нежелательных, безработных и нищих людей продолжали нести бремя войны и через годы и годы после того, как она кончилась. Если все проблемы с военнопленными были решены, как только они вернулись на родину, то здесь все было много сложнее. Речь шла о том, чтобы поселить беженцев, дать им работу, уравнять их в правах и в быте с остальными гражданами. Короче, Красный Крест просил Лигу Наций назначить верховного комиссара по делам беженцев. Лига Наций предложила Нансену взять эти обязанности на себя. Нетрудно себе представить, в какое положение это поставило его — масштабы этой работы во много раз превосходили размеры работы с пленными, там речь шла о сотнях тысячах, а здесь — о полутора-двух миллионах. Нансен дал себя уговорить. Уже начав эту работу, Нансен обнаружил, что она непредвиденно осложнилась из-за того, что беженцы не имеют паспортов. Да, беженцы не имели документов, удостоверяющих личность, и по этой причине правительства отказывались иметь с ними дело. Как это было с Нансеном неоднократно прежде, он решил эту задачу просто: создал новый паспорт для беженцев, нансеновский. Однако паспорт не решал всех проблем, да и не мог решить. Надо было найти место на земле, где бы могли поселиться беженцы, и создать им условия для жизни. Нансен действовал убеждением, стремлением пробудить совесть мира. Чтобы решить эту задачу, требовались немалые средства. Их у Нансена не было. То, что могли предоставить соответствующие международные фонды, не давало возможности покрыть и части расходов. Лига Наций выразила доверие Нансену и оставила его едва ли не один на один с его новыми обязанностями. Простите меня, но это мое мнение, и я за него отвечаю: ему взвалили на плечи гору и сказали, что-

бы он нес. Взвалили и разбежались по сторонам: как у него это получится? Он — совестливый человек, он пытался нести эту гору, но это не так легко... Трагедия мира стала его личной трагедией. Да, начало того, что произошло с ним в мае тридцатого года, надо искать здесь...

Мой собеседник печально смотрел на шалаш музея — Ларсен явно давал мне возможность до конца проникнуть в смысл слов, которые он произнес только что.

— Как это на первый взгляд ни парадоксально, бедствия, вызванные войной, с годами не уменьшались, а возрастали, — продолжал Ларсен. — В том, как одна беда следовала за другой, был свой цикл, своя логика: военнопленные, беженцы, голод. Да, проблема беженцев была много больше проблемы военнопленных, а проблема голода значительно превосходила проблему беженцев. Вот где Нансен почувствовал, как он одинок! Но вот что характерно: здесь, на Западе, понимали народы и отказывались понимать правительства! Отказывались понимать!.. Известно, что советский режим внушал на Западе страх. Желание Нансена помочь русским приравнивалось к усилиям укрепить Советы, помочь им совладать с испытаниями и выжить. В этой связи и в самой Лиге Наций, и у большинства правительств Нансен не находил поддержки. Поистине у него было такое ощущение, что он бьется головой о стену!.. Однако он не был бы Нансеном, если бы пришел в отчаяние. Его поддерживали народы и не поддерживали правительства? Ну что ж, он через голову правительств обращается к народам!.. Да, он человек отнюдь не революционных взглядов, даже наоборот, в какой-то мере консерватор, обратился к методам революции: через головы правительств — к народам! Да, он решил создать свой фонд помощи голодающим и встал во главе сбора средств. Он полагал, что нигде личный пример не может быть так действен, как здесь, и отдал фонду всю Нобелевскую премию. Когда датский издатель Эриксен решил вознаградить его и вернул ему эту сумму в качестве своеобразного дара, он отдал фонду и ее! Он обратился ко всем честным людям с горячим призывом помочь собрать какие-то средства. Это было первое истинно массовое движение людей земли, явившееся прообразом движений совестливой мысли, которые мы узнали позже. В его фонд шли пожертвования отовсюду: рабочие работали по воскресеньям, крестьяне слали рис и хлеб, арти-

сты давали спектакли и концерты, художники писали картины... Конечно же, общая сумма оказалась скромной, быть может, даже очень скромной в сравнении с размерами бедствия, но все, что мог сделать этот человек, он сделал. Кстати, я слыхал, что русские воздали должное благородству Нансена. Говорят, самое высокое собрание России — съезд Советов — решило поблагодарить Нансена. Я немного знаю русскую сдержанность, русскую и, пожалуй, советскую и представляю, что это значит. По-моему, такой чести в России не удостаивался никто из иностранцев...

Ларсен взглянул на тень, которая угрожающе укоротилась, потом на часы и надел шляпу: час открытия музея близился.

— Чтобы представление об усилиях Нансена было полным, нельзя не упомянуть о последнем акте его деятельности, — произнес Ларсен. — Коротко это выглядело так. Как известно, в итоге войны между Турцией и Грецией много турок оказалось на земле, занятой греками, и наоборот, еще больше греков попало под власть турок. Уже одно это было зерном нового конфликта, новых бедствий. План Нансена, к которому обратился за содействием Красный Крест, был прост: вернуть греков в Грецию, а турок в Турцию. Нансен предложил и отошел в сторону, ожидая, как встретят план одни и другие. План был разумен и прост, как все, что предлагал этот человек, однако наступила пауза: стороны думали. Потом раздались протестующие возгласы. Протестовали и одни и другие. Казалось, впервые стороны были так единодушны, как теперь. Нансен даже и не предполагал, что, внося свое предложение, вызовет у них такое единодушие. Правда, он хотел иного ответа. Он хотел, чтобы они сказали «да», а они говорили «нет». Однако Нансен знал, что расстояние от «нет» до «да» меньше, чем мы иногда думаем. Нансен запасся терпением и ждал. Нет, не просто ждал, а убеждал: то, что он предложил, единственно разумно. В общем, план был принят, принят с редким единодушием. Теперь надо было добыть деньги, много денег, чтобы переселить людей. И опять раздались протестующие крики: «Откуда взять столько денег?» В общем, деньги были найдены. Да, найдены, и переселение было осуществлено. Переселилось почти два миллиона человек. Шутка ли: почти два миллиона? Нансен осуществил все это с той спокойной корректностью и деликатностью,

с какой делал все. Наверно, он даже улыбался, стараясь показать, как он спокоен. Он-то улыбался, а сердце... сердце не заставишь улыбаться, если человеку худо. Короче: главный удар приняло сердце...

Мой собеседник встал, медленно прошел вдоль берега. В очередной раз к берегу причалил катерок, пришедший от ратуши, — на этот раз он привез много пассажиров. Видно, они помнили час открытия музея точнее нас с Ларсеном. А человек, рассказавший мне историю Нансена, не расставался со своей думой — что-то он еще не сказал из того, что хотел сказать.

— Последний раз я видел его году в двадцать восьмом, — произнес наконец он. — Иначе говоря, я увидел его в тот самый год, когда он в сущности завершил то, что вошло в историю под названием гуманистической деятельности Нансена. Казалось, Нансен получил возможность подвести итог своей жизни, которую он прожил не зря. Подвести итог и испытать удовлетворение. Однако Нансен был печален. Никогда я не видел Нансена таким хмуро-озабоченным, таким усталым — лицо его было серым, в морщинах, глубоких морщинах... Человек большого физического и душевного здоровья, непреклонно стойкий, он был повержен и сломлен годами борьбы, которая была для него неравной. Борьбы против равнодушия, которое ему противостояло, мелкого национального эгоизма, косности. Он часто говорил в эти годы, что мог бы сделать во много раз больше, если бы в этой борьбе с силами зла не был так одинок. Он умер 13 мая 1930 года. Все, что могла сделать для него Норвегия в знак великой благодарности за то, что совершил для нее Нансен, она сделала. Нансен был предан земле в национальный день Норвегии — 17 мая...

2

А между тем часы показали долгожданные одиннадцать, и я вдруг почувствовал, что мне не просто пройти под островерхую крышу и подняться на борт «Фрама».

Я решил вначале осмотреть музей морского дела. Так я и сделал, тем более что у Ларсена был такой же план. Почти два часа мы ходили между больших и малых лодок, о каждой из которых можно было написать книгу. Это были знаменитые лодки, сработанные умелыми руками тружеников моря, они были испытаны в ответствен-

ном и опасном деле. Лодки были скроены из железного дерева, — его, это дерево, не брали ни влага, ни время. Оно просолилось и продубилось, это дерево; если только можно так сказать о железе. Лодки нельзя было назвать красивыми, но зато они были надежны, разумеется, если надежен был человек, севший на весла. Я видел четырехвесельные и шестивесельные лодки, на которых в годы войны норвежцы уходили в Шотландию. Кто-то из тех, кто прошел по этому пути, сказал о лодке: «Открытая лодка!» И надо ее видеть, эту лодку, чтобы понять, как она открыта ударам стихии, как она не защищена перед наступлением моря. Надо видеть лодку, чтобы понять, что единственная надежда здесь и опора — человек, отважившийся пересечь на этой лодке море. Вот поэтому рассказ о лодках в сущности был рассказом о норвежском характере — об упорстве, терпении, настойчивости, мужестве человека, живущего на северном краю земли. И рассказ о норвежском характере завершился так, как должен был для меня завершиться в это утро.

— Норвегия — одна из тех стран, где принято обращаться к людям без посредников, — сказала мне Торбург Линд, хранительница библиотеки музея. — Здесь прямое обращение часто предпочтительнее рекомендательного письма и визитной карточки...

— Значит, если говорить о миссии Нансена в Россию?.. — попробовал уточнить я.

— Если говорить об этой проблеме, то вам следует иметь в виду двух лиц: Финна Сулье, директора Института Нансена, и Чархейма, редактора пятитомного издания писем Нансена, и прямо к ним обращаться, — она открыла телефонную книгу и вписала в мой блокнот номера телефонов и адреса.

— «Пульхегда»? — переспросил я — по книгам я знал, что у дома Нансена было свое имя.

— «Пульхегда», — повторила она, — улица Нансена, 17.

С этим я и приступил к осмотру «Фрама». Корабль блистал свежей краской и чистотой. Чтобы сохранить «Фрам» на века, наверно, надо было возвести над ним крышу и трижды выкрасить, чтобы краска, как броня, охранила дерево. Но в облике корабля, наверно, что-то утратилось от той далекой поры, когда он прошел своей знаменитой ледяной дорогой. В облике корабля?.. Но ведь не все же можно обернуть в непробиваемую броню

олифы и краски?.. Унты и куртку Нансена, например, не окрасишь и шкуру белого медведя, что лежит в каюте ученого, тоже не перекрасишь — они сохранились в том виде, в каком были при Нансене, хотя, быть может, и утратили тепло прикосновения рук человека — человек уходит, и вещи остывают. И все-таки «Фрам», как я увидел его в то памятное майское утро 1968 года, рассказал моему сердцу о Нансене много и во многом помог понять его натуру.

«Фрам» — это дом Нансена во льдах. Дом человека, который видит сегодня то, что ожидает его через месяц и через год и решительно не намерен ничем пренебрегать. Если есть два типа ученых: те, что парят в небесах, и те, что ходят по грешной земле, — Нансен принадлежит ко вторым. Как ни дерзки его мечты и замыслы, он понимает, что экспедицию надо уметь снарядить. Я представляю, как задолго до того, как корабль уходил в дорогу, в записной тетради Нансена возникал список вещей, которые надо взять. Сотни, тысячи вещей. Самых разнообразных. Тетрадь всегда была под рукой и ежеминутно, ежечасно в нее могли быть внесены все новые вещи. «Не забыть — записать! Не забыть!» Корабль, как бы мал он ни был, это город, а может быть, даже страна в миниатюре. Поэтому человек, вставший во главе экспедиции, точно взял под свое начало целый мир вещей. Легче всего пренебречь всем, что прямо тебя не касается. Однако это, как показывает опыт, до добра не доводило. Впрочем, это же удовольствие все оглядеть, все ощупать своими руками, до всего доискаться, все понять.

Я иду из каюты в каюту — двери подняты высоко, и такое впечатление, что ты входишь в каюту через окно и из окна выходишь. Аптечка. Пузырьки из грубого, часто цветного стекла — тот век! На каждом надпись. Тщательно выведенная. Фаянсовая посуда аптеки — лекарства приготовлялись тут же. Видимо, готовил их врач. Его кабинет рядом. Он и терапевт и хирург. На столе — инструментарий. Главным образом хирургический. Выстроились, как на параде, шприцы, металлические бандажи, скальпели и пилы. Дело не шуточное, может дойти и до скальпеля с пилой.

Время выветрило запахи даже на судовой кухне. Остыла плита, и никель стал синим. Однако все здесь точно и целесообразно. Как, впрочем, и внизу, где, судя

по всему, был склад продуктов и снаряжения. И еще ниже, где стоят, точно присмирев, рабочие лошади корабля — его машины. Кстати, в машинном зале свежей краски меньше, и такое впечатление, что здесь было так, как при Нансене.

И есть еще одно место, где все сбережено, как при Нансене — в рабочих каютах ученого. Ружья разных калибров и типов, их много — вряд ли Нансен ходил с ними на белых медведей специально, но обороняться приходилось и ему. Есть рисунок Нансена, который воссоздает такое единоборство. Судя по рисунку, как, впрочем, и по описанию, которое имеется в книге Нансена, единоборство было кровавым. Не обошлось без ружья, да и нож был под рукой. Теперь нож — в кожаных ножнах. Поодаль — лыжи, много лыж. Сани. Фотоаппараты. Даже кинокамера, деревянная на громоздком штативе. На полированном дереве камеры надпись — «кино». Одежда Нансена. Шуба мехом наружу. Унты. Папаха. Я узнаю эту шубу и папаху — помнится, есть арктическая фотография ученого, снятого в этой одежде. Черная куртка с металлическими пуговицами. Тоже вспоминается по портрету, на этот раз рисованному — рисовал Нансен. На столе — шкатулка, в такой хранят дневники. Лист бумаги и перо подле, как подле стеариновая свеча и коробок со спичками. Видно, писал ночами, если ночью можно назвать в длинной полярной ночи время сна.

И еще: наверно, не все время было отдано работе, даже когда корабль останавливался, вмерзшись в лед. В кабинете Нансена я видел футляр со скрипкой, а в кают-компании маленькое пианино с бронзовыми подсвечниками. Кажется, играл и Нансен. Играл и тогда, когда корабль скрипел, зажатый льдом. Наверно, в этом была потребность сердца. Нансен — натура артистическая. Музыкант, художник. Быть может, музыка была тем средством, которое возбуждало душевную энергию людей, вызывала ассоциации, нужные людям, чтобы победить одиночество.

Уже покидая корабль, я отыскал директора музея. Им оказался человек уже преклонных лет, вполне могущий быть современником Нансена. Мы разговорились — Нансена он не знал, но знаком со всеми, кто был близок к ученому.

— Вам надо поговорить с Оддом Нансеном, сыном ученого, — сказал он.

— Это возможно? — спросил я.

— По крайней мере, можете попытаться. Я дам вам адрес.

Он взял телефонную книжку и отыскал номер телефона и адрес Одда Нансена.

— Пожалуйста. Это в самом центре города, неподалеку от королевского дворца.

3

Как советовала многомудрая хранительница библиотеки, на другой день я нашел на карте Осло улицу Нансена (она оказалась где-то за парком Вегеланда), сел в трамвай и поехал. Человек в брезентовой куртке, с виду рабочий, на мой вопрос, где дом Нансена, улыбнулся и приподнял ладонь — улица забирала в гору. Я разыскал обозначенный у меня в книжке дом за номером семнадцать, но немало был удивлен, узнав от женщины, которая вышла на мой звонок, что дом Нансена за номером пятнадцать. «Белый дом, — заметила она. — Белый». Действительно, пройдя по дорожке, усыпанной щебнем, в глубь соседнего двора, я увидел белый дом, состоящий из двух сомкнутых домов, напоминающих раскрытую тетрадь для рисования. Именно тетрадь для рисования, а не обычную тетрадь, так как дом был невысоким, однако продолженным вширь. Я вспомнил описание «Пульхегды», которое прочел в книгах о Нансене, и легкое сомнение прокралось мне в душу. А между тем навстречу мне вышел молодой человек в голубой холщовой рубашке — с виду ему было не больше тридцати пяти, то есть он был в том возрасте, когда норвежцы еще говорят по-английски — старше сорока таких все меньше.

— Это дом Нансена? — спросил я.

— Да, конечно, — отозвался он.

— «Пульхегда»? Институт Нансена? — спросил я и при этом не без робости оглядел деревянный дом, соизмеряя его со словом, которое только что произнес — для института этот дом был слишком скромен.

— Нет, «Пульхегда» на другой улице Нансена! — произнес норвежец и при этом улыбнулся так, будто в происшедшей ошибке был виноват он. — Дело в том, что в Осло две улицы Нансена... наша и еще одна, за аэропортом.

— Но, ведь, это дом Нансена? — повторил я свой вопрос.

— Да, конечно... дом Нансена. Здесь жили его родители и здесь он родился. Здесь был... как бы это сказать... пригород Осло. Вот там, напротив, находилась ветеринарная лечебница — лечили лошадей, коров, свиней и всякое иное зверье!.. А здесь была обычная ферма... Вы не смотрите, что у дома вид бравый, ему сто пятьдесят лет!.. Вот здесь и родился Фритьоф, а жил он на другой улице Нансена!.. На другой — это за аэропортом...

Я улыбнулся — норвежец заметил это.

— Рады, что ошиблись и увидели этот дом? — спросил он.

— Да, рад, — признался я. — Этот дом надо спешить увидеть — вон как он стар, сто пятьдесят!..

— Да, стар... — согласился норвежец и повторил, будто бы об этом не было разговора прежде: — Здесь родился Фритьоф, а жил он в «Пульхегде», это на другой улице Нансена, за аэропортом!..

Я поблагодарил норвежца, сфотографировал белый дом и поехал искать другую улицу Нансена.

То, что называлось улицей Нансена, было рядом пригородных вилл, расположенных в парке. Дом за номером семнадцать (все правильно — именно семнадцать!) оказался двухэтажным каменным особняком — такой она и должна быть, «Пульхегда», вспомнил я. На звонок вышел человек средних лет, худощавый, подобранный, одетый в легкий, спортивного покроя костюм.

— Простите, могу я видеть господина Финна Сулье?

— Я — Финн Сулье, — ответил человек очень радушно.

Значит, я попал по адресу — институт Нансена здесь.

Сулье пригласил меня войти — дом мне показался, как я мог его воспринять с первого взгляда, просторным и светлым — может быть, это ощущение света было от ярко-зеленых, залитых солнцем лужаек, которые были видны из всех окон дома. Так вот, оглядывая дом и стараясь получше запомнить его (дом Нансена!), мы вошли в кабинет Сулье. Хозяин предложил мне стул, а сам сел за письменный стол, отодвинув стопку писем и газет — возможно, это была утренняя почта, которую Сулье только что начал разбирать.

Я изложил свою просьбу. Сулье слушал меня с живым интересом и тут же заметил:

— Ну что ж, я готов сделать для вас все, что в моих силах.

Да, он так и сказал: «Все, что в моих силах». Оказывается, эту фразу можно произнести и человеку, который явился без рекомендательного письма и даже без предварительного звонка.

— Что касается материалов о связях Нансена с Россией, то они находятся не здесь, а в университетской библиотеке, — продолжал Сулье. — Однако вы не отчаивайтесь — я готов поехать с вами туда и все устроить. Сложнее относительно вашей второй просьбы — Одда Нансена может не оказаться дома. Но мы попытаемся.

Он снял телефонную трубку и набрал нужный телефон. Не трудно было понять, как он сказал по-норвежски: «Да, он прибыл прямо из Москвы, господин Одд Нансен». И вдруг я услышал, как загудела мембрана от густого баритона, и я подумал, что вот так должен был говорить сам Нансен. И еще я подумал: «Почему так слышен голос, если Одд Нансен живет, как утверждал старик — директор музея, где-то рядом с королевским дворцом. А Сулье, как я понял, объяснял, что гость из Москвы просит передать сыну Нансена, что очень хочет его видеть. А Нансен в ответ что-то гудел своим баритоном, нет, не противился, а объяснял, терпимо, с пониманием. В общем, если бы я говорил по-норвежски, то сумел бы понять то, что говорил Нансен — так четок был голос в телефонной трубке. Однако я по-норвежски не говорил, но ответ Нансена уловил верно: он готов был повидать гостя из Москвы. Сулье поблагодарил Нансена и положил трубку.

— Ну, как? — поднял я глаза на Сулье.

— Он согласен, — был ответ.

— Когда?

— Через пять минут.

— Что, что?

— Через пять минут, — повторил Сулье, улыбаясь — он понимал, что три слова, произнесенные им, едва ли не ошеломили меня.

— Но ведь он живет у королевского дворца... — заметил я, стараясь как-то объяснить свое поведение.

— Там его городская квартира, а вот здесь нечто вро-

де загородного коттеджа, — Сулье приподнялся и выглянул в окно. — Сейчас он выйдет...

Только теперь я увидел в левом углу двора, за зеленой поляной, за густо-зеленым раскидистым кленом скромный дом, даже не виллу, а именно коттедж.

Я встал рядом с Сулье, ожидая, когда появится человек. И вот он вышел из своего домика, вышел, точно сбросил с себя одежду, которая не совсем ему по плечу — он был высок, могуче-широкоплеч, седоголов. Он шагал по поляне, чуть ссутулившись (эта сутуловатость от роста), покачивая седой головой в такт шагу, а я ловил себя на мысли: наверно, в его облике есть что-то и от отца — в росте, в сединах, в сутуловатости, в наклоне плеч, в самой манере идти в гору, не загребая руками, а выставив плечи, особенно правое, — его дом под холмом, и он шел сейчас в гору.

— Здравствуйте, — рука у него большая, сурово-грабастая. — Вот позвонил Сулье, сказал, что вы приехали из Москвы — не мог отказать, но должен оговориться: я не коммунист. Именно: не коммунист, хотя это, быть может, и не имеет прямого отношения к делу.

Я соглашаюсь:

— Не имеет, по крайней мере сегодня.

— Вот и хорошо, — произносит он и, кажется, успокаивается.

Его реплика о том, что он не коммунист — вроде причастия. Причастился и забыл об этом. Главное, что причастился. На самой беседе это не сказывается.

4

Мы сидим в гостиной. Правильным квадратом она вписана как бы в центр дома. Высота гостиной — высота дома. Нарядный плафон гостиной на уровне потолка второго этажа. Едва ли не все комнаты дома выходят в гостиную. На первом этаже — прямо, на втором — на галерею.

Мы сидим у столика, поставленного посреди гостиной. С одной стороны от нас библиотека, с другой, как мне кажется, — столовая.

— Норвегия обрела независимость, когда он был уже широко известен. Его решили сделать послом в Лондоне. Он потом жалел, что дал себя уговорить!.. Он тяготился этой своей должностью и при первой возможности ее

оставил. Однако справедливости ради надо сказать, что опыт посла ему пригодился, когда после войны он стал комиссаром Лиги Наций. Его помощь почувствовали те, кто в ней больше всего нуждался. Может быть, его помощь была недостаточной, но тысячам и тысячам людей он помог встать на ноги. Пожалуй, это был единственный в своем роде случай в истории, когда ученый решительно вышел за пределы профессиональных интересов и занялся бедой и болью миллионов. Голод в России ведь тоже был последствием войны... Он любил людей, а поэтому и Россию любил. Он ведь у вас бывал еще до революции. У него в России было множество друзей, при этом не только среди ученых. Он был в добрых отношениях с вашим Тчи... черином...

— Чичериным, — пытаюсь я прийти ему на помощь.

— Да, Тчи... черином, — повторяет он — эта фамилия, как я заметил, решительно не дается норвежцам. — На втором этаже этого дома собраны русские книги, все, что присылали ему друзья из России — целый шкаф русских книг. Знали, что он не читает по-русски, а присылали — разумеется, знак приязни, знак доброго отношения. Он знал, что его любят в России, и старался платить тем же... Он мог, как это часто происходит с учеными, замкнуться в скорлупу, отгородиться от людей, а он себе и дом выстроил так, чтобы лучше видеть мир... Если дом — это сам человек, построивший его, то он был очень похож на свой дом. Там, наверху, есть площадка, с которой видна добрая половина Осло. Он любил подниматься туда и смотреть на землю и небо...

Одд Нансен верно сказал: человек — это его дом. Одд Нансен — архитектор. Ему это ведомо. Я прошу показать мне дом. Мне хочется, чтобы дом показал мне Одд Нансен. Для него это родительский дом. Дом отца. Дом матери. В конце концов дом, где прошло его детство. Я замечаю: Одду Нансену нравится эта моя мысль. Совместить рассказ об отце с рассказом о доме? Ну что ж, он готов. И вот мы идем из комнаты в комнату.

— Здесь была его библиотека. Здесь и сейчас как при нем. Все его книги на месте. Ни одной не прибавилось и, я так думаю, не убыло. А вот это столовая — эти фрески писал большой друг отца, художник Эрик Вереншельд. Вы помните, конечно, эту норвежскую песню о горном короле, она есть и у Гете?.. Песня — танец!..

Горный король увидел девушку и увлек ее всеми ценностями мира. Она прельстилась и была глубоко наказана. Там есть такой припев:

Вороная лошадь легко бежит,
Я не могла уберечь молодую жизнь...

Я часто думал: почему именно этот сюжет увлек Вереншельда? Наверно, эту песню пела мать. Она ведь была певицей. Песня поэтична и печальна. Мы, дети, любили эту комнату и не только потому, что она была столовой...

В самом деле, комната хороша. Она вся лилейно-белая. И окна, и большой обеденный стол, и стулья, стоящие вокруг него, — все белое. И по этому белому полю вдоль всего карниза столовой, шириной метра в полтора, фреска Вереншельда о горном короле и маленькой Хьерсти — невесту звали Хьерсти. Потом уже я узнал, что фреска — отнюдь не худшее создание Вереншельда, художника очень норвежского, самобытного. Композиционно художник разделил фреску надвое: на одной стене — сцены первого свидания Хьерсти с горным королем, на другой — жизни на немилой чужбине. Вся история рассказана художником и естественно и поэтично. Картина хороша по колориту: розово-зелено-синему. Если тебе и неведомо, все равно опознаешь — писалось в начале века.

Признаться, мне показалось, что этот сюжет подсказан художнику молодой хозяйкой дома и не потому только, что она была певицей, — в самом сюжете есть большая печаль, та самая, что пришла в этот дом с болезнью Евы Нансен.

По-моему, это чувствует и Одд Нансен. Кажется, думает о матери. Решает какую-то свою нелегкую задачу. А когда мы поднимаемся наверх, вдруг оглядывается на портрет внизу:

— Мама.

Молодая женщина (ее сожгла чахотка, когда ей было немногим больше тридцати) смотрит с горестной укоризной, будто уже знает все, что с нею произойдет... Этот дом задумала она. И строила его она. Строила, когда ее талант и ее любовь обрели зрелую силу — она была певицей, говорят, необыкновенно одаренной. Поэтому дом населен таким радостным светом. Но вот она умерла, и

этот свет точно спекся — что-то есть в этой белизне и в этой яркости печальное.

— Вам было... лет шесть, когда она умерла?

— Нет, пять.

— Вы ее помните?

— Не так ясно, как хотел бы.

А мы поднялись наверх.

— Здесь — детские. Комната для девочек и мальчиков. Это — комната для гостей. А это — отца и матери. А вот здесь на галерее, да вот этот белый шкаф... русский шкаф. Здесь книги, которые отец получал от друзей из России. Знак благодарности. Знак дружбы.

Открываю шкаф. Да, верно. Русские книги. Книги тех, кто исследовал Север, кто познавал Арктику.

А мы поднялись еще выше и подошли к кабинету Нансена.

Одд Нансен достает ключ и открывает — такое впечатление, что у него есть свой ключ от кабинета.

— Здесь все, как при нем. Ничего не тронуто... С весны тридцатого года, — он вдруг умолкает, точно мысль, которая сейчас вторглась в его сознание, была и для него внезапной. — Он умер как раз в это время года... В это время... — Его глаза устремлены в окно — там буйствует май.

У меня такое впечатление, что с той далекой весны в кабинете Нансена даже воздух не потревожен — все так же пахнет бумагой и разогретым на солнце полированным деревом.

— Отец засиживался здесь часто по ночам. В том случае, если это было так, отец не выходил к завтраку, и мы шли в школу не повидав его. Мы, дети, не любили этих дней, они нам казались пустыми. После того как не стало матери, отец старался быть к нам ближе — мы привязались к нему. Но с годами он работал по ночам все чаще. Когда уставал, диктовал статьи и письма вот на эту штуку. — Одд Нансен берет со стола картонный валик примитивного магнитофона. — Я впервые заметил у него этот аппарат году в двадцатом — тогда же, по-моему, он и был изобретен... Когда отец заболел, ему уже трудно было подниматься сюда. Помню, за день до смерти просил меня принести один документ. Объяснял очень подробно: «Там на письменном столе три пачки бумаги... Так вот то, что мне нужно, во второй пачке...»

Одд Нансен даже затих у стола, стараясь точнее воспроизвести, как это было — ему очень дорога эта подробность, это последнее воспоминание об отце.

— Как бы поздно ни заканчивал работу, поднимался на площадку, ту, что на самом верху. Любил читать звездное небо... Наверно, арктическая привычка. Он был истинным северянином: его влекло одиночество природы...

— Говорят, что и сам он нередко чувствовал себя... одиноким?

— В борьбе с недобрыми силами мира?

— Да.

Одд Нансен задумался.

— Да, у него было подчас чувство обиды, острой обиды, но он умел подавлять его в себе — он ведь был настоящим северянином. Он и лицом был северянин... светловолосый. Я пошел в мать... — он касается седых волос ладонью, смеется. — Я ведь был отнюдь не блондином...

— Но глаза у вас его?

Одд Нансен стоит сейчас перед окном, и синева глаз его, вопреки годам, кажется особенно яркой.

— Да, глаза, пожалуй, его... Хотите наверх?

— Да, разумеется.

Мы поднимаемся.

— Замок, не правда ли? — говорит Одд Нансен, взбираясь по спиральной лестнице, — лестница крута, и я слышу его дыхание.

— Да, похоже.

Мы выходим на площадку и бросаем взгляд вокруг: поистине дух захватывает. Видно, дом стоит на холме и своеобразная маковка дома кажется верхушкой земли — отсюда хорошо виден город, отблеск воды на фиордах, поля по-майски свежие, небо... Отсюда действительно удобно читать звезды — перед тобой весь лист неба. Все иероглифы его созвездий — нет книги заповеднее и содержательнее. Одиночество природы и человек?.. Где-то здесь философское первоядро того, что являл собой Нансен.

Однако солнце погасило небо и зажгло землю — вон как ярки ее краски. Я пытаюсь обойти взглядом город, кстати, нахожу аэропорт, который строил Одд Нансен.

— Отец хотел, чтобы вы были архитектором?

— Нет, разумеется, как все отцы, он хотел, чтобы сын был преемником его дела. Но так бывает в жизни отнюдь не всегда, хотя, быть может, это было бы хорошей памятью о нем.

Одд Нансен смотрит сейчас вниз — его глаза обращены к клену, что стоит посреди зеленой поляны перед домом — там, под деревом, могила отца.

Мы выходим из дома и идем к клену. Прямоугольная плита, грубо-шершавая, простая и на ней доброе имя Нансена.

5

Пока мы осматривали дом, Финн Сулье связался с университетской библиотекой, где хранятся рукописи Нансена.

— Директор библиотеки просил вам передать, что он готов вас принять теперь же, — заметил Сулье. — Мы могли бы с вами туда сейчас подъехать...

Финн Сулье действовал с той же точностью и энергией, какую я обнаружил в нем с той самой минуты, как переступил порог этого дома. Я поблагодарил Одда Нансена и сел в машину, за рулем которой занял место Сулье. Кстати, деятельный Сулье не терял времени даром и теперь. Включив скорость и порядочную, так что его седые вихры взвились (в Норвегии ездят быстро и в городах), Сулье изложил мне план действий. Сейчас меня примет директор библиотеки Тветерос. Он человек деловой и, очевидно, уже проверил, есть ли смысл обращаться к каталогам. Если его разведка увенчалась успехом, он тут же поручит меня одному из своих коллег. Сулье считает, что дальше пока загадывать не следует — это опасно. При всех обстоятельствах, он советует встретиться с господином Чархеймом. Лучше его Нансена не знает никто. Сулье полагает, что он в Осло и нет видимых препятствий к тому, чтобы эта встреча не состоялась.

— Будете смотреть каталог, — заключил Сулье, — посмотрите тот его раздел, который обнимает переписку Нансена с Чичериным — здесь могут быть самые интересные находки, — Сулье умолк, внимательно взглянул на меня, — машина определенно шла сейчас не так быстро. — Это дипломатия, но не только дипломатия...

— Вы говорите о дипломатии почти профессионально.
Теперь машина шла с прежней скоростью...
— Ну что ж, это в какой-то мере закономерно...
Как сообщил мне Сулье тут же, он дипломат. Работал в иностранном ведомстве Норвегии, а потом в норвежском посольстве в Вашингтоне. Трудно сказать, какая сфера деятельности сообщила Сулье ракетную энергию — дипломатия или наука, но и одной, и другой это делало честь.
Сулье сказал: Нансен — Чичерин... здесь могут быть самые интересные находки. Итак, Нансен — Чичерин. Пожалуй, Сулье прав. Помню обрывок старой газеты, которая сохранилась в стопке книг, и заголовок, достаточно броский: «Нарком Чичерин принял Нансена». Россия разговаривала с Нансеном через Чичерина? Наверно, не только через Чичерина, но во многом через него. Наверно, немалого труда потребовалось, чтобы такого человека, как Нансен, расположить к новой России, расположить и подвигнуть на труд, который осуществил Нансен. Не каждому было под силу в то сложное время представить революционную Россию в разговорах с Нансеном — Чичерину под силу. Мне думалось, что великому ученому должен был импонировать этот русский интеллигент, пришедший в революцию от дипломатии, а в дипломатию — от революции.
Как и предполагалось, меня принял директор библиотеки Тветерос. Ученый, видимо уделяющий библиотеке лишь часть своего времени (в последующие дни я не встречал его в библиотеке), он с солидным спокойствием выслушал меня, как и подобает человеку с положением, ничего не пообещал, однако, тут же пригласив одного из своих помощников, просил его сделать все возможное.
А между тем машина заработала, и я уже шел через залы с высокими красного дерева панелями и такими же красного дерева бесконечными шкафами библиотечного каталога, сопровождаемый человеком, которому с осторожной торжественностью я был передан. Этим человеком оказался Рогард Рюд. В ту первую нашу встречу у директора Рюд пытался говорить по-русски, но непонятно смущался и умолкал. Из опыта я знаю, что способность говорить на чужом языке остывает, как жаркое. Чтобы человек заговорил, жаркое надо подогреть. В течение той недели, которую я провел в университет-

ской библиотеке Осло, я видел, как Рюд, все еще преодолевая робость, пытался вернуть своему русскому языку его прежние качества. И вернул, заговорив с той живостью и непосредственностью, с какой, видимо, говорил прежде.

— Итак, Нансен и Чичерин?

Миновав залы, мы вошли в сравнительно небольшую комнату, из просторных окон которой был виден уже предвечерний Осло.

Каталог рукописного отдела был здесь. При нашем появлении, из-за дальнего стола поднялся седой человек, бледное лицо которого точно восприняло цвет и тускловатость старых рукописей, с которыми ему, наверно, пришлось иметь дело годы и годы, и, поклонившись, предложил следовать за ним.

Очевидно, чувствуя, какого смысла и значения для нас был исполнен каждый его шаг к шкафу, где хранился каталог Нансена, и к Нансену, почтенный хранитель рукописного отдела шел с осанистой важностью, и мы с Рюдом должны были употребить усилия, чтобы не обскакать его и не прийти к заветной цели раньше, чем там будет хранитель библиотеки. Но, мобилизовав все свое самообладание, мы придали своим лицам и движениям ту же осанистую важность, что и человек, идущий впереди, и были у ящиков даже с некоторым опозданием. По крайней мере, хранитель рукописей успел выдвинуть ящик, обнаружить первое чичеринское письмо и, обернувшись к нам, даже поднять седую бровь, будто говоря: «Господа, я могу и захлопнуть ящик!..» Короче, через полтора часа, потраченных на исследование каталога, я знал, что в библиотеке должны быть письма Нансена его русским корреспондентам, в том числе Чичерину. Впрочем, не только ему. Однако имеются ли эти письма на самом деле и что это за письма?

— Карточка в каталоге, разумеется, это еще не письмо, — со все тем же обстоятельным достоинством заметил хранитель рукописей. — Все, что нам удастся обнаружить, будет завтра в десять утра лежать вот на этом столе, отмеченное полосками зеленой бумаги, вот такой...

А я смотрел на эту бумагу, действительно неудержимо зеленую, думал: каким мне покажется этот цвет завтра в десять, цветом печали или все-таки радости, каким был он изначально?

6

Стоит ли говорить, что я покинул библиотеку с ощущением тревоги. «Карточка в картотеке, это, разумеется, еще не письмо», — повторял я слова хранителя рукописей. Хранитель был прав: я явился в библиотеку не за карточкой, а за письмом. И у меня бывало: карточка есть, а письма нет. А в данном случае речь идет не об одном письме, а о трех десятках.

Когда на другой день я прибыл в библиотеку и в условленном месте встречи Рюда, на мой молчаливый вопрос: «Как?» он ответил правильной русской фразой:

— А почему бы письмам не быть? Они должны уже лежать на столе...

Мы устремились в рукописный отдел. Теперь уже я сдерживал себя, чтобы не обойти на повороте Рюда. Точно чувствуя это, Рюд прибавил шагу, взял дверь на себя. Зеленый цвет, цвет листвы, одевшей деревья, цвет солнечных полян, цвет весны не мог быть цветом печали!.. На столе, на том самом месте, которое указал накануне хранитель, возвышалась пирамида папок, расцвеченных зелеными закладками, которые, едва мы открыли дверь, встрепенулись, как штандарты на флагштоках.

Я читаю письма Нансена и вспоминаю замечание одного норвежца, которое услышал накануне: «Он был вроде заставы на границе между двумя мирами — его придумали строптивые соседи, которые так далеко зашли в своем гневе, что забыли, как говорить друг с другом, как друг к другу обращаться...» Наверно, это мнение в чем-то ошибочно, но в нем есть и нечто справедливое: действительно, этот суровый и добрый человек был вроде всемирной конторы добрых услуг, в своем роде посредником, честность которого никогда не ставилась под подозрение. Это было трудное время, для Советской страны в особенности. Блокаде военной сопутствовала блокада дипломатическая. В этих условиях приход Нансена в Лигу Наций явился обстоятельством счастливым. Хотя Советская страна не была тогда членом Лиги Наций, решающим моментом в назначении Нансена на этот пост, было то, что ему доверяла и с ним согласна была иметь дело Советская страна.

В той цепи дел, которые возникли у Республики Сове-

тов с зарубежным миром, особенно трудны были отношения с Америкой и Францией. Если же говорить о проблемах военнопленных и беженцев, то именно с этими странами Советская страна и должна была решать эту проблему. Тысячи и тысячи человеческих судеб были поставлены в зависимость от таких правительств, как американское, которое, замкнувшись в своем воинственном антисоветизме, отказывалось от контактов с СССР, или французское, которое долгое время было щитом контрреволюции. Вот и получилось, что посредничество Нансена было полезно. Великий человеколюб, он немало сделал, чтобы в этом частном вопросе было установлено какое-то взаимопонимание и тысячи людей обрели бы кров, семью, работу и в конце концов жизнь.

В письмах к Чичерину Нансен, как надлежит быть посреднику, дружески лоялен к одной и другой стороне. С той обстоятельностью и точностью, на какую он способен, он излагает факты.

«В только что полученной мною телеграмме Американское правительство просит меня продолжить от его имени работу по репатриации американских граждан, все еще находящихся в России, — телеграфирует Нансен Чичерину 23 июля 1920 года. — Оно утверждает, что обычные правила для отъезда иностранцев из Америки в значительной степени были изменены ради русских, имеющих симпатии к коммунизму, которые пожелали уехать в Советскую страну. Этим людям разрешено уехать по предъявлении удостоверения личности и подтверждения национальности. По этому плану каждый месяц из Штатов в Россию уезжает от пяти до шести сотен русских граждан. Правительство США надеется, что Вы позволите американцам как можно скорее уехать из России по принципу взаимности... Учитывая наш разговор и высказанное Вами желание пойти навстречу Американскому правительству, я осмеливаюсь выразить надежду на скорое урегулирование этого вопроса для выгоды и удовлетворения обеих сторон».

Характерно, что нет письма, в котором бы Нансен ограничился бы только изложением фактов — в каждом письме присутствует мнение Нансена. Нередко оно (и это, наверно, похоже на Нансена) жестко, но всегда определено доброй волей.

«...Я искренне надеюсь, — сообщает он в телеграмме Чичерину от 26 августа 1920 года, — что можно достичь

соглашения, способствующего возвращению ваших граждан из Америки, и, если я смогу помочь чем-либо в этом отношении, пожалуйста, дайте мне знать... Я убежден, что разрешение американцам, задержанным в России, как можно скорее вернуться на родину могло бы способствовать решению этого вопроса (то есть возвращению наших граждан на родину. — *С. Д.*)».

Разумеется, Нансен понимал, что в том ответственном и деликатном качестве, которое он взял на себя, став Верховным комиссаром Лиги Наций, он обязан быть лояльно-корректным со всеми, не обнаруживая ни дружбы, ни неприязни. Собственно, это проистекает из самого положения о Верховном комиссаре. Однако отношения, которые сложились у Нансена с Чичериным, были сильнее статута. Поэтому когда речь шла все о тех же американских военнопленных, Нансен мог телеграфировать Чичерину:

«...Будучи уверенным, что в конечном счете Вы освободите американцев, я осмеливаюсь, как друг, предложить Вам ускорить их освобождение».

И в следующей телеграмме он как бы поясняет свою мысль: «Я уверен, что, разрешив американцам вернуться сразу же, Вы многого достигнете, тогда как задерживая их на зиму, многое потеряете...»

И по причине того, что Нансен считал себя другом, он мог посоветовать:

«В соответствии с соглашением... я направляю сейчас двух делегатов в Новороссийск для выяснения, что необходимо для репатриации оттуда пленных и думаю, что Вы окажете им (т. е. представителям Нансена. — *С. Д.*) необходимую помощь. Имена двух делегатов: капитан Бурньер и Бонифаций, оба швейцарцы по национальности и опытные люди в таких делах, они далеки от политики, на них можно положиться, я ни минуты не сомневаюсь в том, чтобы дать им лучшие рекомендации».

Да, Нансен мог сказать: «...дать им лучшие рекомендации». Он знал, что в России ему верят.

«Проконсультировавшись с британским правительством и другими имеющими к этому вопросу отношение властями, я гарантирую этим, что ледоколы, которые Вы хотите одолжить нам для перевозки пленных из Балтийскпорта в зимнее время, будут возвращены Вам в Петроград по истечении нужды...»

Там, где в иных обстоятельствах требовались взаимные обязательства и, очевидно, соглашение за добрым десятком подписей, здесь достаточно было сказать: «Я гарантирую». Так престиж и имя человека, а следовательно, его честность, возвращали нас к тем давним временам, когда слово человека значило не меньше, чем его подпись.

К сожалению, мы располагаем лишь немногими письмами Чичерина Нансену, но и они свидетельствуют, что Георгий Васильевич с пониманием следил за деятельностью ученого, всячески помогал его ответственной миссии.

Я не знаю, что явилось содержанием бесед Чичерина и Нансена, когда ученый был в России. Возможно, не только более чем суровые будни двадцатых годов: пленные, беженцы, голод. Не только это, но и то заманчивое, что вырисовывалось впереди, когда речь шла о мирном времени и перспективах мира, Нансен не терял надежды вернуться, как он любил говорить, в лоно науки — у него было несколько нереализованных замыслов, несколько экспедиций, которые не удалось осуществить. С той жадной и неутолимой зоркостью, которая была характерна для него, ученый следил за новейшими достижениями науки и постоянно соотносил их с планами освоения Севера. В этой связи характерно обращение Нансена к Чичерину по поводу воздушного моста между Старым и Новым Светом. В архиве, с которым мы ознакомились, есть письмо Георгия Васильевича — оно полно внимания к проекту ученого, внимания и сочувствия.

«Москва, окт. 4—1924 г. Дорогой господин Нансен.

Меморандум относительно аэронавигации через полярные районы севера Сибири и установление авиалинии Амстердам — Ленинград — Сан-Франциско в ученых кругах, а также в кругах аэронавтов считается имеющим большую важность для исследования района Арктики и экономического прогресса всего мира. Я полностью согласен с Вами, что финансовая сторона дела, возможно, важнее, и я предполагаю, что в свое время будет составлен финансовый план этой программы. Могу ли я добавить, что мы в особенности заинтересованы знать все, касающееся дальнейшего прогресса в этой области, главным образом, с тех пор, как Вы стали поддерживать эти планы, что мы считаем лучшей гарантией надежности и справедливости... Чичерин».

Да, так и сказано: «...с тех пор, как Вы стали поддерживать эти планы, что мы считаем лучшей гарантией надежности и справедливости». Нам известно немало писем Чичерина, адресованных западным деятелям. Эти письма отличает сдержанность. В таких тонах, в каких Георгий Васильевич писал Нансену, он редко писал своим западным корреспондентам.

«Москва, 9 января 1925 г.

Мой дорогой доктор Нансен,

Я очень благодарен Вам за ваши добрые чувства и за фотографию, которую Вы были так любезны прислать мне.

Прошу принять мои лучшие пожелания в Новом Году и мою фотографию в память о нашей совместной работе.

Чичерин».

Кем был для Чичерина Нансен? Крупным ученым, чье возвышение в науке совпало с юностью Чичерина — когда норвежец пересек на лыжах Гренландию, Георгию Васильевичу было шестнадцать, а когда ученый отправился в путешествие на «Фраме» — двадцать один. Наверно, эти юношеские представления о Нансене всегда жили в сознании Чичерина, когда возникало имя норвежца. Однако эти первые впечатления могли лишь эмоционально расположить Георгия Васильевича к знаменитому ученому. Более важным было то, что произошло позднее — личное общение, переписка, встречи. Именно эти поздние впечатления обогатили представление о человеке.

Разумеется, Чичерин был достаточно трезвым политиком, чтобы понимать: великие державы не оставили попыток использовать имя Нансена в своих целях. Такие попытки имели место, и на это указывает статья Георгия Васильевича в «Известиях» от 13 ноября 1919 года. Как известно, это первое предложение «комиссии Нансена» о продовольственных поставках Советской стране ставилось в зависимость от прекращения военных действий Красной Армией. Маловероятно, чтобы инициатива этого предложения исходила от Нансена — оно наверняка было инспирировано союзниками. Если же говорить об отношении к Советской республике самого Нансена, то нет основания ставить его честность под сомнение. Наоборот, в том, что касается Советской страны, он всегда

выступал, как ее друг, а отношение наших людей к нему было исполнено симпатии. Кстати, Нансен действительно сделал много для организации помощи Советской России, когда в 1922 году наша страна подверглась губительному огню засухи, Нансен был в России, и по свидетельству того же Чичерина в переговорах с ним, очевидно не непосредственно, участвовал Ленин. Это тем более показательно, что в ту пору болезнь уже сказывалась на общем состоянии и трудоспособности Владимира Ильича. Имея в виду все это, Чичерин отмечает: «Очень горячее участие он принимал, впрочем, в переговорах с «АРА» и Нансеном о помощи голодающим». Это не единственный случай, когда деятельность Нансена была предметом внимания Владимира Ильича.

Летом 1921 года Нансен обратился к Чичерину с предложением принять продовольствие для населения Петрограда. Очевидно, уступая нажиму реакционеров, жестоко критиковавших ученого, что он своей деятельностью способствует укреплению советского режима, Нансен просил разрешить представителям Красного Креста участвовать в распределении продовольствия. Обо всем этом Чичерин написал Ленину. Записка, которую тут же направил членам Политбюро Владимир Ильич, гласила: «По-моему надо согласиться в *виде исключения*, точно оговорив это исключение. Прошу тотчас провести по телефону через Политбюро».

Кстати о кампании против Нансена в зарубежной прессе. Эта кампания достигла кульминации к середине 1921 года. Нансена обвиняли в том, что он помогает большевикам совладать с испытаниями, которые им уготовил сам господь бог. Атаки врагов не поколебали Нансена — Нансен и возглавляемый им «Исполнительный комитет международной помощи России», созданный Женевской конференцией Красного Креста, продолжал действовать и сделал немало.

Таким образом, объективные факты свидетельствуют, что имела место борьба за Нансена, борьба упорная. Советскую сторону в этой борьбе представлял Чичерин. Можно допустить, учитывая происхождение Нансена и среду, которая его окружала, что ему могло и не все нравиться в Советской стране. Если же тем не менее он обнаружил добрую волю и считал себя нашим другом, то

мы во многом обязаны уму и такту людей, которые представляли Советскую страну в отношениях с Нансеном, и прежде всего Чичерину.

Последние данные, в частности недавно опубликованные дневники Рида, показывают, что имя Чичерина, как возможного наркома по иностранным делам, было названо едва ли не в день октябрьского переворота. Возможно, именно Ленин, который был горячим сторонником того, чтобы во главе советского иностранного ведомства встал Чичерин, впервые высказал эту мысль в дни Октября. Предлагая кандидатуру Чичерина, как потенциального представителя Советской страны в разговорах с людьми зарубежного мира, Ленин мог иметь в виду и таких людей западной общественной мысли и культуры, как Нансен. Да, Чичерин импонировал Нансену и людям, подобным Нансену, всем своим обликом.

7

За многие годы общения с Советской Россией и русскими у Нансена сложился довольно обширный круг советских знакомых и друзей. Иначе говоря, диапазон проблем, который возникал в ходе русских дел Нансена, соответствовал числу лиц, к которым он мог обратиться в СССР.

По наиболее важным вопросам, при этом не только относящимся к деятельности Нансена в качестве Верховного комиссара Лиги Наций, но и в какой-то степени вопросам личным, творческим, ученый адресовался к Чичерину и, пожалуй, Литвинову. Но не только к ним. В той стопке писем, которые я видел в университетской библиотеке Осло, я встретил имена и других русских корреспондентов Нансена, например Красина, Луначарского, Горького.

Переписка с каждым из этих лиц настолько любопытна, что мне хотелось бы коротко рассказать о ней.

Я видел много писем Нансена Литвинову, как, впрочем, и ответных писем Максима Максимовича норвежскому ученому.

Большая часть этих писем посвящена вопросам репатриации и мало что прибавляет к тому, о чем мы уже сказали. Однако в переписке Нансен — Литвинов есть

два письма, посвященных чисто творческому вопросу, и на них я хотел бы обратить внимание.

Как отмечалось, в конце двадцатых годов проблемы науки стали занимать в деятельности Нансена все большее место. Разумеется, всех проблем, связанных с работой Верховного комиссара, Нансен не решил, да и решить их было в его положении мудрено. Однако война со всеми своими бедами отодвинулась, и возможности, которых не было для научной работы вчера, появились сегодня. Короче, впервые за двенадцать лет Нансен занялся практическими делами науки. Одно из этих дел — изучение племен, живущих на Норвежском и Советском Севере — имеются в виду саами, или, как чаще их называли в прежние годы, лопари. В 1926 году Нансен сообщил об этом своем намерении советским властям и пытался выяснить, какие возможности имеются здесь для совместных действий норвежских и советских ученых.

Письмо Литвинова, которое мы приводим ниже, вызвано этим намерением Нансена.

«Москва, 24 августа 1926 г.

Дорогой д-р Нансен,

В соответствии с письмом господина Чичерина от 30 июля, я имею удовольствие сообщить Вам, что Комитет помощи народам северных областей (Москва — Кремль) счел Ваше предложение, касающееся изучения арктических племен, очень важным как в научном, так и в практическом отношении. Комитет желает сообщить, что в недалеком будущем ученые Союза Советских Социалистических Республик начнут, в свою очередь, важную научную работу по исследованию северной России, и Комитет выражает готовность оказать всяческую помощь в Вашей работе. Комитет уверен, что тесное сотрудничество Вашей экспедиции с соответствующими учреждениями Советского правительства, в особенности с Академией наук СССР, и предоставленная им возможность использовать все материалы этой экспедиции, явятся большим шагом вперед в области научного исследования северных русских республик...

Ваше письмо от 25 июля уже передано этому Комитету, и я смогу передать вам его ответ...»

Письмо Литвинова было встречено Нансеном с благодарностью.

«31 августа 1926 г.

Дорогой господин Литвинов,

Сообщаю с глубокой благодарностью о получении Вашего прекрасного письма от 24-го текущего месяца, которое принесло мне большое удовлетворение. Я очень рад узнать, что Комитет помощи народам северных областей счел важным наше предложение изучить арктические племена и пожелал оказать помощь в нашей работе. С разрешения Советского правительства мы собираемся как можно ближе ознакомиться с учреждениями Советского правительства и в особенности, как вы можете предположить, с Академией наук СССР, как только получим от Комитета помощи народам северных областей ответ, который вы любезно собираетесь передать...»

Значительный интерес представляет телеграмма Нансена Л. Б. Красину. Телеграмма касается помощи голодающим России — она помечена 24 апреля 1922 года, то есть наитяжелейшей порой в жизни Советской республики. Известно, что деятельность Нансена в эту пору наталкивалась на жестокое сопротивление его явных и тайных врагов в самой Лиге Наций, не желающих помогать России. Тревога, которая сквозит в этой телеграмме, видимо, объясняется и желанием Нансена сломить сопротивление всех, кто противился помощи. Нансен обращается к Красину, как к официальному представителю Советской страны в Женеве, однако по тону телеграммы чувствуется, что ученого связывали с Красиным и отношения личные.

«Красину, русская делегация, Женева. Телеграмма от 28/4/22.

Для обеспечения межправительственных действий совершенно необходимо для борьбы с голодом авторитетное представление всей ситуации международной комиссией из пяти или семи ...представителей, включая представителя от русского правительства — это предлагается правительством Норвегии в Лиге Наций и будет решено 11 мая на совещательной встрече, на которой я буду присутствовать... *Нансен*».

Письмо к А. В. Луначарскому вызвано все тем же желанием Нансена сколотить какие-то средства помощи голодающим в России. С подобным обращением Нансен адресовался к крупнейшим художникам Европы и это только свидетельствует, в какой мере настойчивы здесь были его усилия.

«27 июня 1922 года. Г-ну Луначарскому, Москва.

Дорогой сэр, мне сообщили, что русские художники Станислав Ульянович Жуловский и Филипп Андреевич Малявин обещали каждый дать картину моей организации с тем, чтобы они были проданы и вырученная сумма была бы передана в наш фонд помощи голодающим России.

В связи с этим было бы желательно, чтобы Вы дали разрешение продать и экспортировать из Вашей страны две картины, что явится полезным вкладом в общие усилия облегчения голода в России — *Нансен*».

В этой серии русской переписки Нансена свое большое место занимает письмо Максима Горького норвежскому исследователю. Горький просит Нансена написать биографию Колумба. Почему именно Нансена? Имя Нансена было широко известно в России, и это было главным. Всем остальным можно было пренебречь, в частности тем, что Нансен никогда Колумбом не занимался, да и в самой деятельности норвежца было мало точек соприкосновения со всем тем, что отождествлялось с фигурой Колумба. Тем не менее Горький хотел, чтобы книгу написал Нансен.

«Высокоуважаемый г-н Нансен!

У меня к Вам большая просьба, я хочу просить Вас... написать биографию Христофора Колумба, ибо совершенно необходимо написать эту биографию для детей, и я уверен, что никто не сделает это лучше Вас. Прошу Вас настоятельно взять на себя этот труд. Вы видите жизнь таким ясным умом... Вы — человек непоколебимого мужества. Вы дадите детям немного Вашего таланта и Вашей души... Война разразилась по нашей вине, по вине взрослых, не так ли?.. Нужно рассказать детям о жизни великих людей земли, чьей целью являются прекрасные благородные действия великих людей, стремившихся достичь своих высоких целей. Я прошу Уэллса написать

биографию Эдиссона, Ромена Роллана — Бетховена, сам я попытаюсь написать биографию Гарибальди и т. д. Все книги будут изданы мною...»

8

Здесь мне хотелось сделать одно отступление.

Человек терпимый, Нансен был снисходителен к порокам того общества, в котором жил. Он прощал ему врожденные его пороки и готов был их не видеть. Не видеть тогда, когда общество так жестоко наказывало Нансена. К счастью, многие из тех ударов, которые ученый мог принять при жизни, обрушились на него уже после смерти. Обрушились с такой силой, что будь он жив, ему бы, пожалуй, не сдобровать.

В дни пребывания в Норвегии я был в гостях у писательницы Торбург-Недреос. Ее повести, написанные с той свежей ясностью, какой дышит ветреный фиорд, на берегу которого стоит ее дом, изданы у нас. И сама Недреос и ее муж Аксель — антифашисты, для которых победа над фашизмом стала в подлинном смысле этих слов возвращением к жизни. Я пробыл у Недреос день — мы сидели у распахнутой двери ее дома, которую вернее было назвать воротами, так она была широка, и смотрели на фиорд.

— Среди тех, кто был рядом с Нансеном, и которых он мог назвать друзьями своими и, пожалуй, вашими, были такие, кому время отказало и в первом и во втором, — сказал Аксель.

— Вы имеете в виду... некое лицо, которое было секретарем Нансена? — спросил я — нелегко было назвать имя человека, о котором говорил Аксель.

— Его, — ответил мой собеседник.

— Ну что ж, в этом есть своя закономерность: добро всегда было щитом для зла, — был мой ответ.

Да, я счел это закономерным и даже объяснил некоей формулой, однако, сознаюсь, внутренне содрогнулся, когда представил себе рядом с Нансеном человека, которого имел в виду Аксель.

Наивно думать, что в той свирепой борьбе, которую вели два мира, не было сил, стремившихся подчинить имя Нансена своей корысти. Такие силы были. А коли так, то, наверно, эти силы должны были обрести способность в такой мере менять кожу, чтобы это не мог распознать даже такой знаток природы, каким был Нансен.

В той стопе писем, которые я прочел, были такие строки.

«...Капитан Квислинг был дважды в Харькове, на Украине, как мой представитель во время нашей работы по борьбе с голодом. Сначала он был там с 22 февраля по 22 сентября, а затем он вернулся и опять был там с 23 марта по 23 сентября... Он — хороший друг России и думаю, что не будет никаких трудностей в получении визы для него».

Вот так-то!

Разумеется, Квислинг как таковой для нас не существовал — его легализовал для нас Нансен, назвав своим представителем. Однако многоопытный капитан, чья родословная начинается с Иуды, был тем волком, который пришел к людям в шкуре агнца. Двадцать лет он шел, одевшись в одежду нансеновской добродетели. Вначале, имея впереди живого Нансена. Потом — его имя. Чтобы нансеновская одежда была ему впору, он, разумеется, делал то, что делал Нансен. Возвращал на родину военнопленных. Переселял беженцев. Даже участвовал в оказании помощи голодающим. Чтобы закончить свой путь таким предательством, что само его имя стало синонимом клятвопреступления.

Говорят, фразу, которую я услышал от сына Нансена в то майское утро, случалось повторял и его отец: «Я не коммунист». Да, он этим хотел сказать: «Я готов иметь с вами дело, даже помогать вам, но только ради бога не принимайте меня за коммуниста». Время многое решило за Нансена. И на многое ответило за Нансена. И наверно, продолжает отвечать за Нансена. И один из этих ответов: история человека, на которого сослался там, в деревянном доме над фиордом, Аксель. Оказывается, на крутом повороте жизни, на самом крутом, когда мир неизбежно раскалывается на твоих друзей и врагов, враги Норвегии и Нансена оказались злейшими врагами коммунистов. Где-то здесь первопричина вопроса, который интересует и нас: Нансен мог быть человечески с тем миром, но гуманизм его, бессмертный нансеновский гуманизм был с нами. Всегда был с нами и на том крутом повороте, который мы пережили в годы войны, больше чем всегда. Следовательно, к тому, что сказало время, нечего прибавить. Время, оно, как природа, говорит окончательными категориями — оно может ответить позже, чем нам хочется, но его ответ всегда будет правдой.

В курсе своих дел с Нансеном Чичерин держал советского посла в Норвегии Коллонтай. С одной стороны — Чичерин, с другой — Коллонтай? Да, пожалуй, так. Коллонтай впервые узнала Нансена, когда была назначена в Норвегию советским торгпредом. Известно, что признание Норвегией Советской страны (первой в Европе признала Англия, второй — Норвегия) было подготовлено Коллонтай. В течение того года, который Александра Михайловна пробыла в Норвегии в качестве торгпреда, она много сил отдала изучению норвежской экономики, всего уклада хозяйственной жизни страны, а это было немыслимо без установления контактов. Коллонтай признавалась, что работа в Норвегии, в частности, заставила ее заняться всем комплексом проблем, относящихся к Арктике и Шпицбергену, проблем, в которых она тогда понимала мало. Если говорить о познании Норвегии, то велика была помощь норвежских друзей Коллонтай, в том числе и Нансена. Собственно, благодаря им Коллонтай улавливала то, что зовется у дипломатов температурой дня. А это требовало знаний немалых — вопросы, которые предстояло решить, были своеобразны: договор на тюлений промысел в русских водах, разработка недр Шпицбергена, создание смешанного общества по перевозке леса на норвежских судах.

Ум Коллонтай обладал завидным качеством: Александра Михайловна была не просто любознательным человеком, она была жадна до всего нового. Нансену с многообразием его послевоенных интересов могла импонировать масштабность интересов Коллонтай. Ее беседы с Нансеном касались вопросов, требующих поистине орлиной широты взгляда и зоркости: Земля Франца Иосифа и Дарданеллы, Исландия и Армения, да, в орбиту интересов Нансена была вовлечена и Армения — речь шла о том, сумеет ли армянская земля принять сынов и дочерей своих, рассеянных по белу свету.

«8 мая 1925. Дорогая мадам Коллонтай,

Мне кажется, что я уже говорил Вам, что мы собираемся послать миссию в русскую Армению с целью выяснения возможностей переселения армянских эмигрантов в эту страну. Господин Чичерин информировал меня о том, что эта миссия будет принята и что визы для ее

членов можно будет получить в русском посольстве в Париже. Возможно, что миссия будет состоять из итальянского специалиста по ирригации месье Карле Лозавио и британского специалиста по выращиванию хлопка, который еще не назван. Возглавлять миссию буду я... Русское посольство в Париже уведомлено об этом, но так как у меня займет несколько дней сверх положенного для поездки в Париж, чтобы получить визы... я был бы очень благодарен, если бы оказалось возможным договориться об этом здесь... Сейчас я не могу сказать, сколько времени будет длиться эта экспедиция, но есть намерение начать ее на следующей неделе, и я останусь в Армении на возможно короткое время, пока наша работа не будет закончена. Нам придется сотрудничать с армянским правительством...

Пожалуйста, простите меня, что я беспокою вас по такому поводу, но так как у меня очень мало времени, получение виз в Осло было бы для меня большой помощью... *Нансен».*

Надо знать переписку Нансена с советскими людьми, чтобы представить, как много проблем возникало в этой переписке. Разумеется, не всегда Нансен мог обращаться по этим проблемам к Чичерину, да при таком объеме дел столь частое обращение по официальным советским адресам ставило и самого Нансена в весьма деликатное положение. Вот и получалось: в том случае, когда инициатива встречи исходила от советского человека, задача для Нансена облегчалась.

«Дорогой господин Нансен,

Как Вы знаете, в понедельник 7-го текущего месяца, в 8 часов, я буду наконец иметь большое удовольствие предложить обед в Вашу честь, на который также будут приглашены Ваши сотрудники, находящиеся сейчас в Христиании, которые помогали Вам в благородном деле помощи в облегчении страданий голодающего населения моей страны.

...Позволю себе подтвердить... что я с живым удовлетворением встречусь с мадам и мадемуазель Нансен...

Александра Коллонтай».

Кстати, Коллонтай полагала, что личное общение Нансена с возможно более широким кругом советских

людей является тоже внимание к ученому. Полагала и всемерно содействовала тому, чтобы Нансен встречался с советскими людьми, в частности с людьми науки.

«2 декабря 1927. Высокоуважаемый и дорогой профессор Нансен,

Наш русский профессор Смирнов, который приехал в Осло с делегацией по поводу концессии (Охота на котиков), будет счастлив, если ему будет разрешено приветствовать Вас лично в любой день на будущей неделе.

Он имел удовольствие видеть Вас два года тому назад и сочтет за большую честь, если Вы будете любезны принять его...

Александра Коллонтай».

Известно, что недруги Нансена пытались представить дело так, будто бы усилия ученого по оказанию помощи голодающим скрываются от советских людей. С тем большим интересом Нансен встречал каждое письмо от советских граждан, каждый знак внимания.

«4 апреля 1924. Дорогая мадам Коллонтай,

Прошу прощения за столь позднее подтверждение письмом получения большого подарка, который был послан мне через Ваше любезное посредничество, но я уезжал в горы кататься на лыжах на неделю весьма необходимого для меня отдыха. Теперь я спешу написать Вам несколько строк и просить Вас быть любезной передать мою самую искреннюю благодарность рабочим и должностным лицам государственной табачной фабрики «Красный Октябрь» и Центральной механической мастерской табачного треста Украины за большую честь и очень трогательное свидетельство их доброй воли, что они показали мне, прислав такую прекрасную коллекцию своей восхитительной продукции и великолепный адрес, которым она сопровождалась. Я сожалею, что у меня не было еще времени тщательно изучить русский текст этого адреса, но я сделаю это при первой возможности. Я глубоко тронут этой великой добротой, которую глубоко ценю. Я только сожалею, что скудные средства, находящиеся в моем распоряжении, не позволили моей организации сделать гораздо большее для народа

Украины в то время, когда это было необходимо. Я искренне верю, что теперь положение быстро улучшается...

Нансен».

Характерно, что отношения истинного почитания и дружбы Коллонтай сберегла с Нансеном до последних дней жизни ученого. Вот письмо, которое Коллонтай послала Нансену в январе 1930 года и которое он получил, когда уже был прикован к постели смертельным недугом.

«7 января 1930. Дорогой профессор Нансен,

Сердечно благодарю Вас за Вашу прекрасную книгу «Через Кавказ к Волге». Это — настоящий шедевр: соединение научных знаний с истинным литературным мастерством. Книга эта хранит черты Вашей большой и богато одаренной личности. Она умна, глубока, научна и очень, очень гуманна. Я счастлива получить ее и благодарю Вас за это. Я искренне ценю Вашу доброту.

Я хочу надеяться, что Ваша новая прекрасная инициатива в отношении Арктики будет иметь успех, как многое из того, что делает Фритьоф Нансен...

Коллонтай».

В конце письма Александра Михайловна говорит о новой обнадеживающей инициативе Нансена, касающейся Арктики, и желает ученому успеха в этом его начинании. Коллонтай понимала, что пожелание удачи в новом арктическом деле было для Нансена в тот момент самым дорогим: ученый надеялся тряхнуть стариной и осуществить нечто такое, что призвано было достойно завершить его труд в науке. К сожалению, Нансену не удалось претворить в жизнь эту свою мечту.

Я закончил просмотр писем.

Оставалось сделать копии, соответственно оформить их получение и отвезти в Москву.

Пока все это происходило, обязательный Рюд сообщил мне, что, как об этом было условлено в самом начале, редактор пятитомного издания писем Нансена Чархейм готов встретиться со мной.

И вот все тот же кабинет директора библиотеки, все

тот же стол, за которым мы сидели с ним и Рюдом, но, однако, поодаль за столом человек, которого я еще здесь не видел. У него серые глаза, неяркие, задумчиво-внимательные. Да и голос чем-то схож с взглядом этих глаз — не резкий, будто мягко внемлющий. Как предупредили меня в самом начале, он один из лучших в Норвегии знатоков Нансена. Поэтому все вопросы, которые у меня накопились, пока я думал о Нансене, я хочу адресовать ему. Перед нами лежит стопка книг о Нансене, изданных в Норвегии в связи со столетием со дня его рождения.

Я беру книжку Кристиансена, пожалуй, единственную, в которой дан очерк гуманистической деятельности ученого.

«Суть его не в интеллектуальном или творческом начале, хотя и то и другое было в нем сильно, а в том, что заложено было в самой его натуре и что предопределило его характер, величие его характера, — читаю я. — Он был, если хотите, нравственным гением, благородной личностью, практическим идеалистом, независимым, неподкупным, непоколебимым, бескомпромиссно-самоотверженным, человеком без фальши и обмана. Часто говорят: он постоянно жертвовал собой ради того, чтобы помогать людям. Мы говорим так потому, что так все это видится нам. Если же говорить о самом Нансене, то он думал не так. Для него не существовало понятия жертвовать собой, когда речь шла о том, чтобы помогать людям — ведь это же первообязанность человека. Для него это была не жертва, а потребность сердца, потому что отвечала его желанию делать людям добро... Не верно, что он умер оттого, что сердце отказало. Он умер оттого, что оно никогда не отказывало».

Эти слова норвежского автора будто явились своеобразным эпиграфом к беседе с Чархеймом. Если продолжить мысль, высказанную в этой книге, то разговор должен коснуться самой сути жизни ученого, существа того большого, что он сделал для человека.

— Скажите, господин Чархейм, Нансен, как характер, был человеком нынешнего века или все-таки века минувшего?

— По моему, века минувшего. Его богом была совесть, а значит, он верил в принципы, которые испокон веков составляли основу доброго человека. Его любовь к человеку была подвижнической и, на наш сегодняш-

ний взгляд, чуть-чуть старомодной. Его философия основывалась на представлении, почти библейском, что история человечества — это борьба добра и зла. Вся его жизнь была посвящена тому, чтобы умножить силы добра.

— А что, на ваш взгляд, определило его характер: наука или то, что принято называть гуманистической деятельностью Нансена?

— Думаю, что наука. Он, конечно, прежде всего ученый, и в связи с его трудом ученого раскрывается он как человек и, быть может, характер. Он, как вы знаете, человек многих талантов, каждый из которых мог бы ему сделать имя. Однако он понял, что в наше время ученый способен создать нечто ценное только в том случае, если он целеустремлен, если он идет к одной цели, при этом путем кратчайшим.

— Его труд о течениях в полярном бассейне — был именно этим одним путем?

— Да, я это имел в виду, когда говорил об его целеустремленности. О течениях, о климате полярного моря, о полярном море как о лаборатории мировой погоды.

— А его экспедиции в Гренландию, а потом к макушке земли — на полюс, они, эти экспедиции, определялись все также исследованием течений?

— Да, то, о чем вы спросили, важно. Есть два типа исследователей Арктики. Одни устремляются к полюсу, чтобы открыть полюс как таковой. Представители этого типа полярных следопытов были и в Норвегии — их труд и их самоотверженность заслуживают уважения, но воодушевление, которое ведет их на подвиг, в какой-то мере напоминает азарт спортсмена...

— Простите, господин Чархейм, вы имеете в виду Амундсена?..

— Да, в известной мере его... Однако Нансен — полярный исследователь иного типа. Его привел на полюс не полюс как таковой, а все то, что явилось логикой труда Нансена как ученого. Если бы этот его труд не потребовал бы экспедиции на полюс, Нансен бы устоял.

— Я слыхал и такое мнение: говорят, что он был человеком удачи. Да, несмотря на нелегкую жизнь, ему будто бы везло. Так ли это?

— Да, удача, если под ней понимать победу, успех.

Не безглазый успех, а осмысленный, больше того, подготовленный. Успех как результат труда, когда для непредвиденного не остается ни места, ни возможностей. Если речь идет о таком везении, то ему действительно везло.

— Часто говорили о своеобразном знаке простоты в характере Нансена... в отношениях к людям, в самом методе мышления. Что это такое?

— Простота в отношениях с людьми? Да, он был прост, я бы сказал, почтительно-прост с людьми, потому что уважал их. Простота в способе мышления? Да, он любил простые решения. Все, что он делал, было цепью простых решений. Они были просты потому, что были единственно целесообразны. У него был талант улавливать суть. Очищать плод от шелухи и оставлять ядро. Ядро плода это и есть единственно целесообразное, а следовательно, простое.

— Верно, что его натуре было свойственно нечто наивное?

— Так считали скептики. Кстати, он их не любил. Он полагал, что они не способны к действию, а он был человеком действия. Он предпочитал оставаться человеком наивной воли, но воли деятельной.

— А кем он был по своему политическому облику, по системе взглядов на жизнь, по своему мировоззрению в конце концов? Принадлежал ли он к какой-либо партии?

— Да, к небольшой партии либерального толка, которая имела в парламенте двух депутатов. Однако в этой партии он никогда не был активен. Больше того, он не хотел участвовать в политических делах. Если же говорить о мировоззрении, то он был демократом, как понимали это интеллигенты его времени и его круга, то есть гуманистом, противником всяческого насилия.

— Именно поэтому он участвовал во всех делах, связанных с помощью России?

— Да, именно поэтому. Нансен и Россия — значительная страница в жизни ученого. Не сомневаюсь, что она еще будет темой не одной книги. Именно любовь к человеку повлекла Нансена в Россию. Что же касается Советской власти, то он, как человек ума здравого и трезвого, считался с самим фактом, что эта власть существует. Он показал пример того, как западный интеллигент, верный своим взглядам и не отступающий от них, может

находить общий язык с миром, который представляла новая Россия. Переписка Нансена с Чичериным, как мне кажется, об этом свидетельствует с достаточной убедительностью.

Тремя днями позже я покидал Осло. Прежде чем уйти на северо-восток, самолет прошел над городом, точно давая возможность воспринять его панораму, удержать ее в памяти. Город открылся мне с той ясной твердостью линий, которая свойственна только пейзажу Норвегии. Я смотрел на город, и мне казалось, что я вижу его северную окраину, дом с площадкой на крыше, зеленый конус старого клена, под которым навеки лег Нансен, друг людей...

ДОРОГА ДЕСЯТАЯ

В ДОРОГЕ, В ПОИСКЕ

1

Мне сказали: «Никто лучше его не знает лондонскую русскую колонию того времени. Он помнит и Кропоткина, и Фигнер, и Ленина. К тому же в свои восемьдесят пять лет он сохранил завидную свежесть памяти». — «Он... русский?» — «Да, русский». — «И сберег язык?» — «Да, разумеется, хотя Россию покинул шестьдесят лет назад». — «Это что же, после первой революции?» — «После первой». Пока грохочущий поезд лондонской подземки стремил нас на северо-запад английской столицы, где жил Георгий Константинович Кунелли, я не скажу, чтобы интерес к человеку, которого мне предстояло увидеть, уменьшился. Как сообщил мой спутник, Георгий Константинович — профессор вокала, быть может, один из самых крупных мастеров, которых знает сегодня эта сфера музыкальной педагогики в Англии. Куннелли не оставляет педагогической деятельности по сей день, впрочем, последние годы педагогическую работу он сочетает с работой над книгой. Говорят, что предисловие к ней написал Поль Робсон...

Георгий Константинович встречает нас едва ли не на пороге своей квартиры.

— Ах, если бы вы знали, как я рад каждому человеку из России!..

Мы идем гостиной Куннелли, гостиной, которая одновременно служит ему и классной комнатой, — со стен смотрят его питомцы, среди которых нетрудно узнать созвездие больших и малых имен европейского кино и театра.

— Погодите, а верно ли, что была Сибирь в девятьсот пятом и был Байкал?..

— Верно, — произносит наш хозяин и открывает дверцу шкафа, стоящего в углу. — Вот тому доказательство... — На белую скатерть ложится камень, дымчато-серый, в ладонь. — Этот камень я подобрал на берегу Байкала в девятьсот восьмом и пронес через всю жизнь... как бриллиант.

— И знакомство с Кропоткиным началось с этого камня?..

Он встает.

— Почти... Кропоткин знал, что я бежал с Байкала, — произносит он не без труда, — видно, последний раз он говорил по-русски давно. — Пусть не смущает вас мой... русский язык, — замечает он вдруг. — Мне нужно полчаса, чтобы я его... наладил.

И действительно, его язык на глазах обретает и живость, и пластичность, и богатство лексики, и главное (это от смелости!) — юмор.

— Когда я первый раз пришел к Кропоткину, он косил траву в саду. Представьте старика с белой патриаршей бородой, который косит траву. Он это делал вот так. Сейчас я вам покажу...

Он точно берет в руки косу и, расставив ноги, коротко и сильно заносит ее, чтобы подсечь траву пониже. Это чисто педагогическая привычка: все, что он должен сообщить тебе, он показывает.

Потом он на минуту затихает, чтобы сосредоточиться и вызвать в памяти облик Веры Фигнер — манеру держать голову, смелый и тревожный взгляд ее глаз и ее голос... это самое трудное через десятки и десятки лет воспроизвести голос человека, но, кажется, ему удается и это. Здесь и наблюдательность художника, которому на роду написано видеть то, что не замечают другие, и чисто актерский дар, дар от бога — переселиться в душу и тело другого человека, перевоплотиться и, наверно, память, которую непросто сохранить в восемьдесят лет, память зрительная, еще больше — слуховая.

Плеханова Георгий Константинович встречал в Жене-

ве вскоре после того, как пересек русскую границу. «Человек острого ума и истинно энциклопедических знаний, он был похож на свой голос — баритон!» Затем Георгий Константинович рассказывает, как разговаривал Плеханов с единомышленниками из России и как при этом держал перед собой руку, осторожно сжимая ее.

Потом, очень образно, он показывает, как говорил перед большой аудиторией Ленин, которого Георгий Константинович видел в Париже.

— Представьте себе небольшую сцену — три шага по диагонали. И все время, пока он говорил, он вышагивал. Это были его три шага — он говорил, продолжая ходить. Вот так...

На какой-то миг Георгий Константинович оглядывается на стол, где лежит круглый камень, будто взывает к нему, с ним советуется, набирается у него силы, потом встает и выходит на середину комнаты. Он вскидывает голову, стремительно и крепко идет по комнате, останавливается и, обратив взгляд вперед (аудитория там), произносит:

— Товарищи...

И в том, как произнесено это слово, слышится интонация, которую вы никогда не слышали, — в нем, в этом слове, и чувство общности с залом, и желание его убедить.

Я слушаю Георгия Константиновича, и у меня ощущение чуда: через добрых полстолетия, через хребты войн и революций, через потрясения своей собственной жизни человек донес нечто такое, что сделало вас соучастником событий, происшедших в начале века — точно сам день вашего рождения отодвинулся в глубь лет и к вашей жизни прибавилась жизнь человека, сидящего рядом с вами.

...А на скатерти лежит дымчато-серый камень, камень-бриллиант, камень-амулет, добытый больше шестидесяти лет назад на Байкале.

2

Впервые я увидел его на большом приеме в нашем лондонском посольстве. Седой старик, сутуловатый и крепкоплечий, рассказывал своему собеседнику нечто очень смешное — бокал с вином в руке собеседника подпрыгивал. То, что мне поведали о старике, немало заинтересо-

вало меня. Горный инженер и парламентарий, кажется, из Уэллса, Стефан О. Дэвис в годы революции жил и работал в Донбассе, бывал в Москве и беседовал с Лениным.

— Ну что ж, я готов рассказать все, что знаю, — заметил он, протягивая мне руку. — Приходите завтра в парламент — лучшего места для такого рассказа не найти, — заметил мой новый знакомый и усмехнулся.

Предгрозовой вечер. Сухо. Только далеко за Лондоном над круглыми полями Северной Англии молния тревожит небо — гроза идет к Лондону.

Оказывается, имени Дэвиса достаточно, чтобы строгий страж, стоящий у входа в Вестминстер, взял под козырек.

В кулуарах парламента людно. Идет заседание парламента. Включены репродукторы — то, что происходит в зале, слышно во всех концах здания — вьетнамская проблема в повестке дня.

Дэвис приходит тотчас. Кажется, что огонь, бушующий в зале, выплеснулся на его щеки.

— А мы славно... придумали! — смеется он, оглядывая темные своды длинного и высокого зала, по которому мы идем, — как ни ярко электричество, его не хватает, чтобы высветлить зал. — Честное слово, славно придумали! Я вам все расскажу по порядку... Кажется, там сейчас наступит пауза, — указывает взглядом на дверь, из которой вышел. — Перед голосованием...

Мы спускаемся вниз — там в обширном подвале, в своего рода преисподней, то, что очень условно может быть названо рестораном парламента. Мы идем коридором вдоль длинного ряда дверей — такое впечатление, что за дверьми крохотные комнатки, комнатки-соты. Если свыкнуться с тем, что мы находимся в ресторане, то такого рода комнатки-номера служат прибежищем флирта. Иногда дверь распахивается, и в коридор выкатывается столик на колесах, уставленный дымящимися блюдами, еще дымящимися.

— Простите, это... тоже парламент?

— Да, разумеется, — улыбается Дэвис. — Не похоже?

Двери напротив тоже распахнуты — оттуда доносится шипение и запах — кухня там. Впрочем, если говорить точнее, кухня не столько там, сколько здесь. В этих комнатах-сотах возникает многое из того, что по сложной си-

стеме лифтов и лестниц потом поднимается наверх, чтобы заявить о себе, как о мнении Вестминстера.

Мы входим в зал и занимаем место за столиком. Большое здание парламента над нами, и его дыхание, усиленное репродукторами, доносится до нас. Вместе с гулом голосов слышатся и несильные удары грома — гроза приближается к Лондону.

— Я сейчас все вспомню, — говорит Дэвис. — Я приехал в Россию в двадцать первом. Помню, когда поезд шел из Риги в Москву, он остановился в открытом поле и простоял полдня. Я спросил, что могло задержать поезд так долго. Мне сказали: нет угля. Я все понял: и как трудно стране, в которую я приехал, и в какой мере важен для нее труд людей, добывающих уголь. Я недолго оставался в Москве и уехал в Донбасс. Осенью двадцать второго в Москве собрались инженеры-горняки. Совещание происходило в Кремле. Был там и я. В перерыве подходит ко мне Надежда Крупская: «Товарищ Дэвис, о вашей работе в Донбассе знает Владимир Ильич. Здоровье не позволяет ему прийти сюда. Не могли бы вы побывать у него?» Я спросил: «Он так хочет?» — «Да, очень», — ответила она. Я пошел к Ленину...

Дэвис прерывает рассказ. Кажется, и он услышал голос грозы, идущей к Лондону. Гром грохочет все ощутимее, и древний Вестминстер будто отзывается на каждый вздох грозового неба.

— Когда я увидел его, — продолжал Дэвис, — я сразу подумал: этот человек болен. Я увидел это по глазам: временами они глядели даже весело, но из них не уходила боль. В кабинете нас было двое, да наш английский язык, его и мой. Он очень хорошо говорил по-английски. Я из Уэллса, и мой язык не прост, но он меня понимал хорошо.

«Как Лондон, товарищ Дэвис? — спросил меня Ленин весело. — Ведь я там жил!.. Походы по городу были моей страстью — у меня там были свои любимые дороги...» Я рассказал Ленину о том, как выглядит Лондон теперь. Казалось, рассказ мой был ему приятен. «Товарищ Дэвис, я все знаю про вас, — сказал Ленин. — Большое спасибо за все, что вы сделали для новой России». Потом он помолчал, произнес негромко: «Расскажите, как вам работается...» Я сказал Ленину, что мне нелегко, потому что на шахте нет постоянных рабочих: три четверти всех рабочих — крестьяне. Они приходят на шахту осенью и

уходят весной... «Но я так думаю, что вы справитесь с этой трудностью», — сказал я Ленину. — «Почему?» — спросил Ленин. — «Потому, что вы знаете, чего хотите, а это главное». Ленин был очень растроган этой простой фразой. Он повторил еще раз: «Спасибо... спасибо, что приехали к нам и помогли». Я сказал, что хотел бы больше сделать для России и русских рабочих. «У России много друзей в нашей стране, товарищ Ленин, — сказал я. — Очень много друзей, особенно среди шахтеров». — «Английские шахтеры — немалая сила!» — воскликнул Ленин. «Да, нас... миллион!» — ответил я — нас действительно тогда был целый миллион. — «Большая сила!.. — повторил он и потом посмотрел мне в глаза. — Товарищ Дэвис, — произнес он, — помогите нам сберечь мир... Еще двадцать пять лет, и мы встанем на ноги...» Помню, прощаясь с ним, я вновь увидел его глаза близко и вновь подумал о том, что он болен, очень болен. «Вам надо отдохнуть, товарищ Ленин, хорошо отдохнуть», — сказал я ему. — «Я еще поработаю, товарищ Дэвис...» — ответил он мне. По-моему, это были его последние слова, которые я слышал...

Какую-то минуту Дэвис сидит неподвижно. Он точно застигнут врасплох воспоминаниями, которые сам же вызвал из глубин памяти.

Гроза уже ворвалась в город, и ее удары, как мощные токи крови, идут по камням древнего Вестминстера.

— Он так мне и сказал: «Я еще поработаю, товарищ Дэвис!»

3

По словам Дэвиса, Ленин заметил, имея в виду Лондон: «Походы по городу были моей страстью — у меня там были свои любимые дороги». Владимир Ильич действительно хорошо знал Лондон — английский язык, как свидетельствует Надежда Константиновна, он учил и на городских площадях и улицах, слушая колоритный говор лондонского простого люда. Однако, как ни много было этих дорог, все они вели на Клеркенуэлл Грин Плейс к двухэтажному дому, который носит сегодня имя Маркса.

У дома на Клеркенуэлл Грин Плейс своя история, во многом примечательная. Сама площадь, на которой стоит дом, сам этот дом издавна были символом вольнолюбия. Случайно или нет, но именно здесь взвились огни больших костров, видимых издалека: крестьянской ре-

волюции XIV века и чартистского восстания, если его можно назвать восстанием, века XIX. С надеждой сюда были обращены в те дни взоры обездоленного Лондона, отсюда он ждал решения своей участи. Наверно, в том, что «Зеленое Место» (Грин Плейс), окропленное кровью борцов за английскую свободу, стало местом своеобразных маевок рабочих-революционеров, была своя закономерность, как своя логика была в том, что на Грин Плейс печатались и газета английских социалистов «Джастис» и русская «Искра».

В самом факте, что в доме на Грин Плейс редактор «Джастис» Гарри Квелч приветил русского революционера Владимира Ульянова, было нечто большее, чем обычное гостеприимство, — Квелч хотел помочь Ульянову. И он помог. Когда возник вопрос о печатании русской газеты в Лондоне, Квелч предоставил русским свою типографию. Больше того, он отдал товарищам из России свою рабочую комнату, а сам перебрался в каморку, которую для него соорудили рабочие, отгородив свободный угол в типографии. Новая редакция Квелча была так мала, что в ней с трудом могли поместиться стол, стул и книжная полка над столом.

Квелч был видным марксистом в своей стране, признанным лидером левых английских социалистов. С его именем связано движение новых трейд-юнионов, пафос деятельности которых был направлен против английской рабочей аристократии. Человек независимого и достаточно строптивого характера, Квелч за словом в карман не лез. Владимир Ильич рассказывал о конфликте английского революционера с вюртембергским правительством. Выступая на конгрессе социалистов в Штутгарте, Квелч назвал Гаагскую конференцию собранием воров и немедленно, по полицейскому распоряжению, был выслан из страны. Товарищи Квелча по делегации ответили на это весьма своеобразно: когда на другой день открылось заседание конгресса, место Квелча на конференции было отмечено плакатом: «Здесь сидел Гарри Квелч, высланный вчера вюртембергским правительством». Говоря о том, что только социал-демократы вели в Англии пропаганду и агитацию в марксистском духе, Ленин назвал это величайшей исторической заслугой Квелча и его товарищей.

Дом на Грин Плейс был лондонской резиденцией Квелча и его сподвижников по партии — тем больше ос-

нований было у наших английских друзей сделать этот дом мемориальным. Поводом к этому явилось пятидесятилетие со дня смерти Маркса. По призыву английских коммунистов был организован сбор средств по всему земному шару — дом, как мемориальный центр, был создан на эти пожертвования и стал в своем роде институтом марксистской мысли: большая библиотека с редким собранием книг, периодики, рукописей, а также школа.

Зеленая площадь закована в бетон и давно перестала быть зеленым местом английской столицы, однако сохранила главное: как некогда, она является для древнего города символом нови.

4

Я поднимаюсь на второй этаж дома и через небольшой холл, где старый коммунист рассказывает лондонским рабочим об основах марксизма, проникаю в сумеречную комнату с единственным окном, выходящим во двор. Наверно, сейчас эта комната выглядит не так, как шестьдесят три года тому назад, но, как свидетельствуют старые лондонцы, именно здесь Владимир Ильич правил заметки рабочих и сдавал их в набор, вычитывал гранки, правил полосы с машины и нередко спускался вниз, в типографию, где набиралась и версталась газета — когда версталась газета, он любил быть рядом с метранпажем. Здесь, в этом доме, работали и многие из тех, кто связал свое имя с русской революцией, с Лениным...

Соредактором «Джастис» был русский революционер-большевик Федор Ротштейн — лондонский старожил, одинаково хорошо знавший старую и новую русскую эмиграцию дореволюционной поры от Степняка до Литвинова и Чичерина. Большевик с полувековым стажем, он много сделал для становления молодой советской дипломатии и был одним из тех первых, кого Страна Советов облекла высоким званием своего посла и направила за рубеж. Федор Ротштейн умер, однако в Лондоне живет его сын, Андрей Ротштейн, известный публицист, член Коммунистической партии Великобритании. Если преемственность, идущая от отца к сыну, преемственность профессии, жизненного призвания, общественного идеала является одновременно взаимосвязью и взаимовлиянием поколений, то здесь именно этот пример. Андрей Ротштейн пришел в дом Маркса и отдал деятельности дома и его библиотеки свой опыт.

Однажды вечером, пасмурным и неярким, мы встретились с Андреем Федоровичем Ротштейном в доме Маркса на Клеркенуэлл Грин Плейс.

— О Чичерине мне говорил отец, как о человеке всесторонне образованном. Литвинова я помню по Лондону, — говорит Андрей Федорович. В его голосе, негромком, приятного тембра, и в его жестах, подчеркнуто нерезких, что-то общее, выражающее корректную силу его натуры. — Как вы знаете, душой эмигрантской колонии был кружок Герцена. Как ни сильны были разногласия между эмигрантами, в канун Нового года наступало своеобразное перемирие — Новый год, если не они, то их семьи, встречали вместе. И хозяином этого традиционного вечера неизменно был Литвинов — без него бесчисленные колесики большого вечера отказывались вращаться. Я помню его, отдающим распоряжения, выступающим с короткой и остроумной импровизацией, танцующим... Все, кто знал Литвинова, диву давались: самый воинственный боец являл в этот вечер пример лояльности и дисциплины... Наверно, это было характерно для Максима Максимовича.

Андрей Федорович умолкает, наклонив голову.

— Вы сказали, что каменное ложе Брикстона явилось колыбелью и для первых советских дипломатов? — произносит он и смотрит на меня. — Каменная колыбель!.. Да, там сидели в восемнадцатом и Чичерин и Литвинов! Но как восстановить подробности о двух русских узниках Брикстона? — он продолжает напряженно думать. — Есть неким образом... одно лицо, способное рассказать вам эту историю в деталях! — произносит он и неожиданно улыбается. — Скажу больше: вы можете... встретиться с этим лицом, не выходя из этого дома! — добавляет он — то, что он готовится мне открыть, определенно заинтересовало и его. — Лицо это — знаменитый «Колл», полный комплект которого имеется в нашем доме. Ну что ж, если вам интересна эта «встреча», мы устроим ее тотчас...

5

И вот осторожные руки несут комплект старой газеты «Колл». Орган международного социализма, цена — пенни, — читаю я. Пододвигаю комплект. Крепкий картон, казалось, заключил в броню огонь и тишину грозового года.

Однако что знаю я о том, что Андрей Ротштейн называл историей двух русских узников?

Свершился февраль. Февраль семнадцатого. На фасаде российского посольства в Лондоне на Чешем Плейс ветер треплет трехцветное знамя, разумеется, без царского герба с двуглавым орлом. На месте, где был герб, овальное пятно невыцветшей материи. Над входом в посольство такое же пятно, но побольше — там был слепок герба. Над письменным столом в посольском кабинете это пятно обрело размеры катастрофические — там был портрет царя во весь рост.

Все, что напоминает монархию и самодержца, содрано, счищено, смыто. Единственно, что осталось в посольстве неизменным — его персонал, в частности глава посольства. Вчера он представлял российского царя, сегодня — Керенского.

— Я не вижу разницы между Александром Федоровичем и... Александрой Федоровной, — это сказал российскому поверенному в делах Набокову революционер Георгий Чичерин.

Набоков вознегодовал, и последствия сего гнева не заставили себя ждать: Чичерин был обвинен во вмешательстве в английские дела и заточен в лондонскую тюрьму Брикстон, судя по всему, заточен прочно — давно минул февраль, прошло более чем горячее лето, свершился Октябрь, а Чичерин продолжал сидеть.

Итак, я пододвигаю комплект «Колл» и раскрываю его. Желтые, пахнущие временем и пылью страницы. Семнадцатый год, декабрь. Где-то здесь, в коротких редакционных заметках, в хронике дня, в передовой, а может, в объявлениях, которые газета дает в каждом номере, должна отразиться история русского узника, томящегося в лондонской тюрьме.

«К делу Чичерина». Да, так именно названа эта заметка. Небольшая заметка — двадцать строк. «Из запроса Адамса Бриджеса... в Палате лордов, а также из ответа лорда Керзона можно сделать вывод, что сообщение об освобождении Чичерина является ложью».

Я продолжаю листать газету, тщательно исследуя каждую страницу. Чичерин освобожден и выехал на родину. Он прибыл в Петроград и назначен одним из руководителей иностранного ведомства Советской республики.

Кстати, последнее событие «Колл» зафиксировал точно. «Назначение Чичерина заместителем наркома по ино-

странным делам наиболее полно учитывает его высокие качества», — отметила газета. И не только это. Английские друзья рады, что человеку, много лет работавшему рядом с ними, русское правительство доверило столь высокий пост. «Мы полностью отдаем себе отчет, какой мы чести удостоены, участвуя в славном движении в России» — это сказано газетой в связи с назначением Чичерина.

Но теперь тучи нависли и над Литвиновым: английские власти своеобразно зачли ему все, что он делал для освобождения Чичерина. Как это было с английскими властями прежде, однажды испытанное средство явилось для них превыше всех добродетелей и доблестей. Все, что совершили с Чичериным, с абсолютной пунктуальностью распространили на Литвинова. Русский революционер был обвинен во вмешательстве в английские дела, препровожден в Брикстон-призн и заключен едва ли не в ту же камеру, в какой сидел его товарищ.

Газете, которая лежит сейчас передо мной, наверно, не просто было откликнуться на происшедшее, однако она сообщила об этом событии на другой же день. «...Мы хотели высказаться на эту тему в прошлом номере, в разделе «Заметки и комментарии», — пишет «Колл», имея в виду арест Литвинова. — Однако типография лишила нас этой возможности. Так как заметка не была готова к моменту, когда «Колл» сдавался в печать, она не могла появиться в номере без того, чтобы не вызвать его опоздания. Мы не хотим обвинить в этом рабочих, чье служение свободной прессе в дни войны хорошо известно, однако полагаем, что должны дать это объяснение читателю».

Нам остается добавить, что Литвинов прошел путем Чичерина до конца и был обменен на Брюса Локкарта.

Случайно ли это?.. Вряд ли. Уже началась блокада Советской республики, и по всем, кто был ее солдатами или друзьями, был открыт огонь наижестокий... Кстати, наши британские друзья неизменно были с нами.

— Пожалуй, Джона Маклина не назовешь только другом русской революции, он был ее сподвижником, — сказал мне Андрей Ротштейн. — Человек великого мужества и верности идеалам рабочих, он был человеком и образованным и талантливым!..

Я много слышал об этом удивительном человеке, знал о недюжинных его данных, но для меня он был интере-

сен и по другой причине: Джон Маклин был коллегой и сотоварищем Литвинова и на дипломатическом поприще, став первым консулом Советской страны в Шотландии, и в этом необычном для себя качестве явил силу духа немалую.

6

На аэродроме в Эдинбурге меня встретил Том Кембелл, историк и поэт, знаток русско-шотландских культурных связей, своеобразно и последовательно воплотивший свои широкие познания в исследовании жизни и деятельности двух сынов Шотландии: Бернса и Маклина. Однако Том Кембелл фигура настолько колоритная, что о нем стоит сказать подробнее. Советский ученый Братусь, прибывший на шесть месяцев в Эдинбург для расширения своих познаний в области шотландской лингвистики, сказал мне о Кембелле: «В Шотландии не много людей, знающих Бернса так, как знает его он. Я убедился в этом, пройдя с ним шотландскими дорогами, которые были и дорогами поэта».

Три дня я путешествовал с Томом Кембеллом по Шотландии, повторил, в частности, маршрут, который он прошел с русским ученым, был с ним в шотландских домах, в том числе в его доме, много говорил с ним о Бернсе и Маклине, смотрел библиотеку Кембелла, состоящую из книг шотландских и русских, и по мере того, как наше путешествие продолжалось, я узнавал о знаменитом шотландце, ставшем у себя на родине консулом страны социализма, все новое и новое.

— Вся жизнь Джона Маклина связана с Глазго на Клайде, — сказал Кембелл. — Здесь он вырос, здесь стал вожаком рабочей рати. Я сказал: «Глазго на Клайде», хотя можно было сказать просто «Глазго». Дело в том, что река Клайд, на которой стоит Глазго, стала синонимом борьбы. Клайд — рабочая солидарность, Клайд — напор рабочего братства. Джон был и вожаком и трибуном Клайда. Когда на больших митингах докеров слово предоставлялось Джону и, подняв светловолосую голову, он шел к трибуне, зал закипал, будто море в предштормовой час. В отличие от многих рабочих вождей того времени, Джон Маклин был человеком высокообразованным, он окончил университет в Глазго, великолепно знал Маркса. Впрочем, это признавали и его враги. Судья, пославший его на каторгу, закончив чтение при-

говора, процедил гневно: «Вы, образованный человек, с кем себя связали?» Однако я, кажется, обогнал самого себя, — заметил Том Кембелл. — Эта история проигрывает, если ее не рассказать по порядку.

Мне было понятно желание Кембелла так поведать о жизни Маклина, чтобы не утратилось то главное, что в ней есть: борьба за счастье рабочей Шотландии.

Характерно, что, рассказывая о Маклине, Том Кембелл видел в его жизни те же черты, которые он рассмотрел в Бернсе: любовь к народной традиции, знание истории, ее далеких и близких истоков. Рассказ, начатый Кембеллом, продолжили его друзья, все, кто помнил Маклина в Эдинбурге и Глазго, кому это имя было дорого.

1 февраля восемнадцатого года Джон Маклин получил письмо от М. М. Литвинова: Советская республика просила Маклина быть ее консулом. Несколькими днями позже на фасаде дома — Глазго, Портланд Стрит, 12 — появилась эмалированная табличка: «Советское консульство в Шотландии». В консульство устремился поток посетителей, пошла корреспонденция. Однако, странное дело, поток писем неожиданно прервался. В консульстве стало известно: письма перехватывают и возвращают адресатам. На возвращенных письмах пометка: «Консульство не признано правительством его величества». Впрочем, власти не преминули обратиться и к более действенным мерам: 22 марта в консульство явились чины полиции и предъявили ордер на арест заместителю консула, 13 апреля был арестован консул. Этот процесс над шотландским революционером, ставшим советским консулом, поистине стал знамением той поры. Процесс над Маклином начался 9 мая в Верховной судебной палате в Эдинбурге. Накануне многие из тех, кто составлял рабочую рать Клайда, покинули Глазго и, образовав мощную колонну, двинулись в Эдинбург. Они шли всю ночь, освещая путь свой факелами.

В день, когда начался процесс, Эдинбург был похож на осажденный лагерь. В каменные артерии древнего города точно влилась молодая кровь: улицы Эдинбурга заполнили рабочие. Они расположились лагерем на ближних и дальних подступах дворца юстиции, оглашая улицы звуками боевых песен. А в это время во дворце юстиции уже читалось обвинительное заключение. В сущности Маклин обвинялся в измене.

Обвинительное заключение опиралось на тексты речей, якобы произнесенных в разное время Маклином. На суде говорили свидетели обвинения, свидетели защиты на суде отсутствовали. Двадцать восемь свидетелей обвинения, из которых двадцать три представляли полицию (при этом восемь были полицейскими, двенадцать — государственными клерками), пытались поддержать обвинительное заключение. Как свидетельствуют очевидцы, присутствовавшие на процессе, Маклин защищал себя самоотверженно — его защите была свойственна не столько изощренность адвоката, сколько напор и логика бойца своего класса. В единоборстве со свидетелями обвинения Маклин установил, что записи его речей, на которых строилось обвинение, были сделаны по памяти, много позже того, как речи были произнесены. «Почему же вы не записывали мои речи, когда они произносились?» — спросил Маклин такого свидетеля. «Я не боялся делать заметки открыто, но... не считал это разумным...» — ответил свидетель в смятении. «Вы пошли на митинг, как шпион, и боялись обнаружить это перед людьми, стоящими с вами рядом!» — «Не совсем...» — пришел в окончательное замешательство свидетель. «Шпионов расстреливают!» — бросил в гневе Маклин. Он поистине использовал процесс как трибуну. «Я здесь не обвиняемый, — заявил Маклин. — Я здесь обвинитель!..»

Каждый раз, когда в зале суда возникало имя молодой Республики Советов, Маклин пытался найти самые сильные слова, чтобы выразить свою любовь к ней, верность ее идеалам. «Это самая мирная и самая великая революция на земле!» — воскликнул он, имея в виду Октябрь. «Рабочие Клайда могут помочь победе русской революции. Рабочие могут извлечь много полезного из опыта советских братьев».

Поистине неотразимым было последнее слово Маклина — в нем, в этом слове, с редкой силой и прозорливостью прозвучала и вера, и воля, и страсть революционера. «Я — социалист, — сказал Маклин. — Я боролся и буду бороться за создание общества, которое будет существовать для блага всех... Я действовал честно и принципиально. Я ничего не сделал такого, чего должен стыдиться. Каковы бы ни были ваши обвинения против меня, какие бы мысли вы ни таили, я обращаюсь к рабочему классу и только к нему. Он, только он, может создать мир, опирающийся на братство всех людей».

Верховный суд Эдинбурга вынес Маклину более чем суровый приговор: пять лет каторги. Маклин встретил приговор мужественно. «Продолжайте наше дело, ребята! — крикнул он, обращаясь к своим сподвижникам, когда полицейские вели его из зала. — Не сдавайтесь!..»

...Поезд Эдинбург — Глазго идет холмистыми полями. Я ловлю себя на мысли, что не могу оторвать глаз от дороги, что бежит рядом с поездом, взлетая на холмы и исчезая. Я думаю о том, что, наверно, это одна из старых дорог Шотландии, издавна связывающих два ее самых больших города. И еще я думаю: той майской ночью восемнадцатого года, в канун суда над Маклином, рабочие колонны Глазго пришли в Эдинбург этой дорогой...

7

— Как это ни парадоксально, — говорит Крейтон, быстро переходя рядом со мной людную лондонскую магистраль, — среди жителей большого города немало таких, которые всю жизнь ходят одной тропой. Они полагают, что живут в Лондоне. На самом деле, в большом мире, которым в сущности является современный Лондон, они обжили одну улицу.

Эти несколько слов, невзначай произнесенные Крейтоном во время одного из многочасовых походов по Лондону, во многом объяснили мне его натуру. Питомец Оксфорда, человек, великолепно знающий современную английскую жизнь, интеллигент в точном значении этого слова, Кембелл Крейтон всем страстям и увлечениям предпочитал многочасовую прогулку по Лондону, когда великий город будто в панорамном кино поворачивается к тебе всеми своими гранями.

— До встречи осталось не больше четверти часа, но мы все-таки пойдем пешком! — говорил Крейтон, и это значило, что в эти пятнадцать минут нам предстоит увидеть нечто такое, без чего пребывание в Лондоне лишено смысла. По дороге к Пристли мы побывали у дома, где жил Шоу. Направляясь к Сноу, мы прошли по тэккереевскому Лондону.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что далеко не все свои сюрпризы английский друг поместил в Лондоне, многие он расположил за пределами английской столицы. По пути в Северную Англию, куда мы ездили к Джену Линдсею, Крейтон показал мне пригоро-

ды Лондона, без знания которых нельзя представить жизни русских эмигрантов. По пути в Стрэдфорд на Эйвоне он показал оксфордские колледжи, показал так интересно и впечатляюще, как это может сделать только питомец Оксфорда.

Крейтон составил своеобразный маршрут, для меня бесценный, и прошел вместе со мной по этому пути, останавливаясь едва ли не у каждого мемориального дома. Мы знаем немало о жизни Ильича в британской столице. Однако многого мы и не знаем, а многое утратилось. Крейтон, доверяя логике фактов, прочертил свой маршрут. Кстати, любопытная деталь: Ленин прибыл в Лондон через девятнадцать лет, всего лишь через девятнадцать лет после смерти Маркса. Многие лондонские тропы, проторенные Марксом, еще не тронуло время. Были живы сподвижники Маркса, его друзья. Может поэтому, лондонские маршруты Владимира Ильича физически были маршрутами Маркса. И немецкий район, с его клубом, множеством закусочных, которые нередко были филиалами клуба — социалисты встречались здесь. И лондонское Сохо, где жили многие друзья Маркса и жил он сам. И район Клеркенуэлл Грин Плейс, где социалисты, собиравшиеся в Лондон со всего света, печатали книги, газеты и листовки...

Я слушаю Крейтона и думаю: о жизни Ильича в Лондоне он читал нечто такое, что, наверно, читал и я. Он говорит, что Ленин любил забираться на верх омнибуса и оттуда наблюдать живой Лондон, а я вспоминаю прекрасную книгу Надежды Константиновны, проникнутую живым ощущением времени, в которой так образно воссоздана лондонская пора жизни Ленина. Помнится, Надежда Константиновна писала, что Владимира Ильича тянуло в гущу лондонского рабочего люда. Он шел в народный ресторанчик, в кафе, в бар. Он не раз бывал в церкви «Семи сестер», где слушал проповеди, а потом беседы священника с прихожанами. Его увлекали рабочие маевки на открытой поляне, на траве, выступления ораторов под открытым небом, разумеется, и с импровизированных трибун Спикинг корнер в Гайд-парке. По газетным объявлениям, набранным нонпарелью и петитом, он отправлялся на дальнюю окраину Лондона, чтобы послушать ораторов из рабочих. «Из них социализм так и прет» — это он сказал о таких ораторах-рабочих. А потом ехал на Прайм Роуз Хилл, чтобы с возвышен-

ности, поднявшейся над городом, обнять взглядом громаду Лондона, а оттуда шел на кладбище, где похоронен Маркс, чтобы в тишине постоять у могилы учителя...

Наверно, в наших походах по Лондону Крейтон выбирает тропы, которые, как ему кажется, были путями Ильича. Наверняка, в этих походах Ильича по Лондону была своя логика, свой план, своя ведущая мысль, характерная для строя мыслей и чувств, которые владели Лениным в ту пору. А что это были за мысли и что они нам объясняют?

Уже виделись зарницы первой русской революции. Виделись во всей своей грозной мощи, и все помыслы Ильича были направлены на создание рабочей партии, способной повести страждущую Россию на приступ самодержавия. Ленин думал о российском рабочем, нет, не только о бедолаге и страдальце, но о человеке гордой мысли, воителе, окрыленном революционной мечтой о свободе. Эти россияне пролетарии, люди мечты бестрепетной, которым поистине терять было нечего, кроме своих цепей, уже появились, стояли рядом с Лениным в образе таких народных героев, как Иван Бабушкин... Кстати, Бабушкин был у Ленина в Лондоне.

Мы прошли с Крейтоном и по Лондону, который условно можно назвать русским Лондоном, по тем путям, где в жестокие годы борьбы за русскую свободу жили гонимые. Я пытался разыскать лондонские пути Чичерина и Литвинова — сегодня это сделать не просто: лондонский Ист-энд, где жил Чичерин, претерпел изменения немалые, начисто снесено массивное здание по Виктория-стрит, 82, где в восемнадцатом году было первое советское посольство, возглавляемое народным послом, как он тогда официально звался, Максимом Литвиновым. Единственно, что стоит нерушимо — это Брикстонская тюрьма... Крепкое, приземистое здание, сложенное из серого кирпича, оно обнесено такой же крепкой кирпичной оградой. Ни одно здание старого Лондона не чувствует себя так благополучно, как это — казалось, оно вросло каменными своими корнями в землю. У тюрьмы, вернее у ее кирпичной ограды, стоит ветряная мельница, какимто чудом залетевшая сюда. Очевидно, мельницу эту видели из своих окон и русские узники, и она напоминала родину — очень похож этот лондонский ветряк на своих собратьев, какими их помнят придонские и приднепровские степи...

И вот советский корабль несет меня по неспокойным волнам Северного моря, едва ли не той самой дорогой, какой в зиму восемнадцатого года возвращались на родину Чичерин и Литвинов. За бортом море, серое и тусклое, будто ноябрьская степь. Оно становится матово-белым, точно молочное стекло, потом зеленым, каким бывает только на театральных декорациях. И еще: горизонты словно отодвинулись, и море стало невиданно просторным... И вновь память возвращает меня к тому, чем я жил до того, как корабль отчалил от британского берега. Не могу себе простить, что не увидел Артура Рэнсома. (Наверно, ему сложнее встретиться со мной, чем мне с ним.) Утешаю себя тем, что везу его книгу о России и русской революции. Там есть страничка, к которой я обращался и прежде. Очарование всего, что уместилось на этой страничке, не только в больших и, я так думаю, вечных истинах, но и в том, что автор пришел к этим истинам в годы революции, автор, к счастью, и поныне здравствующий. Помните эти слова. Они воспроизведены в первом рассказе этой книги.

«...Больше чем когда-либо раньше Ленин произвел на меня впечатление счастливого человека. По пути домой из Кремля я пытался вызвать в памяти образ другого деятеля такого же масштаба, который обладал бы жизнерадостностью Ленина, и не смог... Каждая морщинка на его лице лучится смехом, это морщинка смеха, а не тревоги. Я думаю, это объясняется тем, что он первый великий руководитель, который полностью отрицает значение своей личности. Он абсолютно лишен какого бы то ни было личного тщеславия. Более того, он, как марксист, верит в движение масс, которые с ним или без него будут неуклонно двигаться вперед. Он безраздельно верит в те стихийные силы, которые поднимают и ведут массы, а его вера в самого себя — это не что иное, как вера в свое умение правильно оценить направление этих сил. Он не верит, что один человек в силах совершить или остановить революцию... поэтому он испытывает такое всеобъемлющее чувство свободы, какое прежде не приходилось испытывать ни одному великому человеку...»

Я перечитываю эту страничку вновь и вновь, и мне кажется, что солнечный луч, что высветлил море и сделал его доступным от горизонта до горизонта, не погас — сейчас мне легче обнять увиденное.

ДОРОГА ОДИННАДЦАТАЯ

ИЗ ОКНА БЫЛ ВИДЕН КУПОЛ СОБОРА

Храню фотографию: бюст Ленина из мрамора снежной белизны, кажется работы Меркурова, и около него четверо: И. Г. Эренбург, посол А. П. Павлов и мы с Михаем Бужором. По-моему, говорит Эренбург, как обычно весело озаряясь, будто слова возникают из самих глаз, лукаво-озорные и иронические. У Бужора добродушно-спокойное лицо, освещенное какой-то своей мыслью, сокровенной, к которой он обратился уже после того, как слова Эренбурга были произнесены. Где и когда сделана фотография? Наверное, на приеме в ВОКСе на Большой Грузинской в конце декабря сорок шестого года. Трудно сказать, почему вся группа снята у бюста Ленина. Скорее всего случайно, но сейчас это выглядит почти символически. Особенно, если учесть, что в этой группе был Бужор...

Помню, мы вылетели на рассвете в надежде быть в Москве часов через шесть. Делегаты были предупреждены, что мы полетим на военном самолете, не располагающем никакими удобствами, и каждый, как мог, позаботился о своем снаряжении. Кто взял плед, а кто овчинный полушубок с валенками — среди делегатов было несколько человек в возрасте почтенном. Возглавлял делегацию Константин Пархон, президент академии и известный эндокринолог — уже тогда пархоновские ампулы, продлевающие жизнь, были известны далеко за пределами румынской земли, и среди корреспондентов

академика, требующих ампул, были многие знаменитые старики Европы. В состав делегации входил академик Александр Россети, первый филолог университета, оперный дирижер Эджицио Массини, только что поставивший «Евгения Онегина», известная певица Дора Массини, академик Виктор Ефтимиу, доктор Семен Оэриу, князь Ласкар Катарджи, академик Оцетя, а также Михай Бужор, фигура для Румынии легендарная... Едва «дуглас» оторвался от бетонной дорожки бухарестского аэродрома «Банясы», температура в самолете упала и делегация стала преображаться на глазах: старики накинули на себя пледы, те, что помоложе, подняли воротники и поглубже надвинули высокие молдавские шапки. Единственно, кого, казалось, не коснулась стужа, был Михай Бужор. Устроившись в стороне (он, как я заметил, был отшельником), Бужор смотрел на заснеженные поля, над которыми в это время пролетал самолет — благо, что его иллюминатор еще не затянула изморозь... Видно, русская зима казалась Бужору не столь грозной, как его сподвижникам по делегации, — очевидно, это объяснялось самой натурой Бужора, а возможно, и тем, что русская стужа была ему известна не понаслышке.

Должен признаться, что меня и прежде пристально приковывал к себе этот человек. Помнится, летом сорок пятого я был в долине Прахова на развалинах знаменитой румынской тюрьмы Дофтаны. Я читал о Дофтане у Барбюса, в его книжке, полной гнева и ненависти к балканским палачам. Позднее, уже после нашей победы, прибыв в Румынию, я много раз беседовал с бывшими узниками Дофтаны. С одним из них я и совершил путешествие на развалины тюрьмы. Почему развалины? Дофтана рухнула от подземного толчка поздней осенью сорокового года — говорят, эпицентр землетрясения был где-то на Балканах, но сила его была такова, что в московских квартирах звенела посуда. Наверно, тюрьма завалилась потому, что стояла на старой соляной шахте, которая была вырыта чуть ли не древними римлянами, — известно, что Рим вывозил с Балкан не только хлеб и лес, но и соль. То, что я увидел, было и впечатляющим и грозным. На возвышенном берегу неширокой реки лежали горы битого кирпича, разделенные полуразрушенными стенами. Со времени катастрофы прошло почти пять лет, и стены затянула трава, а кое-где на них вырос-

ли даже небольшие деревца. Однако, как ни беспорядочны были руины и обильна зелень, они не могли заслонить в сознании узника Дофтаны облика этого здания, каким оно было до того, как подземный удар обратил его в руины, зловещего плана его казематов. Я помню, как мой румынский товарищ взбегал то на один кирпичный холм, то на другой, взбегал так быстро, будто сами эти каменные волны то возносили его, то низвергали, и кричал мне:

— Вот здесь была камера, в которой стоял радиоприемник — он принимал Москву!.. А переправили его в Дофтану, поместив детали в картошку!.. Да, в самую обыкновенную картошку! Потребовался всего мешок картошки! Один мешок!..

Потом, взобравшись на самый высокий холм, вдруг замирал:

— А вот здесь была камера Илие Пантилие — мы извлекли его в ту ночь из-под развалин. Он был... настоящий коммунист!

Помню, наше путешествие закончилось в дальнем конце Дофтаны, где одиноко стоял обломок стены — как мне помнится, это был край тюрьмы, дальше развалин не было.

— А вот здесь была одиночка Бужора. Именно одиночка со своим двориком — он был как бы отрезан от мира, совершенно отрезан... Сама камера метров восемь, а двор и того меньше — чтобы не сойти с ума, Бужор вырастил там некое растение, семена которого случайно занес туда ветер... Чтобы не сойти с ума, — и, помолчав, мой товарищ добавил: — В каких только грехах его не обвиняли! И главный: Ленин!.. А он не отрицал: знал Ленина!.. Знал!..

После поездки в Дофтану очень хотелось снова увидеть этого человека. Хотя бы просто увидеть. Был прием в нашем посольстве. Большой прием. Пятьсот приглашенных. И вот в этом людском море мне указали на человека с пепельными сединами, который, скрестив руки на худой груди, слушал своего собеседника, слушал молча и, казалось бы, безучастно. А потом поклонился собеседнику, при этом улыбка едва коснулась его тонких губ, и пошел прочь. Помню, он пробыл в посольстве не долго, при этом остаток вечера провел один. Тот раз я подумал: видно, он не очень хорошо себя чувствует на людях. Много лучше ему, когда он один. Позже я видел его дважды,

при этом случайно или нет, но не слышал его говорящим — говорили другие, он молчал. Возникло желание узнать человека ближе, однако как подступишься к нему? И вот поездка деятелей румынской культуры в Советский Союз. Я знал: он приглашен участвовать в поездке, однако еще не ответил. Очевидно, ответить ему не просто. Для него Россия больше, чем для многих других. Вон сколько лет прошло с тех пор, как он ее покинул, сколько событий легло между той порой и нынешней. Дофтана и одиночка перед каменным квадратом дворика, где Бужор растил свой экзотический стебелек — тоже были в эти годы. Если уж побывать в России, наверно, Бужор хотел бы сделать это один, так, чтобы пройти по святым камням Ленинграда, войти в Смольный и одному, без свидетелей постоять в ленинском кабинете... Как я заметил, Бужор не всегда пренебрегал одиночеством.

— Скажите, пожалуйста, а делегация не минет Ленинград? — это спросил Бужор, где-то в сумеречных покоях дворца Ласкара Катарджи на Каля Викторией — он говорил и по-русски, но редко обращался к нему — французским он владел увереннее.

— Думаю, что... нет, — ответил я. — Москва, Ленинград — обязательно, возможно и Киев... Вы решили ехать, товарищ Бужор?

— Да, конечно, но... мне важен Ленинград.

— Смольный?..

Он как-то затревожился, будто яркий свет брызнул ему в глаза, часто заморгал.

— Да, да, Смольный.

И вот самолет держал курс на Москву, и в дальнем конце его, едва ли не у стабилизатора, сидел Михай Бужор, близко приникнув к иллюминатору.

А я смотрел на Бужора, думал: глаза этого человека, обращенные на заснеженное поле, выражают нечто очень большое, что происходит в его душе. В силу обстоятельств, наверно чисто случайных, я присутствую при событии, в котором, как в цейсовском стекле, четко, очень четко преломилась жизнь...

Мы прибыли в Москву и поселились в гостинице «Савой» на Пушечной. Пребывание делегации в Москве было строго расписано. Первый день: Оружейная палата. В те дни и для москвичей это было в диковинку: я по-

шел в Кремль вместе с делегатами. У румын есть характерный жест, выражающий изумление в его крайней степени: человек закатывает глаза в то время, как рука его с аккуратно сложенными пальцами взмывает над головой, при этом совершает движения, как если бы она наматывала нитки. Жест достаточно сложный, но выразительный. В этот день только этот жест был способен передать впечатление, которое произвели на делегатов сокровища палаты. Однако делегаты потратили так много энергии на осмотр палаты, что ко второму часу осмотра изнемогли и продолжали путь, как в тумане, повторяя едва ли не в полузабытьи: «Седла, обсыпанные бриллиантами!.. Седла!..» Позже, когда щедрые хозяева слишком перегружали программу, а это случалось часто, делегаты произносили: «Седла!» — и это значило: «Благодарю». Если сокровища Оружейной палаты требовали сил немалых и быстро утомляли, то сам Кремль, его архитектурные ансамбли воспринимались как воздух, — им можно было дышать бесконечно.

Вот и получилось в тот раз, что Оружейной палате мы с Бужором и Эджицио Массини предпочли Кремль и, прервав осмотр на седлах, обсыпанных бриллиантами, вышли на воздух и, обогнув Архангельский собор, остановились у борта дороги, за которой начинался Тайницкий сад.

— Не тот ли это кремлевский сад, где любил гулять Ленин? — поинтересовался Бужор.

Я сказал, что именно сад этот, и спросил Бужора, бывал ли он в Кремле прежде. Сознаюсь, что истинный смысл моего вопроса заключался, конечно, в ином. Поставив вопрос так, я хотел спросить Бужора, доводилось ли ему видеть Ленина в Москве или же все его встречи с ним происходили в Питере. Думаю, что Бужор понял мой вопрос правильно, но ответил со свойственной ему сдержанностью:

— Нет, в Кремле я впервые.

Я решил, что разговор, происшедший между нами, прямо подвел меня к вопросу, который я давно хотел задать Бужору, однако как спросить моего собеседника, чтобы не встревожить его — ведь, вопрос этот в какой-то мере деликатен, а я знаком с Бужором отнюдь не близко. Но, видно, слишком долгим был разбег, чтобы я мог так быстро остановиться:

— А разве все ваши встречи с Лениным происходили в Смольном? — спросил я.

Сейчас мы уже шли вдоль борта дороги, огибающей Тайницкий сад, направляясь к Боровицким воротам, и сам темп нашего шага определил темп речи человека, с которым шел рядом:

— Да, я ведь видел его до переезда правительства в Москву.

— Первый раз... вскоре после Октября?

Он все понял: я хотел, чтобы Бужор рассказал мне о своих встречах с Лениным. Он вздохнул, а я отругал себя: надо было сделать это много осторожнее. С таким человеком, как Бужор, нельзя вот так, как сделал я, — напрямик, в лоб... Но ведь такой возможности могло больше и не быть? — пытался я оправдать себя. А между тем Бужор заговорил. Мы шли уже Александровским садом, направляясь на Пушечную. Бужор говорил по-французски, время от времени переходя на русский, — в этом случае в разговор включался Массини — он провел детство в Болгарии, где отец его был антрепренером, и хорошо говорил по-русски.

Бужор сказал, что его первая встреча с Лениным произошла осенью семнадцатого года. Бужор возглавлял тогда группу революционеров-румын, обосновавшихся в Одессе. Румыны издавали здесь свою газету, которая жестоко атаковала Авереску и нелегальными путями пересылалась в Румынию. Помню, что Бужор говорил об Авереску с такой непримиримостью, какая не очень связывалась в моем сознании с его постоянным желанием избегать сильных слов. «Артиллерия Авереску сжигала деревни в 1907 году!» — повторил Бужор в гневе. Когда произошла русская революция, Бужор выехал в Петроград. Движение на железных дорогах было уже нарушено, и поезд шел несколько дней. Бужор сказал, что он остановился в гостинице, из окна которой был хорошо виден купол большого собора. Уже в Петрограде Бужор установил, что его дела являются компетенцией иностранного ведомства революционного правительства, и пошел на Дворцовую площадь в Наркоминдел. Бужор и тогда был не очень свободен в русском, а поэтому заготовил подробную докладную записку о румынских революционных делах. Явившись в Наркоминдел, он вручил докладную записку и выхлопотал себе возможность поработать в архиве. Кстати, для архива это было вре-

мя боевое: Советское правительство решило предать гласности тайные договора, и небольшой аппарат Наркоминдела был занят их расшифровкой. Разрешение на просмотр румынских документов Бужору было дано, и несколько дней он ходил на Дворцовую площадь, как на работу. А тем временем докладная записка дошла до Ленина, и в гостиницу позвонили из Смольного: Ленин готов принять Бужора...

Мы все еще шли с Бужором Александровским садом, и мне показалось, что воспоминания воодушевили моего собеседника. Где-то в ходе рассказа была сломлена преграда его сдержанности. Он даже улыбнулся в предчувствии того, что собирался сейчас рассказать. Из Смольного в гостиницу за Бужором пришел автомобиль. Шофер усадил его в машину, довез до Смольного, оформил пропуск, прошел вместе с ним в Смольный и ввел в приемную Предсовнаркома, усадив в кресло и попросив подождать. Вслед за этим шофер вошел в кабинет Ленина, и через несколько минут в дверях кабинета появился человек с листом бумаги. Человек был одет так скромно и держался настолько непритязательно, что Бужор, никогда прежде не видевший Ленина, принял его за секретаря Предсовнаркома. Когда же человек предложил Бужору войти в кабинет, Бужор утвердился в своем мнении, полагая, что секретарь предлагает ему войти в кабинет, где их дожидается глава правительства. Каково же было удивление Бужора, когда, войдя в кабинет, он не обнаружил там главы правительства. Короче: тот, кого Бужор принял за секретаря, и оказался Лениным. Ленин уже ознакомился с докладной запиской Бужора и подготовил своеобразное решение по этому вопросу. Он прочел это решение Бужору, вернее, перевел его на французский (разговор происходил по-французски), внес в текст поправки и спросил Бужора, что он думает о положении в Румынии... Видно, в тот раз вопрос не был решен окончательно. Похоже на то, что вопросы, поставленные Бужором, были решены лишь в середине февраля, когда он был вызван в Смольный далеко за полночь (Бужор сказал: «Ленин смог выйти ко мне лишь поздно ночью — шло заседание правительства», а я подумал: «Ну, конечно же, это была одна из тех знаменитых февральских ночей, когда решалась брестская проблема»). Ленин сообщил, что создана коллегия по борьбе с контрреволюцией на юге и Бужор назначается членом

этой коллегии, при этом вручил мандат за своей подписью...

По словам Бужора, в то горячее время все нити сходились к Ленину, и, как это часто бывает в страдную революционную пору, Ленин решал вопросы, которые могли бы быть решены и без того, чтобы на это тратить драгоценное время Ленина. Впрочем, как уверен Бужор, вопрос, который был доложен Ленину, когда там находился мой собеседник, требовал вмешательства Предсовнаркома: итальянское посольство в Петрограде подверглось нападению бандитов. Извинившись, что вынужден прервать беседу, Ленин отдал распоряжения, при этом подчеркнул: «Расследовать и строго наказать виновных, строго наказать!»

Вот и все, что рассказал в тот раз Бужор. Я воспроизвел общую канву рассказа, как она запомнилась и потом не раз воспроизводилась мною в разговорах с нашими румынскими друзьями. Кстати, в Ленинграде мы поселились в той самой гостинице, в которой жил Бужор осенью семнадцатого года. Помню, что стужа была поистине рождественской, и снаряжение, которым в изобилии запаслись делегаты, отправляясь в Россию, в Ленинграде им пригодилось. Очень хорошо запомнился первый вечер в Ленинграде, ужин в гостинице «Астория» и речь почтенного Пархона.

— Приветствуем тебя, благословенный город, колыбель Октября...

Помню, что были речи еще, но не помню, чтобы говорил Бужор, хотя, казалось, именно он мог сказать нечто такое, что было бы сейчас очень уместно, — видно, все, что он мог поверить в минуту волнения, он поверял только себе. А на другой день делегация смотрела Ленинград, но у Бужора была своя программа: он шел по городу какой-то своей стежкой, смотрел свой Ленинград, который незримо отождествлялся в его сознании со всем тем, что он увидел в семнадцатом... Бужор наверняка был и на Дворцовой, и в Таврическом, и у Михайловского манежа, и готовил себя к тому, чтобы побывать в Смольном.

Я был с делегацией, когда она смотрела Смольный, и я видел, как Бужор вошел в смольнинский кабинет Ленина, вошел едва ли не последним и, став поодаль, обвел его глазами, полными трудной мысли. Я не знаю, о чем думал в ту минуту Бужор, может быть, он вспом-

нил свою одиночку в Дофтане — из Смольного в Дофтану была прямая дорога, такая прямая, какой может быть только дорога на плаху... Бужор не принял смерть, но готов был ее принять — иначе в тот декабрьский день 1917 года он не явился бы в Смольный...

И вот я смотрю на старую фотографию, и она мне кажется символической: Бужор стоит у бюста Ленина...

ДОРОГА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЧИЧЕРИН ИДЕТ ПО ГЕНУЕ

Представляю себе состояние баталиста, которому необходимо воссоздать картину знаменитого сражения. В заповедный час он является на поле боя. Много лет прошло с тех пор, как рассеялся дым битвы. Там, где картечь перепахала поле, какой уже раз зацвели и отцвели сады. Неузнаваемо стало поле. Да здесь ли была битва? Здесь... И на какой-то миг человек заставляет себя забыть все, что совершали с этой землей годы. Он хочет увидеть поле таким, каким оно было в час ратного подвига. Увидеть и воспроизвести в своем сознании. Все, что напоминает человеку об этом дне, каким бы оно ни было малым, помогает ему увидеть картину отгремевшей битвы. И осколок снаряда, выкатившийся из свежевспаханной земли, и откос блиндажа, случайно оказавшийся не зарытым, и патронные гильзы, разбросанные вдоль дороги, — все способно встревожить человека и обратить мысленный взор на картину минувшего боя. И какое счастье, когда в дополнение ко всем этим находкам, которые вдруг сделались бесценными, повстречается старец с клюкой и, подняв над полем слабую руку, произнесет: «Как же не помнить? Помню!»

Нечто подобное испытал и я, когда почти через 50 лет после дипломатической баталии у Генуи прибыл в этот город, чтобы потревожить его древние камни.

Однако, прежде чем начать рассказ о сегодняшней Генуе, заманчиво перешагнуть почти полстолетия и представить себе Чичерина и его друзей, отправляющихся на Апеннины...

1

27 марта 1922 года.

На Виндавском вокзале бил колокол, мощный, точно с соборной колокольни — когда он бил, в вагонах звенели стекла.

Колокол пробил три, и поезд отошел.

Чичерин стоял у окна.

Туман, мягко размытый, мартовский, как вода. Где-то справа твердый луч, словно свет маяка, пропалил мглу, и кажется, что блик лег на воду.

Такое впечатление, что отошел не поезд, а корабль.

Начало плавания, долгого, наверняка трудного.

Второй раз, наверно, будет легче, а вот первый... Первое плавание.

И по давней привычке, трижды проверенной и доброй, поэтому доброй, захотелось прошибить эту вязкую пемзу тумана, опередить поезд, опередить на неделю, две, месяц и заглянуть в день завтрашний. Да что день? В месяц завтрашний, а может, послезавтрашний, и увидеть: чем завершится Генуя?

Как ты видишь предстоящий поединок? Что ждут от него они и мы?

Они?

Что ждет от него Ллойд-Джордж, например?

Идея Генуи возникла в Каннах, однако, если быть точным, она витала в воздухе и до Канн.

Вот уже три года, как кончилась война, но Европа все еще далека от того, чтобы встать на ноги. Крепнет убеждение: только две страны могут помочь этому — Америка и Россия. Америка — за тридевять земель, да и участие ее в европейских делах обусловлено корыстью слишком очевидной. А как Россия? Ее нефтью можно заставить вращаться все колеса Европы. Ее углем накормить все мартены. Ее металлом, ее лесом, ее пенькой...

Для европейских магнатов отношения с Россией обусловлены во многом тем, как будет решен вопрос со старыми русскими долгами.

Если Россия обнаружит покладистость, ей обещано признание и, возможно, техническая помощь.

Обнаружит ли Россия покладистость?

Некоторые из знатоков России (они всегда были — знатоки) считают, что это не бесперспективно.

Они уверены, что нэп означает союз Советской власти с буржуазией внутренней.

Следовательно, Генуя может стать союзом Советской власти с буржуазией внешней.

Нет, за рубежом в самом деле убеждены, что Советская власть сама собой переродится в нечто буржуазное. Очевидно, эта идея руководила и Ллойд-Джорджем, когда возникла идея Генуи. Что хотел бы увидеть он в самом приезде русских в Геную? Возвращение блудного сына в отчий дом?

Так думают о Генуе они.

А мы?

России пришлось в эти годы потруднее, чем Европе, много труднее.

Какой только огонь не опустошал ее в эти семь лет!

Мировая война, гражданская война, а вслед за этим интервенция. Голод. Да и теперь, он еще жжет русскую землю.

Для нас нет задачи более насущной, чем мир, а с ним придет деятельное общение с Западом. Хозяйственное, а следовательно, и дипломатическое — нам нужно было признание. А вместе с признанием помощь машинами, промышленными товарами, может быть, даже кадрами специалистов.

Значит, Европа и Россия были нужны друг другу. Если идти от насущных нужд, которые испытывали в тот момент Европа и Россия, Генуя должна была означать соглашение.

Чичерин стоит у окна.

Когда поезд входит в полосу тумана, его шумы затихают, и такое впечатление, что шумят гребные винты, взрывающие воду.

Нет, действительно плавание.

Самое первое.

2

За неделю до приезда в Геную я встретился с сенатором Умберто Террачини. Ветеран партии, он много сделал для рабочего движения своей страны. 17 лет, то есть почти все годы господства в Италии фашизма, он находился в тюрьме. Выйдя на свободу, Террачини вместе с товарищами по борьбе возглавил временное правительство Пьемонта, став его генеральным секретарем. Несмотря на возраст, весьма почтенный, Террачини деятелен и сегодня. Двадцать лет Террачини сенатор.

Когда мне стало известно, что Террачини примет меня в ближайшие два дня, я вспомнил, что человек, с которым мне предстоит беседовать, был одним из тех, кто возглавлял партизанскую республику в горах Пьемонта. Уже находясь в Италии, я узнал, что именно Террачини способствовал тому, что волонтерами великой партизанской армии в горах Италии стали многие из итальянских интеллигентов. Имя Террачини, имя коммуниста-ученого, чьи работы, посвященные проблемам марксистской мысли, были известны в Италии издавна, сделали свое. Был бы Террачини только ученым, как, впрочем, только партизанским деятелем-практиком, вряд ли он смог бы сделать для Пьемонта все, что сделал. Теоретик-марксист и воин-партизан — сочетание этих начал было замечательно в этом человеке, оно оказалось притягательным для многих, кто пришел в те памятные дни в Пьемонт, чтобы сражаться с фашизмом.

Террачини вышел мне навстречу, при этом, огибая стол, наклонился и положил перо — до того, как мы вошли, он писал.

— Мне сказали, что вы направляетесь в Геную с намерением отыскать все, что имеет отношение к конференции 1922 года? — спросил Террачини, и я подумал, что у него нет времени на экспозицию беседы, и он намерен сразу «брать быка за рога». — Это было нелегкое время, — сказал Террачини. — К власти еще не пришел фашизм, но его приход обозначился явственно. Назревала схватка. Рим, Милан, Генуя тех времен были похожи на города, находящиеся в осаде. Рабочая гвардия охраняла фабрики и заводы. Все чаще на площадях и улицах больших итальянских городов можно было встретить чернорубашечников. Именно в эту пору в Италию пришла весть о конференции в Генуе. Советским представителем в Италии был Вацлав Воровский. Я не однажды беседовал с ним. Это был интеллигент, знающий историю, философию, искусство. В такой же мере он был наторен и в вопросах экономики. Помню, что беседы касались экономических связей между нашими странами. Советская страна переживала тревожные дни. Это ведь был 1922 год. В Поволжье, на Украине, Северном Кавказе было засушливое лето — Россия голодала. Следовательно, речь шла и о том, как Италия и ее рабочий класс могут помочь России.

Я сейчас не помню, — продолжал Террачини, — го-

ворили ли мы с Воровским о конференции в Генуе. Но я хорошо помню, что наша партия была серьезно озабочена тем, как охранить советскую делегацию от угроз, которые уже тогда раздавались в ее адрес и в прессе и на фашистских митингах. Помню также, что партия обратилась к наиболее верным своим кадрам из числа рабочих Милана, Турина и Генуи с призывом создать дружину для охраны делегации. Дружина была создана и выполнила свою нелегкую задачу. К чести советских дипломатов следует сказать, — заключил Террачини, — они завоевали заметные симпатии итальянского населения. В этой обстановке какие-то эксцессы, направленные против советских дипломатов, были затруднены. В свою очередь, это значительно облегчало выполнение задачи нашими дружинниками-коммунистами. Как вы знаете, конференция закончилась подписанием Рапалльского договора между революционной Россией и Германией — рабочая Италия отнеслась к договору с симпатией. Для нее он означал: Советская республика сделала важный шаг на пути к признанию своих прав, и итальянские друзья приветствовали это.

Я поблагодарил сенатора за беседу. Она была для меня тем более необходима, что вводила в атмосферу дипломатической Генуи и предваряла посещение древнего итальянского города, который волею судеб (именно судеб — об этом я скажу позже) стал своеобразным полем битвы.

Осенним вечером наш поезд отошел из Рима в Геную. Несмотря на то что по календарю была поздняя осень, над Римом безоблачно. Однако по мере того, как поезд удалялся от Рима, погода заметно становилась осенней. Лишь в самом начале пути море было открытым. У Генуи туман укрыл его. Когда же нас приняли горы, было такое впечатление, что поезд идет сплошным тоннелем — туман соперничал в плотности с камнем.

Итак, Генуя.

Но прежде чем отправиться в поездку по Генуе, может быть, было бы уместно представить читателю наших генуэзских друзей, благодаря участию которых нам открылся город.

Еще до поездки в Италию, друзья, бывавшие там, говорили мне, что в Генуе живет необыкновенно колоритный человек. Комиссар партизанской бригады в годы Со-

противления. Кажется, депутат парламента. Вдохновенный оратор и поэт. Человек живой, участливый, беспокойно-тревожный, ищущий. Несколько лет он единоборствует с недугом. Жил у нас — лечился и повсюду оставил множество друзей, друзей верных. Больше всего их среди писателей и врачей. Кстати, последним удалось вызволить человека из беды. Даже вернуть к работе. Имя этого человека: Сербандини. Впрочем, в Италии он больше известен под кличкой, которую обрел во время войны, — Бини. Рассказ о Бини увлек меня. Если человек заинтересовал, хочется представить его зрительно. Какой же он, Бини? — спросил я друзей. Ответ, который я получил, был более чем скуп: «Чем-то похож на молодого Дзержинского».

Но вот что интересно: как ни скуп был портрет, я узнал Бини. Его борода — клинышком, тонко оструганным, устремленным вперед, так же как глаза, которые точно заволок дымный огонь, выражали и порыв и энергию. Я живо представил его в лесах Пьемонта, говорящим с партизанами перед боем. Чем-то он был похож для меня на тех русских интеллигентов, студентов-выпускников или молодых инженеров, которые стали комиссарами в годы революции, не успев сменить форменную куртку на шинель и полушубок.

Однако пусть Бини расскажет о себе сам, о себе и о своих отношениях с Россией — думаю, что этот рассказ придется читателю по душе. Читатель ведь помнит: Бини — поэт.

БОЛЬНИЦА В МОСКВЕ

Сад у Красной площади,
где птицы
прыгают среди цветов, как дети,
где, счастливо улыбаясь,
женщины,
Поглядев, передают друг другу
Фотографию дочери моей.
Почему, товарищ из Вьетнама,
ты внезапно смолкнул
и улыбка
сходит с исхудалого лица?
Десять лет тюрьмы — я это знаю,
в тюрьмах бьют по голове — я знаю.
Знаю про три тыщи километров,
пройденных по партизанским чащам,
Знаю про детей — они родились
в те же годы, что и дочь моя.

«Отдохну, пройдет,—
ты отвечаешь,—
Скоро встану на ноги!»
Улыбка
озаряет вновь твое лицо.
Мы приехали из дальней дали,
мы из разных стран сюда собрались.
А в палате рядом с нами — русский,
большевик.
Ему когда-то
в маленькой донской станице
голову разбили мироеды.
Мы толкуем про свои болезни,
обсуждаем методы леченья;
говорим про печень и про сердце,
а могли бы говорить про годы
тюрем, забастовок и войны.
Как блестят глаза у вас, мой доктор,
черные, армянские, большие.
Сколько в них мужской упрямой силы,
мягкой нежности и доброты!
Помню, мои руки холодели,
а старушка няня их схватила
и к лицу прижала, чтоб согреть.

Двадцать лет подряд ходил с осколком
мой товарищ, коммунист Сачченти,
раненный в Испании на фронте
ровно двадцать лет тому назад.
Он тогда не уронил слезинки,
и теперь Сачченти не заплакал.
Слушал он, что говорит Петровский,
наш хирург:
«Все от тебя зависит,
собери все силы и держись!»
И Сачченти выдержал.
И ныне
на худые щеки итальянца,
никогда не знавшие слезы,
пали слезы радости.
А сестры
и врачи
склонились над спасенным.
Много дней он продвигался к смерти,
а сегодня повернул назад;
много дней в жару провел Сачченти,
он — ему казалось — в пропасть падал,
но его поддерживали руки,
выстроившие Волго-Дон.
Тяжесть птиц
цветы к земле склоняет.
Скоро дочь моя пойдет учиться
на врача.
Я так хочу.

(Перевод *Б. Слуцкого*)

Едва обменявшись со мной рукопожатием (рука у него горячая и некрепкая — конечно же, он еще слаб), Бини пододвинул телефонный аппарат, и я вдруг почувствовал, как энергичен он в желании помочь тебе. В течение каких-нибудь двадцати минут Бини встревожил настойчивыми звонками Геную и ее ближайшие пригороды: Санта-Маргерита, Кавэ-де-Лавания, Сестри Леванте, а потом вдруг раскрыл портфель (как я потом заметил, этот кожаный портфель, небольшой, но ощутимо твердый, всегда с Бини) и развернул передо мной фотокопию газеты «Лаворо» времен генуэзской конференции. «Пока вы ехали из Рима, я просил подготовить вам вот это», — сказал он. Забегая вперед, хочу сказать, что в ряду приятных сюрпризов, которые приготовил мне Бини, сюрприз с газетой «Лаворо» был всего лишь первым. Так или иначе, а встреча с этим человеком определила для меня и точность, и целесообразность и, главное, темп в осмотре Генуи и ее реликвий. Темп стремительный, за которым надо было еще суметь угнаться.

Когда же были обозначены главные вехи моего генуэзского плана, я почувствовал, что место Бини постепенно занимает Игнацио Префумо. Если Бини — глава генуэзской организации друзей СССР, зачинатель ее главных свершений и автор многих новшеств, то Префумо — генеральный секретарь ассоциации, ее исполнительная власть. Питомец генуэзской рабочей окраины Сестри, сам рабочий, Префумо, как мне показалось, принадлежит к тем людям, для которых жизнь явилась университетом столь разносторонним и всеобъемлющим, что восполнила все, что человек не смог получить в детстве. Впрочем, это было определено не только жизнью, полнотой и многогранностью опыта, который она сообщила человеку, но и способностью самого человека воспринимать явления жизни, остротой его внутреннего зрения и слуха, чуткостью его ума. В дни пребывания в Генуе, я наблюдал Префумо в общении с разными людьми, в том числе с генуэзскими аристократами, такими, как контесса Карла д'Албертис, и должен признаться: манерой говорить, тактом, всем тем, что обнаруживает один человек в общении с другими, Префумо произвел на меня впечатление человека, у которого была иная, чем у Игнацио жизнь. Префумо говорит и по-английски и по-русски. Его русский богат по запасу слов, гибок, дает возможность Префумо говорить по широкому кругу во-

просов. Это очень помогает Префумо в общении с русскими друзьями, которых всегда много в Генуе. Столько русских кораблей, сколько приходит сюда сегодня, Генуя никогда не знала. Генуя сегодня — это в своем роде итальянские ворота в Россию и, пожалуй, русские ворота в Италию. Пятьсот советских кораблей бросают якорь в генуэзском порту ежегодно, и нет экипажа, который бы не посетил дом ассоциации. В сущности через Префумо и его друзей советские люди разговаривают с древней Генуей. Вместе с Префумо я был на борту нашего судна «Флорешти», прибывшего из азовского порта Жданов, — мне показалось, что я присутствую на встрече старых друзей. Позже я убедился, что это так и есть. «Флорешти» часто бывает в Генуе, и моряки дружат с генуэзцами домами.

Были дни, когда я находился в обществе Префумо с утра до вечера. Те паузы, которые неизбежно возникали между поездками, друг Игнацио заполнял ответами на мои вопросы, касающиеся Генуи, ее истории, ее обычаев и праздников, особенностей быта, семейных и общественных традиций. Делал он это охотно, неизменно с юмором.

Иногда рядом с нами оказывался Джан-Карло, помощник Префумо и своеобразный его гонец, исполнитель самых оперативных заданий. Джан-Карло молод, ему не больше двадцати двух, но выглядит он еще моложе. Всего год назад Джан-Карло женился, а незадолго до моего приезда друзья поздравили его с новорожденным. Возможно, Джан-Карло еще не свыкся со своей новой ролью и каждый раз, когда друзья заговаривали о молодой жене и младенце, румянец подступал к глазницам Джан-Карло. Рослый, с юно-бледным лицом и темными глазами, Джан-Карло хорош собой. Как я заметил, он проворен и ловок. У него быстрая и точная реакция. Я наблюдал его за рулем. Нужно немалое искусство, чтобы в генуэзской уличной чересполосице, не снижая скорости, провести машину. Джан-Карло вел ее безупречно.

Префумо относится к Джан-Карло с покровительственной нежностью. Он любит чуть-чуть поиронизировать над молодым другом. Разумеется, недопуская того, чтобы в этом участвовал третий. Это и невозможно: друзья объясняются друг с другом по-генуэзски. Они не могут отказать себе в удовольствии, чтобы не поговорить на языке родной Сестри. Очевидно, генуэзский — язык их

детства. Находясь в Генуе, я установил: язык доступен даже не всем генуэзцам. Генуэзский стоит на трех опорах: итальянском, французском и арабском. Это главные опоры. Однако есть подсобные. Язык этот вызвала к жизни сама история Генуи, века и века ее общения не столько с Западом, сколько с Востоком. Видно, генуэзский язык Префумо был ярок — его речь вызывала у Джан-Карло восторг. Однажды, когда смех Джан-Карло был особенно бурен, Префумо произнес:

— Вы знаете, чего смеется Джан-Карло? У нас зашел разговор об одном нашем сестринском приятеле, и я вспомнил генуэзскую пословицу: «Еще не осыпалось дерево дураков, а он успел уже оказаться на земле и дать ростки».

3

Джан-Карло сел за руль, и мы отправились смотреть Геную. Утро не принесло хорошей погоды, и наше путешествие по городу сопровождалось мелким моросящим дождем. Однако даже в эту погоду, когда небо по-осеннему низко, а знаменитые генуэзские холмы скрыты под пеленой тумана, древний город был прекрасен. Да, Генуя, торговая столица Средиземноморья, родина Колумба и Паганини, предстала во всем блеске новизны и древности. Именно это сочетание древних камней Генуи с тем, что вызвал к жизни наш век, сообщило сегодня городу свой колорит. Соседство это дает возможность познать город в сопоставлении, проникнуть в его суть сравнивая.

Во время этого первого путешествия по осенним улицам Генуи, город встал перед нами, как в панорамном кино, — весь он был четко очерченным и весомым, он был доступен и в цвете, и в объеме, и в перспективе. Дом, где родился Колумб, укрыт пологом дикого винограда — наверно, в летнюю пору дом облит зеленью, как густой краской. Зелень как бы стекает с дома. Древние генуэзские ворота — в нескольких шагах от Колумбова домика. Затейливый лабиринт припортовых улиц. Самый порт, знаменитый генуэзский порт, истинная жемчужина в короне Генуи. Вилла капитана д'Альбертис, которая, как мы установили позже, венчает самый высокий холм Генуи и с террасы которой видны и город и море, как с самолета. И разумеется, знаменитое генуэзское кладбище — оно может рассказать о прошлом города, не

меньше, чем сам город, и о нем есть смысл сказать подробнее.

Представьте себе горы, амфитеатром спускающиеся в долину. По гребню гор даже невооруженным глазом можно увидеть силуэты древних строений. Какие-то из этих строений сохранили свои формы: конус, ромб. Именно здесь старая Генуя встречала врагов. Вот эти ромб и конус — сторожевые башни Генуи, ее цитадели.

Кладбище — под защитой крепостных амбразур. Город оберегал кладбище от врага так же, как и свои очаги. Светлый мрамор, из которого сооружены надгробные часовенки, на густо-зеленом поле кладбищенской хвои виден издали. Кладбище спускается от вершины горы до подножья амфитеатром. И, если взглянуть на него издали, не столько печалит глаз, сколько его радует — в облике его ничего нет от города мертвых. Если смотреть издали. Но вот вы входите в пределы кладбища: это город мертвых. Белый мрамор и тишина. В самом мраморе эта тишина. В самой его способности сомкнуть уста. Мраморно-белое молчание.

Кладбище возникало многие века, и для знатока истории города кладбищенские камни — в сущности страницы генуэзской летописи. Разумеется, жестокие законы города перенесены и сюда. Как и в самой Генуе, здесь задают тон «четверо больших»: Дория, Спинолла, Фиэски, Гримальди. Их фамильные склепы построены на веки веков. Земля, где стоят эти склепы, принадлежит им так же прочно, как земля, где стоят их особняки в Генуе.

Однако в нескольких метрах от этих склепов легли своеобразные поля, где нашли свой покой бедные генуэзцы. Собственно, понятие «покой» здесь относительно. По более чем жестокому закону Генуи, впрочем, не только Генуи, пребывание на генуэзском кладбище для горожан, не обладающих состоянием, ограничено определенными сроками. Обычно это пять лет. По истечении этого срока могила должна быть освобождена, и в ней похоронят на очередные пять лет другого генуэзца, чье состояние не позволяет ему лежать в земле родного города дольше.

Когда мы покидали генуэзское кладбище, наше внимание обратила статуя солдата, одетого не совсем обычно. Вряд ли даже зимой можно увидеть итальянского солдата в войлочных сапогах, в шинели на меху и в меховой шапке. От самого вида солдата повеяло стужей и

отнюдь не итальянской. Наверное, это впечатление не случайно, именно его добивался автор скульптуры. Перед нами своеобразный памятник итальянцам, погибшим в минувшую войну на снежных полях России. Собственно, это даже не памятник, а символическая гробница. Символическая, собравшая тысячи и тысячи итальянских могил, разбросанных по приволжским и донским просторам. Перед монументом — каменная площадка. Она должна быть велика, эта каменная площадка. Так велика, чтобы вместить сотни свечей, которые зажигают здесь генуэзцы в память о своих близких. Вот и сейчас зажжены свечи. Много свечей. Их пламя воспринял полированный камень, на котором они укреплены, обратив их в костер. Мне кажется, костер — символ. Для тех, кто еще не понял, это означает: так всегда будет, когда народ дает себя обмануть. Когда смеркается, отблеск этого костра лежит и на фигуре воина — можно подумать, что итальянцу в войлочных сапогах все еще холодно.

4

Едва ли не в первый день пребывания в Генуе я беседовал с Балестрари Леониде. Мой собеседник — генуэзский журналист. Отец Леониде был редактором одной из генуэзских газет. Сын унаследовал профессию отца. Он известен в городе как автор нескольких книг по истории Генуи. Я провел в обществе Леониде вечер. Мы начали беседу в гостеприимном Доме ассоциации «Италия — СССР» и продолжили ее в ресторане отеля «Сити», где я жил в Генуе. Таким образом, беседа продолжалась часа четыре. Я воспроизведу главное из того, что мне рассказал мой собеседник о родном городе и о той поре его истории, которая меня больше всего интересовала. Я имею в виду весну 1922 года.

— Издавна городом правили его знаменитые капитаны и прежде всего Дория и Спинолла, — начал Леониде. — Пожалуй, самым могущественным был Дория. Он и его потомки в той или иной мере оказывали влияние на генуэзские дела в течение 400 лет. Разумеется, Дория, чье восхождение на генуэзский трон совершилось в 1528 году, был в своем роде человеком незаурядным. Продолжатели фамилии Дория и сегодня живут в Генуе. Интересно отметить, как преображалась от века к веку семья Дория, как испытывала на себе влияние времени,

как сама эпоха формировала этот фамильный клан. Основатель рода начал деятельность как один из зачинателей генуэзского флота. Он строил военные корабли (именно военные, а не торговые), оснащал их современным по тому времени оружием, формировал экипажи, при этом создавал своеобразные военно-морские учебные заведения и руководил ими. Иначе говоря, он строил флот, флот военный, способный вести сражения с использованием новейших средств морского боя. Этот флот создавался для обороны Генуи. Но это было не главным. Главное же заключалось в том, что Дория строил свой флот и соответственно формировал его, чтобы сдавать внаем. Да, в древней Генуе существовало своего рода агентство по сдаче в аренду военного флота. При сдаче флота в аренду учитывалось, кто будет его арендатором и в каких целях он использует генуэзский флот. Но это было не столь существенно. Важнее было иное: как хорошо заплатит «съемщик» флота и какие барыши флот принесет хозяину в итоге службы на стороне. Да, были корабли, сдававшиеся внаем, моряки и морские офицеры, приданные кораблям. В этих условиях генуэзские корабли могли быть сданы внаем враждующим сторонам и встретиться в открытом бою, как недруги. Но была ли такая ситуация в жизни? Могла быть. Однако с годами или, вернее, с веками профессиональные функции древнего генуэзского рода претерпевали изменения. Теперь уже Дория владели не флотом, а латифундиями, не военными кораблями, а банками.

Тремя китами, на которые опиралось могущество Генуи нового времени, были тот же флот, но уже торговый, финансы и промышленность, преимущественно пищевая, точнее сахароваренная. Если говорить о флоте, то большой статьей в его деятельности была торговля с Россией. Между Генуей и южнорусским портом Одессой легла большая торговая дорога. Десятки и десятки кораблей разного тоннажа шли по этой дороге из Италии в Россию и обратно. В Генуе на улице Марчелло Дураццо издавна находилось русское консульство, а на Пьяцо Кампетто — русский банк. Наш город стал центром русского капитала в Италии. Давние торговые отношения между русскими и итальянскими торговыми домами привели к отношениям родственным. В семьях одесских купцов появились генуэзки, в семьях генуэзских — одесситки. Отчасти это обстоятельство было причиной того,

что русская революция 1917 года встретила столь жестокое сопротивление в семьях богатых генуэзцев. Русское консульство, а вслед за этим и русский банк после революции были закрыты. Все это произошло не сразу. Еще весной 1922 года, когда в Геную прибыла делегация советских дипломатов, некоторые из «русских институтов» в Генуе еще существовали.

Не последнюю роль в этой компании ненависти играла генуэзская пресса. Весной 1922 года в Генуе выходило несколько газет, при этом весьма влиятельных не только в Генуе, но и по всей Италии. Это прежде всего «Иль Читадино», католическая газета, основанная в 70-х годах прошлого века, а также «Сафаро», независимая либерально-демократическая газета, весьма распространенная в кругах генуэзской интеллигенции. Если говорить о прессе, популярной в мире генуэзских коммерсантов, то это была «Секоло XIX» и «Корьерэ меркантиле». У генуэзских читателей были свои идолы, свои властители умов: например, Джузеппе Канепа, известный генуэзский адвокат и публицист, позднее ставший итальянским министром, вернее суб-секретарем министерства. Его передовые статьи, двухколонники и трехколонники, его «подвалы» и «полуподвалы» были в равной степени посвящены проблемам политики, экономики и культуры, при этом литература и искусство не исключались. С ним соперничал Аугусто Момбелло, в прошлом директор банка и знаток генуэзских финансов. Он был не столь универсален в выборе тем, как Канепа, но достаточно остр, обстоятелен и глубок в статьях, посвященных проблемам экономики и политики. Генуэзская пресса отражала интересы «четырех больших», и позиция, занятая этой прессой по отношению к СССР и его делегации на конференции, определялась, разумеется, классовыми интересами. Мы были бы не правы, если бы распространили это мнение на все газеты. В статьях «Сафаро», так же как в материалах «Секоло», а подчас и «Читадино», не все было однозначным. Эти газеты не могли скрыть от читателя, как последовательно, искусно и действенно советские дипломаты отстаивали позиции в упорной и по-своему кровопролитной битве, какой являлось для современного мира генуэзское единоборство.

В заключение небезынтересная деталь: фамилия Дория преобразилась в сегодняшней Генуе, — я имею в виду Джордже Дория, адвоката, советника муниципали-

тета, которого весьма почитает наш город. Случилось так, что в годы войны Джордже оказался в родовом имении Дория — в замке Монталдео, что в провинции Александрия, в Пьемонте, это в километрах 50—60 отсюда. Вокруг замка — леса и горы, которые служили защитой для партизан. Именно сюда партизаны пытались увлечь фашистов и дать им бой. Хотела семья знатных генуэзцев или нет, но она оказалась в самом горниле борьбы. И вот итог: если даже все виденное потрясло и старших, оно, как показали дальнейшие события, не заставило их изменить ни убеждений, ни места в жизни. А вот младший Дория — Джордже был так потрясен... В общем, события развивались необычно. Когда фашисты были изгнаны и семья Дория отбыла в какое-то швейцарское имение, младший Дория остался на месте и, дождавшись отъезда отца, роздал землю крестьянам. Отец, разумеется, был разгневан и лишил его наследства, но это только ускорило соответствующие процессы в жизни Джордже... Как я сказал, он — советник муниципалитета и антифашист. За многовековую историю династия Дория таких не знала.

5

Итак, Балестрари Леониде рассказом об истории родного города подвел к главной теме, которая привела меня в Геную. Предстояло посетить места, с которыми связано знаменитое событие, и прежде всего дворец Сан-Джорджо, чьи потемневшие стены, казалось, должны хранить следы огня и жестокой картечи.

Дворец Сан-Джорджо — генуэзская реликвия. Если говорить о том, откуда началось могущество Генуи, то рассказ следует начать с палаццо Сан-Джорджо. Характерно, что дворец расположен в нескольких шагах от порта и этим самым он как бы свидетельствует: Генуя — это море, это порт, ее торговое могущество.

Подобно многим зданиям такого рода, дворец был сооружен в честь победы на поле брани, в данном случае победы над извечной соперницей древней Генуи — Венецией. Точная дата сооружения дворца неизвестна, но известен приблизительный возраст палаццо Сан-Джорджо: 700 лет. Соорудив дворец в ознаменование победы над венецианцами, древняя Генуя, однако, построила его в стиле венецианской готики. Имя, под которым дворец

вошел в историю, было дано ему двумя столетиями позже. Это имя дал ему знаменитый генуэзский банк Сан-Джорджо, тот самый банк, который, как гласит историческая хроника, участвовал в финансировании походов Христофора Колумба. Собственно, дворец Сан-Джорджо был цитаделью торгового владычества города.

Но как проникнуть во дворец? В годы войны Генуя была подвергнута бомбежке и одна из бомб повредила фасад дворца Сан-Джорджо, вернее, грань фасада. Удар был так силен, что внутри дворца рухнула статуя отца города. С тех пор дворец перманентно находится в состоянии ремонта.

Как получить разрешение на осмотр дворца?

Кто-то из служащих звонит в муниципалитет. Мне кажется, что я даже слышу имя человека, с которым говорит служащий:

— Да, господин Джордже Дория...

Разрешение, разумеется, получено.

Признаюсь, я не без душевного трепета вошел во дворец и по его широкой лестнице поднялся на второй этаж, где расположены два его знаменитых зала: зал капитанов и зал дожей. Фотографии и кадры кинохроники запечатлели облик зала капитанов в дни конференции. Столы были поставлены в виде почти правильного квадрата. Стороны этого квадрата занимали делегаты. В центре квадрата два стола, за которыми сидели сотрудники рабочего секретариата, все те, кто вел протокол этого дипломатического форума. Взяв старую фотографию и вооружившись лупой, ты и сейчас можешь рассмотреть советскую делегацию. Вот сидит, несколько склонившись над столом, наркоминдел Чичерин — виден его галстук, повязанный, как обычно, толстым узлом. Если бы Георгий Васильевич встал, была бы видна золотая цепочка поперек жилета. Рядом — заместитель наркоминдела Литвинов. Он поднял глаза, на секунду оторвав их от газеты, которую держит в руках, — на нем светлый костюм, он любит светлые костюмы. Впрочем, почему бы ему не быть в светлом костюме, когда за окном весна и Средиземное море, буквально за окном. Взгляните попристальнее и рассмотрите лица Красина, Воровского, Рудзутака — всех тех, кто в эти дни вел большой корабль нашей делегации по неспокойным генуэзским волнам.

Я иду по залу. Мне хочется поточнее представить его облик. Размеры. Краски. Самую его фактуру. Я почти

точно определил размеры зала, пройдя его вдоль и поперек: 26 на 18 метров. Высота зала — метров 14—15. Зал спланирован как бы в два этажа. Все элементы оформления зала это подчеркивают: два ряда окон, два ряда скульптур. В нишах, глубоких и округло-правильных, скульптуры знатных генуэзцев. Генуя сберегла облик своих зачинателей. Хмуро-сосредоточенные лица, острые в прищуре глаза. Двадцать человек смотрят на вас как бы из самих стен древнего зала. Двадцать генуэзских капитанов, двадцать магнатов, двадцать отцов города. Разумеется, здесь и Андреа Дория, с которого началось военное и торговое господство Генуи. Здесь и его сподвижники, впрочем, не только в этом зале, но и в соседнем — зале дожей. Он выглядит не в такой степени европейским. Здесь сочетание витражей и мозаики. Здесь потолок не каменный, а коричневого дерева, как коричневым деревом выстланы и стены. Здесь пол не мраморный, а выложен своеобразной керамической плиткой. В этом зале есть что-то византийское, может быть даже восточновизантийское. Здесь, как и в первом зале, со стен смотрят на вас пасмурно-настороженные глаза отцов города. Быть может, даже не столько тех, кто стоял у кормила Генуэзского государства, сколько тех, кто опекал его военную и финансовую диктатуру. Вряд ли есть резон воссоздавать их имена, но одно имя врезано в историю намертво: это имя Девивальди Франческо. Он вошел в историю как зачинатель великого искусства ростовщичества. Он первым дал деньги взаймы в рост. Изобретатель ростовщического процента? Да, это он, Девивальди Франческо. В своем роде праотец все тех, кто, зажав в кулак пачку ассигнаций, драл три шкуры — прародитель всех скупых рыцарей.

10 апреля 1922 года.

Конференция в Генуе открылась, и Чичерин выступил со своей знаменитой речью-декларацией.

Нелегко переступить рубеж почти полустолетия и представить себе, как выглядел зал в тот день. Помогает это сделать тишина.

— Господин Георгий Чичерин, глава русской делегации! — голос председателя сурово-значителен.

Чичерин произнес речь по-французски. Произнес при настороженной тишине зала. Первую речь. Первую не только на этой конференции. В сущности первую речь со-

ветского делегата на международном форуме. Именно этой речью Чичерина была прорвана дипломатическая блокада. Вот поэтому так тихо стало вокруг. Вот поэтому импульсивный Ллойд-Джордж обратился в каменное изваяние и стал двадцать первым в ряду скульптур, украшавших знаменитый зал Генуи.

Чичерин произнес речь по-французски и, уловив, что классический язык дипломатии понятен не всем участникам конференции, повторил ее по-английски. Если бы была необходимость воспроизвести речь по-немецки и по-итальянски, Чичерин сделал бы это с той же легкостью.

Как свидетельствуют очевидцы, Чичерин говорил по памяти, редко заглядывая в текст, который лежал перед ним. Впечатление было столь сильным, что, казалось, чопорная тишина даст трещину и зал разразится аплодисментами. Однако, благодаря осторожно-настойчивому вмешательству председателя, давшему понять, что аплодисменты «неуместны», «опасность» миновала. Когда же Чичерин повторил речь по-английски, здесь уже овацию, откровенно восторженную и мощную, не могли сдержать никакие преграды. Очевидцы отмечают, что овация длилась долго, речь советского делегата заметно сказалась на настроении конференции. В перерыве, который был объявлен вскоре, участники конференции живо обсуждали чичеринскую речь.

А речь советского наркома действительно давала повод для столь бурной реакции. В течение тех двадцати минут, пока продолжалась речь (именно двадцать — продолжительность речи должна точно соответствовать ее цели и характеру), Чичерин говорил:

О мирном экономическом сосуществовании между двумя системами собственности — капиталистической и социалистической.

О равноправии обеих систем собственности.

О всеобщем для всех государств сокращении вооружений.

О созыве Всемирного конгресса для установления всеобщего мира.

Иначе говоря, Чичерин словно бы заглянул в завтрашний день советской дипломатии и определил многие из тех проблем, которые ей предстояло решать. И проблему сосуществования, кардинальную во всей ее деятельности. И проблему разоружения. И проблему созда-

ния всемирной организации, которая бы явилась в какой-то мере прообразом нынешней Организации Объединенных Наций.

Итак, конференция открылась. Главы делегации произнесли вступительные речи, и наступила пауза. Очевидно, делегаты должны были удалиться в загородные резиденции и виллы, чтобы начать то, что в дипломатической, как, впрочем, и военной, практике носит название разведки боем.

Советская делегация избрала для резиденции отель «Палаццо империале», расположенный на юг от Генуи в курортном городке Санта-Маргерита. Даже при беглом взгляде на здание отеля поражаешься его огромности. В отеле пять этажей. Как ни велика была советская делегация, а она оказалась на конференции действительно одной из самых представительных, здание отеля было для нее большим.

Я как бы последовал за делегацией в Санта-Маргерита. Моим спутником в путешествии был Бини.

6

— Не знаю, учитывал ли это Чичерин, выбирая для резиденции советской делегации Санта-Маргерита, но исторически это место было пристанищем русских, впрочем, не столько Санта-Маргерита, сколько Кавэ-де-Лавания — это рядом... — быстро произносит Бини, и его рука, худая и стремительная, взлетает и падает. — Если это интересно вам, готов показать. Кстати, я живу в Кавэ-де-Лавания.

Каменным утесом, устремленным высоко в небо, выглядит дом, в котором живет Бини. Не помню, на какой этаж вознес нас лифт, но, когда мы вошли в квартиру и хозяин подвел к просторным просветам, мы увидели Восточную Ривьеру на протяжении добрых ста километров. Справа были Рапалло, Санта-Маргерита и далеко за ними подернутая дымкой Генуя. Слева — цепь морских курортов: Кавэ-де-Лавания, Сестри Леванте, Сан-Ремо. Позади — густая зелень лесов, медленно поднимающихся с уступа на уступ и теряющаяся высоко в тумане.

— Посмотрите внимательно на эти леса, — сказал Бини, пытаясь движением быстрой руки обнять массивы зелени и гор. — Если вы слыхали о битвах генуэзских

партизан в годы Сопротивления, то эти битвы происходили здесь. Вон за той церквушкой был штаб и нашей бригады. Вы знаете, что с нами было много русских. Среди них — ваш знаменитый земляк Федор Полетаев...

Он обратил взгляд на море и словно прочертил глазами цепь городов, расположившихся вдоль береговой линии.

— Как я уже говорил вам, наши места более, чем какие-либо иные в Италии, больше, чем Рим, больше, чем Неаполь, связаны с историей России, и не только потому, что здесь был подписан Рапалло. Исторически Восточная Ривьера была цитаделью русской политической эмиграции. Нет, Капри было позже, чем Сестри Леванте... Если быть точным, то Капри явилось преемницей Сестри Леванте. Впрочем, я хочу, чтобы вы в этом убедились сами и побывали в домах, где жили русские, знаменитые русские...

И вот скалистый берег Сестри Леванте, возвышенный, как бы собранный из огромных камней. У камней могуче-округлые формы. Так могла бы выглядеть согнутая спина великана или его твердое плечо, если бы не откровенно черная или темно-коричневая окраска камней. Такое впечатление, что камни обкатывала горная река, передавая от одного водопада в другой. А потом камни калились и стали вот такими округлыми и темными. Непонятно только, как из расщелин этих камней вырвались деревья с солнечнояркими плодами, как непонятно и то, каким образом на этих камнях утвердился особняк с черепичной крышей, под кровом которого мы оказались в этот сумеречный день.

Нашими хозяевами были госпожа Елена Брэза и господин Ансальдо Бернари. Собственно, владелица особняка Елена Брэза. Ее молодость совпала с той порой, когда Сестри Леванте были «русским» берегом. Случилось это позже — вряд ли память госпожи Брэза сохранила бы события и лица столь прочно.

— У нас повсюду здесь жили русские, — сказала женщина, охорашивая ладонью мягко вьющиеся седые волосы. — Вот взгляните в окно. Видите этот дом справа. Да, да, двухэтажный с цинковой крышей. Там жил ваш знаменитый революционер Герман Лопатин. Тот самый Герман Лопатин, что из Сибири бежал в Европу, а потом вернулся в Сибирь, чтобы освободить Чернышевского. К нему приезжали гости со всей России, и он любил гу-

лять с ними по побережью. Я часто видела, как он шел вот этой улицей, спускался уступами вон той тропы, которая темнеет слева, и выходил на берег. Он был человеком суровой простоты, не очень разговорчивым, больше того, замкнутым. Но он был таким, когда оставался один. Когда же приезжали гости из России, он заметно преображался и в какой-то мере даже не был похож на себя. Однажды я слышала, как он пел вместе с другими русскими. Кажется, это были песни революции. Русские хорошо пели: мужественно и душевно...

А вот еще дальше за домом с цинковой крышей вы видите дом, покрытый фигурной черепицей. Там жил Кропоткин. Он приехал сюда с дочерью и, расставаясь с нашими местами, захотел, чтобы дочь пожила здесь несколько дней. Сейчас уж не помню, по чьей рекомендации он обратился ко мне с просьбой разрешить дочери остановиться в моем доме. Подлинно помню, как он стоял передо мной — белобородый, с густыми кустистыми бровями, почти скрывавшими под собой его маленькие, пристально глядевшие глаза. «Мне так кажется, — произнес он глухим, приятно гудящим голосом, — что для вас это не так трудно, а мне вы поможете, очень поможете...» Я согласилась, и дочь Кропоткина вошла в мой дом. Говорят, Кропоткин умер в Советской стране и был похоронен с большим почетом. А что вы знаете об его дочери?

Мне пришлась по душе беседа с обитателями особняка под черепичной крышей. Было понятно, что доброе отношение, с которым они встретили человека, прибывшего из России, во многом определено теми русскими, которые много лет тому назад жили здесь, цельностью их характеров, нерасторжимой цельностью их души, их верностью тому большому, чему они служили так преданно.

— Ну, что вам сказать об образе жизни этих людей? — заметил в заключение нашей беседы Бернари. — Они были людьми гонимыми. Да, я не оговорился: гонимыми и на итальянской земле. Итальянскому правительству было известно, что этот кусок Ривьеры стал русским. Не думаю, чтобы правительство было одержимо желанием преследовать русских. Не желая этого делать само, оно предоставляло эту возможность другим. Сейчас это звучит анекдотично, но ведь было действительно так: в Сестри Леванте существовало своеобразное отделение французской политической полиции, которое по просьбе русских властей установило слежку за революционера-

ми, приехавшими из России. Как жили русские? На какие средства? Русские жили скудно, лишь немногие из них получали какие-то деньги из России. Большая же часть жила на литературный заработок и на заработок от уроков, которые они давали в городах итальянской Ривьеры, да, пожалуй, в Генуе. Характерно, что русские могли жить здесь только осенью и зимой. С наступлением же весны и приездом на Ривьеру богатых туристов, они должны были переезжать в места, где жизнь была бы им по средствам. Многие из них уезжали на Капри. В ту пору жизнь там стоила много дешевле. Собственно, эти первые русские, уезжавшие на Капри на лето, были там первыми русскими вообще и положили начало знаменитой русской колонии на этом острове...

Я благодарю хозяев и по лестнице, вырубленной в камне, спускаюсь на шоссе и иду в другой конец Сестри Леванте. Там, в доме, сложенном из грубого кирпича, в первом этаже которого находится столярная мастерская, живет жена столяра Маритина Ансальдо. Она была предупреждена о нашем приходе и давно ждала нас, устроившись у окна и глядя в пролет улицы, идущей к морю.

— Господи, сколько же лет я не говорила по-русски! — произносит она и, кажется, поражается сама тому, что в ее устах звучит русское слово. — Надо же было столько лет пролежать этим словам без дела в моей памяти... И слова-то такие добрые — здравствуйте, люди хорошие, здравствуйте, милые!..

Старая жена столяра говорит, что русские называли ее Маритиночкой. Наверное, это было очень давно — сейчас ей почти восемьдесят. Однако язык ее друзей уже вошел в ее кровь, если через пятьдесят лет она могла заговорить по-русски с таким воодушевлением, с такой радостной легкостью.

— Нет, тогда я не была еще женой столяра, я была прачкой. Вы представляете, что такое прачка? Ни на что другое, кроме хлеба насущного, заработка тебе не хватало. Не хватало. Да никто и не видел в тебе другого человека, кроме прачки, хотя кругом жили разные люди. Мне приятно вспомнить, что первыми, кто увидел во мне человека, были русские. Не потому, что они были русские. Наверно, и среди русских есть разные. Разные — так говорят, хотя лично я от русских плохого не видела. Вот и моей учительницей была русская девушка, моя

сверстница. Может быть моя подруга. Надо было видеть, как ей хотелось поднять меня к свету, сделать меня человеком. Разве могу я забыть ее?

По каменным ступеням женщина поднимается на второй этаж и возвращается. На ее ладонях небольшая фотокарточка. На скамье, стоящей под пальмами, сидят две девушки: блондинка и брюнетка. Можно подумать, что фотография сделана вчера, если бы не длинные платья девушек, блондинки и брюнетки, длинные волосы, разделенные пробором и стянутые позади узлом.

— Вот это мы: я и моя русская учительница... Кстати, русские учителя были не только у меня. Я знала другую прачку, которую учила грамоте русская учительница. И еще: сапожника. И еще: каменщика. Русские любили заниматься с итальянскими рабочими. Они считали, что это может пригодиться итальянским рабочим. Они серьезно думали: может пригодиться...

Строго говоря, поездкой в Кавэ-де-Лавания я был обязан Бини. Я поехал туда не потому, что эта поездка входила в мои планы. Наоборот, Кавэ-де-Лавания имела к теме дипломатической Генуи косвенное отношение. По крайней мере, так думал я вначале — косвенное. Совершив поездку, я убедился: нет, не косвенное, прямое. И отнюдь не второстепенное значение имели в этой связи слова, произнесенные женой столяра из Сестри Леванте: «Они серьезно думали: может пригодиться!..»

Но к этому мы еще вернемся.

7

Я вспомнил, что сенатор Умберто Террачини говорил мне в Риме о красных дружинниках, охранявших советских дипломатов в дни конференции.

— А нельзя ли повидать кого-то из них? — спросил я у Префумо.

Друг Игнацио переглянулся с Джан-Карло:

— В самом деле, нельзя ли повидать?

Хотя фраза, произнесенная Префумо, означала вопрос, Джан-Карло понял ее как фразу утвердительную.

Так или иначе, а к вечеру следующего дня мы были приглашены в резиденцию общества.

За большим столом читального зала, где на полках стояли тома наших словарей и энциклопедий, встретились генуэзцы, как мне показалось, ровесники века.

Рассказ повел Диккенс Танини. Он явился на встречу с тетрадкой, которую обнаружил в своих старых бумагах — в нее были занесены подробности событий памятной весны двадцать второго года. Признаюсь, я очень обрадовался тетради Танини — мне казалось, что тетрадь сберегла детали, которые не способна была уберечь память.

— Я хочу рассказать, как однажды ночью был в гостях у советских дипломатов в Санта-Маргерита, — начал Танини. — Вот как это произошло. Я был членом ЦК красного профсоюза торгового флота. «Чиприяни» — корабль помощи голодающим России снаряжали мы. Среди нас было много старых рабочих-портовиков. Они были друзьями русской революции. Они много читали о ней и хотели знать еще больше. Вот они и настояли на том, чтобы мы отправились в Санта-Маргерита и расспросили русских дипломатов о том, как живет Россия и в какой помощи нуждается, — Танини заглянул в тетрадку и с особой выразительностью произнес: — В нашу делегацию входили капитан торгового флота Россини, Рико Марнотини и я. Чтобы не вызвать излишних подозрений у администрации отеля «Империале», в котором расположилась советская делегация, мы, входя в отель, представились коммерсантами. Конечно, мы понимали, что не очень похожи на коммерсантов, — подмигнул Танини друзьям, сидящим за столом. — Однако все сошло благополучно. Несмотря на то что был уже довольно поздний вечер, Чичерина в отеле не оказалось. Нам навстречу вышел Литвинов, который представил Рудзутака и Иоффе. Был еще, как я записал тогда, француз Жак Садуль... Видно, русские дипломаты привыкли работать по ночам — как я понял, мы не очень стеснили их, явившись поздно вечером. Мы рассказывали об Италии и жизни итальянских рабочих, а русские товарищи — о России. Чичерин приехал, когда было уже половина четвертого утра. Признаться, я подумал: «Как он не боится так поздно?.. Неужели он не знает, как тревожно сейчас в Италии?»

— Я перебью тебя, Танини, — подал голос человек, сидящий с Танини рядом, — он назвал себя Северино Бьянкини — он был в словах и жестах неторопливо-обстоятелен. — Я тоже думал не раз: «Ему надо бы поберечь себя!.. Поберечь!» Посудите сами: я был среди тех, кому партия поручила охранять делегатов. Два дня я

прожил в Санта-Маргерита, следуя за русскими делегатами по пятам, а потом переехал в Геную. В Санта-Маргерита любопытство к русским было велико, но Чичерину удавалось ходить по улицам и одному. Другое дело: Генуя!.. Чичерин появлялся на улице, и за ним валила толпа. Шутка ли: глава делегации Советской России, да еще итальянец!.. Да, об итальянском происхождении советского министра стало широко известно в Италии, и в Чичерине хотели видеть не только русского, но и в какой-то мере итальянца. К тому же было установлено, что он говорит по-итальянски, и генуэзцы пользовались каждой возможностью, чтобы заговорить с ним. Надо отдать должное Чичерину, ему нравилось говорить по-итальянски. Он любил гулять по площади Де Ферари, а пройдя площадь, шел вниз, к морю, но обязательно останавливался у собора Сан-Лоренцо и долго смотрел на собор, он любил смотреть на этот собор. Однажды, на Виа Сан-Лоренцо была демонстрация фашистов. Во главе демонстрации шел сын известного судовладельца Далл Орсо. У него отец был наш, генуэзский, а мать русская. Он был воинствующим фашистом, одним из первых в Генуе... Вот он и вывел свою гвардию на демонстрацию. Они скандировали лозунги, как обычно направленные против коммунистов и против Советской России. Но Чичерин будто не заметил их — он не прибавил и не убавил шага, прошел мимо. И толпа, что следовала за ним от площади Де Ферари, тоже прошла вслед за Чичериным. Толпа эта точно несла охрану русского делегата вместе с нами — она состояла из обыкновенных людей, хороших людей... И я подумал еще раз: ему надо быть осторожнее... ему надо было бы поберечь себя!.. Поберечь!.. — Северино Бьянкини кончил и, обратившись к соседу, добавил: — Прости, Танини, что прервал тебя, — я просто хотел добавить несколько слов к тому, что ты сказал...

— Спасибо, Бьянкини: ты хорошо рассказал, как наши рабочие охраняли русских делегатов... — заметил Танини и продолжал: — Итак, Чичерин приехал под утро, в половине четвертого. Взглянув на него, я не почувствовал, что он устал — быть может, ему помогло преодолеть усталость волнение. Он был взволнован заметно, но это было не волнение печали, а волнение радости. «Извините, товарищи, что не смог быть раньше, — сказал он по-итальянски, он был силен в итальянском. — Я был у турецкого посла и договорился с ним о делах, очень важ-

ных для наших стран». Я тогда подумал: он мог это и не говорить нам, а сказал. Значит, видит в нас товарищей по общей борьбе. А когда прощался с нами, а это происходило уже утром, произнес, просияв: «Вчера на палубе крейсера я был представлен итальянскому монарху и должен был пожать ему руку. Как приятно после этого пожать руку рабочего...»

Мне была интересна эта встреча со старыми генуэзцами, ровесниками века — те подробности, которые они пытались припомнить, показались мне живыми — они, эти подробности, помогли мне увидеть Чичерина в Генуе.

8

13 апреля 1922 года.

Главы делегаций произнесли свои речи, и наступила пауза. Как ни общи были первые речи, они давали возможность определить позиции и нанести их на воображаемую карту. Нанести на карту, а значит, сопоставить позиции главных сил на конференции: Антанты, Советской России, Германии.

Возможны ли переговоры и есть ли надежда на успех?

Если взглянуть из окна чичеринских апартаментов в «Палаццо империале», видна дорога (она ведет на Рапалло), за дорогой красный особняк виллы Спинолла, а еще дальше дымчато-синяя вода залива, а за водой тонкая полоска берега — там монастырь и его угодья.

Чичерин любит смотреть на залив.

Художники говорят, что в цвете воды есть краски неба. Очевидно, везде, но только не здесь. Вода обретает здесь цвет по контрасту с небом. В то время как небо ярко-лиловое, похожее на мохнатую здешнюю сирень (кстати, она скоро зацветет), водя иссиня-синяя.

В ста метрах от виллы Спинолла из воды выпер камень. Как бы ни разогнал свой челн рыбак, он вынужден его притормозить у камня. Вон как неловко встал камень на пути, истинно камень преткновения.

Чичерен смотрит на залив, залива уже не видит. И виллы Спинолла не видит. И дальней полоски берега с монастырскими угодьями тоже не видит. И камня не видит.

Камня преткновения?

Нет, всему виной этот обломок скалы, который пророс в воде залива.

Проблема долгов — это и есть камень преткновения?

Значит, задача для союзников сводилась к тому, чтобы выманить русских в Геную и предъявить им ультиматум:

«Вы полагаете, что можно решить проблему номер два, не решив проблемы номер один? Долги — вот проблема один! Нет, не только царские, но и все те, что ссудил у союзников Керенский. Сумма более чем круглая: два с половиной миллиарда фунтов стерлингов!»

«Кто возместит России убытки, которые понесла она в результате недавней интервенции? Там сумма еще более весомая: пять миллиардов фунтов!»

Где-то здесь пройдет в переговорах линия огня.

Если ультиматум о долгах будет локализован, есть возможность договориться. В этом наша делегация заинтересована. Поэтому самое насущное: выработать тактику.

Но ведь тактика выработана еще в Москве.

И выработал ее Ленин.

В том, как он рассчитал удары нашей делегации — его понимание проблемы, его способность добираться до ее корня.

Он полагал, что фронт делегатов, которые нам противостоят, надо расколоть, противопоставив пацифистов лагерю «грубо-буржуазному, агрессивно-буржуазному, реакционно-буржуазному».

«...Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая наших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, самым общим и кратким указанием на них...»

Он держался той точки зрения, что необходимо исключить из текста нашего заявления слова о том, что наша историческая концепция предполагает неизбежность новых мировых войн. «Ни в каком случае подобных страшных слов не употреблять, ибо это означало бы играть на руку противнику».

То, что говорил Ленин, имело один смысл: на добрую волю ответить доброй волей и договориться.

А если этой доброй воли не будет?

«На умаление прав нашего государства мы не идем...»

Тогда как обойти... камень преткновения?

Чичерин смотрит на залив.

Камень действительно точно пророс из воды, камень преткновения.

Быть может, есть возможность столкнуть не только

пацифистов и грубо-буржуазных, но и англичан с французами, а тех и других с немцами?..

А между тем я покинул Кавэ-де-Лавания и прибыл в Санта-Маргерита. Город по нынешним временам невелик. Одноэтажный вокзал с широким навесом, укрывшим первую платформу, — едва ли не у всех городов итальянской Ривьеры такие вокзалы. Полого спускающиеся к морю улицы, выложенные плоским камнем. Побережье с затейливо вырезанной береговой линией. Нарядная набережная — особняки, облицованные цветным камнем. По борту набережной разделенные равными интервалами пальмы, эвкалипты, платаны. Потом площадь. Площадь, как залив, ее полукольцо правильно. Вокруг площади — кафе, большие и малые, игорные дома, парки. В Санта-Маргерита — немного парков, но почти все они — частные.

Я иду вдоль набережной. Вечер неожиданно теплый. Говорят, что Чичерин любил гулять по набережной. Гулял подолгу. Выходил к самому берегу, смотрел на вечернее море. Старался представить: в какой стороне моря Марсель, в какой — Корсика, в какой — далекий алжирский берег. Потом оборачивался, смотрел на город. Здесь вечер исчерна-черен. Поэтому линия прибрежных особняков вырастает над морем, объятая белым дымом электрических огней. Где-то за этим белым заревом, на северо-восток от него, лежала Россия, Россия 1922 года, весны 1922 года, голодной весны... Голодная Россия, голодная, но единственно правая.

Только вчера он вышел на окраину Санта-Маргерита и у рыбачьей хижины, сложенной из пористого камня, увидел грядку лука и сельдерея — три шага в длину, полтора в ширину. У одного конца грядки сидел отец, у другого — его шестилетний сынишка. Их любящими руками грядка была точно нарисована на чистом листе земли.

«Вся земля... здесь?» — спросил Чичерин. «Вся, синьор», — ответил хозяин хижины. «А там?» — указал Чичерин взглядом на склон холма, разделенный правильными рядами деревьев. «Все, что выше моей головы, — бога!» — ответил рыбак, смеясь, и присвистнул — видно, шутка понравилась и ему самому.

«Вы слыхали: бога? — будто бы сказал Чичерин, вспомнив в кругу итальянских друзей встречу с семь-

ей рыбаков. — Так бы, наверно, ответил и отец рыбака, и дед, и прадед... Порядок этот заведен навечно, если в нем участвует бог. И вдруг: Октябрь!.. Вы только подумайте: вечность и Октябрь!..»

Эту историю рассказали мне в Генуе.

Рассказали и воспроизвели реплику Чичерина, в которой были и его печаль и его мечта.

Я вспомнил этот рассказ в связи с разговором, который произошел у меня в Санта-Маргерита.

Случилось так, что я был в Санта-Маргерита гостем семьи, хозяин которой итальянец, а хозяйка — русская. Молодая семья. Им обоим, да, пожалуй, вместе с их годовалым младенцем, немногим больше пятидесяти. Молодые люди соединились в Москве. Там хозяин дома был студентом советского вуза. Да и хозяйка в недавнем прошлом студентка. У молодых острое восприятие всего, что они видят вокруг. Все хотят познавать в сравнении с тем, что они видели в Москве. Неизменный вывод: вот это лучше здесь, а это много лучше там. Разумеется, как это бывает в жизни, сравнение касается и мелочей, но не упускается из вида главное. Трудно не заметить главного.

— Видите ограду, — говорит мне молодой итальянец, указывая взглядом на глухую стену, вдоль которой мы идем уже минут пять. — За этой стеной парк. Большой парк. В Санта-Маргерита, где каждая пядь земли на вес золота, этому парку цены нет. И вот представьте себе такое положение: за этими стенами живут три человека. Нет, не состоятельные хозяева, а их работники — сторожа парка. Что же касается хозяев, то они живут где-то в Швейцарии. Много лет живут и не часто посещают Санта-Маргерита. А парк пуст и бесполезен людям. Бесполезен именно там, где польза от него могла бы быть особенно велика...

Чичерин сказал тогда: «Октябрь и вечность...»

Он имел в виду прошлое, сравнивая Октябрь с вечностью.

Но вот прошло после этого сорок пять лет, а Санта-Маргерита все еще находится в плену этого прошлого, и слова Чичерина сегодня живы здесь так же, как были живы вчера:

Октябрь и вечность.

Барту сказал:

— Конференция началась пять дней тому назад, но если говорить о деле, то она началась сегодня.

Трудно оспорить Барту. Делегаты действительно заговорили по существу вопросов, которые предстояло им разрешить лишь 14 апреля. В этот день в местечке Куарто-дей-Милле на вилле Албертис, где, как уже сообщалось, была резиденция Ллойд-Джорджа, встретились делегаты. Именно здесь союзники дали бой Чичерину и его товарищам. Внешне все обстояло благопристойно. Накануне английский и итальянский эксперты Уайз и Юнг известили советских дипломатов о том, что Ллойд-Джордж хотел бы повидать их и отыскать какие-то пути к договору. Советские дипломаты ответили, что они готовы встретиться с делегацией союзников. На другой день, а именно: в пятницу 14 апреля, Чичерин, Литвинов и Красин выехали на виллу Албертис. Когда советские дипломаты прибыли на виллу, делегаты Антанты были там, и прежде всего Ллойд-Джордж и Барту.

Если говорить о беседе, которая состоялась в тот день на вилле Албертис, суть ее достаточно точно определил Чичерин. «...Когда во время переговоров в вилле Албертис, где все проблемы, претензии и условия соглашения прошли перед нами в сжатом и особо выпуклом виде, когда наша делегация упоминала о том, что народные массы России относят царские долги к абсолютно отошедшей в прошлое старой исторической эпохе, Ллойд-Джордж изумленно засмеялся и сказал: «Неужели они думают, что им ничего не придется платить?»

Как ни сдержан в своих выводах Чичерин, в этой короткой реплике он обнаружил главное: именно на вилле Албертис назрел конфликт, который привел к разрыву между советскими дипломатами и дипломатами Антанты. Привел к разрыву и предопределил полуночную встречу русских и немцев, встречу столь же чрезвычайную, сколь и естественную, вызванную всей логикой событий конференции.

А пока мы едем на виллу Албертис, чтобы воссоздать обстановку событий весны 1922 года.

— Наверно, это не очень просто посмотреть рояль-

ный дворец, но мы что-нибудь придумаем, — сказал друг Игнацио Префумо.

(В скобках заметим, что Префумо, которому русский язык необходим повседневно, подчас пытался недостаток каких-то русских слов заменить словами итальянскими.

Так возник «рояльный дворец», что по мысли Префумо означало «дворец королевский»).

Итак, Префумо сообщил свое решение о «рояльном дворце» Джан-Карло. Тот понимающе закивал головой (Джан-Карло с его ракетной энергией все разумел с полуслова) и предложил нам занять места в машине. Пока машина набрасывала на большой генуэзский холм одну петлю за другой, взбираясь все выше, я, затаив дыхание, ждал встречи с дворцом Албертис. Тем временем маленький автомобиль Джан-Карло благополучно взобрался на холм и остановился у массивной кирпичной стены — видно, дворец Албертис был за нею. Однако проникнуть за стену было не просто. Привратник, человек преклонных лет, в комбинезоне и берете, чем-то напомнивший мне французского рабочего с заводов Рено (как потом оказалось, я не ошибся — уроженец Сан-Марино, он много лет прожил во Франции), развел руками: дворец ремонтируется и посещение его запрещено.

У меня опустились руки, Джан-Карло мало ободрил меня — он сказал, что положение действительно серьезно — кроме ремонтных рабочих, во дворец никто не допускается уже много месяцев, и, если есть какая-то возможность помочь, то это может сделать только один человек.

Я спросил:

— Джордже Дория?

Он улыбнулся:

— А вы откуда знаете?

Так уже во второй раз всесильное имя Дория возникло на моем пути, и, как я убедился тут же, действие его было магическим. Джан-Карло устремился к телефону и тут же вернулся — кажется, наши дела были небезнадежны. Правда, нам надо было набросить на самый высокий генуэзский холм одиннадцать петель вновь, теперь в обратном порядке, и вернуться в город, но не напрасно — разрешение было в кармане. Все тот же привратник из Сан-Марино вышел на звонок и, приложив ладонь

к берету (ему было приятно, что все обошлось как нельзя лучше), распахнул перед нами ворота.

То, что мы увидели, немало поразило нас. Это была уединенная обитель мореплавателя, одного из тех, кто мечтал быть в славной Генуе преемником Колумба. У входа во дворец мы увидели фамильный герб Албертиса: щит в виде нагрудных лат и на нем толстые цепи, сложенные крест-накрест, и лаконичный девиз: «Сильнее, чем цепи». Но символом этого дома был не только этот герб, но и статуя, которую мы увидели на террасе, обращенной к морю. Она изображала мальчика, сидящего на берегу. В руках мальчика книга — он только что читал ее. Нога уперлась в якорь. Взгляд обращен вдаль — видно, там море. Юный Колумб. Его мечта о неведомых берегах и странах. Мечта первооткрывания и, быть может, державного господства. Мечта Колумба и Генуи. Определенно, пытливый капитан прошел землю по ее самым тайным путям. Следуя Колумбовой традиции и страсти, необоримой страсти Генуи, беспокойный капитан с большого генуэзского холма продолжал плавать и открывать, но уже не было сил утвердить приоритет великой Генуи над завоеванным, закрепить открытое. Как ни сильно было желание д'Албертиса умножить славу Генуи, его походы не имели продолжения, а сам дом чем-то незримым напоминал генуэзское кладбище: был и размах, и величие, но не было силы. Все, что мы увидели в этом доме, надо было понимать в связи с этой статуей. Хозяин дома много плавал и даже в своем более чем благополучном доме, намертво утвердившемся на самой массивной генуэзской скале, хотел чувствовать себя, как на корабле. Его рабочий кабинет, расположившийся в дворцовой башне, в сущности был капитанской рубкой, в которой было все, что должно быть в рубке капитана — штурвал, компас, секстант, навигационные карты, набор оптических приборов, в которые рассматривалось море далеко вокруг. Неровен час, капитан повернет штурвал, и дворец, как с якоря, снимется со своих камней. Что же касается покоев дворца, то они являли собой своеобразный музей путешествий капитана по белу свету — у каждого путешествия свой зал со своим оформлением, мебелью и редкой коллекцией всего, что создает эта страна в ремеслах.

А между тем я переходил из комнаты в комнату и думал, почему именно это поднебесное гнездо, торжествен-

но-холодное и не очень обжитое, избрал Ллойд-Джордж своей резиденцией, и как могло выглядеть это странно-приимное жилище весной двадцать второго года. Я старался представить, как это холодное гнездо выглядело при Ллойд-Джордже, и чувствовал, что мне не просто это сделать: решительно не было никаких указаний, что историческая резиденция была расположена здесь.

— Простите, этот холм зовется Куарто-дей-Милле? — спросил я, когда осмотр дворца заканчивался.

Человек, сопровождавший нас, смутился:

— Куарто-дей-Милле... в противоположном конце Генуи.

— И там есть... вилла Албертис?

Нет, смятение определенно охватило нашего спутника.

— Ну, если допустим, что есть... что тогда?

— Тогда... нам надо немедленно ехать туда.

И вновь зазвонили телефоны, и вновь было повторено: «Вилла Албертис», «Вилла Албертис». Как и следовало ожидать, дворец, который мы осмотрели, действительно оказался для нас трагически-«рояльным». Произошла ошибка. Оказывается, капитан не имеет никакого отношения к вилле, которая нас интересовала. Что же касается истинной виллы Албертис, да, той самой, истинной, где жил Ллойд-Джордж и где он встречался с Чичериным, то эта вилла действительно существует, при этом находится она в самом деле в местечке Куарто-дей-Милле, но... Собственно, затруднения были вызваны обстоятельством, которое по существу своему следует признать счастливым: жива хозяйка виллы Албертис мадам Карла д'Албертис. Да, та самая мадам Карла д'Албертис, которая дала согласие на то, чтобы ее вилла стала неофициальной резиденцией Ллойд-Джорджа. Та самая мадам Карла д'Албертис, которая выполняла роль хозяйки дома, когда ее виллу посетили, и не однажды, Чичерин, Красин и Литвинов. Трудно сказать, служила ли эта вилла иным общественным целям, кроме сугубо частных, с тех пор как под ее крышей встретились дипломаты. Однако в последние годы вилла была в сущности фамильной цитаделью; не многие из генуэзцев, даже знатных, могут похвастаться тем, что они были на этой вилле — хозяйка слышать не хочет о посещении виллы иностранными гостями. Ее упорство не уменьши-

лось, когда она узнала, что ее виллу хотят видеть русские. И тогда мы робко назвали имя Джордже Дория — до сих пор это имя нам помогало. Короче: разрешение было получено столь молниеносно, что мы осмыслили этот факт, когда машина уже несла нас в Куарто-дей-Милле.

А теперь замечу: я был рад посещению уединенной обители капитана. Эта обитель дала мне понять в современной истории Генуи нечто такое, что лежало отнюдь не на ее поверхности и что очень точно характеризовало ее прошлое и настоящее.

10

И вот вилла Албертис, вернее ее внушительные врата перед нами. И форма ограды, и форма привратных башен, и фактура камня, из которого сложены ограда и башни, и пропорции, в которых темный камень соотнесен с белым, своеобразно повторяют облик самой виллы — она маячит вдали. Особенно хороши башни, стоящие по одну и другую стороны от ворот. Высокие, правильно-прямоугольные, они увенчаны такой же прямоугольной, островерхой крышей. В облике башен есть что-то восточное. Говорят, что это было характерно для итальянской архитектуры XVI века, когда вилла была выстроена.

По внутреннему телефону привратница сносится с хозяйкой виллы. Госпожа Карла д'Албертис готова видеть нас, и по широкой дороге, устланной битым камнем, мы идем к вилле. Много пальм — огромных, с раскидистыми кронами, каждая из которых способна укрыть сравнительно большой двор. Много хвойных деревьев — ярко-зеленых, экзотических и по форме ствола и по форме хвои. И вот в пролете деревьев, точно поднимаясь из-за холма, возникают серо-белые стены виллы. Пока мы шли от главных ворот к вилле, а путь был долгим, садовая дорожка оставалась пустынной. Тем большее внимание вызывает у нас темная, покрытая шалью фигура, которая, покинув веранду, лежащую перед домом, медленно спускается по лестнице.

— Простите, мы имеем честь говорить с госпожой Карлой д'Албертис? — в приветственном поклоне Префумо склонил голову.

— Да, разумеется... Разрешите приветствовать вас на

вилле Албертис, — женщина улыбнулась и движением руки указала на лестницу, по которой она только что сошла. — На каком языке мы будем говорить? — спросила она нас.

— А какой удобен вам?

— Мне — любой европейский.

Она произносит эту фразу не без бравады. Впрочем, она имела право на эту вольность — она говорит по-французски с той же легкостью, с какой говорит по-английски и немецки.

Хозяйка приглашает нас пройти по парку.

— Признаться, я не сразу согласилась предоставить виллу Ллойд-Джорджу. Вилла — семейная реликвия и наше старое фамильное гнездо. С ней связана вся наша родословная на протяжении столетий. Может, поэтому мы стремимся охранить наш загородный дом от посторонних, каким бы резонным ни было их вторжение в его пределы. Просьба о том, чтобы вилла стала резиденцией Ллойд-Джорджа, просьба в иных обстоятельствах для владельцев и лестная, вначале нами была отвергнута. Отдать виллу дипломатам, значит, позволить им нарушить ритм жизни семьи. Ничто не пугало меня так, как это. Была бы моя воля, я настояла бы на отказе, но вопрос решала не только я. Так дом в местечке Куарто-дей-Милле оказался в фокусе мировых событий. Мы понимали, что хозяева окажут тем большее внимание своим новым жильцам, если создадут впечатление, что их здесь нет. Так мы и сделали, и на эти два месяца подлинными хозяевами большого дома стали дипломаты. Распространено мнение, что труд дипломатов — это нечто среднее между раутом и банкетом. Как я установила в те дни, нет большего заблуждения, чем это. Труд дипломатов — это поистине тяжкий труд, когда утро смыкается с вечером, вечер с утром; когда только жестокие нормы возраста дают человеку право встать из-за стола и сказать: «С меня на сегодня хватит!..» Подчас это мог сказать и м-р Ллойд-Джордж, сказать и тихо пошагать вот по этой садовой дорожке, чтобы вот с этого холма посмотреть на Геную...

Садовая дорожка, по которой мы идем, действительно выходит на край откоса, и мы обнаруживаем, как высоко находится вилла Албертис. День сумеречный, подернутый легким туманом.

Для здешних мест это типичный ноябрьский день: не

яркий, мягкий по краскам. Но видимость хорошая, и с высокого откоса открывается великолепный вид на Геную.

Этой же садовой дорожкой мы приходим на террасу, просторную, охваченную с трех сторон невысоким каменным бортом. Я вспоминаю, что именно здесь Чичерин уединялся с Ллойд-Джорджем, когда беседа становилась особенно конфиденциальной.

«Когда во время перерыва в последний день совещания на вилле Албертис я сидел с ним на террасе, — вспомнил Георгий Васильевич позже, — он сказал мне, что теперь он видит, что созыв Генуэзской конференции был преждевременным...»

То, что названо виллой, по сути своей дворец, и об этом прежде всего свидетельствует первый этаж виллы, где расположены его представительские залы. Великолепный большой зал, зал-диво и по своим пропорциям, и по стенной живописи, и по лепному орнаменту, и по просветам, искусно вписанным в стены и дающим так много света, что залу позавидует день.

Человек в ливрее вносит поднос с кофе, и пока мы пьем его, хозяйка берет с кафедры, сделанной в виде колонны, книгу почетных гостей дома. Мы нашли в этой книге все большие имена дипломатической Генуи. Все. Признаться, у меня было ощущение чуда, когда на приятно шершавом поле толстого ватмана я увидел собственноручную подпись советских дипломатов.

Г. ЧИЧЕРИН, народный комиссар по иностранным делам;

Л. КРАСИН, народный комиссар внешней торговли;

М. ЛИТВИНОВ, заместитель народного комиссара по иностранным делам.

Да, мы знали, что поворотное событие в Генуе произошло на вилле Албертис, и не было причин не верить этому, но эмоциональным доказательством этого факта были три имени, увиденные на белом поле книги. И пусть шесть строк, которые легли на твердый ватман, не открывали никаких Америк, самая встреча с этими именами под крышей этого дома была радостной. На одной из страниц торжественное течение книги нарушено примитивной кляксой — оказывается, кляксу посадила жена немецкого делегата.

— Не могу себе простить, что подпустила ее тогда

к книге, — произносит госпожа д'Албертис возмущенно и, заметив мою улыбку, смеется сама. — Вы хотите сказать, что женщина упрямее в своей неприязни, чем мужчина? Пожалуй, мужчине было бы достаточно полувека, чтобы забыть это...

А между тем мы продолжали осмотр виллы, в частности тех ее апартаментов, которые были связаны с переговорами. Дверь из зала налево вела в столовую. По словам хозяйки, обеды, которые давал Ллойд-Джордж, происходили здесь. Направо из зала — дверь в кабинет. Кабинет точно повторяет размеры столовой и, как столовая, высок и светел, но кажется небольшим. Стену рядом с входом в кабинет занимает фреска: «Парис выбирает возлюбленную». Мы заметили, как посветлела хозяйка, взглянув на картину:

— Эта картина была предметом неизменных острот дипломатов, — произнесла хозяйка не без улыбки. — Однажды, когда единоборство за столом достигло своего накала, Ллойд-Джордж, который, как известно, был порядочным остряком, шевельнул седой бровью и, взглянув на картину, спросил коллег, сидящих за столом: «Вы одобряете выбор Париса?» Последовал дружный смех. Очевидно, без этой фразы Ллойд-Джорджу не разрядить было напряженности. «Я бы на месте Париса, — заметил Ллойд-Джордж за всех, — сделал другой выбор: вот та крайняя справа мне больше по вкусу. А вам?»

Трудно сказать, какой смысл вложила хозяйка старой генуэзской виллы в рассказ о Парисе и Ллойд-Джордже. Казалось, что она обратилась к воспоминаниям не случайно. Если картина трактовала проблему счастливого выбора, то эта проблема действительно имела место на переговорах, происходивших на вилле Албертис. Она, эта проблема счастливого выбора, вставала и перед Ллойд-Джорджем и перед Чичериным. Не знаю, угадал ли Чичерин, кому был склонен отдать предпочтение британский премьер, приглашая советских дипломатов на виллу Албертис. Однако Ллойд-Джордж определенно не распознал, к какому решению, если говорить о перспективах выбора, должен был прийти советский министр иностранных дел.

Собственно, за ответом на этот вопрос не надо было идти далеко: подписание договора в Рапалло было не за горами.

11

Ночь с 15 на 16 апреля 1922 года.

В этот раз дипломаты собрались у Чичерина, когда большие напольные часы, стоящие в вестибюле отеля, пробили час ночи.

— Итак, Ллойд-Джордж полагает, что советским делегатам вообще не надо было приезжать в Геную, — заметил Чичерин, прихлебывая горячий чай — стакан чаю был спасительным, он помогал обрести тонус. — В самом деле не надо?

Наверно, то, что предстояло решить сейчас делегатам, напоминало шахматную партию, трудно разыгранную и прерванную в весьма сложном положении для одной и другой сторон — требовалось найти окончание.

Чтобы отыскать путь к выигрышу, иногда полезно воссоздать, как партия развивалась.

Итак, делегация приехала, чтобы найти общий язык с Антантой («Мы с самого начала заявляли, что *Геную приветствуем и на нее идем...»* — сказал Ленин).

Союзники осложнили переговоры, поставив вопрос о долгах.

Тогда советская делегация выдвинула контрпретензии с очевидным намерением вынудить союзников снять вопрос о долгах и продолжить разговор на равных.

Союзники повели себя так, точно намереваются хлопнуть дверью. («В таком случае вам вообще не стоило приезжать в Геную!») Они повели себя так, полагая, что поставят русских в безвыходное положение.

На этом партия прервалась.

Возникает вопрос: в такой ли мере положение русских безвыходно, как полагают союзники?

А если не так, то какое решение избрать?

Совещание, которое созвал Чичерин в тот полуночный час, должно было решить этот вопрос: «Какое решение избрать?»

Вопрос кардинальный — успех генуэзской миссии.

Какое же решение?

Наша делегация встала перед необходимостью принять рапалльский вариант Генуи.

Этот ход был у советских дипломатов в резерве.

Прибыв в Геную, наши дипломаты продолжали поддерживать отношения с немцами. Чичерину было извест-

но, что союзники и в Генуе относятся к немцам, как к побежденным. Больше того, Антанта держала их здесь в черном теле. Следовательно, психологически Антанта способствовала тому, чтобы немцы обрели общий язык с русскими. Разумеется, немецкая делегация состояла из людей разных. Там были свои пацифисты и свои «грубые буржуа»: фон Мальцан — на одном полюсе, Ратенау — на другом.

В том, как Чичерин обратился к немцам с предложением начать переговоры о договоре (полуночный звонок, приглашение прибыть в «Палаццо империале»), была и уверенность в успехе дела и, пожалуй, некоторая дерзость. Если говорить об уверенности, то она могла опираться лишь на точное знание настроений немецкой делегации. Что же касается дерзости, то надо знать корректность Чичерина и его такт, чтобы понять: наверное, эти чрезвычайные меры дались ему нелегко.

Итак, в повестку дня был поставлен договор с Германией.

Какие выгоды этот договор обещал нам?

Восстановление дипломатических отношений.

Взаимный отказ от возмещения военных расходов и убытков.

Отказ Германии от претензий, государственных и частных, в связи с аннулированием частных долгов и национализацией иностранной собственности в России.

Иначе говоря, Рапалло как бы давало бой союзникам — все три статьи были приняты им в «пику».

Чичерин допил свой полуночный чай и просил сообщить германской делегации, что хотел бы видеть ее...

Посещение Генуи близилось к концу, и мы, повинуясь хронологии событий, возвращались в красный особняк, через дорогу от «Палаццо империале».

Бини волнуется вместе со мною, и его глаза кажутся ярче обычного.

— Интересная деталь, — говорит он. — Много лет прошло с того дня, как подписан договор, а особняк, в котором текст пакта был скреплен подписями Чичерина и Ратенау, сохранен едва ли не в том виде, в каком он был в исторический день 16 апреля 1922 года. И это несмотря на то, что Рапалльский договор отнюдь не отвечал интересам классового итальянского государства ни в момент его подписания, ни тем более позже — ведь в том

же 1922 году к власти в Италии пришел фашизм. Почему же такая бережливость к реликвии, которая, строго говоря, является реликвией нового мира? Все дело в традициях, которые существуют у нас, когда речь идет о реликвиях исторических. Главное — чтобы это была реликвия, а все остальное имеет второстепенное значение.

— Мы ведь находимся в Санта-Маргерита, в то время как договору дано имя Рапалльский... — замечаю я. — Наши историки пробовали это объяснить тем, что «Санта-Маргеритинский» — неблагозвучно...

— Нет, по-немецки, как, впрочем, и по-итальянски это вполне благозвучно... да и по-русски, наверно, можно привыкнуть. Человеческое ухо покладисто — оно привыкло и к более трудным словам. Дело не в этом.

— А в чем?

— Отель «Палаццо империале» действительно находится в Санта-Маргерита, а вот красный особняк виллы Спинолла — в Рапалло.

— Погодите, да не хотите ли вы сказать, что дорога, отделяющая отель от виллы, является границей между Санта-Маргерита и Рапалло?

— Я хотел сказать именно это: границей.

Но, едва мы приблизились к входу в усадьбу, на территории которой расположен красный особняк, как мы обнаружили нечто обратное тому, о чем говорил наш спутник. Да, красный особняк цел. Больше того, мы допускаем, что он сбережен в том виде, в каком он был известен в момент подписания договора. У особняка даже есть новое имя, связанное с событием, которое в нем произошло. Повсюду он известен как «Дом договора». Но на этом заканчивается история этого дома, как история реликвии. Между городом, будь то Санта-Маргерита или Рапалло, и особняком непреодолимая стена. Особняк пуст, в нем никто не живет, но в него невозможно войти.

Мы позвонили в парадную дверь домика, выходящую на улицу. Дверь медленно отворилась — глянули испуганные глаза привратницы.

— Простите, могли бы мы осмотреть виллу Спинолла?

Глаза привратницы расширились еще больше: «Да не шутит ли господин?» — был смысл ее немого вопроса. — «Это исключено!.. Совершенно исключено!» — точно хотела сказать она. «Сколько помнит она себя,

здесь не было не только гостей иностранных, но и итальянских!» — и это можно было прочесть на ее испуганном лице.

— Я знаю, что надо сделать. Надо позвонить Джордже Дория! — сказал я самоуверенно, разумеется, забыв при этом, что дело происходит не в Генуе, а в Санта-Маргерита.

— Нет, зачем же Дория? — мягко парировал Бини.

Мы были свидетелями весьма примечательного события: чтобы проникнуть на территорию особняка, депутат Бини должен был обратиться к своим парламентским правам.

Я огибаю особняк и выхожу к морю — оно внизу. Слышно, как волна бьется о камень. Особняк стоит на утесе. Как ни буйна растительность, укрывшая камни, особняк, наверно, виден издали. И с моря, и с далекого берега справа. У всех, кто смотрит на особняк оттуда, его красные стены точно соотносятся со смыслом события, которое произошло в его стенах сорок пять лет назад...

12

Однако мы рано покинули палаццо Сан-Джорджо: эхо рапалльского грома должно было отозваться в гулких залах дворца.

И вот я вновь поднимаюсь по широкой лестнице и вхожу в зал сделок — главное событие из тех, которые означали реакцию союзников на Рапалло, должно произойти здесь. Именно в зале сделок собрался корреспондентский корпус конференции, усиленный достаточно многочисленной когортой итальянских газетчиков, прибывших накануне из Рима, Неаполя, Милана, Флоренции. Со времен Версаля такой большой и представительной гвардии журналистов не собирал ни единый форум.

Предстоящее событие вызвало интерес прессы не зря: Ллойд-Джордж готовился ответить на Рапалло.

Говорят, когда английский премьер появился в зале сделок, наступила такая тишина, будто бы газетчиков было не пятьсот (а их было пятьсот), а, скажем пятеро. Быть может, им внушил такую робость вид Ллойд-Джорджа: очевидцы свидетельствуют, что гнев выбелил ему щеки, и они были неотличимы от его обильных седин.

В более чем настороженной тишине британский лев, с которым у Ллойд-Джорджа было большее сходство, чем у какого-либо иного премьера Великобритании, взревел, и в древнем палаццо задрожали стекла, как они дрожали потом только однажды, когда в палаццо угодила немецкая фугаска и одна из статуй оказалась на полу. Смысл речи сводился к тому, что английский премьер много раз повторял и позже: Англия не боится ни русских, ни германских угроз. Ее единственное стремление — предотвратить гибель Европы, но русские, как, впрочем, и немцы, препятствуют этому.

Однако, к удивлению присутствующих, лев обнаружил, что он может не только рычать — в речи премьера вдруг прозвучали интонации, которые трудно было соотнести с ее началом. Пресса поняла это по-своему: как отметила она на другой день, речь Ллойд-Джорджа для немцев явилась утешением, для Советов — надеждой.

Наверно, Ллойд-Джордж не мог обойтись без того, чтобы не разразиться по поводу Рапалло громом и молнией. В конце концов к этому его обязывало положение британского премьера, но если говорить об истинных его настроениях в ту пору, они были определены не столько первой частью речи, сколько второй, и к этому были свои причины. Даже после Рапалло Ллойд-Джордж полагал, что англичанам невыгодно хлопать дверью.

Наверно, для понимания позиции Ллойд-Джорджа важно отметить, что именно в эти дни у него на вилле Албертис побывал Лесли Уркарт, тот самый Уркарт, который в свое время овладел рудниками на Урале и в Сибири. Как известно, Уркарт стремился вернуть свои кыштымские сокровища сначала с помощью Колчака. Много позже — на правах концессионера. Исход первой акции известен. Ко второй попытке Уркарт готовился, находясь в Генуе. Очевидно, считая рудники своей собственностью, Уркарт предложил оскорбительно малую плату за аренду, и — по личному указанию Ленина — переговоры с ним были прекращены. Но это было позже, а пока он прибыл в Геную, чтобы привести в действие тяжелую правительственную артиллерию.

Трудно сказать, случайно или нет, но переговоры, которые в те дни в той или иной форме велись в Генуе, были сосредоточены на проблеме, составившей предмет бе-

сед Ллойд-Джорджа с Уркартом на вилле Албертис: в какой мере Советское правительство намерено компенсировать собственность, национализированную революцией у иностранцев.

Глава советской делегации 20 апреля направил союзникам письмо, которое получило название «новой позиции» Чичерина. В этом письме Чичерин отошел от буквы и духа директивы, которую дало Политбюро как раз по вопросу о правах иностранных капиталистов на собственность, какой они владели в России до революции. Письмо Чичерина можно было понять так, что при известных условиях мы готовы вернуть бывшим владельцам их собственность. Позиция эта вызвала возражение делегатов, при этом Рудзутак телеграфировал в Москву. Телеграмма Политбюро от 24 апреля, текст которой был предложен Лениным, не оставляла никаких сомнений относительно ошибочности позиции Чичерина.

Телеграмма Политбюро гласила:

«Считаю мнение Рудзутака, выраженное в его телеграмме от 22 апреля, вполне правильным...

Повторяю еще раз, что мы сообщили Вам совершенно точный текст наших предельных уступок, от которых не отступим ни на йоту. Как только выяснится полностью, что на этих уступках соглашение невозможно, уполномочиваем Вас рвать...»

Получив телеграмму, Чичерин принял указание Политбюро к неуклонному исполнению — он понял ошибочность своего шага и со свойственным ему чистосердечием и тщательностью стремился учесть это в своей деятельности. Однако, отвечая на телеграмму, он отметил, что поступил так, пытаясь выиграть время.

Думаю, Ленин понимал: Чичерин обратился к этому доводу не столько из упрямства, сколько из желания психологически объяснить свой шаг. В этой ситуации у Ленина было две возможности: послать новую телеграмму Чичерину, в которой повторить прежние доводы и заявить, что выигрыш времени такими средствами не оправдан; второе — учесть, что Чичерин уже сделал все возможное, чтобы осуществить указание Политбюро и не возвращаться к ошибке.

Ленин избрал второе решение.

На телеграмму Чичерина о том, что его послание союзникам от 22 апреля было продиктовано жела-

нием выиграть время, последовал ответ Ленина: Чичерин действовал правильно.

Как следует понимать такое решение Владимира Ильича?

Для Владимира Ильича не было никакого резона углублять конфликт: миссия Чичерина в Генуе продолжалась, как продолжалась его большая работа по руководству внешнеполитическими делами Советского государства.

В этой ситуации линия Владимира Ильича была единственно целесообразной: обратить внимание Чичерина на ошибку, сделать все необходимое, чтобы она была исправлена, и оказать необходимое доверие и поддержку Чичерину в решении тех задач, которые поставили перед ним ЦК и правительство.

Эту позицию Ленин достаточно полно выразил и в тексте постановления ВЦИКа о деятельности нашей делегации в Генуе, проект которой был написан Владимиром Ильичем.

Первый параграф этого решения гласит:

«Делегация ВЦИКа правильно выполнила свои задачи, отстаивая полную суверенность РСФСР, — борясь с попытками закабаления и восстановления частной собственности, — заключив договор с Германией».

Так и сказано: «...борясь с попытками закабаления и восстановления частной собственности».

Чтобы понять поведение Ленина в этом вопросе, важно учесть отношение его к Чичерину вообще, как к коммунисту и государственному деятелю, которому партия доверила руководство внешнеполитическими делами.

Не могу удержаться от того, чтобы не привести известной оценки деятельности Чичерина, которую дал Владимир Ильич в письме к Иоффе: «Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток «командирства», это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете!..»

Ленин сказал: «Таких людей надо ценить».

Мне кажется, что в генуэзском эпизоде, который мы привели выше, Владимир Ильич достаточно убедительно показал, как это надо делать.

Где-то во второй половине мая 1922 года.
Итак, Генуя отошла в историю, однако чем явилась для Советской России Генуя?..

Ночью я иду по Генуе. Иду тем самым путем, каким ходил здесь Чичерин.

Площадь Де Ферари. Собор Сан-Лоренцо. Дворец Сан-Джорджо.

Весь путь минут десять.

Вечернее небо неярко, и кажется, что Сан-Джорджо чуть-чуть утратил свою необычность и больше, чем прежде, слился с панорамой современной Генуи. Вот так простоять пять столетий, раскрывать свои врата и Колумбу и Паганини, вызвать к жизни и мореплавателей и ростовщиков и в конце концов стать символом события, которое могло произойти в начале века двадцатого и ни в какое иное время.

Дожить до седин и вдруг обрести призвание — наверно, это и значит тряхнуть стариной. Браво, Сан-Джорджо!

Чем же явилась для Советской России Генуя?

Генуя — это возмужание. Сознание, что можно заставить и недруга служить революции, не поступившись ее идеалами.

Генуя возникла не вдруг. У нее есть своя родословная: Брест. Нет, не только потому, что в широком историческом плане сами действующие лица были теми же и их роль в событиях: с одной стороны — Антанта, с другой — Россия и Германия. Но и самой сутью: Россия отказалась тянуть тяжелый воз Антанты и пошла на договор с Германией.

Генуя отразила развитие брестских идей Ленина. Если вывести хронологию, логика ленинской мысли обнаружится воочию. В марте 1918 года в Бресте Ленин пошел на мир с Германией, чтобы новая Россия обрела время, а следовательно передышку, и отстояла Октябрь.

В ноябре 1918 года Россия расторгла брестский договор — время было обретено, время и силы — Россия встала на ноги, у нее была армия.

В апреле 1922 года в Генуе Ленин легализовал расторжение брестского договора — под расторгнутым договором подписалась Германия. Брест узаконил систему неслыханных платежей и аннексий, Генуя их отменила.

Говорят, хороший солдат носит победу в своем ранце. Генуэзский успех в какой-то мере хранился в чичеринском ранце. Да, готовясь к Генуе, наши держали в резерве ее рапалльский вариант.

Но можно обладать великолепным замыслом и провалить его осуществление. Рапалло было претворено в жизнь безупречно. Именно то, как была сохранена тайна замысла, насколько точно определены настроения немцев, как выбран момент для переговоров, как эти переговоры подготовлены и с какой энергией проведены (переговоры продолжались в общей сложности два с половиной часа), — во всем этом сказалось умение нашей дипломатии.

Однако в такой ли мере наша юная дипломатия была зрелой, чтобы противостоять многоопытной дипломатии западного мира? Дипломатия была юной, но дипломатов нельзя было назвать молодыми отнюдь. Ни по возрасту, ни по опыту жизни и политической работы, ни по степени профессионального мастерства. За плечами у них были годы и годы политической борьбы, которая одновременно была и школой интеллекта и школой жизни. Когда-нибудь будет написано об интеллекте русских революционеров, которые, взяв в свои руки внешние дела новой России, дали бой кадровым дипломатам того мира и не посрамили советского знамени.

Если говорить о Генуе, это был в какой-то мере поединок Чичерина и Ллойд-Джорджа. Кстати, противник Чичерина был далеко не самым бесталанным политиком западного мира. К тому же у него, как мне кажется, было меньше предвзятости к нашей делегации, чем у других западных дипломатов, к нашей делегации и к Чичерину в особенности, а это было преимуществом Ллойд-Джорджа. Но будучи опытным политиком, умным, находчивым, гибким, Ллойд-Джордж был дилетантом в дипломатии, у которого, как у каждого дилетанта, не было завершенности ни в знаниях, ни в опыте. Его плохое знание французского — классического языка дипломатии, в этой связи характерно. Известно, что французский Ллойд-Джорджа сыграл над ним плохую шутку, когда решался вопрос, где проводить конференцию: Геную британский премьер принял за Женеву (по-французски Генуя — Жэн, Женева — Женив). Трудно сказать, знал ли Георгий Васильевич об этом роковом промахе Ллойд-Джорджа, ставшем с тех пор достоянием всех учебников

дипломатии, но, произнося свою первую речь по-французски, а потом тут же сымпровизировав английский ее перевод, Чичерин поразил цель безупречно. Встречи, которые имели место между Чичериным и британским премьером, а их было четыре или пять, прошли под знаком этого факта. Чичерин превосходил противника и знанием предмета, и образованностью, и при всем этом скромностью — для дипломата качеством бесценным. Кстати, этого последнего качества Ллойд-Джорджу как раз и не хватало. По этой причине он недооценил возможности и немцев и русских, недооценил для себя фатально и просмотрел Рапалло.

Как ни велико значение Генуи, она могла быть для нас всего лишь успехом тактическим, успехом крупным и по одному этому вошла бы в историю нашей дипломатии как ее важная глава. Но дело как раз и заключается в том, что Генуя стала для нас явлением стратегическим. Для Советской страны это было принципиально: революционная Россия взламывала кольцо блокады и вступала в широкое общение с западным миром. То, что мы сегодня зовем политикой сосуществования, было начато в Генуе.

Однако вон сколько могут рассказать древние камни Сан-Джорджо даже о событиях и не столь древних.

Так или иначе, а теперь я могу сказать: я видел Геную. Дипломатическую, ту самую, что сберегла воспоминания о весне 1922 года. Видел и прошел по ее тропам... Прошел потому, что рядом были наши друзья.

Был друг Бини. Кстати, о сюрпризах Бини (в самом начале рассказа я обещал к этому вернуться): в канун отъезда из Италии портье римской гостиницы передал мне послание генуэзского друга и посылку. Раскрыв ее, я увидел нечто для меня бесценное. Бини прислал мне микрофильм, на котором были засняты провинциальные газеты Италии времен конференции в Генуе.

Были Префумо и Джан-Карло. Кстати, любопытная подробность: встреча в Генуе была у нас не последней — через три недели после Генуи я принимал генуэзских друзей в зимней Москве, при этом для Джан-Карло это было совсем в диковинку — он в России впервые.

Был Леониде Балестрари. Перед моим отъездом из Генуи и он мне прислал своеобразное послание: тетрадь

со старыми генуэзскими пословицами, которые собирал десятилетиями. И разумеется, был Джордже Дория. Удалось ли мне его увидеть? Удалось. Я увидел большого человека с бледным, но одухотворенно-прекрасным лицом, который крепко пожал мне руку. Я увидел человека, на котором древняя династия трагически пресеклась: на нем закончились магнаты Дория и начались антифашисты Дория... Могущественные магнаты и еще более всесильные антифашисты.

Я представляю состояние баталиста, которому необходимо воссоздать картину знаменитого сражения. В заповедный час он явится на поле боя...

ДОРОГА ТРИНАДЦАТАЯ

ПОСОЛ НА БАРРИКАДАХ

Я поймал себя на мысли: почему с таким пристальным вниманием рассматриваю женевскую афишу, набранную старомодными русскими литерами, в которой сообщается о реферате Владимира Ильича? Для меня эта афиша очень интересна по той причине, что точно свидетельствует, кем был Ленин для русской общественности — да только ли русской? — до Октября. А что, если это не афиша, а статья? Да, большая дооктябрьская статья о Ленине, да еще написана человеком, который имел возможность наблюдать Владимира Ильича годы и был авторитетом для самого Ленина? Сказать, что это необыкновенно интересно — наверно, не все сказать. Истинно, дух захватывает при одной мысли об этом. А вместе с тем такая статья существует, при этом никто и никогда не делал секрета, что она существует.

«Человек, портрет которого помещен выше, один из самых замечательных вождей русской социал-демократии. Он вырос из массового движения русского пролетариата и рос вместе с ним: вся его жизнь, его мысли и деятельность неразрывно связаны с судьбами рабочего класса. В счастье и несчастье, в момент бурного революционного подъема и в долгие годы бешеного разгула реакции он оставался верен интересам русского и международного пролетариата и для него была лишь одна цель — социализм, лишь одно средство — классовая борьба, лишь одна опора — революционный международный пролетариат...

Самое характерное в этом человеке — неистощимая энергия и его необычайная определенность в принципах, которая помогла ему в годы реакции остаться верным революционной социал-демократии и собрать своих единомышленников вокруг знамени Интернационала... Вскоре Ленин вернется в освобожденную Россию, где товарищи ждут с нетерпением приезда желанного вождя».

Эта статья напечатана шведской буржуазной газетой «Политикен» 6 апреля 1917 года и принадлежит перу Вацлава Вацлавовича Воровского. Разумеется, у Воровского были и другие статьи о Ленине. Они были написаны в том же 1917 году, но не в начале года, а в конце. Впрочем, не только в 1917 году, но неоднажды позже. Особенность первой статьи Воровского о Ленине, написанной в апреле 1917 года, заключается в том, что автор в ней свидетельствует, каким он видел Владимира Ильича в ту историческую весну 1917 года, когда Ленин прибыл из Швейцарии в Стокгольм, чтобы проследовать в Россию, в революционную Россию.

Я сказал: прибыл из Швейцарии в Стокгольм. Для Воровского эти стокгольмские годы и пора творчества революционного, и пора поиска профессионального — я имею в виду новую профессию Вацлава Вацлавовича — дипломатию.

Итак, Стокгольм. Интересно даже теперь, через полстолетия с лихвой пройти по улицам Стокгольма — они помнят, должны помнить Воровского. И четырехгранная башня ратуши, у стен которой любил гулять Воровский, — море рядом, и здание Королевской библиотеки, в которой Воровский просиживал днями — в регистрационной книге читального зала должна быть и его роспись, и Королевская улица Стокгольма, неширокая, но с широкими тротуарами, с характерными для Стокгольма мостами-переходами, связывающими одну сторону улицы с другой, и, разумеется, скалистые острова старого города с их соборами: церкви святого Николая и Риддархолмская, все тринадцатый век, седая стокгольмская древность — Вацлава Вацлавовича с его интересом к скандинавской архитектуре это увлекало.

Отто Гримлюнд, шведский социалист, хорошо знавший Ленина, как впрочем, и Воровского, сказал мне: «Воровский прибыл в Швецию, когда революция в России была всего лишь в перспективе, но такое впечатление, что

он явился к нам, имея в виду эту перспективу». Да, Воровский был необыкновенно хорош для этой миссии полпреда революционной России в Швеции.

Он прибыл в Стокгольм в качестве инженера фирмы «Сименс и Шуккерт», инженера, безупречно подготовленного, чьи знания и опыт заметно импонировали шведам, — уже тогда Швеция начала свое индустриальное восхождение. В мире людей, приобщенных к технике, познания Вацлава Вацлавовича в таких областях человеческих знаний, как искусство, литература, история, производили впечатление. Познания эти распространялись за пределы отечественной культуры и опирались на знание языков: всесильная латынь была прочной основой, как, впрочем, и греческий. Это помогло Вацлаву Вацлавовичу познать немецкий, французский, английский, итальянский, шведский, при этом шведским и итальянским Воровский овладел на дипломатической работе в Стокгольме и Риме.

У Вацлава Вацлавовича был немалый жизненный опыт, который сочетался с опытом революционной работы среди студентов, потом рабочих, при этом его трехлетняя ссылка в Орел (имя этого города Воровский сделал своим вторым именем — под его фельетонами стояло: Орловский) немало способствовала и жизненному, и политическому возмужанию.

Воровский имел возможность работать с Владимиром Ильичем, работать много лет. Стоит ли говорить, какое значение это имело для формирования Вацлава Вацлавовича — революционера и человека? Когда мы говорим о Воровском «последовательный марксист», мы имеем в виду и это: верный ученик и сподвижник Ленина. Как ни круты были повороты истории, Воровский был вместе с Лениным.

И. И. Скворцов-Степанов, который хорошо знал Вацлава Вацлавовича и многократ наблюдал его в общении с Владимиром Ильичем, свидетельствует, что Владимир Ильич глубоко уважал «остроумного, мягкого, культурного, в истинном значении этого слова, Вацлава Вацлавовича. Он знал, что на этого человека можно положиться, что спокойный, мягкий среди друзей, он тверд, неуклонен в стане врагов».

В Стокгольме, в Королевской библиотеке, я встретился с инженером-энергетиком Эрнстом Эльв, престарелым сотрудником концерна сильных токов «Сименс и Шук-

керт». Высокий, похудевший с возрастом Эльв повел меня в тенистый парк, лежащий позади библиотеки, и вспомнил то далекое время, когда скромный русский инженер Вацлав Воровский стал послом Страны Октября в Стокгольме.

— Положение господина Воровского было более чем своеобразным: посла назначили до того, как был совершен акт признания... — сказал Эльв и развел длинные руки. — Надо было обладать деликатностью Воровского, чтобы выполнить эту задачу...

Эльв так и сказал: деликатностью Воровского. В самом деле перед Воровским встала задача архитрудная. Декларируя нейтралитет (в трудах, посвященных Швеции, он назывался «историческим»), правительство этой страны не намерено было в ту пору признавать Советское правительство. В этой связи привилегии, которыми обычно пользовались иностранные дипломаты, не распространялись на Воровского. Больше того, его деятельности чинились всяческие препятствия. В этих более чем сложных условиях надо было быть Воровским, чтобы, минуя подводные камни, которых на пути полпреда было немало, выполнить задачу, возложенную на него правительством Республики Советов. А дел у Воровского было много, при этом весьма сложных дел. Советская Россия нуждалась в технической помощи Швеции, и Воровский выступил здесь не только как полпред, но и как инженер, знаток шведской промышленности. Это сочетание оказалось в высшей степени плодотворным: оно позволило Воровскому вести переговоры с крупными шведскими фирмами, не обращаясь к консультации лиц, в лояльности которых еще надо было убедиться. Результаты этих переговоров известны: Воровский совершил крупную сделку на покупку шведских паровозов — стоит ли говорить, как это было важно в ту пору для Советской страны?

Но у Вацлава Вацлавовича были и чисто дипломатические задачи. Это было время напряженных переговоров с немцами в Бресте. Воровский считал: не в интересах Советской стороны вести эти переговоры именно в Бресте, где у немцев и власть, и средства общественного воздействия. Для нас было выгоднее, если бы эти переговоры удалось перенести на нейтральную почву, например, в Стокгольм. Немцы встретили предложение Воровского в штыки. Они поняли, что, приняв это предло-

жение, Германия рискует многим. Переговоры велись в Бресте, но это не смутило Воровского — он продолжал держать их в поле своего зрения, находя средства сообщить Советскому правительству об этих переговорах нечто такое, что было для правительства ценным. Источником этой информации стал немецкий дипломат Рицлер, тот самый Рицлер, который позднее был назначен советником германского посольства в Москве и после убийства Мирбаха был даже поверенным в делах. Как свидетельствовал Вацлав Вацлавович, Рицлер осведомлял советского полпреда о ходе брестских переговоров, при этом полпреду сообщалось все, что немцы не могли или не хотели говорить в Бресте. Депеши Воровского о беседах с немецким дипломатом были полезны Советскому правительству чрезвычайно — эта информация была тем более важна, что сопровождалась более чем ценными комментариями Воровского.

В декабре 1918 года Вацлав Вацлавович был приглашен в шведское министерство иностранных дел и ему было сказано, что он и его коллеги должны покинуть страну.

Таким образом, Вацлав Вацлавович пробыл полпредом в Швеции год и один месяц. Впрочем, из этого срока должно быть вычтено время командировки в Москву летом 1918 года, необычной командировки, когда Воровский, застигнутый в Москве июльскими событиями, пошел волонтером на баррикады. Посол на баррикадах? Это и есть Воровский.

Говорят, Вацлав Вацлавович Воровский в пору своей работы в Риме иногда, улыбаясь, читал пролеткультовские вирши:

Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля...

Читал и шел в залы Ватиканского музея смотреть искусство высокого Возрождения.

— Кто сегодня помнит в Риме Вацлава Воровского?

— Террачини, конечно.

Сейчас я вспоминаю: да, Террачини. Когда открывали памятник Вацлаву Воровскому на площади в начале Кузнецкого моста, наряду с Чичериным, Литвиновым, Красиным и Лозовским выступал и Умберто Террачини.

И вот Рим шестьдесят восьмого года. Осень, поздняя даже для Италии. Милан уже прикрыт шапкой тумана,

и верхние этажи знаменитых миланских небоскребов, символизирующих могущество здешних индустриальных магнатов, оплел тяжелый войлок тумана — там, хотя и ближе к солнцу, но темнее, чем у основания блока, поэтому в окнах верхних этажей свет, нижние — не освещены. Да и в Венеции заморосило: прибывшая вода проникла даже на площадь Святого Марка — прохожие пересекают ее по мосткам. Чтобы из Венеции попасть в Рим, надо своеобразно прошибить Апеннины, многокилометровый туннель заканчивается почти у Флоренции. И сразу вас охватывает райская голубизна. А потом Рим — здесь та же солнечность и теплынь.

Рабочая комната сенатора Террачини в здании итальянского сената. Человек, облаченный в атлас и бархат, встретил меня в вестибюле и, почтительно склонив голову, дал понять, чтобы я следовал за ним.

Путь наш был длинным. Мы шествовали торжественно и неторопливо, пересекая залы, опоясанные золотым бордюром и уставленные таким количеством колонн, что в них можно было заблудиться, как в лесу, вступая в коридоры, устланные алыми коврами и в такой мере раззолоченные, что, казалось, они ведут к самому богу. А я шел и думал: в строе современой итальянской жизни мало что осталось от римской империи, но вот эта любовь к золоту, которым отягощены большие и малые палаццо, костюмы военных и государственных служащих, да только ли? Золота достаточно и на униформе городских полицейских, больших и малых швейцаров, правда, золото качеством пониже — ливрейное золото!.. И вот в этом океане благородного металла, тщательно надраенного и по этой причине огненно полыхающего, точно незамысловатое грачиное гнездо в райских кущах, помещалась рабочая комнатка Террачини. Да, он был чем-то похож на многомудрого грача, старый сенатор Террачини, ветеран итальянской революции, сподвижник Тольятти и Грамши... Такое впечатление, что комнатка Террачини находится не в раззолоченном палаццо сената, а где-то на дороге из Неаполя в Калабрию в ветхом особнячке мелкопоместного помещика. Да и обстановка комнаты свидетельствует об этом: на столе в коричневой рамке, очень домашней, точно снятой с бабушкиного комода, портрет женщины — и ее прическа, и платье, и весь ее облик свидетельствуют: портрет сделан еще в начале века. А под стеклом, которым накрыт письменный стол,

веер фотографий — видно, товарищи по борьбе, все те, кто был с Террачини и в горах Пьемонта — Террачини стоял там во главе своеобразной партизанской республики.

Нелегко припомнить подробности, а они как раз и драгоценны. Шутка ли, двадцать второй год и шестьдесят восьмой — сорок шесть лет! Меня интересует Генуя, и Террачини пытается припомнить все, что относится к Воровскому в этой связи, но потом, словно озарившись, старый сенатор вспоминает, что Воровский хотел написать книгу об итальянском искусстве и все свободное время отдавал тому, чтобы претворить это свое намерение в жизнь.

— Нет, это был не просто интерес образованного человека к тому, что есть итальянское Возрождение, — произносит Террачини и встает из-за стола: ему хочется в движении, в спором шаге разогреть мысль. — Его интерес был действенным: он ведь много думал, что есть искусство будущего...

— Вы полагаете, что мысль о том, что сотворили мастера Возрождения, была ему полезна?..

— Да, очень.

Меня не покидает мысль: Воровский, один из тех, кто был предтечей нового искусства, его теоретик и мыслитель, жил в Риме и думал написать книгу об опыте Возрождения. Нет, Воровский не был бы Воровским, если бы он писал просто монографию об опыте Возрождения. Здесь был замысел неизмеримо более могучий и современный. Ну, например, в какой мере опыт Возрождения воспримут художники будущего? Ну, например, реализм Возрождения, жизнестойкий и естественный, как естественно само человеческое видение мира? Знание человека и тех сил, которые заключены в нем от природы, сообщены человеку опытом деяния?.. Непреоборимость созидательного начала, которое есть в искусстве Возрождения, идущая от первоприроды человека, его способности радоваться солнцу жизни, его энергии творить? Но где-то должна лечь и последняя грань: здесь опыт Возрождения для нас кончается. Где?

Иду в ватиканский музей, как на работу, а потом на виллу Бургезе и в собор Святого Петра. С утра до вечера, с утра до вечера. Страдные римские дни, страдные... В знаменитой Сикстинской капелле, как на солдатском плацу после строевой муштры, десятки, а может

быть, сотни молодых людей опрокинулись на спины. Только взгляд их устремлен не в зенит, а в обширный потолок, на котором фантазия Микеланджело вызвала к жизни мир героев... Нет, я не оговорился, молодые люди смотрят Микеланджело, распластавшись на скамьях, как на нарах. Наверно, это поза наиболее естественна: в конце концов первым, кто опрокинулся вот так на спину, был сам Микеланджело, только не на скамьи, а на леса — весь потолок расписал он сам.

Наверно, где-то вот тут лежал, вытянув худые ноги, и Воровский. Смотрел и, быть может, думал: парадоксально уже то, что фрески Микеланджело надо смотреть в Ватикане. Ведь искусство Возрождения возникло, как протест против тысячелетней тирании церкви. Искусство, ниспровергающее деспотию феодалов, а вместе с нею и деспотию церкви, которая была опорой феодалов, — это и есть революционное начало Возрождения. И тем не менее Ватикан...

А потом шел через анфиладу станц, украшенных фресками Рафаэля и, поставив плетеный стул, располагался перед «Афинской школой», располагался прочно. Вот он, Рафаэль Санти с его радостной естественностью и праздничной обыденностью во всем. Именно, во всем: в натуральности момента, взятого для картины, и облике героев картины, в том, как они расположились на полотне, в выражениях их лиц и поз, в свете, что пронизывает картину, в самой атмосфере происходящего, в настроении, что объединило людей. Что-то есть в этом настроении незамутненное, что помогает человеку быть самим собой. Именно, самим собой, и это должно быть для Воровского важно, так как позволяет проникнуть в главное: насколько действенна его способность понимать большой мир человеческой души. Для достижения того, что есть искусство Возрождения, ничего нет более значительного, чем это... Если художник грядущего через могучую гряду столетий обратит свой взгляд в прошлое, первое, что он спросит своего могучего предтечу из века XV или XVI: как ты, знатный мой предтеча, совладал с человеком, как ты проник в его «я» и в какой мере помог узнать его? Человек, человек!..

Могучего предтечу? Рафаэля, например?.. Он был для своего времени прогрессивен, больше того, революционен. Движение за единство Италии, вдохновлявшее всех тех, кто был становым хребтом высокого Возрождения,

возглавлялось и Рафаэлем. Первоосновой искусства Рафаэля была реальная действительность, оно проникнуто мечтой о совершенном мире, оно, это искусство, полно веры в земную красоту и человека-творца. Говорят, Рафаэль был одним из тех, чей лабораторный труд, предшествующий созданию образа, был особенно упорен. Эта лаборатория творчества отражена в знаменитых эскизах Рафаэля — их разнообразие дает представление, сколь он был тщателен, требователен и неутомим в своих поисках. То, что вошло в искусство под именем «Рафаэлевой мечты» и что вернее всего было бы назвать способностью художника видеть день грядущий, опиралось на его понимание того, что есть действительность и, разумеется, человек...

— Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля?

Говорят, многоопытный Воровский не без горькой усмешки иногда повторял эти строки. Повторял и шел в Ватикан смотреть Рафаэля.

ДОРОГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПРИ БЛЕСКЕ СИРИУСА

Всю ночь, пока самолет стремился на восток, в иллюминаторе справа был серебристый Сириус, недвижимый, неярко и кротко мигающий. Потом он вдруг накалился и погас. Ночь кончилась, оказавшись, вопреки декабрьскому календарю, странно короткой. Казалось, вот-вот мы разминемся с солнцем, но это было не просто — началось утро, а за ним день, а солнце все ещё шло нам навстречу. Так и не разминувшись с дневным светилом, мы приземлились в Токио.

Наверно, это преувеличение, но в этом путешествии на высоте двенадцати-четырнадцати тысяч метров, когда глазу доступны лишь крупные ориентиры, и земля под самолетом похожа на штурманскую карту, пассажиры хотели видеть некие признаки космического путешествия. Да, то самое путешествие, когда, по слову космонавта, земляне отправляются в иные цивилизации, имея в кармане путевку профсоюза. Мы сказали: «Иные цивилизации»... Собственно, для человека, который никогда не был в Японии, первое впечатление о стране и ее столице точнее всего определяют именно эти слова: иные цивилизации. Следовательно, одиннадцатичасовой рейс не зря отождествляется с межпланетным путешествием — он предварил встречу с иным миром, черты которого и для нас необычны.

Однако что это за мир и что характерно для него? Как нам кажется, нигде на нашей планете древность, са-

мая первозданная и дремучая, не соседствует так близко с тем, что можно назвать техническим чудом века, как в Японии. Мы были на заводе транзисторов, принадлежащему знаменитой фирме «Сони». Мы видели, как пятьсот девушек, почти девочек, орудуя щипчиками, которые и для ювелира велики, сплетают цветную проволоку.

— Кружевницы! — произнес сопровождавший нас инженер и рассмеялся: он был рад, что нашел это сравнение. — Кружевницы двадцатого века!..

А потом нам показали сами «кружева», сплетенные чуткими пальцами японок... Ну, например, магнитофон, размером в записную книжку, видеотелефон, телевизоры от портативного, не больше книги карманного формата, до огромных с экраном в квадратный метр. А потом мы побывали во дворце «Сони», на токийской Гинзе в тот самый момент, когда японское телевидение давало пять своих цветных программ. Мы стояли посреди небольшого холла, и великолепные телевизоры фирмы «Сони», точно соревнуясь друг с другом в четкости изображения и яркости красок, воспроизводили... Однако что они воспроизводили все-таки? По одной программе передавалось интервью с популярным современным писателем Мисимо Юкио, по всем остальным каналам или почти по всем фильмы, созданные по произведению писателя. Собственно, и интервью, и фильмы взывали к одному: «Возвеличь самурайство! Не щадя живота своего возвеличь...» Именно, не щадя живота своего... Писатель, играющий в одном из своих фильмов заглавную роль, показывает, как он рекомендует уйти к праотцам, не пощадив живота своего — харакири, которое он совершает, выполняется им со знанием дела. Уже вернувшись из Японии, я узнал, что сцена, увиденная мною по телевидению, была для писателя всего лишь генеральной репетицией — он казнил себя в точном соответствии с этой сценой. Благодаря телевидению, этот средневековый ритуал харакири стал достоянием миллионов. То обстоятельство, что тут средневековье вторглось в век атома, по-моему, даже не было замечено.

— Если говорить о сути Японии и японцев, то суть эта в древней морали, именуемой самурайством, — сказал в тот вечер Мисимо Юкио.

— Если говорить о сути Японии и японцев, то суть эта в том, что явил в нашем веке ее технический ге-

ний, — сказал мне Танге, крупнейший зодчий современной Японии, а если быть точным, то не только Японии — в мировой архитектуре наших дней это едва ли не первое имя.

Мне хотелось передать оба этих ответа кому-то из тех японцев, кто способен был рассмотреть их в исторической ретроспекции.

Мне назвали Киоси Такаса, сказав, что он стоял у колыбели рабочего движения Японии.

— Он знал Сен-Катаяму? — спросил я.

— Не только — Ленина.

Я подумал: у почтенного Такаса возраст должен быть почтенный весьма. В самом деле, если в год своей поездки в Москву он был даже молодым человеком, он должен быть сейчас стариком — как ни крути, а это было пятьдесят лет назад. Но это препятствие не единственное — не смутит ли его наша просьба и захочет ли он говорить? Не без труда, но препятствие это было преодолено. Мы были обязаны этим Михаилу Борисовичу Ефимову, молодому дипломату и литератору, но весьма опытному японисту, не первый год живущему в Токио.

Встреча с Такаса явилась заметным событием и для Михаила Борисовича, что сделало нас одинаково заинтересованными в этой встрече и позволило Ефимову пригласить японца домой. Наверно, не только мне, но и Киоси Такаса квартира Михаила Борисовича показалась очень японской. На полированном дереве суперсовременного приемника стояла стилизованная фарфоровая собака, а над алюминиевыми ящиками с пленкой расположилась репродукция с картины известного живописца, воссоздающая цветущую сакуру. Это бело-розовая пена цветущей вишни, изображенная художником с превеликим умением, была особенно приятна японскому глазу рассказчика. Нет, нет а Такаса обращал на нее взгляд, и спокойная радость поселялась в его взоре. Кстати, теперь японец сидел рядом с нами, и мы могли его рассмотреть. Ну, разумеется, он выглядел много моложе возраста, который можно было ему дать, приведя в действие соответствующие подсчеты. Может быть, это впечатление создавалось от бронзово-коричневой кожи его лица, очень свежей, и черных волос, которые у кромки были опушены сединами и казались как бы на белой подкладке.

— Значит, речь идет о сути Японии и японцев?.. — переспросил он и улыбнулся. — Однако не простой вопрос приберегли вы для старика, но я не уйду от ответа. — Только сейчас мы заметили в его руках тетрадку. Он развернул ее и мы увидели, что тетрадь исписана — почерк был бисерным, но четким, настолько четким, что, положив тетрадь перед собой, Такаса не сменил очков. — Когда Ефимов-сан попросил меня, я сказал, что мне это тоже интересно, — произнес он и опустил загорелую руку на тетрадный лист. — Могу сказать: я думал об этом и даже пытался изобразить на бумаге, при этом моя поездка в Россию и Ленин имели к этому прямое отношение... Да, Ленин тоже...

Он пододвинул тетрадь и перелистал ее — у него была необходимость восстановить записи в памяти.

— Вот так повелось исстари: если новая идея была не по душе богатым людям, они объявляли ее «иностранной», а следовательно, не японской. Надо сказать, что тактика эта была хитрой и действовала почти безотказно, не случись революция в России... Но вот пришла весть о революции в России, и Япония заволновалась, начались знаменитые рисовые бунты. «Погодите, вы идете по стопам русских рабочих, но поймите — это нам не подходит!.. — пытались остановить бунтующих. — То Россия, а здесь Япония!..» Но бунты продолжались и достигли такого размаха, какого Япония не знала. В самом деле, в какие времена в Японии бунтовало десять миллионов? Они взламывали склады риса, сжигали полицейские участки, захватывали заводы. Казалось, Япония переживает величайшее потрясение в своей истории, против бунтовщиков бросили войска... Бунт не стал революцией, но он явился призывом в революцию. Среди тех, кто пришел тогда в революцию, был и я... — произнес он и взглянул на нашего хозяина, точно осведомляясь, поспевает ли он за переводом.

Видно, у Ефимова был опыт перевода устной речи — он организовал перевод рассказа Такаса тщательно, именно организовал. Приступив к переводу, он установил своеобразный ритм его — за короткой японской фразой или полуфразой следовала русская. Хотя рассказ записывался на магнитофон, я, следуя привычке, поспешал за Такаса со своей примитивной скорописью. Эта скоропись действительно была не столь совершенна, как механическая запись, но у нее было свое преимущество: она

отразила настроение беседы, а вместе с этим и какие-то детали. Ну, например, я обнаружил в своей записи такую деталь: в этот день над Токио было густо-синее небо, прохладное, но ясное и в точном соответствии с этим в течение всей беседы из открытого окна доносился голос невиданной птицы, она пела неудержимо... Впрочем, если воспроизвести магнитофонную запись, то этот голос обнаружит и пленка. Следовательно, напрасно я думал, что тут у меня привилегия, ее здесь нет.

— Поездка в Москву, тайная?.. В ту пору в Японии не было большей крамолы. Человек, решившийся на такой поступок, должен был понимать, что на случай неудачи он заплатит за это жизнью — эта кара была едва ли не узаконена властями. — Поэтому, если человек решался, у него не должно было быть никаких иллюзий на случай провала. Не могу сказать, что до поездки в Россию у меня был большой опыт конспирации, но тут я обнаружил такое, что не подозревал в себе. Очевидно, был приведен в действие самый бдительный инструмент природы — инстинкт самосохранения. Прежде чем отправиться в путь, надо было решить для себя по крайней мере две задачи. Первая: маршрут, точный, учитывающий и помощь друзей, и козни недругов. Вторая: в каком качестве ты отправляешься в путь, если судьба столкнет тебя с полицией. Судьбе было угодно, чтобы эта встреча с представителями властей произошла до того, как наш корабль отбыл из Нагасаки в Шанхай. «В Шанхай? — вопросил полицейский чин. — Простите, с какой целью?» — «Я представляю лесоторгующую фирму, и мои документы в порядке... Речь идет о продаже пиломатериалов...» Видно, полицейский был осведомлен в вопросах лесоторговли не больше моего — моя реплика о пиломатериалах оказалась для него убедительной, и он отпустил меня... Мы благополучно прибыли в Шанхай и оказались в кругу друзей-коммунистов, однако, как и мы, действующих нелегально. Возник вопрос: как продолжать путь? Порознь или группой? Мой возраст не внушал доверия — двадцать лет! В самом деле, как отпустить меня одного, когда впереди столь трудный путь? С нами поехал Чжан Тэй-лей, легендарный Чжан Тэйлей, погибший героем в борьбе с чанкайшистами. Дорога из Шанхая в Харбин была не простой, но и она была преодолена. Оставалось взять самое трудное препят-

ствие: границу с Россией... Чжан Тэй-лей довез нас до Харбина и простился, полагая, что излишняя опека может вызвать подозрение... Помню, что конспиративный код был построен на одной и той же цифре, к которой мы обращались в Харбине неоднократно. Вопреки всему фатальному, этой цифрой была «13»... Впервые эту цифру назвал харбинский парикмахер, к которому привела нас тайная дорожка. Парикмахер обнаружил добрую волю лишь после того, как постриг нас и обменялся несколькими фразами, не выходящими, впрочем, за пределы разговора, которые клиент ведет в парикмахерской. Не без его помощи мы были погружены на дрожки, отмеченные все тем же номером 13, и они доставили нас к границе. Одним словом, солнце еще удерживалось над горизонтом, когда нас принял пассажирский поезд, идущий в Иркутск... Помню, что путешествие по Сибири напоминало плавание на корабле, терпящем бедствие. Это сравнение не случайно: шел двадцатый год, в России уже начинался голод, и тифозная вошь казалась бедствием неодолимым. Конечно, для нас, прибывших из Японии, нужда была не в диковинку, но вот это сочетание голода и тифа было невиданным и для японцев, как, впрочем, и иное: этот народ, живущий впроголодь, был полон такой веры и такого воодушевления, что, казалось, и большие страдания не остановили бы его... Кстати, это было важным и для нас, когда возник вопрос о нашей второй поездке в Москву на конгресс Коминтерна. Как ни опасна была наша первая поездка, каждый из нас готов был принять эти испытания вновь, лишь бы побывать в России. К тому же эта поездка обещала встречу с тем большим, что отождествлялось в ту пору с революцией и прежде всего с Лениным... Есть эта картина русского художника, на которой Ленин изображен на конгрессе Коминтерна — не знаю, тот ли конгресс там воссоздан, но в ней очень точно передано и настроение конгресса, на котором я был...

— Вы говорите о картине Бродского, Такаса-сан? — спросил Ефимов. — Не об этой ли? — заметил он, раскрывая альбом и осторожно пододвигая его в тот конец стола, где сидел японский гость.

— Именно об этой картине я говорил, Ефимов-сан!.. Хорошо, что вы принесли ее — она даст толчок моей памяти! — Японец задумался. — Впервые я увидел Ленина задолго до его выступления: он сидел в президиуме, чуть

наклонив голову, его взгляд и его поза выражали внимание. Я легко узнал его, быть может, и потому, что сидел неподалеку... У него было лицо человека, который все еще находился во власти жестокого недуга — нет, не только цвет лица, но само выражение его говорило о боли, хотя временами лицо вдруг обретало спокойствие, спокойствие большой мысли. Наверно, это происходило, когда он давал себя увлечь происходящим — все, что он наблюдал сейчас, было ему очень интересно. Иногда он наклонялся к сидящим рядом и спрашивал их, спрашивал едва ли не полушепотом. Именно шепотом, это я видел по движению его губ. В том, как он держал себя, чувствовалось и строгое достоинство, и скромность. Впрочем, эта скромность была во всем его облике и даже в костюме... В человеке не было высокомерия, но в нем не было и тени того, что мы определяем японским словом «кобиру»...

Ефимов встал и пошел в соседнюю комнату за словарем, до сих пор он этого не делал... Нет, не то что он не знал этого слова, просто он хотел передать его смысл как можно полнее... Оказалось, что у «кобиру» многозначный смысл: «задабривать, умасливать, говорить приятное, угождать...»

— Да, да... в его образе поведения не было этой манеры говорить собеседнику и, пожалуй, аудитории приятное и этим завоевать его и ее на свою сторону... — подхватил рассказчик воодушевленно. В том перечне слов, которые Михаил Борисович добыл в словаре, он хотел оттенить именно этот смысл: говорить приятное. — Это я почувствовал, когда Ленин поднялся на трибуну... Зал встретил его таким взрывом восторга, что казалось старые стены кремлевских хоромов, где это происходило, рухнут, но Ленин был строг, я бы сказал печально-строг.

Рядом со мной сидел Сен-Катаяма, да, знаменитый Сен-Катаяма, наш ветеран, наш заслуженный товарищ. Катаяма шепнул мне: «Он терпеть не может чествований — это не по нем!» Но дело, конечно, было не в чествованиях. Просто было чувство радости, что болезнь отступила, временно отступила, и Ленин вернулся в строй. Аплодисментам бы не было конца, если бы Ленин не поднял ладонь, бледную ладонь — аплодисменты пошли на убыль, однако стихли не сразу. Ленин начал говорить, помню, что он говорил по-немецки. Почему по-немецки? Возможно, потому, что из тех иностранных языков, ко-

торые он знал, немецкий был ему наиболее близок, а возможно, имело значение то, что самая большая группа иностранных делегатов знала именно этот язык... Зал затих, внимая тому, что говорил вождь.

Его манера говорить была очень похожа на Ленина, как я воспринял его, когда он сидел в президиуме: в тоне застольной беседы, не обращаясь к ораторским приемам... Видно, речь требовала от него сил немалых, а их у него как раз и не было: по мере того, как продолжалась речь, голос слабел, хотя все еще был хорошо слышен — в зале было очень тихо, зал помогал Ленину этой тишиной... Легкая испарина покрыла лоб, а потом лицо Ленина — в свете прожекторов, которые возникали время от времени, это было особенно заметно.

О чем говорил Ленин? Свой доклад Ленин произнес 13 ноября 1922 года, то есть, когда у Советской России был уже некоторый опыт борьбы за новую экономическую политику. Поэтому Ленин начал свой доклад с того, что рассказал, что дала России новая политика, правда, оговорив, что он долго болел и лишен возможности сделать большой доклад. «Я могу дать лишь введение к важнейшим вопросам», — заметил Ленин. «Прежде всего остановлюсь на нашей финансовой системе и знаменитом русском рубле, — сказал он не без веселой иронии. — Я думаю, что можно русский рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион. Это уже кое-что... — произнес он под смех зала. — Я уверен, что здесь не все знают, что̀ эта цифра означает. Но мы не считаем, и притом с точки зрения экономической науки, эти числа чересчур важными, ибо нули можно ведь зачеркнуть...»

Затем Ленин осветил положение дел в важнейших сферах народного хозяйства, сказав, в частности, о сельском хозяйстве, легкой и тяжелой промышленности. Его оценка была достаточно оптимистической, хотя он был и самокритичен весьма. Он прямо сказал: «Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей. Никто не может судить об этом лучше и видеть это нагляднее, чем я», — произнес он безбоязненно. Для Ленина это было не голословно: он глубоко и точно исследовал причины бед молодой республики. «Нам придется еще многому учиться, и мы поняли, что нам еще необходимо учиться».— В этом его заявлении сказалась психология большевика: успехи страны, нынешние и зав-

трашние, зависят от ее способности видеть подлинную картину жизни. Именно подлинную, независимо от того, радует она тебя или огорчает.

«Обрати внимание, друг Киоси, как самокритична речь, — произнес Сен-Катаяма. — Он понимает, что революция не может развиваться без критики. Для него прогресс — это критика...» Да, мне была симпатична эта способность Ленина критически оценивать каждый свой шаг. И вновь я подумал: «Это очень похоже на него и является частью его скромности». Признаться, в тот момент я не знал, что Ленин сказал не все. Больше того, многое из того, что предстояло ему сказать в тот день, должно было прямо относиться к моим раздумьям и, быть может, моим сомнениям: да, да, старый вопрос, интересующий и вас: «Что есть суть Японии и японцев, а следовательно, что есть для нее социальный прогресс и революция, русская в частности?»

В Японии были такие, кто полагал: русские заинтересованы в экспорте русской революции. Будь на то их воля, они навязали бы ее силой, но так пытались истолковать политику русских коммунистов и Ленина недруги революции. А как обстояло дело на самом деле? Оказывается, позиция Ленина ничего общего с этим не имела, и он сказал об этом недвусмысленно на конгрессе. Однако что он сказал?

Он вспомнил прошлый конгресс Коминтерна и сказал, что перечитал резолюцию, которую принял тогда, и был немало опечален: резолюция прекрасна, но она почти насквозь русская, то есть, взята из русских условий. «Резолюция слишком русская, — повторил он, — она отражает российский опыт, поэтому она иностранцам совершенно непонятна, и они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее, как икону в угол, и будут на нее молиться... Они должны воспринять часть русского опыта».

Да, он так и сказал: часть опыта! Иначе говоря, он дал понять делегатам: «Опыт Октябрьской революции это дело вашей доброй воли. Возьмите *часть опыта,* да именно ту часть, которая соответствует истории, традициям, всему укладу жизни вашей страны. Возьмите в полном соответствии с вашими национальными интересами. Впрочем, вопрос о том, брать вам этот опыт или нет, тоже дело вашего сознания и вашей доброй воли».

Помню, когда Ленин кончил, зал поднялся, загреме-

ли аплодисменты, в разных концах зала, на разных языках, вначале робко и как-то вразброс, потом все более уверенно и стройно запели «Интернационал». Ленин все еще стоял на трибуне и пел вместе со всеми. Речь потребовала от него много сил, он был бледен, голос его тонул в общем хоре голосов, но воодушевление было на его лице, у него было хорошо на душе, он пел вместе со всеми. Еще помню, когда он сходил с трибуны, Клара Цеткин, оказавшаяся рядом с ним, спросила, как он себя чувствует, и даже попыталась, очевидно, непроизвольно, помочь ему сойти, но он остановил ее, улыбнувшись.

А потом на конгрессе выступала Коллонтай... Она была очень красива в своем темно-бордовом платье, и мне было интересно наблюдать, как ее слушают делегаты. Она говорила по-английски, говорила с тем воодушевлением и легкостью, точно говорила не по-английски, а по-русски. У нее был талант оратора, именно талант — ее способность владеть аудиторией шла не от расчета, что сказать и как сказать, а именно от ее природного дара говорить с людьми. Если к этому прибавить безупречное знание языка, то она действительно была трибуном божьей милостью. Итак, мне было интересно наблюдать, как слушают ее присутствующие в зале. Сталин, которого показал мне Катаяма, слушал ее со строгим, почтительным, хотя и чуть-чуть скептическим вниманием — он как бы досадовал, что должен был слушать ее речь в переводе. Ленин не скрывал своего восхищения — его усталое лицо то и дело озарялось, когда Коллонтай обращалась к шутке, чувствовалось, что он радуется успеху Коллонтай. Зал приветствовал ее очень сердечно и, казалось, больше всех был рад Ленин. И я подумал: наверно, эта способность радоваться успеху товарища, редкая способность, характерна для него. Это наверняка немало способствовало тому, что мы называем собиранием сил и что издавна отличало стиль Ленина, его подход к людям. И я взглянул на зал, в котором происходил конгресс, и должен был сказать себе, не мог не сказать: какие яркие люди собрались в этом зале, какие интеллигентные, талантливые. Ну, разумеется, тут имели свое значение справедливость и благородство самой борьбы, которой они посвятили себя, но не только это... Было важно это умение Ленина видеть талантливых людей, радоваться их успеху и собирать, неутомимо собирать силы... Вот, пожалуй, я сказал все. Пожалуй.

Он вновь придвинул тетрадку и перелистал ее — он

точно проверял, все ли он передал в рассказе. Он хотел, чтобы рассказ был полным.

— Да, Октябрь, как часто говорят сегодня, оказал свое влияние на климат нашего века... Он изменил этот климат даже там, где революции не было... — Он улыбнулся, взглянув на нашего хозяина, которому надо было еще перевести эту непростую фразу — японцу был интересен сам процесс перевода. — Ленин сказал: часть опыта... Но вот вопрос: Япония получила эту часть опыта или ей еще надо его дополучить?.. — засмеялся Киоси Такаса: ему было приятно, что его рассказ, судя по всему, пришелся слушателям по душе. — Часть опыта!

...Самолет теперь шел на запад. Вновь была ночь, и серебристый Сириус стоял в иллюминаторе, негасимый Сириус, неярко и кротко мигающий.

ДОРОГА ПЯТНАДЦАТАЯ

МИССИЯ ГАРОЛЬДА ВЭРА В РОССИЮ

В последний приезд Джона Говарда Лоусона в Москву, у меня был с ним большой разговор о том, в какой мере отцы вольны в условиях той же Америки оказывать влияние на идейное становление своих детей. Лоусон — драматург, теоретик театра и редактор знаменитого «Диалога», который в ту пору, правда, только что возникал, великолепно знал историю современной американской жизни, и его слово по проблеме, которая неожиданно встала в нашем разговоре, было мне интересно чрезвычайно.

— Если отец принял знамя века, как благодарно, чтобы это знамя понес дальше сын... — заметил Лоусон воодушевленно. — Когда я вижу такое, у меня желание снять шляпу...

Мне казалось, что, сказав это, мой собеседник имел в виду нечто конкретное, и я дал понять ему об этом.

— Да, разумеется, при этом имею возможность сделать вас свидетелем того, о чем говорю, — произнес мой собеседник.

— Не хотите ли вы способствовать моей встрече с американцем, который в данный момент находится в Москве, но которого я пока что не знаю?.. — спросил я Лоусон, как опытный мастер сценической интриги медленно, но верно «закручивал» сюжет.

— Да, могу поздравить вас: вы почти разгадали мой замысел... — улыбнулся Лоусон.

— Тогда почему «почти»?

— К сожалению, я не имею возможность представить вас этому человеку, но вы можете прочесть его книгу, где история, о которой я говорю, воссоздана достаточно полно.

Лоусон достиг своего: меня, естественно, заинтересовало имя американца.

— Кто же он, этот американец? — спросил я.

— Не американец, а американка, — заметил Лоусон, и голос моего собеседника, наверно, против его воли обрел торжественные тона. — Я имею в виду Эллу Рив Блур и ее книгу «Нас — много». Остальное — в книге.

— Погодите, но если я не добуду эту книгу в Москве, могу я рассчитывать?.. — спросил я.

— Ну, разумеется, — с радостью согласился Лоусон; казалось, теперь и он заинтересован, чтобы книга Эллы Рив Блур была мною разыскана. — Однако попробуйте разыскать эту книгу здесь — как я заметил, в Москве больше наших книг, чем нам иногда кажется...

Я устремился на поиски книги, которую назвал мне Лоусон, и, конечно, нашел ее.

История, которой я стал свидетель, прямо соответствовала сути нашего разговора и, что для меня было особенно ценно, касалась вопроса, который так интересовал меня: американцы и революция в России.

Однако кто такая Элла Рив Блур, автор книги «Нас — много»? Я знал ее под именем «матушки Блур» — так звала ее рабочая Америка. Интеллигентка, воспитанная на свободолюбивых традициях Авраама Линкольна и Уолта Уитмена, которого она имела возможность наблюдать в детстве, Элла Рив Блур стала выдающейся общественной деятельницей Америки, борцом за права американских рабочих. Сподвижница Билла Хейвуда и Элизабет Герли Флин, она была вожаком и трибуном пролетариев, атаковавших Америку Теодора Рузвельта и Гарольда Вильсона. Без ее участия не обходилось ни одно выступление рабочих, будь то стачка портовиков на Западе или сельскохозяйственных рабочих на плантаторском Юге. Стоит ли говорить, как отозвался в ее сердце русский Октябрь, как воодушевил ее и как она его приветствовала.

Но в данном случае речь шла не о ней, а об ее сыне, которому она по праву матери и сподвижницы в борьбе посвятила в своей книге не одну вдохновенную страницу.

Нет, до определенного возраста сын Эллы Гарольд, носившей фамилию Вэра, казалось, шел иной дорогой, чем та, которую избрала для себя мать: окончив сельскохозяйственную школу, он стал агрономом. Единственно, о чем он мечтал, — это о создании образцовой фермы или своеобразного товарищества ферм, в котором обработка земли велась бы по последнему слову техники. Но революция в России внесла коррективы и в его планы. Если быть точным, то не столько революция, сколько просьба Владимира Ильича к американским друзьям. Все началось с того, что Ленин, много размышлявший в послереволюционную пору о новой организации российского сельского хозяйства, задумал труд и обратил взгляд на американское земледелие. Он захотел узнать нечто такое, в чем могли действенно помочь ему только специалисты американского земледелия, и через наших друзей в Штатах обратился к ним за помощью. Просьба Владимира Ильича попала к Гарольду Вэру, и тот понял, что лишен возможности содействовать Ленину: чтобы помощь была действенной, надо знать предмет лучше, чем знает он. В частности, это относилось к условиям труда сезонных рабочих, что особо интересовало Ленина.

И вот Гарольд, или, как его звали в семье, Хэл, принимает решение, которое может принять только сын Эллы Блур: он отправляется в шестимесячную поездку по Штатам, цель которой — помочь Ленину. Однако пусть об этом расскажет книга Эллы Блур «Нас — много».

«...Как только свершилась Русская революция, — рассказывает Элла Блур, — Хэл бросился читать все, что мог достать, по сельскому хозяйству России, понимая, что при социалистическом правительстве русские крестьяне впервые в истории смогут найти фундаментальное решение своих проблем и что их опыт будет иметь огромное значение для нас, американцев. Приблизительно в это время Ленину понадобились материалы об американских фермерах... Хэла спросили, может ли он составить отчет о положении американских фермеров. Он ответил, что для этого нужно основательно поездить по стране... «Дайте мне пять долларов, и я проеду через всю страну».

«Через некоторое время Хэл в коричневом комбинезоне, с зубной щеткой и пятью долларами в кармане отправился в свое шестимесячное путешествие, — продолжает Блур, — чтобы изучить положение сезонных сельскохозяйственных рабочих, он стал одним из них и вместе с ними шел вслед за урожаем с Юга на Средний запад, потом на северо-запад и обратно на юг через пшеничные поля Миннесоты и Висконсина. Передвигался он так же, как и все другие «хобо», голодал, когда не удавалось найти работу, а глаза и уши впитывали и запоминали все, что он видел и слышал».

Только подумать: как же много значила для Вэра просьба Ленина, если для выполнения ее он решился изменить сам уклад жизни, приняв образ жизни, осложненный испытаниями немалыми.

«Путешествие обогатило его не только опытом, знаниями, оно было богато приключениями, иногда опасными. Однажды, путешествуя на крыше вагона, он, по неведению, не накрылся с головой, когда поезд проезжал через туннель. Надышавшись паровозного дыма, он потерял сознание и неминуемо свалился бы с крыши, если бы один из его товарищей вовремя не заметил сползающее вниз безжизненное тело и не удержал его...»

Плоды экспедиции Гарольда Вэра по Америке были для Ленина ценны.

«По возвращении Хэл подготовил подробный отчет о положении сезонных сельскохозяйственных рабочих, о типах сельскохозяйственного производства в Америке, об условиях жизни и труда американских фермеров. Он составил также карту, показывающую распределение по стране различных типов фермерского хозяйства, их доходов и т. д. Отчет и карта были посланы Ленину. Когда в 1921 году я была в Москве, Ленин прислал мне написанную карандашом записку, в которой очень хвалил работу Хэла.

Этой драгоценной запиской пришлось пожертвовать в один из моментов, когда уничтожались мои бумаги».

Но, если говорить о том, что мы намеревались рассказать о Гарольде Вэре, то рассказанное должно быть лишь началом. Мы сказали, что Гарольд Вэр мечтал применить свои знания, полученные в сельскохозяйственном

колледже, создав своеобразное товарищество фермеров — ему казалось, что такую возможность, какую даст ему товарищество в применении техники на полях, обычная ферма не даст. Но осуществить этот опыт в условиях капиталистической Америки было не просто. А между тем дела Гарольда Вэра приняли неожиданный оборот: ему предложили стать консультантом по закупке сельскохозяйственных орудий для России, пострадавшей от голода. И вот тогда его осенила идея: нет, не просто закупить эти орудия, а сформировать отряд из американцев, которые бы хотели сесть на эти тракторы и показать русским крестьянам, как ими пользоваться. Иначе говоря, Хэл собрался за океан.

«В Нью-Йорке Хэлу предложили стать консультантом по закупкам сельскохозяйственных продуктов для голодающих Поволжья. По инициативе друзей Советской России был создан «Американский объединенный комитет помощи голодающим в России», который должен был распорядиться средствами, собранными в фонд помощи Республике Советов. Этот фонд составил 75 тысяч долларов и был предназначен для закупки продуктов питания. Но Хэл полагал, что есть и иные средства борьбы с голодом. Он сказал: «А почему бы не превратить эти деньги в тракторы и семена и не вырастить хлеб на месте? Тем самым мы одновременно поможем правительству в перестройке сельского хозяйства...»

Предложение Хэла было принято. Нужны были фермеры, которые захотели бы стать преподавателями тракторного дела. Хэл отправился в Северную Дакоту и отобрал девять крепких, сильных «целинщиков», которые согласились бросить свой плуг и отправиться в Россию, не рассчитывая на особое вознаграждение. Хэл не жалел красок в описании предстоящих трудностей, но сумел заразить людей идеей славного подвига, так как это действительно был подвиг. Затем Хэл загрузил двадцать вагонов новейшими американскими сельскохозяйственными машинами, канадским семенным зерном, двумя автомобилями и снаряжением для своих людей.

Итак, Хэл снарядил отряд и благополучно прибыл вместе с ним в Россию. Конечно же, американцы плохо знали условия работы в России, но они были полны желания помогать русским. И пример им подавал человек, стоящий во главе отряда.

«Хэл хотел отправиться с тракторами в обширные ров-

ные степи Саратовской и Тамбовской губерний, но в те дни тракторы были мало известны в Советской России и кто-то из работников Комиссариата сельского хозяйства, не понимая дела так, как это понимал Ленин, направил их на тяжелые холмистые земли под Пермью... Но Хэл не пал духом. Вагоны были разгружены на железнодорожной станции в шестидесяти километрах от совхоза. Дороги были ужасные. Чтобы тракторы могли добраться до места назначения, пришлось чинить или заново строить несколько мостов. Крестьяне при виде «дьявольских машин» крестились, женщины и дети с криком разбегались, попы чертили вокруг них круги и восстанавливали крестьян против «неугодных богу» машин. Однако американцы через переводчиков спокойно объяснили, зачем они сюда приехали, и скоро крестьяне помогали им строить мосты, а мальчишки забирались на сиденья тракторов и быстро осваивались с ручками и педалями».

Наконец, необычная процессия прибыла в совхоз Тойкино, как раз к началу весеннего сева. Из близлежащих деревень Хэл набрал рабочих, и через несколько недель сорок русских парней уже самостоятельно водили трактор...

Хэл понимал: успех дела зависит от того, какое участие примет в новом деле он сам. И он оставался со своим отрядом с первого дня до последнего, учил тойкинских парней управлять трактором, ремонтировал технику, а если надо, сам садился на трактор, пахал и сеял.

«Со всей округи стали приезжать крестьяне, умоляя прислать к ним трактор, чтобы вспахать землю (колчаковская армия и голод оставили эти районы совсем без лошадей). Хэл, пользуясь случаем, приводил трактор на небольшое поле крестьянина-единоличника, вспахивал полосу до межи и, слезая с машины, беспомощно разводил руками, показывая, что трактору не развернуться на таком узком участке. «Эти новые машины слишком велики для твоей земли, — говорил он крестьянину. — Ничего не получается». Но крестьяне уже видели длинную полосу, вспаханную так быстро, легко и глубоко, как не могла вспахать ни одна лошадь.

«А почему бы не объединить все отрезки вместе, чтобы трактор все сразу вспахал?» Для тысяч крестьян

Пермской губернии то лето принесло зачатки коллективного хозяйствования...»

Но нашлись и среди русских такие, кто поставил под сомнение добрую волю друзей. В Москву пошло письмо, в котором доброе дело бралось под сомнение — оказывается, и столь очевидное дело можно взять под сомнение. «А нет ли злого умысла у гостей из Америки?» — спрашивали авторы письма. В дело вмешался Ленин.

«Среди местных властей нашлись бюрократы, а может быть, и враги, которым не нравились успехи американцев, и они отправили жалобу в Москву... Ленин негласно прислал в совхоз своего представителя, который сообщил ему, что все, что делают американцы, полностью соответствует большевистской программе превращения отсталого мелкособственнического, непродуктивного сельского хозяйства в коллективное, современное сельскохозяйственное производство.

Ленин дал инструкции об оказании всяческой помощи американской группе...

К зиме Хэл подвел итоги: работа, ради которой они приехали, была выполнена. Они собрали большой урожай, вспахали 4000 акров под зябь, научили десятки молодых крестьян управлять трактором и направили пермских крестьян на путь коллективного хозяйства, который потом решил сельскохозяйственную проблему России.

Подарив совхозу тракторы и остальное оборудование и оставив на зиму Отто Анстрома, чтобы он помог русским обслуживать машины и передал свой опыт и мастерство, американцы уехали.

Отто прожил с крестьянами всю зиму и говорил мне потом, что это был счастливейший год в его жизни...»

Однако, возвратившись в Америку, Гарольд Вэр приступил к осуществлению нового начинания, имеющего целью помочь России, начинания еще более грандиозного и действенного. Новый план учитывал успех камского совхоза, как, впрочем, и его промахи. То обстоятельство, что последнее не обескуражило американца, свидетельствовало: если человеком руководит вера, его ничто не может поколебать.

«...Теперь Хэл задумал создать постоянно действую-

щую образцовую ферму и сельскохозяйственную школу при ней, чтобы можно было разработать и внедрить в широких масштабах новые методы агротехники, наиболее пригодные к русским условиям. По его плану на этой ферме должна работать группа американцев, которая одновременно будет готовить русских специалистов.

Он понимал, что будущее советского сельского хозяйства — в механизированном кооперированном производстве. А так как это открывало новый большой рынок для американского сельскохозяйственного машиностроения, то вначале он надеялся заинтересовать соответствующие американские компании, рассчитывая, что они предоставят машины в кредит и направят в Россию опытных специалистов. Советское правительство охотно предложило свое сотрудничество. Несколько крупнейших фирм заинтересовались планом Хэла. Но когда дело дошло до финансирования, главы компаний отказались дать кредит. Быть может, из-за отсутствия дипломатических отношений и нормальных торговых связей между двумя странами, они воздержались от участия в этом начинании.

Увидев, что ему не удастся осуществить свой план в его первоначальном виде, Хэл решил искать другие пути — энергия предков-пионеров в нем сочеталась с его собственной неукротимой волей, не желающей признавать поражения. Убежденный, что можно собрать необходимую сумму среди частных лиц, он снова съездил в Москву, вооружившись новыми предложениями, которые были приняты Советским правительством, выделившим огромный участок земли для Смешанной русско-американской компании.

Следующие два года Хэл собирал средства, изучал продукцию заводов сельскохозяйственных машин, подбирал специалистов всех отраслей, которые соглашались ехать в Россию с семьями на несколько лет...»

Завидная энергия американца победила и в этот раз: он сформировал отряд, или, как он назвал его в этот раз, корпорацию. Можно думать, что работа в камском совхозе была не легкой — надо знать условия тех лет, чтобы представить себе это. Но Вэр решился предпринять новую миссию в Россию, и это, наверно, наиболее точно свидетельствовало о том, каким был сын Эллы Рив Блур и как верил он в счастливую звезду новой России.

«Хэл организовал корпорацию из двадцати пяти фермеров, механиков, техников. Им удалось собрать наличными и в кредит необходимую сумму в 150 000 долларов.

Советское правительство предоставило им 15 432 акра земли на Северном Кавказе, с хорошими полями, виноградниками, постройками, мельницей, скотным двором, но почти безо всяких машин.

Хэл и другие американцы приехали с семьями и стали жить и работать вместе с русскими...

За их работой внимательно следила Москва. Хэла пригласили принять участие в составлении программы механизации сельского хозяйства...

...Хэл проработал в Советской России девять лет. Когда стало ясно, что дело механизации сельского хозяйства в СССР победило и что русские крестьяне, объединенные теперь в колхозах, уже не так нуждаются в Хеле, как американские фермеры, он вернулся на родину, чтобы возглавить работу партии в области сельского хозяйства».

Такова история Гарольда Вэра. Что-то было в этой истории и беззаветно храброе, и бескорыстное, и истинно благородное. Сын был достоин своей матери. И было непередаваемо больно, что жизнь этого человека оборвалась трагически — вскоре после возвращения из России он погиб, попав под автомобиль...

Необыкновенная история Гарольда Вэра легла в основу рассказа «Дорога» в моей книге «Тропа» и пробудила память об этом человеке — я получил много писем, в частности, от тех, кто живет сегодня и трудится в местах, где действовал отряд Гарольда Вэра на Каме. У доброго дела долгая жизнь — нельзя забыть, что сделал для новой России этот американец. Надо сказать, что Ленин высоко ценил почин американца, с симпатией относился в Вэру. На этот счет есть неопровержимые доказательства: воспользовавшись возвращением Гарольда Вэра в Америку, он поручил ему посетить известного американского физика Чарльза Штейнмеца и вручить ему свое послание. Вэр был у Штейнмеца, вручил ему письмо Ленина и разговаривал с ученым.

Мне остается сказать, что в конце многомесячного пребывания Джона Говарда Лоусона у нас я беседовал с ним еще раз, и разговор, разумеется, коснулся миссии Гарольда Вэра.

— Было в его миссии, — сказал Лоусон, — нечто от храброго поступка тех американцев, которые, явившись в годы революции в Россию, взяли в руки винтовку, чтобы сражаться за свободу... Как они были уверены, за свободу русскую и, быть может, американскую.

Да, он так и сказал: за свободу русскую и, быть может, американскую.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Неверно, что, переселив героя из твоего сознания в книгу, ты как бы освобождаешься от него. Наоборот, книга как бы закрепляет твой союз с героем, для автора этот союз вечен. А коли так, то у автора есть потребность возвращаться к своим героям, а следовательно, не останавливать труда, начало которому положила первая публикация.

Пять очерков, которые предстоит прочесть читателю, являются своеобразными послесловиями к пяти дорогам настоящей книги. Эти очерки написаны после того, как первое издание этой книги увидело свет, и по-своему продолжают тему книги, а следовательно, и рассказ о судьбах ее героев.

ПРИЗВАНИЕ ДЖОНА РИДА

К дорогам первой и пятой

Стеффенс, хочу этот стих посвятить тебе.
Только немного боюсь досадить тебе,
Но так или нет,
Разве секрет,
Что с веселой свободой привычно дружить
тебе?

Джон Рид. «День в Богемии» *.

Линкольн Стеффенс любил говорить Риду: «Старик на то и старик, чтобы вести молодого, а не наоборот».

* Стихи Джона Рида даны в переводе И. Гуровой.

Известно, что Стеффенс был другом отца Рида. У дружбы, которая соединяла их, был прочный фундамент. Общим у них был не только возраст, одна среда, один образ жизни. Друзья-единомышленники, преданные добрым принципам Линкольна, они ратовали за реформы. Именно, за реформы, не больше. А пока суть да дело, «разгребали грязь»: воевали с теми, кто попрал принципы добра и закона — в их сознании первое не противостояло второму. Ну, масштабы деятельности Си Джи (так звали друзья отца Джона — Чарльза Джерома Рида) были много меньше масштабов деятельности Стеффенса, «разгребавшего грязь» по всей Америке, однако то, что делал старик Рид в родном Портленде, было внушительно: подобно печальной памяти рыцарю из Ламанчи, он обвинил в коррупции богатейших людей Портленда и пошел на них войной. Как рассказывает Стеффенс, однажды Си Джи привел Стеффенса в клуб, где собирались портлендские дельцы и где еще так недавно бывал и старик Рид, и, указывая на ломберный стол, за которым сражались картежники, произнес: «Это — они».

Стеффенс жил в Нью-Йорке, Си Джи — в Портленде. Поэтому, когда Джон Рид, только что окончивший Гарвард, направился в Нью-Йорк, вслед ему полетело письмо. Писал Си Джи, и письмо было адресовано Стеффенсу. Смысл его заключался в следующем: «По праву старого друга присмотри, пожалуйста, за Джеком — не дай крамоле совратить его». Надо отдать должное Стеффенсу, он был честен и даже ретив в стремлении выполнить просьбу друга: когда Рид собрался в Мексику, он потребовал от него, чтобы тот направился не в стан Вильи, а в штаб Каррансы, при этом заметил: «Вот так бы сделал и твой отец: он бы поехал к Каррансе!»

А когда Рид поехал все-таки к Вилье, переживал, был не на шутку рассержен, журил Рида, повторяя в сердцах: «Твой отец просил меня. Твой отец просил...» Тем не менее читал мексиканские очерки Рида, не скрывал восхищения, и при случае мог сказать, что считает себя в какой-то мере крестным отцом Рида, крестным отцом, разумеется, литературным. Что же касается взглядов Рида, то... Нет, Стеффенс был непримирим ко взглядам Рида, хотя и не хотел быть предвзятым. Да, он принадлежал к тем, кто понимал: с молодежью не обязательно соглашаться, но слушать ее обязательно. По этой причине

Стеффенс и слушал и тех, кого слушала молодежь. Например, американских социалистов и среди них Флинн, Блур и Билла Хейвуда, о котором было известно, что он участвовал в конгрессе социалистов в Копенгагене и там встречался с Либкнехтом, Люксембург, русской социалисткой Коллонтай и даже Лениным. Короче, попав летом 1917 года в Петроград, Стеффенс пришел к стенам дворца Кшесинской, когда с балкона этого дворца выступал Ленин, а почти двумя годами позже вызвался быть вместе с Буллитом, отправившимся в Россию (читатель знает об этом из главы «Русская звезда Линкольна Стеффенса»), был представлен Ленину, вызвал того на спор, весьма жестокий, был бескомпромиссен в этом споре, воздал сполна способности Ленина защищать дело новой России, а, вернувшись в Париж, бросил фразу, которая потом стала крылатой: «Я был в будущем, и оно прокладывает себе путь».

А потом он прочел вторую книгу Рида, на этот раз не о революции мексиканской, а о революции русской, книгу, которая была для него столь животрепещущей, что как бы явилась своеобразным продолжением спора с Лениным.

Короче, когда в 1922 году Стеффенс в третий раз посетил Россию, он был коммунистом. Никто не сказал еще, какую роль в этом сыграл молодой его крестник, но совершенно очевидно, что в этом нелегком процессе учеником был Стеффенс, а учителем — Рид.

Наверно, для революционера это является в такой же мере характерным, как и для художника: и у одного, и у другого должен быть свой Патерсон.

Мне так кажется, что Рид увидел в Патерсоне малую революцию, прообраз мексиканской, которая явилась в его жизнь годом позже, а может быть даже великой русской...

Патерсон... Что такое Патерсон и почему он потряс Рида?

Если взглянуть на шелка, в которые одевал Патерсон Америку, то могло создаться впечатление, что они сотканы в райской долине — многоцветью их красок, их блеску, их мягким бликам и переливам могло бы позавидовать северное сияние. На самом деле, шелка вызвала фантазия людей, живущих в долине, которая звалась

москитной — Патерсон стоит на болотах. Стоял и стоит. Каторга на болотах. Стачка в Патерсоне это и есть протест против каторги на болотах. То, что здесь работали люди со всей земли — итальянцы, сирийцы, армяне, евреи, французы, немцы, только сплотило рабочих, а следовательно, усилило их гнев.

Не Патерсон, а Вавилон!

Наверно, это было главное, что увидел Рид здесь: многоплеменный Вавилон, Вавилон многоязычный, присягнувший одной вере, говорящей на одном языке, действующий воедино. Пример Патерсона грозил Америке великим революционным смерчем!.. А что, если заставить этот смерч подать голос?.. Да так, чтобы разверзлась пасть пятнадцатитысячного гиганта и его голос разнесся по всей долине? Некогда на желтой траве гарвардского стадиона только Рид и умел увлечь стадион, только он и мог заставить многоголосый Гарвард исторгнуть клич, способный удесятерить силы университетской команды.

— Эй, вы, друзья, оливковоглазые и бронзоокие, ясполицые и чуть-чуть чумазые, горбоносые и курносенькие, широкоскулые и остроскулые, эй вы, друзья мои бесценные, товарищи по атаке на старый мир, наша песня это наша клятва... Не так ли?

— Вставай проклятьем заклейменный...

Истинно, это песня, которую подняли к небу пятнадцать тысяч голосов, способна была одних позвать на борьбу, другим внушить чувство уверенности... Говорят, что страх — это отсутствие опоры. Когда пятнадцать тысяч человек бьют в барабаны своей надежды, страха не было. Страх был у тех, у других. Они утверждали: Патерсон — это революция, а следовательно, анархизм.

И вот тогда Рид сказал: я хочу показать Америке, что такое Патерсон.

Да, на самой большой сценической площадке Америки в нью-йоркском «Медиссон Скуэр-Гарден» Рид хотел показать то, что произошло в Патерсоне, показать звено за звеном, с точностью человека, творящего документ.

Итак, Рид решил сценическими средствами написать картину Патерсона. Он принялся за дело вдохновенно. Рядом была Мейбл Додж.

Рид потом говорил: моя первая любовь. Первая. У нее была способность собирать талантливых людей. Нет, не только поэтов, но и архитекторов, актеров, живописцев,

университетских профессоров, журналистов, врачей. Все талантливое тянулось к ней. У нее был и ум, и наблюдательность, и умение слушать, и способность понимать, и готовность поддержать талант — ей были обязаны многие. Говорят, что она верила во всемогущую силу добра и помогла многим. Ее слава опиралась на эту ее способность. Увидеть способного человека и вовремя прийти ему на помощь — в этом был ее талант.

Она вошла в жизнь Рида, когда на сцене нью-йоркского «Колизея» он ставил спектакль о Патерсоне. Когда, взобравшись на стремянку и вооружившись рупором, Рид созывал самодеятельных артистов, убеждая их в десятый раз «пройти» сцену с похоронами стачечника, она стояла рядом с тетрадкой в руках: одновременно и суфлер, и сорежиссер. Когда, взяв кисть, он принимался писать транспаранты, которыми должен быть расцвечен спектакль, ведерко с клеевой краской было в ее руках. Когда он напевал песенку, с которой самодеятельные артисты вступали на сцену, она молча шла к роялю.

Те, кто видел, с каким воодушевлением Рид работал в эти дни, звали ее подружкой Рида. В этом было не просто уважение к ней, а понимание того, сколь она необходима. Вряд ли кто хотел знать об этой женщине больше, чем могли ему в эти дни рассказать его собственные глаза: подружка Рида. В сравнении с происходящим в какой мере важно, например, такое: женщина, держащая ведерко с клеевой краской, едва ли не законодательница современного американского Олимпа, чье строгое и ободряющее слово ждут многие художники.

Кто-то сказал, что она старше его, но в этом ли было главное? Ну, старше и что?.. Главное было в ином: в тот момент, когда он пел революцию, свою первую революцию, она была рядом. И воодушевляла его, и звала, и, быть может, чуть-чуть вела... Ну, разумеется, ее не было в Мексике, но она была с ним... Есть в революции нечто от деяния художника: и одной, и другому не чуждо вдохновение. Может быть, поэтому рядом должна быть женщина.

Что же являл собой спектакль? Как свидетельствует Бил Хейвуд, который был одним из вожаков Патерсона и участником спектакля: рассказ о стачке. Да, рассказ о стачке, последовательный, лишенный неожиданностей, где зритель заранее знает ход действия от начала до конца. Но тогда поче-

му это зрелище воспринималось с таким живым волнением зрителями, почему они то и дело вступали в действие, прерывая реплики героев спектакля, подхватывая песни, несущиеся со сцены, живо реагируя на речи?.. Нет, не только потому, что со сцены выступал сам Бил Хейвуд и сама Элизабет Герли Флинн, но и потому, что спектакль был заряжен высокой энергией революции.

В том, как сложился этот спектакль, было нечто и от Мейбл Додж. В духе протеста, которым было исполнено это действо, в новизне его, в молодости. Трудно сказать, пришла бы эта женщина к тому, к чему она пришла сейчас, если бы не было Рида, но, наверно, здесь был свой закон и свои последствия этого закона: любовь была всемогущей.

Есть мнение, мне так кажется, не вошедшее в учебники литературы: в искусстве революция неотделима от любви... Вольнодумная, почти крамольная мысль. Но те, кто утвердил эту мысль, готовы пояснить ее. Да, в искусстве любовь неотделима от революции, если любовь истинна, то есть и средоточение, и поединок, и храброе слияние двух сердец. Все удавшееся в литературе о революции — это одновременно и любовь. Нет, не то что революцию творили любящие сердца, хотя и в этом частица правды, а в том, что в самой стихии революции, в самой сути ее есть нечто от мятежной и вдохновенной силы, называемой любовью. Может, поэтому картина революции тем сильнее, чем сильнее картина любви — как ни необычна эта мысль, история литературы ее не опровергает, а подтверждает.

Говорят, то, что создал Рид на сцене «Медиссон Сквэр-Гарден», обладало силой мятежной, потому что было произведением искусства. Но немногие отваживаются утверждать, что последнее в немалой степени предопределено и Мейбл Додж, вернее, и любовью Мейбл Додж.

Мы знаем Джона Рида — автора «Десяти дней» и «Восставшей Мексики», сильных книг, в которых зрелость мысли и художественной формы едины.

Мы знаем Рида — вожака американских пролетариев, положившего первый камень в основание партии американских коммунистов.

Но мы почти не знаем Рида-поэта.

А между тем:

Там, за морем, моя страна, моя Америка
Сверкает мощью, сталью опоясавшись,
Высокие слова провозглашая:
«Во имя Демократии... Свободы...»

И что-то душу будоражит мне...
Мальчишьи годы на приволье Запада:
Могучая река, плоты и сети,
Ласкары на судах, приплывших из заката.

Квартал китайский весь в гуденьи гонгов,
Ревущий, синий Тихий океан,
На мысе черный лес в огне зари,
Костры на сонных пляжах, вой голодных пум,—

По строю гор, пожарищам пустынь,
По ночи в рое звезд и тявканью койотов,
По серому гурту, бредущему в пыли
Под резкий свист лассо и щелканье кнутов,

По желтизне полей, волнуемых чинуком,
По снежным пикам, апельсинным рощам.
По грубым, дерзким, юным городам,
Восставшим, хвастая из ничего,
Я узнаю тебя, Америка.

Его слово живописно — это заметили еще читатели «Восставшей Мексики». Ограненное размером и рифмой, оно особенно выразительно там, где мысль относится с зримыми деталями самого лика земли.

Вот, например, ридовская «Пустыня»:

Она безмолвию навек обречена,
Но на песках, застывших в смертной муке,
Погибших душ невидимые руки
Неведомые пишут письмена...

Или ридовский Нью-Йорк в знаменитой «Оде Манхэттену»:

Пусть новый Тимофей поднимет лиру выше
И воспоет Нью-Йорк. Все шпили и все крыши
Огнем бессмертного пожара пышат...

Или ридовский «Тамерлан» с картиной древнего Самарканда:

И, сразу, бурю звуков сотворя,
Запела мощно каждая труба,
И в каждой ноте город погибал,
И в каждом такте смерть была царя...

И все-таки, если говорить о том, какое начало в ридовской поэзии возобладало бы, если рассматривать его

поэзию в перспективе лет, то это, так кажется мне, была бы социальная поэзия. Одним из самых сильных впечатлений в жизни Рида, впечатлений, к которому он возвращался годы и годы, была его встреча с Нью-Йорком. Нью-Йорк для Рида — это очень много. Собственно, Америку, жестоко бедствующую, горящую на вечном огне нужды, и праздно-корыстолюбивую, паразитическую он познавал здесь. Именно Нью-Йорк дал ему представление о том, что есть классовый мир.

Немые тени безработных в сквере,
Постель бездомных — жесткая трава.
В холодном мраке бьют куранты два.
Гремят шаги в пустынной тишине.
Огромный город спит, храпя во сне...

Как ни велики традиции такой поэзии в американской литературе, поэзии, которую можно условно назвать социально-патетической, Рид ищет новые ее грани. Все явственнее в его политических стихах звучит сатирический голос. Именно сатирический. У него на прицеле общественное зло, поэтому снаряды, которыми он бьет по цели, соответствующего калибра. Беспощадное остроумие — вот его калибр.

Весьма великий человек
Наш Джордж Силь-вес-тер Ви-е-рек!
По-европейски стих соорудил —
Гимн в честь Брюха, и Фаллоса, и Могил.

Пред ним наивен, пресен, сер
Оскар Уайльд иль Шарль Бодлер...

Ну, разумеется, в этих стихах носители общественного зла своеобразны. На том воображаемом суде, которым судит Рид врагов Америки, это не столько главный ответ — это более чем серьезный враг. У него уже начался процесс размежевания с теми, кто отдавал литературу в рабство капиталу, а следовательно, несвободы, хотел заточить литературу в стены знаменитой башни, которая хотя и называлась башней из слоновой кости, но в действительности имела каменные стены.

Я — символ утонченности слова.
Значусь я первой из высших граф,
Я — воплощенье культуры, как новый
Трансатлантический телеграф...—

клеймит он снобов.

Что-то его стихи той поры восприняли от злых песен Джо Хилла — нет, не только «ответчик» стал крупнее, сами стихи обрели характер поэтической речи, адресованной массе, а поэтому стали откровенно-доступнее и, пожалуй, гневнее:

Твердят с недавних пор,
Что деньги манят нас.
Какой нелепый вздор!
Мы им возмущены:
И взяточник, и вор
Исправились тотчас,
Печатью спасены,
Печатью спасены!

Нам еще предстоит открыть Джона Рида-поэта. Подлинно стихи Рида — свидетели живые его необыкновенной жизни. Наверно, не все его стихи равноценны, но в истории американской поэзии новейшего времени ридовская поэзия — заметная, хотя и мало исследованная тема. И дело не только в том, что это стихи Рида, что само по себе и интересно, и в высшей степени важно — ценны сами стихи, количество благородного металла, который в них содержится. Немалый труд собрать стихи Рида — никто и никогда этого не делал с той обстоятельностью, какой этот труд заслуживает. Ридовские стихи хранят его записные книжки, письма к Мейбл Додж и Луизе Брайант, подшивки гарвардских изданий, равно, как «Мессиз» и «Метрополитен» (кстати, песни мексиканских повстанцев, которые Рид воссоздает в своем переводе в «Восставшей Мексике» — тоже своеобразно отразили поэтический талант Рида)... Так или иначе, а эта работа важна и, так мне кажется, для переводчика благодарна. Однотомник ридовских стихов ждет своего поэта-энтузиаста, который соберет эти стихи и представит миру Рида-поэта.

Рукописи Пушкина усыпаны рисунками. Их так много и они так легко лежат на рукописных листах, подчас едва заметные и невесомые, что, казалось, сверни лист желобком и ссыпь их в шкатулку, ссыпь и запри, чтобы они ненароком не затерялись. Именно это сделал и автор книги «Рисунки Пушкина», собрав рисунки и сравнив их с рисунками Гюго, Гете, Байрона. Все это интересно и ново. Однако мне хотелось вернуть рисунки

Пушкина на те самые рукописные листы, на которых они лежали, и поставить такой вопрос: как соотносятся они с текстом рукописи, которую украшают. На полях рукописи «Медного всадника» поэт начертал повешенных декабристов, и это точно свидетельствует, какой тропой шла мысль поэта, явная и тайная, явная в стихах поэмы, и тайная — в рисунках. Но в иных пушкинских рисунках связь с текстом рукописи не столь явна, но и это интересно, если поглубже проникнуть в смысл рукописи и рисунков.

Не могу сказать, чтобы рукописи Рида были усыпаны стихами, но на полях рукописей и дневниковых набросков стихи встречаются: строфа, строка, полустрока, неожиданно оборванная... У стихов та же функция, что и у пушкинских рисунков: они свидетельствуют, какой тропой в эту минуту шла тайная мысль Рида. Да, тайная, больше того, сокровенная.

> У ее слагаю ног
> Все, чем я в себе горжусь...

Мысль вспыхнула и погасла, и, нет, не отсвет огня, а его блик, правда, блик сильный, как сильна была мысль, лег на бумагу.

Рида вызывали к следователю вновь и вновь. Все изощреннее были угрозы, все длиннее список обвинений. Уж не завуалированно, а прямо ему давали понять, что его положение серьезно весьма. Рид не исключает казнь. («Мы не увидимся, ты и я...») Он думает о смерти. И его обращение к любимой предполагает эту мысль: конец пути. И все, что он пишет в эти дни, похоже на завещание. И в письмах, адресованных матери, и в посланиях к Луизе сквозит эта мысль: конец пути. Конечно же, многое не сделано, многое из того, что вынашивалось годы, но в этом нет раскаяния... Сделано такое, что будет жить.

Рида удалось вызволить из тюрьмы, но все, что было им написано в конце зимы двадцатого года, не утратило своего смысла в конце лета: будто тиф, что скрутил его и приковал к смертному ложу, был послан ему вослед финскими тюремщиками, послан вослед и настиг... И с новой силой зазвучали тюремные ридовские письма, тюремные ридовские стихи: «У ее слагаю ног все, чем я в себе горжусь...» У ее ног?.. Нет, теперь она была при-

кована к ложу Рида. Дни и ночи на бессонной вахте... И, наверно, письма Рида, присланные ей из Або, встали в ее сознании, строка за строкой — сейчас ты откроешь в них такое, что было скрыто для тебя прежде.

«...В голове у него все время вертелись стихи, разные истории, и выдумки, одна чудеснее другой. Он все повторял: «Знаешь, когда очутишься в Венеции, то без конца спрашиваешь встречных: «Это Венеция?» — просто потому, что приятно услышать ответ». Он говорил, что в воде, которую он пьет, полно песенок. И, совсем как ребенок, сочинял необыкновенные приключения, которые будто бы случаются с ним и со мной и в которых мы проявляем чудеса храбрости... Даже когда наступила смерть, я не верила, что он умер. Я не выпускала его руки и продолжала с ним разговаривать, кажется, я просидела так много часов».

Да, стихи в нем жили до последнего вздоха. И стихи о Луизе. Светлые стихи. Именно светлые. Прочтешь их и не обнаружишь, что не все было так безоблачно, как в этих стихах. И не могло быть безоблачно. Правда, когда Рид отправился на европейский фронт — Луизы с ним не было. Но она была позже. И в предоктябрьские грозные дни. И в момент штурма Зимнего. И в дни, последующие за переворотом. Их любовь была ему не просто сподвижником, она была ему опорой. Эта небольшая женщина (она была Риду повыше плеча), ласковоокая и яркогубая, почти всегда чуть-чуть простоволосая и нарочито небрежно одетая, слыла среди друзей Рида натурой артистической. Она не просто была советчицей Рида и поверенной его сердца, она пыталась сама видеть, осмысливать виденное — книга, написанная ею о русской революции («Шесть красных месяцев в России») обнаруживает талант недюжинный.

Вот что интересно. Он видел Петроград семнадцатого года и ее глазами, но стихи об ином. В них даже не угадывается время... Больше того, революция вошла в текст рукописи, а любовь вынесена на поле. Революция писана прозой, а любовь — стихами. Видно, революция и любовь пока что шагали параллельными тропами и должны были сомкнуться позже. Говорят, что Рид вынашивал замысел большого романа, а может быть, цикла романов, чем-то напоминающих «Человеческую комедию». В той же финской тюрьме он набросал нечто вроде плана и подступился к тексту. Потом решил возобновить ра-

боту после освобождения. Видно, в романе революция и любовь должны были соединиться. Когда встретился с Луизой, говорил ей, что теперь как раз и пришло время засесть за роман.

Наверное, этот замысел в нем возник не теперь. Чтобы выносить его, нужны годы. Он шел к этому. Не дошел.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС НА МОХОВОЙ...

К дороге третьей

Говорят, Корней Иванович сказал: «Ну, что же, это будет и мне интересно...» — и я поехал в Переделкино. Было начало лета — оно припоздало, но теперь казалось знойным. Яблоневые сады виделись серыми — апрельские заморозки точно опалили их. Серой была и хвоя в лесу, а тропы пыльными, как пыльной казалась вода в переделкинских прудах.

Вспомнились предвечерние прогулки с Корнеем Ивановичем по большому, а потом по малому переделкинским кольцам, и его рассказы о дипломатическом Питере — он его знал... Казалось, только его и можно было спросить: «Как выглядело российское иностранное ведомство на Дворцовой, шесть?» Или: «Как постороннему взгляду виделось российское посольство на Чешем-плейс в Лондоне?» А заодно порасспросить о людях, для нынешнего времени совсем экзотических: министр Сазонов, посол Бенкендорф или его английский коллега посол Бьюкенен... Оказывается, Корней Иванович их знал и мог сообщить нечто такое, что в наше время никто уже сообщить не может. И вот новая встреча с Чуковским и новый разговор, в какой-то мере родственный тому, что был начат на кольцевых переделкинских тропах: Уэллс, его поездка в Россию осенью двадцатого, та самая, когда он беседовал с Лениным, его пребывание в Питере до и после Москвы. Среди тех, кого видел англичанин в России в ту осень, был и Чуковский — в книжке Уэллса он упомянут...

— Корней Иванович у себя?

— Да, на веранде...

День уже перевалил через полуденный хребет, и, по-

чувствовав прохладу, Корней Иванович перебрался на веранду — в ее левом углу под тентом стоял топчан и стол. На столе томик Блока, стакан с лесными цветами, недавно сорванными, папка с материалами, возможно, об Уэллсе... Я не видел Корнея Ивановича несколько лет, и перемены, происшедшие в нем, были мне заметны лучше, чем тем, кто его видел постоянно. В том, как он реагировал на повороты нашей беседы, как взвивал брови и грозил длинным пальцем, как вздыхал и как смеялся, как вдруг поднимал руку и, обратив ее к вам ладонью, отрицательно поводил, во всем этом была прежняя живость и острота восприятия, хотя сам он и поддался натиску лет: краски лица стали иными, да побелели и завились волосы на висках, они теперь были пушистыми...

Беседа началась с того, что я напомнил Корнею Ивановичу один из его веселых или, точнее, весело-печальных рассказов о том, как он собирался в дальнюю дорогу — речь шла о поездке с писательской делегацией в Англию в девятьсот шестнадцатом. Разрешение на поездку было получено, когда до отъезда оставалось меньше дней, чем нужно хорошему портному, чтобы сшить костюм, а в таком костюме, видимо, была необходимость — время было военное и на пошивку костюма можно было решиться лишь в предвидении такой поездки, как эта. Сроки были столь жестки, что нужный портной отыскался лишь где-то на окраине, при этом никто не знал, как он шьет и насколько он аккуратен. Короче, костюм был получен, когда до отхода поезда оставалось минут сорок. На окраине, где жил портной, порядочного извозчика не оказалось, и Корней Иванович подрядил клячу, которая до этого ходила в обозе и не умела бегать. К тому же силы у клячи были на исходе, и, когда дорога забирала в гору, надо было сходить и помогать лошади. Сорока минут, оставшихся до отхода поезда, не хватило и, установив по часам, что поезд уже ушел, Корней Иванович тем не менее продолжал стремиться к вокзалу. «Страшно было не то, что на поездку в Англию поставлен крест, страшен был гнев Алексея Николаевича Толстого, возглавлявшего делегацию — даже в обстоятельствах, не столь ответственных, его гнев был грозен». Но, ворвавшись на всех парах на перрон, Корней Иванович к изумлению своему обнаружил, что поезд не ушел. Как ни велик был гнев Толстого, именно Алексей Николаевич вы-

ручил Чуковского — он уговорил железнодорожное начальство совершить чрезвычайное: задержать отправление поезда.

Я воспроизвел этот рассказ, как сохранила память: я ведь слушал его лет за десять до этого и в чем-то (мне так кажется), не в главном, мог быть не точен, но Корней Иванович сейчас это не обнаружил. Наоборот, он слушал меня с видимой охотой, глаза его повлажнели от веселых слез, он то и дело повторял: «Ах, каналья портной, сдал бы костюм пораньше — все бы обошлось!»

Так или иначе, а рассказ этот подвел нас к существу беседы: первая встреча Чуковского с Уэллсом состоялась во время той самой поездки в Англию, которую предварял эпизод с канальей портным.

Но теперь уже рассказывал Корней Иванович.

По его словам, делегация принималась в Англию по «первому классу». Русские литераторы звались «почетными гостями британского народа». В ряду тех встреч, которые были у русских, запомнился завтрак с участием лондонской прессы на четыреста персон, на котором тон задавали Конан Дойль и Уэллс.

Именно на этом завтраке Уэллс пригласил русских посетить его загородный дом.

Приглашение это застало русских врасплох. Уэллс, подвергшийся нескольким наижесточайшим атакам прессы, только что пережил одну из них. Поводом послужило посвящение, которым открывалось последнее сочинение писателя: «Мисс... — матери моего ребенка». Ханжи из российского посольства полагали этот факт достаточным, чтобы писателям не ехать к Уэллсу. «Имейте в виду, огонь может быть перенесен на вас», — остерегали бдительные дипломаты. Но соблазн посетить Уэллса был так велик, что писатели решили пренебречь предостережениями.

На дачном перроне русских встретил Уэллс. Прежде чем гости разместились в машине, они по предложению хозяина осмотрели ее — это было тем более интересно, что конструктором автомобиля был Уэллс. Писатель не без искусства вел машину и, подкатив к даче, как заметил Корней Иванович, запустил два пальца в рот и так свистнул, что гости невольно поднесли руки к ушам. На пороге дома появилась улыбающаяся Кэтрин, жена писателя, существо «миниатюрное и уютное». Начался осмотр писательского обиталища. Оказывается, автомо-

биль, на котором писатель привез русских, был не единственным созданием конструкторского гения Уэллса — писатель показал деревянный домик, который был установлен на своеобразной оси и, в зависимости от погоды, приводился в движение, уходя от солнца или к нему приближаясь. Уэллс перенес в этот свой дом рабочий кабинет. Но, войдя в деревянный домик, Уэллс уже его не покинул. Он сказал, что должен работать, а гостей поручает хозяйке. «Должен работать, должен!» — заметил Уэллс. Гости немало смутились: пригласил, встретил на дачном полустанке, привез на автомобиле и вдруг... Вот те на!.. Казалось бы, обида?.. Нет, никто и не думал обижаться!.. Если уж говорить об обиде, то она появилась позже, много позже... А здесь? Ну, в самом деле, чего тут обижаться? Уэллс был человеком гостеприимным и считал своим долгом приветствовать русских у себя дома. Ну, что ж, чувство естественное и доброе. Но Уэллс — писатель, а следовательно, труженик. Он готов пожертвовать для гостей всем, но только не рабочим временем, при этом иностранные гости приравнивались ко всем прочим. И Уэллса понять можно, тем более писателю. В конце концов такой же порядок существовал и в других писательских домах. Как полагает Корней Иванович, не плохой порядок. «Писатель должен работать» — эта формула объясняла решительно все. Итак, никаких обид. По крайней мере, в данном случае. Корней Иванович печально умолк: в данном.

Гости пробыли в доме Уэллса допоздна и в течение тех нескольких часов, которые они оставались здесь, стук машинки точно сопутствовал им. Этот стук, по словам Корнея Ивановича, «бешеный», очевидно, был характерен для темпа, в котором жил и работал Уэллс. Когда писатель появился к вечернему чаю, он, хотя и выглядел усталым, но был в отличном настроении. «Как работа?» — спросили гости без тени обиды — судя по всему, хозяин хорошо работал в этот день, и это было приятно и гостям. «Все, что в моих силах...» — ответил Уэллс. — «Сколько страниц?..» — «Двадцать», — был ответ.

Корней Иванович повторил вразумительно: «Слыхали? Двадцать! И, главное, двадцать неплохих страниц! В силу Уэллса!»

Наверно, эта фраза была характерной для Корнея Ивановича. С тех пор как произошел этот его разговор

с Уэллсом, минуло пятьдесят три года (пятьдесят три!), а в сознании Корнея Ивановича жил этот ответ, жил и, так мне казалось в тот раз, вызывал изумление. Человек профессиональный, он воздавал должное самодисциплине и воодушевлению писателя, остальное было не в счет. Даже вот этот поступок Уэллса, который надо было еще понять: бросил гостей и ушел работать.

Как помнил Чуковский, за столом речь шла о переводах книг Уэллса на русский. Корней Иванович перевел некоторые рассказы Уэллса, которые вышли в ту пору в издательстве «Шиповник» — англичанин знал об этом. Затем беседа коснулась проблем перевода, в частности, проблем поэтического перевода... Как, например, перевести на английский молодого Есенина, сохранив его русскую первосуть?.. Но этот разговор происходил, когда автомобиль конструкции Уэллса, управляемый автором «Войны миров», уже приближался к вокзалу...

Когда Корней Иванович умолкал, он обращал взгляд на стакан с лесными цветами, стоящий подле. Судя по тому, что цветы уместились в стакане, их собрал ребенок, мне даже показалось, ребенок, к которому неравнодушен Корней Иванович, — в его взгляде на цветы было это неравнодушие. В стакане стояли цветы июньского леса, правда, для нынешнего лета неожиданно яркие: видно, они были собраны в низине, недалеко от воды: густо-синие незабудки, лиловые с краснинкой и ярко-белые фиалки, веточка хвоща и одуванчики желтые... Время от времени Корней Иванович пододвигал стакан с цветами: ему приятен был их запах.

Как мне показалось, Корнею Ивановичу стоило труда, чтобы из шестнадцатого года перенестись в год двадцатый. Хотя минуло всего четыре года, но годы эти, выражаясь языком Чуковского, были «точно горы». Прибыв в Петроград, Уэллс поселился у Горького, на Кронверкском. Позвонил Алексей Максимович во «Всемирную литературу»: «Расскажите Уэллсу, что мы переводим с английского». Корней Иванович извлек каталог, стал не без гордости показывать, что и как издали. Уэллс держал каталог перед собой и тут же на полях делал пометки. Смысл пометок Уэллса сводился к следующему: «Шоу представлен хорошо, да и Уайльд впору, а как остальные? Одним словом, когда разговор закончился, обширный и роскошный каталог был испещрен рукой Уэллса. Корней Иванович очень гордился этим экзем-

пляром каталога и однажды неосторожно показал его американцу Кини из АРА (Корней Иванович продиктовал со свойственной ему дотошностью английское написание фамилии: «К», дабл «е», «п», «у». И повторил: «Keeny»). Тот взял каталог на день и уволок в Америку!

А между тем Уэллс оставался в Петрограде, и Горький решил показать ему школу, попросив Корнея Ивановича быть гидом англичанина...

По тому, в какой мере значительной стала интонация, с которой произнес эти слова Корней Иванович, я понял, что эпицентр беседы где-то здесь. Впрочем, Корней Иванович прямо указал на это. Он напомнил то место своего сегодняшнего рассказа, когда Уэллс, поручив гостей жене, сказал, что он должен работать. «Как это было ни неожиданно, мы готовы были понять Уэллса», — заметил Чуковский. Очевидно, случай, о котором хотел рассказать Корней Иванович теперь, был иного рода.

Итак, как заметил Чуковский, он решил показать Уэллсу ту самую школу, где учились и дети Чуковского. Школа находилась на Моховой и сохранила свое старое название: «Тенишевская». Вместе с писателем Чуковский вошел в общий зал, куда собрались учащиеся. «Товарищи, — сказал он, — к нам приехал... кто бы вы думали? Герберт Уэльс!» («Нет, я не оговорился, я так и сказал: не «Уэллс», а «Уэльс» — в те годы в России называли английского писателя именно так»). Зал откликнулся множеством голосов: «Машина времени!», «Первые люди на Луне!», «Война миров!», «Когда спящий проснется!..» Ничего удивительного не было в том, что «тенишевцы» хорошо знали Уэллса. Английский писатель широко издавался в России, только что журнал «Вокруг света» дал своим читателям Уэллса в качестве приложения. Но дело было не только в этом: в Тенишевском училище учился особый народ — дети профессоров, юристов, врачей, учителей. Не мудрено, что они знали Уэллса. Но Уэллсу привиделась во всем этом некая нарочитость. Он потребовал, чтобы ему показали еще одну школу и там, как на грех, Уэллса никто не знал! Ну, конечно же, посещение «тенишевцев» было специально инспирировано, при этом инспиратором был Чуковский!.. Это утверждение было подхвачено белой прессой и по-своему истолковано.

Корней Иванович раскрыл папку, которая до этого недвижимо лежала подле, и извлек желтый прямоугольник газетной вырезки «Уэллс и русская школа» — гласил аншлаг, набранный достаточно крупно. «Нет, я это должен вам прочесть сам!» — произнес Корней Иванович и принялся читать. (Видно, он читал эту заметку и не раз — он воспроизвел ее едва ли не наизусть.) «Великими днями в жизни русской, особенно провинциальной школы, были дни наездов ревизоров из «округа» или, что уже совсем было страшно, из Петербурга, — гласил текст заметки. — Каким путем узнавали школы об этих внезапных «ревизиях», я не знаю, но узнавали неукоснительно и заблаговременно. И готовились, готовились усердно. Чистили и мыли здание, стригли учеников, усердно подготовлялись и подготовляли учеников к решительному дню, словом, старались показать товар лицом. Это все старая традиция русской школы. Уэлльз очутился в роли такого ревизора. Учителям и ученикам были, конечно, известны его нежные отношения с Горьким и Луначарским... И для них Уэллс, сопровождаемый большевистским агентом Чуковским, был, конечно, не английским гостем, а большевистским ревизором. И школы Петрограда, теперь, увы, маленького провинциального городка, заросшего травой, подтянулись на время присутствия в Петрограде английского гостя, подготовились к его «внезапному и неожиданному» посещению...»

Корней Иванович закончил чтение, как показалось мне, оно не прибавило ему сил — он был печален.

— Вот так я пострадал за Уэллса... — молвил он, помолчав. — Как вы знаете, книжка Уэллса явилась бомбой, брошенной в тот мир. На Уэллса ополчился Черчилль и вызвал ответный огонь, огонь наижестокий — отповедь такой силы даже Черчилль получал нечасто. Поэтому то, что явила в те дни против меня белогвардейская пресса в Париже, Берлине и Праге, носило антиуэллсовский характер.

— Вы защищались?

— Пытался.

Он раскрыл папку вновь и извлек оттуда вырезку, на этот раз журнальную — лист «Вестника литературы». Там рядом с заметкой о пацифизме Кропоткина и общенациональных пушкинских поминках было напечатано большое письмо Корнея Ивановича под более чем крас-

норечивым заголовком «Свобода клеветы». В письме достаточно обстоятельно излагалась история посещения Уэллсом Тенишевского училища, с которой читатель уже знаком, и подтверждалось достаточно категорично: «Я утверждаю, что о нашем визите в Тенишевское училище не были предупреждены ни дети, ни учителя, ни администрация. Все это случилось экспромтом. За полчаса до поездки пробовал позвонить в училище по телефону, но телефон был испорчен: то, что это было именно так, могут подтвердить все учащиеся Тенишевского училища».

Изложив обстоятельства визита, Корней Иванович замечает: «Остановить их клевету я бессилен. Они за границей, а я в Петербурге. Ни к уголовному, ни к третейскому суду я не могу их привлечь. Я даже не уверен, что эти строки когда-нибудь попадутся им на глаза. Единственная моя надежда на Всероссийский Союз Писателей. Мне кажется, что Всероссийский Союз, близко знающий мою общественно-литературную деятельность в эти последние годы, найдет возможным защитить своего члена от наших заграничных друзей, которые свободу печати понимают как свободу клеветы».

Характерно, что письмо Корнея Ивановича нашло поддержку у Союза писателей весьма горячую. На той же полосе «Вестника литературы» дано своеобразное коммюнике союза — текст его в такой мере красноречив и во всех отношениях значителен, что есть резон привести его полностью:

«Правление Всероссийского Профессионального Союза Писателей, заслушав сообщение о нападках русской зарубежной прессы на члена правления К. И. Чуковского, особенно в связи с посещением России Гербертом Уэллсом, постановило: «Выразить свое сочувствие К. И. Чуковскому, грубо, незаслуженно оскорбленному. Вместе с тем правление считает необходимым считать, что травля, предпринятая против К. И. Чуковского, обусловливается не индивидуальными особенностями его литературно-общественной деятельности, но тем обстоятельством, что Чуковский принадлежит к той группе писателей, которые остались в России и продолжают заниматься литературным трудом. Таким образом, оскорбление, нанесенное К. И. Чуковскому, является вместе с тем оскорблением всей указанной группе писателей, почему правление постановило в ближайшем будущем по-

ставить вопрос об отношении зарубежной печати к оставшимся в России литераторам во всей принципиальной широте».

— Как видите, эта история затронула самую суть проблемы... — сказал Корней Иванович.

— Писатель и революция? — спросил я.

— Да, можно сказать и так, — подтвердил Чуковский.

Корней Иванович взглянул на томик Блока — он все также лежал корешком вверх, удерживая страницу, на которой оборвалось чтение — с моим приходом оборвалось. Потом мой собеседник вдруг взял книгу, прочел, как показалось мне, вне связи с тем, о чем шла речь только что:

> Вот зачем, в часы заката
> Уходя в ночную тьму,
> С белой площади Сената
> Тихо кланяюсь...

Он улыбнулся, заметил как бы между прочим:

— Тот, кто полагает, что поэзия Блока всего лишь исповедь поэта, ошибается — это исповедь России...

Корней Иванович задумался: ему предстояло сделать шаг от Блока к Уэллсу, это было не просто.

— Как Уэллс?.. Вы помните, это место в книжке Уэллса? По его словам, посещение первой школы было подстроено с самыми благими намерениями, как он называет меня, «моим собратом по перу», при этом «собрат по перу» будто бы сделал это, желая показать Уэллсу, какой любовью пользуется англичанин в России. Вряд ли Уэллс хотел меня обидеть... — заметил Корней Иванович и, пододвинув все тот же желтый лист «Всемирной литературы», добавил: — Нет, я действительно так думал: не хотел обидеть. Вот тут я прямо так и написал... Вы заметили? — он вновь обратился к тексту письма во «Всемирную литературу» и, отыскав необходимый пассаж, прочел: — «Конечно, мистер Уэллс не хотел обидеть меня. Он рассказывает эту историю очень благодушно и весело...», — он умолк, и его большие, сейчас бледнолиловые веки как бы ниспустились. — Так мне кажется, не хотел обидеть...

«Однако почему эта обида так стойка? — спрашиваю я себя, уезжая из Переделкино. — И обида ли эта на Уэллса?» Досье, которое передал мне Корней Иванович,

рисует не столько его спор с Уэллсом, сколько с белыми перьями. Говоря о свободе клеветы, Чуковский имел в виду их. Но вот что характерно: Чуковский был очень заинтересован, чтобы многое из того, что написал тогда, было повторено теперь. Тот раз он сказал мне об этом прямо, настолько прямо, что это было похоже на завет человека, который видит уже тот берег.

НАРКОМ ЛЮБИЛ СТИХИ

К дороге четвертой

Автомобиль пересек Дунай и начал взбираться на гору. Пошли заводские корпуса за кирпичной оградой, высокой и глухой.

— Вот это и есть Чепель, — знаменитый Чепель, в какой-то мере колыбель рабочей Венгрии, — сказал мой спутник. — Если говорить о Коммуне, то ее цитаделью был Чепель...

Да, из истории я знал: в сущности здесь начиналась Венгерская Коммуна, отсюда она обращалась к народу, здесь она формировала свои отряды, отсюда они уходили к рубежам Советской Венгрии, и отсюда, со знаменитой Чепельской радиостанции Коммуна разговаривала с Москвой...

22 марта, на другой день после создания правительства Коммуны, Чепельская радиостанция вызвала к аппарату Ленина.

БЕЛА КУН. Вчера ночью венгерский пролетариат завоевал государственную власть, ввел диктатуру пролетариата и приветствует Вас, как вождя международного пролетариата...

ЛЕНИН. Здесь Ленин. Искренний привет пролетарскому правительству Венгерской советской республики и особенно т. Бела Куну. Ваше приветствие я передал съезду Российской коммунистической партии большевиков. Огромный энтузиазм.

И радиостанция в Чепеле начала действовать. Через карпатские хребты, что встали на пути из Венгрии в Россию, а заодно и через головы врагов, осадивших землю Коммуны, в Москву пошли радиодепеши.

В тексты радиотелеграмм вторгся быт революции.

— Чепель вызывает Москву! У аппарата Бела Кун.

— У аппарата Чичерин.

БЕЛА КУН. Прошу немедленно сообщить мне, как обстоят в армии дела со знаками различия? Мы должны немедленно разрешить этот вопрос.

ЧИЧЕРИН. В Красной Армии нет никаких знаков различия. Единственный значок — красная звезда, которую в Красной Армии носят все без исключения. Главнокомандующий одет так же, как рядовой.

Радио помогало преодолеть Карпаты настолько, что Красная Венгрия и Красная Россия обрели возможность говорить по вопросам, обыденным для революции — от того, что эти вопросы были обыденны, они не становились менее важными.

ЧИЧЕРИН. Прошу вас сообщить, просмотрели ли Вы немецкий перевод интервью Ленина?

БЕЛА КУН. Интервью товарища Ленина мы внимательно просмотрели и передали правильный текст. Одновременно позаботились о том, чтобы его поместили европейские газеты.

ЧИЧЕРИН. Неоценимо значение борьбы венгерского пролетариата, который принес в Центральную Европу огонь революции...

Обратите внимание на эти слова: «...который принес в Центральную Европу огонь революции». Так мог сказать только поэт.

Мне говорили в Венгрии, что Бела Кун приезжал на Чепельскую радиостанцию каждый раз, когда дела торопили его и в срочном ответе Москвы была насущная необходимость. В этом случае рабочий кабинет Бела Куна в сущности переносился в Чепель. Здесь вот, рядом с аппаратной, Кун, дожидаясь ответа, правил гранки своей статьи для газеты «Напсава» или писал тексты нот Клемансо и Вильсону, визировал текст интервью с корреспондентом «Гамбургер Фремценблатт» или составлял план доклада о внешней политике Коммуны на съезде Советов. А коли план доклада, то где-то под рукой должен быть томик Петефи, а может быть, и Араня и Ади. Да, у первого дипломата Коммуны была своя страсть: венгерская поэзия. Есть мнение: эту любовь к поэзии внушил ему Эндре Ади, певец революции, кото-

рого судьбе было угодно сделать учителем Бела Куна — в начале пути, в родном Леле юный Ади (он был на девять лет старше) давал гимназисту Куну домашние уроки. Нет, Ади определенно сыграл свою роль в том, чтобы венгерская поэзия стала для Куна наставницей борьбы, учительницей жизни. Я сказал: свою роль... Главное же в ином: так было не однажды и не только с Бела Куном — венгр, став революционером, становился верноподданным родной поэзии. А подчас процесс был и обратным: поэзия приводила венгра в революцию... Кто-то сказал: только случайность отторгла дипломатию от семьи искусств. Впрочем, история исправила эту ошибку.

Ну, что ж, в этой максиме есть свой смысл.

У Чичерина был Моцарт.

У Бела Куна — Петефи.

Но об этом впереди.

Коммуна? Подобно Коммуне парижан? Конечно, это сравнение условно. Венгерскую республику многое отличает от Парижской коммуны. К моменту создания республики рабочий класс был, конечно, не тем, что в пору парижских баррикад. Существовала Страна Советов, несмотря на все невзгоды в ту пору, сила для новой Венгрии дружественная. В самой Венгрии обстановка была иной — борьбу возглавляла партия коммунистов, да и сам рабочий класс был силой более зрелой. И все-таки много было общего с Коммуной парижан. Венгрия не могла воспользоваться в полной мере помощью Страны Советов — не было общей границы.

Чтобы удержать этот остров, требовалось искусство немалое. Нет, не только военное, хотя это по понятным причинам было главным, но и дипломатическое: сплотить друзей, склонить на сторону республики колеблющихся, по возможности нейтрализовать врагов. Партия венгерских коммунистов поручила руководство этими важнейшими делами — военными и дипломатическими Бела Куну.

Первый дипломат Венгерской Коммуны? Да, именно. И дело не только в интеллекте Куна, в знании языков (он знал русский и немецкий), в связях, которые у него были с миром зарубежных коммунистов, но и в самой природе ума и интеллекта: гибкого, острого и точного.

Необыкновенно много дает в этой связи переписка наркоминдела Венгерской Коммуны с революционной Россией, к которой этот человек питал чувство любви и верности, и прежде всего с Лениным и Чичериным. В высшей степени интересно и благодарно было проникнуть в эту переписку. Конечно же, Кун понимал, что спасением для Коммуны был бы прорыв карпатского барьера. Кун не скрывал, что он возлагает немалые надежды на соединение сил венгерской и русской революций. В этом свете переписка Куна с русскими полна великого смысла.

Есть письмо Куна Ленину — в этом письме весь Кун, его революционная страсть и преданность рабочему делу.

Вот оно.

«Благодарю за Вашу теллеграмму, в которой содержится одобрение моей внешней политики. Я с гордостью считаю себя одним из самых ревностных Ваших учеников... Я думаю, что очень хорошо знаю Антанту. Знаю, что она будет до конца бороться против нас. В этой войне возможно лишь перемирие, но мир — никогда. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Еще раз выражаю благодарность за Ваши замечания».

Наверно, пониманию Петефи как поэта, чьей сутью была революция, Бела Кун обязан Эндре Ади. И дело не только в том, что Ади как поэт возник в грозовое время, но и в ином: Ади видел в Петефи предтечу революционных событий нашего века и сражался против тех, кто не хотел этого видеть.

Тот, кто думает, что у поэзии Петефи на его родине были только пламенные глашатаи, ошибается. Даже те, кто видел в Петефи провозвестника 1848 года, не хотели в нем видеть поэта грядущей революции. А как не видеть в нем глашатая революции будущего, когда стихи его прямо говорили об этом:

> Дай, свобода, глянуть в твои очи! —
> Мы тебя искали дни и ночи,
> По земле, как призраки, блуждали,
> Звали мы тебя и ожидали.
>
> С нами ты — и нам никто не страшен,
> Божество единственное наше!
> Пред тобой — бессмертной и священной —
> Падают все идолы мгновенно.

Все же ты бесправной оставалась,
Словно Каин, по земле скиталась,
За тобою палачи следили,
Твое имя к плахе пригвоздили.

Срок пришел, и те лежат в могиле,
Что тебя похоронить спешили,
Срок пришел — и мы с тобою вместе,
Ты средь нас — на королевском месте.

Ты одна — король и повелитель,
Ты одна — наш друг и покровитель,
В честь твою не факелы сверкают,
То сердца огнем у нас пылают.

О, свобода, в душу посмотри нам,
Ясным взглядом душу озари нам,
Чтоб окрепли силы у народа,
От сиянья глаз твоих, свобода!

Но, свобода, что ж ты побледнела?
Иль о прошлом дума налетела?
Иль не все мы сделали, быть может?

Или страх за твой венец тревожит?
Не страшись! Скажи нам только слово.
Только стяг твой подними. И — снова
Встанет войско грозно и сурово,
На победу и на смерть готово...*

Истинно, не в человеческих силах отвратить ассоциации с грядущими революционными боями, а если говорить точнее, то с Венгерской Коммуной — она мерещилась недругам революции в стихах Петефи.

И вот она — попытка умалить светило. Повременить с зарей.

«Петефи — вообще небольшой художник, — писал поэт-декадент Михай Бабис. — Впечатления отражаются в его поэзии в сыром виде, они меньше, чем это было возможно, переплавляются в горниле души. В языке его мало индивидуальной окраски. — Мы все знаем, насколько ограниченным и мещанским было его мировоззрение. Столь же ограниченны и наивны были его эстетические взгляды...»

Впрочем, все сказанное лишь предпосылка к главному:

«Мы должны разбить иллюзии тех, кто усматривает

---

* Перевод М. Исаковского

в Петефи предшественника современных революционных поэтов».

Последнее прямо адресовано Эндре Ади и определено примитивным страхом перед грядущим.

И ответное слово Ади исполнено гнева не столько потому, что он защищает себя, сколько потому, что выступает на защиту великого своего предтечи.

«Мертвые и живые, прожорливые ничтожества, писавшие до сих пор о Петефи, стыдитесь! По-настоящему вы его не любили, никогда! Петефи жил ради нашей эпохи, ради нашего поколения... Этот презираемый молодой человек — Шандор Петефи, этот народный поэт... видел яснее и лучше всех... Мы постараемся защитить его и от его жалких друзей... Нам нужна не романтическая свобода, а та свобода, о которой мечтал Петефи. Кто же здесь, кроме Петефи, был подлинным революционером?»

И вот ответ Ади — он, этот ответ, прямо следует из того, что только что утвердил поэт:

«Венгерские господствующие классы обращались с Петефи бессовестно... Они старались притянуть его к себе, исказить, использовать в своих мелких интересах... Но Петефи не примирился. Петефи не примиряется, Петефи принадлежит революции».

Поэт и гражданин, Эндре Ади прожил жизнь, которая была отнюдь не простой и не легкой. То, что он утвердил в пору своей зрелости, было выстрадано жестоко. Где-то в начале века он уехал в Париж, который ему казался если не обетованной землей свободы, то землей, где дышится много вольнее, чем в Венгрии. Но Ади не нашел на французской земле того, что искал. Его «Парижские письма» отдают горечью раскаяния, неистребимой печалью, разочарования. Впрочем, разочарование дало толчок созидательному чувству: Ади считал, что спасение — в революции. В немалой степени этому способствовал русский 1905 год. Уже одни названия стихов Ади той поры дают представление об их содержании: «Несемся к революции», «К мартовскому солнцу».

Ну, разумеется, Ади был учителем Бела Куна, но никогда прежде духовное единство ученика и учителя не было столь близким, как в годы, последовавшие после русской грозы. Кто мог подумать тогда, что новая русская гроза вызовет к жизни грозу венгерскую и вновь скрестит мятежные тропы ученика и учителя.

И однажды заколеблется чертог,
И, чем позже, тем сильней будет толчок,
И увидит равнодушный мир
Пробужденье душ, казалось, мертвых уж,
Лжи чертог развеет новый стяг...

Это уже стихи Эндре Ади, стихи, написанные в 1913 году, а следовательно, пророческие — до Венгерской Коммуны было без малого шесть лет.

Мне неизвестно, чтобы Бела Кун когда-либо писал стихи, хотя его возвышенная и в какой-то мере романтическая натура, как мне кажется, приемлет это. Однако, не будучи поэтом, вот как Бела Кун писал о Петефи в одной из своих гимназических работ, разысканных в его родных краях.

«У нас будут еще превосходные труды по истории, но если мы хотим поглубже вникнуть в тайну помыслов и души народа, то нам надо обратиться к национальной поэзии, ибо она выражает это вернее всего и наиболее пластично...

А стало быть, если верно, что венгерская поэзия, по сути дела, история венгерской нации, то верно и другое: что в песнях Петефи совершеннее всего воспроизведен дух, пробужденный событиями освободительной борьбы: в них вернее всего проявляются раздумья и чувства целой эпохи... В представлении Петефи народ не только угнетенный класс, но и великая идея, не только основа будущего общества, но и гарантия идеальной свободы... Петефи от имени народа требовал права для народа. Его воодушевляла не только свобода его отчизны, но и всемирная свобода, которая была самым прекрасным и высоким идеалом, благороднейшей идеей XIX века. Наш материалистический век кинул эту идею на свалку неосуществленных утопий, а Петефи верил в нее, как верили в истину евангелия верующие и мученики».

Юная душа жаждет веры. Быть рабом того, во что не веришь — вряд ли на это способна юная душа. Поэтому так светлы помыслы юного Бела Куна, поэтому так волнуют нас строки его ученического сочинения о поэзии, и ее призвании в жизни человека. Есть в высказываниях Бела Куна нечто такое, что так сильно в юности: непримиримость к половинчатости, бескомпромиссность.

«В душе Петефи бурлил гнев против привилегированных классов, против угнетателей народа, и Петефи с ре-

волюционной яростью встал на защиту угнетенных... Он догадывался, что нацию спасет не умеренность, а до крайности напряженные усилия. Он презирал даже мысль о том, что можно трусливо прятаться в кусты... И Петефи был прав. Революция побеждает не осторожностью, судьба революции решается теми, кто храбро вступает в бой, только они могут обеспечить ей успех... Кому придет в голову назвать его бедным и несчастным за то, что он рано погиб? Это мы бедные, а он богач!»

Ирина Кун — жена, друг и сподвижник Бела Куна, вспоминает, как дорожил Кун дружбой с Ади, знаками этой дружбы. Скромная квартира молодых Кунов долгое время была украшена лишь одной фотографией: это был портрет Ади с дарственной надписью поэта: «Бела Куну с любовью. Эндре Ади». Бела Кун глубоко почитал Ади-поэта. Он говорил, что Ади превосходит многих современных поэтов и при этом не только венгерских. Недруги Ади говорили о поэте, что он «путаник и безумец». По их словам, его поэзия «отравляла молодежь». Но в глазах Бела Куна все это только возвышало Ади. «Посмотрите, история докажет правоту Ади», — говорил Бела Кун.

Для Бела Куна Ади был поэтом революции, достойным продолжателем революционного начала венгерской поэзии, у истоков которого стоял бессмертный Петефи. И по этой причине поэт был не просто другом Бела Куна, но был в какой-то мере сотоварищем по борьбе за свободную Венгрию. Как известно, поэт скончался в незабываемом для Венгрии девятнадцатом году, когда энтузиазмом народных масс была вызвана к жизни Венгерская коммуна, но поэту не суждено было увидеть красный стяг Коммуны.

«Я застала Ади сидящим в их маленькой, уставленной цветами прихожей, — вспоминала позже художница Ильма Бернат свою последнюю встречу с Ади, происшедшую в ноябре 1918 года. — И спросила его: «Почему у тебя такие испуганные глаза, как у кошки во время грозы? Ведь настала революция, которую ты так ждал. (Ильма Бернат говорит о венгерской буржуазной революции 1918 года.) Ади горестно скривил губы: «Это не та революция, — сказал он. — Уже едут домой из России венгерские солдаты, и Бела Кун тайком посылает в

их солдатских башмаках и брошюры и настоящую революцию: вот когда вернется домой Бела Кун с товарищами — а этого уже не долго ждать, — тогда и будет настоящая революция».

А двумя месяцами позже пришла весть о кончине поэта. Ирина Кун, жена и товарищ Куна, свидетельствует, как потрясен был Бела Кун. И, наверно, великий смысл был в тот момент в стихах Ади, которые прочел, не скрывая слез, Бела Кун:

О, Венгрия, край скорбных нищих,
Нет веры в нем, нет хлеба в нем,
Но ты, грядущее, за нами,
Когда решимся и дерзнем!

— Решимся и дерзнем! — сказал в тот раз Бела Кун и точно предрек поворот событий, которым суждено было дать толчок революции — ведь это было едва ли не в канун Коммуны.

Когда читаешь о жизни Бела Куна, создается впечатление, что это был человек отнюдь не робкого десятка. Ну, хотя бы этот случай, когда в ответ на звонок в редакцию «Сабадшага» и откровенные угрозы о расправе, Бела Кун вышел из редакции, вооружившись палкой, а когда враги открыли огонь, увы, мог пустить в дело только эту палку, однако обратил недругов в бегство. Это был человек, понимавший, что политику не делают в белых перчатках и могут быть обстоятельства, когда нелишней может быть и обычная палка.

Иным было впечатление, когда Бела Кун выступал в качестве первого дипломата Коммуны. Прочтите его депеши Вильсону и Клемансо — в них и изощренность формы, и аристократизм мысли.

Надо сказать, что дипломатическая хроника Коммуны пестрит событиями, которые отнюдь не способствовали миролюбию комиссара по иностранным делам. Ну, конечно же, характер деятельности Наркоминдела Коммуны в эти 133 страдных дня был несколько необычным для дипломатии, как ее принято представлять. В Будапеште был дипломатический корпус, но он напоминал дипкорпус, оставшийся в Петрограде после Октября, в надежде на поражение революции. Впрочем, как это было в России, дипломаты достаточно энергично действовали, чтобы революция потерпела крах. В интервью корреспонденту «Либерейтор» Бела Кун рассказал, как себя

показал дипломатический корпус в дни Коммуны. Собственно, профессиональные дипломаты ушли в тень, и их место заняли военные: все эти Романелли, Фримены и Гуверы были заняты в сущности разведкой и подготовкой заговора против Коммуны. Действия военных направлял и корректировал адмирал Троубридж, личный друг другого адмирала, венгерского, — мы говорим о Хорти. Где-то здесь велся главный подкоп под республику, где-то здесь был эпицентр будущего взрыва.

А как Бела Кун?

Выдержка, сочетаемая с корректностью и твердостью тона, была стилем наркома иностранных дел, интеллигентность, истинная интеллигентность была обязательным качеством министров рабоче-крестьянского правительства. Если бы взглянуть со стороны, как подчеркнуто предупредителен и доброжелателен был нарком, принимавший в эти дни иностранных дипломатов, можно было подумать, что он находится в приятном неведении, ну, хотя бы насчет того, например, что, возвратившись через каких-нибудь тридцать минут в посольский особняк, дипломат воспроизведет беседу с Бела Куном гонцу Хорти. На самом деле Бела Кун, конечно, знал это, но принятый им тон был и нормой поведения, и замыслом.

Истинная демократия предполагает гласность. Новая русская дипломатия начала с того, что опубликовала царские тайные договоры. Наркоминдел Коммуны многие начинания республики делал достоянием мирового общественного мнения. Республика аккредитовала корреспондентов зарубежной прессы. С ними разговаривал сам Бела Кун. В жизни Коммуны не было проблемы, которая бы не возникала в этих беседах.

Ну, вот хотя бы беседа с корреспондентом голландской «Фатерланд».

Вопрос. Как случилось, что венгерская революция обошлась без кровопролития?

Ответ. Мирный характер нашей революции объясняется тем, что венгерская буржуазия оказалась чрезвычайно обессиленной войной и поэтому не сумела оказать сопротивление, а венгерский пролетариат, наоборот, окреп за это время.

Вопрос. Чем объяснить, что в России все произошло иначе и переворот сопровождался большим кровопролитием?

Ответ. И в России первый этап революции протекал мирно. Впоследствии же, когда буржуазия сумела в силу различных причин организоваться и стала применять так называемый белый террор, большевистское правительство оказалось вынужденным также прибегнуть к насилию.

Или беседа с корреспондентом австрийской «Нойес винер журнал» — в ней все та же мысль, что в предыдущей беседе: стремление защитить национальные интересы Венгрии и одновременно выполнить интернациональный долг.

Вопрос. Как будут в дальнейшем развиваться отношения Венгрии с Германией и Австрией?

Ответ. Мы хотим возможно лучших отношений с обоими государствами. Это мое заявление касается всех аспектов отношений.

Вопрос. Окажете ли Вы помощь голодающим массам венского пролетариата?

Ответ. Мы дадим венским пролетариям все, что имеем... Они могут нам поверить, что свою солидарность мы постараемся выразить не только словами, но и делами.

Вопрос. Сохранит ли Венгрия в изменившихся условиях свои торговые связи с заграницей?

Ответ. По нашему мнению, внутренние преобразования не должны влиять на наши торгово-политические отношения с заграницей. Разумеется, мы выполним свои обязательства в этом отношении, хотя, быть может, станем искать некоторые новые пути их осуществления.

Читатель заметил: ответы предельно лаконичны, ясны, емки. В них внешняя политика Коммуны выражена и четко, и доступно. Ни единое слово не вызовет возражения тех, кто сотворил Коммуну и зовет ее своей. Каждое слово комиссара гражданин Коммуны готов скрепить своей подписью.

Необыкновенно хороша беседа Бела Куна с корреспондентом германской «Гамбург фремденблатт».

Вопрос. На каких бы условиях Венгерская советская республика заключила мир с Антантой?

Ответ. Мы не находимся в состоянии войны с Антантой. Если же Антанта захотела бы заключить с нами мир с помощью меча, как это сделал, например, генерал Гофман в Брест-Литовске... то тогда война, которая последует за этим, не будет похожа на прежние войны. Это будет борьба угнетенных против угнетателей, такая

же, как освободительная борьба североамериканских Соединенных Штатов, когда весь народ с оружием в руках поднялся против англичан, которые хотели превратить эту страну в колонию.

И последний вопрос, который как будто бы имеет косвенное отношение к прерогативам первого дипломата Коммуны, а на самом деле определяет самую суть этих прерогатив.

Вопрос. Сохранится ли свобода личности при новом общественном строе?

Ответ. Свобода личности будет на деле обеспечена лишь при новом общественном строе. Капиталистический строй не представляет никаких возможностей для свободного проявления личности. Для каждого марксиста очевидно, что капиталистический строй, который вначале как в общественной, так и производственной сфере, способствовал личному преуспеванию, в настоящее время стал препятствием не только для личности, но и для производства. При новом общественном строе не будет места лишь одной свободе — свободе эксплуатации, свободе эксплуатации человека человеком. Буржуазная демократия была необъявленной диктатурой буржуазии, а диктатура пролетариата есть не что иное, как подлинная и честная демократия пролетариата.

Когда читаешь Бела Куна, все время ловишь себя на мысли: у него глубина мысли сочетается с точностью формулировок.

«Только тот превращает самокритику в самобичевание, кто видит не ошибки пролетарской диктатуры, а считает ошибкой самую диктатуру».

«На деле поражение было вызвано не тем, что пролетариат якобы изменил своим вождям, а тем, что он изменил своим интересам».

«А сейчас хотят задушить даже свободу печати... Если кому-нибудь дали по морде, единственное, что он сможет сделать в ответ, послать обидчику визитную карточку».

Любопытны воспоминания тех, кто наблюдал Куна в дни Коммуны на посту наркоминдела. Наверное, воспоминания иностранцев здесь обладают своими преимуществами. Корреспонденту голландской «Фатерланд», который решил сопроводить текст беседы с Бела Куном своеобразным литературным портретом народного комиссара, нельзя отказать в искренности.

«Я должен сознаться, что ожидал увидеть свирепого, неистового человека, в полном вооружении, окруженного красными телохранителями, и был очень приятно поражен интеллигентной наружностью революционного комиссара. Бела Кун принял меня в скромно обставленной, напоминающей кабинет ученого комнате, хотя эта комната находится во дворце бывшего эрцгерцога — теперешнем «венгерском кремле»... Бела Кун до такой степени похудел и изменился, что приятель мой, не видевший его всего два месяца, не узнал его сразу. Не желая злоупотреблять любезностью Бела Куна, я задавал ему краткие вопросы... Бела Кун произвел на меня впечатление, быть может, мечтателя, но безусловно честного и преданного пролетариату человека».

Конечно же, если говорить об интеллекте Бела Куна, то главное состоит в том, что он, выражаясь словами Ференца Мюнниха, был наиболее подготовленным марксистски руководителем Венгерской советской республики. Именно это позволило ему стать революционером-коммунистом, руководителем народных масс, а когда Коммуна потерпела поражение, в течение многих лет с честностью революционера и привередливостью теоретика-ученого стараться найти причины неуспеха, при этом видеть собственные ошибки, трижды не щадить себя. Марксова теория обогатила его опыт и на посту комиссара по иностранным делам. Как ни коротка была его деятельность здесь, его труд был полезен Коммуне: кольцо блокады, в которое пытались заковать Коммуну враги, разрубалось и силами дипломатии Коммуны... Но было в нем нечто такое, что сообщило сыну сельского писаря качества интеллигента и пригодилось на посту комиссара по иностранным делам. Откуда это у Куна? Наверное, однозначный ответ был бы здесь неверен. Поэтому пусть наша мысль явится лишь одним из слагаемых ответа: как это имело место многократ с венграми, пришедшими в революцию, их наставляла на избранном пути бессмертная лира больших поэтов...

...Вот я смотрю на осеннее небо Чепеля, и в тишине, которая здесь так чутка, мне слышатся голоса:

— Чепель вызывает Москву. У аппарата Бела Кун!

— Говорит Москва. У аппарата Чичерин...

Ничто не может победить этих голосов, вечно живых.

В главе «В Стокгольме, у Александры Коллонтай» упомянуто имя шведской писательницы Элен Микельсен — хранитель Королевской библиотеки Стефан Даль передал мне переписку Александры Михайловны с писательницей. Как я отмечал в этой главе, переписка в сущности была посвящена книге «Женщины русской революции», которую писала в ту пору шведка. Идею книги подсказала Микельсен Александра Михайловна и в течение нескольких лет руководила работой шведки — книга была написана и опубликована. Сто писем Александры Михайловны, адресованных Микельсен, представляют тем больший интерес, что воспроизводят этот уникальный эпизод в жизни Коллонтай и характеризуют ее не только как педагога, но и как литератора и редактора.

Я не имел возможности подробно рассказать об этом факте в первом издании моих «Дорог» по той причине, что письма не были переведены и отредактированы, как не была прочитана книга Элен Микельсен. Сейчас эта работа проделана, и есть возможность осветить этот в высшей степени любопытный момент в деятельности Коллонтай более подробно. Сразу скажу, что мне удалось проникнуть в суть переписки благодаря помощи Эми Генриховны Лоренсон, многолетнего секретаря и друга Александры Михайловны. Помощь Лоренсон была тем более ценна, что она хорошо знала Микельсен. Письма писались, разумеется, по-шведски — переводу их я обязан поэтессе и переводчице Э. Бочкаревой.

Если этот рассказ надо начать с портрета Микельсен, то пусть этот портрет напишет Эми Генриховна.

— Где-то в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, когда Александра Михайловна вернулась из Мексики и была назначена советским посланником в Осло, к ней приехала из Швеции необычная гостья, — начала Эми Генриховна. — Большая, заметно полная женщина, чуть сутуловатая, больше нескладная, чем складная, она назвалась учительницей Элен Микельсен из северного шведского портового городка Окселесунда. Она сказала, что преподает в начальной школе своего городка и пробует силы в литературе. У нее явилась идея написать кни-

гу о Коллонтай, и с этой целью она приехала в Осло. Александру Михайловну заметно заинтересовала эта женщина и до того, как ответить по существу просьбы шведской гостьи, Коллонтай долго беседовала с ней. Из разговора выяснилось, что Микельсен происходит из мелкобуржуазной семьи, родители ее живы, но живет она одна. Что же касается просьбы Микельсен, то Александра Михайловна стала ее отговаривать писать книгу о Коллонтай, осторожно склоняя ее к другому замыслу: женщины русской революции. Видно, Микельсен так свыклась со своим замыслом, что ей стоило труда отказаться от него, но Александра Михайловна обосновала свои доводы столь тактично и убедительно, что гостья уступила, правда, оговорив, чтобы в число героинь ее будущей книги обязательно входила Коллонтай...

Надо было понять замысел Микельсен, — продолжала Лоренсон. — Мир находился под огромным впечатлением октябрьских событий в России, которым в ту пору было всего лишь одиннадцать лет. Это была действительно революция бесправных, к которым женщины причисляли и себя. Этим и ничем иным следовало объяснить и желание скромной шведской интеллигентки восславить русскую женщину. Микельсен наверняка учитывала то обстоятельство, что в ту пору некоторые из героинь ее будущей книги были живы: и Надежда Крупская, и Вера Фигнер, а с Александрой Коллонтай шведка имела возможность уточнить замысел книги. Итак, Александра Михайловна подала Микельсен идею книги, обещая полную поддержку, при этом, если того пожелала бы шведка, поездку в Москву и работу в архивах... Надо отдать должное Микельсен, она с воодушевлением принялась за работу, в полной мере воспользовавшись помощью Александры Михайловны, при этом, разумеется, не отвергнув и предложения о поездке в Москву. Книга была написана и хорошая книга, но работа оказалась поистине многотрудной, при этом ни Микельсен, ни, так мне кажется, Коллонтай не представляли, какого труда это потребует. Александра Михайловна обещала помощь и, верная слову, принялась помогать шведке. В адрес шведки пошли посылки с книгами. Одновременно Александра Михайловна вошла с предложением о поездке Микельсен в Москву. Как только возникли первые главы, Александра Михайловна просила их прислать ей и пригласила

писательницу к себе. Надо было помочь автору понять людей и события, избежать ошибок. Но была еще одна проблема: натура Микельсен. Надо было победить хронический пессимизм Микельсен, помочь писательнице обрести душевное равновесие, поддерживая писательницу. Но об этом лучше всего расскажут письма Александры Михайловны.

Первые письма Александры Михайловны заметно сдержанны. Это именно первые письма. Чувствуется, что человека, которому эти письма адресованы, Коллонтай еще предстоит узнать. Но эти письма неизменно доброжелательны. Как ни труден рабочий день посла, Александра Михайловна старается высвободить время для беседы со своей шведской корреспонденткой.

«Вы спрашиваете, не могла бы я принять Вас во время Пасхальных праздников, — пишет Александра Михайловна 26 марта двадцать восьмого года. — Я собираюсь примерно 6-го апреля отправиться в горы, поэтому Вам хорошо бы приехать сюда 4-го или самое позднее 5-го утром. Тогда я постараюсь устроить все таким образом, чтобы Вы провели у меня несколько часов и мы спокойно обсудим все вопросы, которые Вас интересуют. Буду весьма рада быть Вам полезной».

Работа над книгой начинается с чтения книг о России, вначале, как свидетельствует переписка, случайных — прочитанную книгу Микельсен посылает Коллонтай. Шведка хочет знать мнение Александры Михайловны о книге. Со свойственной Коллонтай обязательностью она отвечает своей корреспондентке:

«Ваши письма и телеграммы доставили мне только радость. Спасибо большое за книгу о России. Она, правда, неглубокая, но предназначена для определенной аудитории и полезна... Желаю Вам бодрости духа и успешных исследований».

Встреча с Коллонтай обогащала и воодушевляла писательницу — об этом шведка писала Александре Михайловне. Мы лишены возможности сослаться на письмо Микельсен, но из письма Коллонтай эта мысль следует недвусмысленно:

«Я тоже могла рассказать Вам много больше интересных подробностей этих великих лет, но это было слишком недолго! Все же я надеюсь, что мы увидимся, и я радуюсь Вашей книге. Я тоже люблю характеры предреволюционных лет».

С той обязательностью и точностью, которая была свойственна Коллонтай, она стала готовить поездку Микельсен в советскую столицу. Весьма возможно, Александра Михайловна воспользовалась пребыванием в Москве, которое имело место в мае двадцать восьмого года, чтобы подготовить эту поездку шведской писательницы.

«Я только несколько дней, как вернулась из Москвы, — пишет Александра Михайловна в конце мая все того же двадцать восьмого года.— Прежде чем Вы поедете в Москву, нужно убедиться, что доктор Р. не находится в отъезде. Я напишу ему и выясню это. Всего доброго и успеха в работе!»

Видно, Микельсен, устанавливая связи с Коллонтай, сделала это не без тревоги. Возможно, тюрьма ей и не угрожала, но потерять работу она могла вполне — власти были особенно бдительны, когда речь шла об учителях. Дело воспитания молодого поколения должно находиться в руках верноподданных — оказывается, эта истина распространялась и на Швецию, государственные институты которой отличала известная терпимость. Все это непредвиденно обнаружилось в связи с одним обстоятельством: Коллонтай направила свое очередное послание шведке не в виде письма, заключенного в конверт, а открытки, доступной постороннему глазу. Шведке померещилось, что тайна ее отношений с советским послом стала известна властям и над головой бедной женщины собрались тучи — Микельсен сообщила обо всем этом Коллонтай, умоляя ее не писать открыток.

«Дорогой товарищ, я прошу извинения за то, что в спешке отправила Вам почтовую открытку. Я желаю и надеюсь, что моя записка не доставила Вам неприятностей? Я очень хорошо понимаю, как Вам трудно в той среде, где Вам приходится работать и жить. Всего доброго, дорогой друг, верьте, я понимаю Вас лучше, чем кажется. Я знаю, что Вы должны быть очень мужественны, чтобы идти Вашим собственным путем. Желаю Вам успеха и верю в ценность Вашей работы. С сердечным приветом А. К.»

Видно, план книги еще не сложился окончательно и в переписке Коллонтай с Микельсен возникают все новые имена. Шведку увлекает образ Софьи Ковалевской, и все, что Микельсен удается прочесть о выдающейся русской женщине, она пересылает Коллонтай. Вместе с тем Коллонтай пытается увлечь своего корреспондента биографией Инессы Арманд, справедливо полагая, что очерк о выдающейся революционерке мог быть включен в книгу шведской писательницы, не разрушив замысла ее работы.

«Чего бы я хотела, так это чтобы Вы написали об Инессе Арманд... — просит свою корреспондентку Александра Михайловна. — Но об этом мы поговорим при встрече...»

Умная Микельсен старается придать отношениям с русским послом большую широту, понимая, что эти отношения будут тем более прочными, чем они будут более человечными. Шведка ставит перед Коллонтай все новые вопросы, касающиеся борьбы за права женщин. Человек прямой и, по всей видимости, стремящийся понять проблему отнюдь не односложно, Микельсен просит Коллонтай ответить и на вопросы, на которые, пожалуй, могла ответить только Александра Михайловна. Речь идет не просто о жизни женщины в условиях, которые создала ей революция, речь идет о новой морали, разумеется, как понимает ее Коллонтай.

«Статьи, которые собраны в «Н. морали» (речь идет о сборнике А. Коллонтай «Новая мораль». — *С. Д.*) я писала и публиковала в различных журналах в России еще до войны (1912—13). Я посылала их в Россию из Берлина. Было еще несколько все по тем же вопросам. В 1918 году — то есть через год после Октябрьской революции, статьи были собраны и изданы в виде брошюры Государственным издательством. Это было слишком бурное время. Было не до вопросов сексуальной морали. В 1920—21 гг., когда я была руководителем женской секции партии, я опубликовала свои «тезисы» и напечатала целый ряд статей по этому вопросу. (Я была в то время также председателем Государственного Комитета по борьбе с проституцией, мои «Тезисы» были приняты в качестве основной линии для создания наших законов в этом направлении.)

Но как раз тогда возникли возражения против моих убеждений. Революция победила, жизнь начала приспо-

сабливаться к новым условиям. Мои взгляды стали казаться слишком «радикальными» и в вопросе о браке».

А между тем деятельная Микельсен приступила к работе над книгой. Она воспользовалась помощью Коллонтай и получила визу на поездку в Москву. Не без содействия Александры Михайловны шведке было разрешено ознакомиться с нашими архивными материалами. Микельсен написала главу о Вере Фигнер.

«Я пересылаю Вам письмо Веры Фигнер. Это письмо, в котором есть что-то очень милое, очарование личности женщины, которая его писала».

Как свидетельствует переписка, Микельсен не сразу далась глава, посвященная Н. К. Крупской — видно, тут были у писательницы свои трудности, и Коллонтай это понимала.

«Как Ваша работа? — спрашивала Александра Михайловна в письме от 2 июня 1931 года.— Вы начали писать о Крупской?»

Случилось так, что Коллонтай и Микельсен в процессе работы над книгой в такой мере переселились в мир, в котором хозяином положения является женщина, что на какое-то время забыли, что этим миром земля обетованная не ограничивается. Случайно или нет, а они убедили себя, что все ценности в мире творят женщины.

«...Знаете, не так уж много есть людей, у которых те же интересы, что и у нас обеих... Все эти женские образы для Вас так же, как и для меня, — радость, наслаждение и доказательство: освобождение женщины наступит! В этом более нет сомнения!.. Собственно, мне больше нравятся прекрасные женские типы, чем «великие мужи». Возникает чувство удовлетворения, гордости, когда видишь, что женщина пробивается вперед».

И еще:

«Дорогой друг, на этих днях я прочла «Канаанский экспресс» Хагар Ольсен. Я глубоко потрясена. Это шедевр. Глубоко, художественно и «гуманно». Это подлинный оптимизм большой гуманности, оптимизм, в котором так сильно нуждается наше трудное время. Спасибо, спасибо за эту книгу. Я хотела бы, чтобы эта книга была переведена и на русский. Я пошлю ее, как только найду, моему другу Зое Шадурской. Ведь ее можно достать в Стокгольме? Женские образы — живые. Мужчины — меньше. Не правда ли? Но ведь так же всегда было рань-

ше, только наоборот, мужчина был типом, живым явлением, женщины — только «объектами» мужских чувств или средством развития фабулы».

Нет, Коллонтай не голословна, когда говорит, что современная литература утверждает себя, имея в виду характеры женщин. Коллонтай обращается к героине Теодора Драйзера Дженни Герхардт, но разумеет многих своих современниц.

«Я чувствую, я уверена, что нас связывают друг с другом много духовных уз. Вы — не вне моей жизни и Вы для меня не «чужая». Об образе Дженни я хотела бы поговорить с Вами при встрече. Мне кажется, что мы, современные женщины, слишком много тратим энергии впустую на любовные переживания, любовные муки и жертвы, приносимые во имя любви. Дженни — это новое поколение, которое сохраняет свои творческие силы для чего-то иного, не отдает всего «единственному» мужчине. И хотя этот тип лично мне несколько чужд — я полагаю, что это здоровое явление. Не потому, что у Дженни «много» мужчин или было много мужчин, но потому, что ее чувства к мужчине не играют самую значительную роль в ее жизни. Дженни мне интересна и я рассматриваю ее как явление положительное».

Коллонтай, как впрочем и Микельсен, шли дальше, полагая, что лучшее, что создано литературой наших дней, принадлежит перу женщин. Можно соглашаться с этим мнением или отвергать его, но мнение Коллонтай о самих произведениях никуда не денешь — оно в высшей степени любопытно.

Ну, вот хотя бы отзыв Александры Михайловны о известном романе американки Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

«Как Вам понравились «Унесенные ветром»? Я нахожу, что это великое произведение — в нем цельный образ южных штатов, настроение войны и всего, что за этим следует. И так великолепно написано!»

Но каждое письмо Коллонтай имело для Микельсен и иное значение. Писательница рассматривает его и как автор будущего портрета Коллонтай. Наверно, из тех писем, которые Александра Михайловна послала своему

шведскому другу, можно было бы составить своеобразную исповедь Коллонтай по проблемам в такой же мере личным, в какой и актуальным. Разумеется, эта исповедь будет и не полной, и фрагментарной, но для Микельсен она была важна, так как давала единственную в своем роде возможность понять психологию Коллонтай. Вот письма, в которых мотивы исповеди видны явственно.

«Наша работа — как альпинизм. Торопишься наверх, к вершине, задыхаясь поднимаешься: «Ну, вершина достигнута!» Но это лишь оптический обман: среди окружающих горных вершин гордо высится новый крутой пик. И снова нужно подыматься, снова напрягать все силы, чтобы достичь новой цели». (27 января 1929 г.)

«На этих днях я читала об эпохе великого переселения народов. Чрезвычайно поучительное время: борьба между двумя системами производства — народного хозяйства античности, построенного на экономике рабства, и свободного крестьянского труда, относительной на первых порах зависимости свободного варвара от своего суверена. Мы слишком мало знаем об этом в высшей степени интересном времени, в котором можно найти много общих точек, аналогий с нашим временем. Особенно между III и VII веками можно наблюдать формирование совершенно нового мира.

С какой же борьбой формировался этот мир...» (29.VII.1929 г.)

«Работа, может быть, это самое главное. Работа, которая позволяет развернуть, развить все силы. Наслаждение природой и культурной деятельностью людей, связанной с улучшением, украшением... и обогащением природы...

Мне дано великое счастье жить среди друзей, разделяющих мои убеждения»... (1929 г. Число неразборчиво)

«Мои мысли часто возвращались к Вам, но для переписки не хватало ни времени, ни энергии. Раньше я очень легко писала письма — могла подряд написать 10—16 писем. А после этого садилась «за работу». Теперь писание писем для меня стало тоже «работой». (1.II.1930 г.)

«...Деревья! Старые, серьезные, много пережившие, ставшие мудрыми деревья! Они никогда не причиняют зла! И как они прекрасны! У меня часто к деревьям по-

являются такие чувства, как к старым знакомым, — я радуюсь встрече, я иду с ними «поздороваться»... Да, да, об этом не говорят — я делаю это мысленно, про себя... Я могу разговаривать с деревьями. В юности, в Финляндии в имении моей матери, я поверяла деревьям свои тайны... Вы понимаете меня, дорогой друг?» (Без даты)

«Моя дорогая подруга! В последние дни я часто думала о Вас. Вероятно, события в мире, свержение старого, огромные социально-экономические перемены причиной тому, что я так часто Вас вспоминаю. У меня колоссальное желание писать...» (16.IV.1932 г.)

«Тысячу лет ничего от Вас не слыхала... Пишите мне на Мёвеберг, в санаторий. Я живу здесь, чтобы побыть совсем одной и собрать мои чувства и мысли... Мне нужно было иметь немного покоя и одиночества. Атмосфера в мире очень напряженная, нужно иметь силы, чтобы принять и преодолеть все, что произойдет или может произойти». (21.XII.1932 г.)

«Дорогой друг! У нас здесь была тяжелая борьба по вопросу о «равноправии». Подумать только: спорить об этом в 1935 году! Но реакция очень настроена против женщин! Кое-что достигнуто все же, я защищала нашу точку зрения «до последнего патрона». И хотя до полной победы еще далеко, дело все же продвинулось на шаг вперед. Я снова была в боевом настроении и исполняла свой долг». (29.IX.1935)

Точно сговорившись, Коллонтай и Микельсен не говорили в своих письмах о главе, посвященной Александре Михайловне. В том случае, когда этот разговор возникал, здесь непроизвольно была установлена своеобразная конспирация: в письмах эта глава просто именовалась «№ 7». Микельсен не без умысла отнесла работу над главой к концу, полагая, что само общение с Коллонтай определит содержание главы. Однако время шло, работа над книгой продвигалась и единственной ненаписанной главой была седьмая. Шведка спросила Александру Михайловну, какой бы она видела эту главу. На наш взгляд, ответное письмо Коллонтай — едва ли не самое интересное письмо переписки с Микельсен.

В том, как она выстроила для Микельсен канву этой главы, выстроила современно, однако не пренебрегая классической завязкой и кульминацией, виден литератор. Но это письмо интересно и в ином отношении. В нем

Коллонтай взглянула на себя как бы со стороны. Взглянула и увидела. Что?

Вот это письмо.

«Дорогой друг, спасибо за письма. Я думала о биографии Ал. К. А не должны были Вы написать ее совсем по-другому? Я бы взяла очень резкие высказывания белой прессы и буржуазной цензуры, две-три наиболее грубых цитаты. Затем — цитаты из прессы, которая высказывала симпатию к К. в разные периоды ее жизни. Затем — кратко несколько острых моментов ее биографии, особенно последних лет (с 14 до 31) и потом вдруг неожиданно — детство и т. д. Это было бы более интересным. И меньше защиты А. К. Иначе получается необъективно, слишком много личной симпатии, слишком много защиты. Больше реальных резких фактов, противоположных по своей сути. Женщина и политик, государственные дела и заботы женщины-матери. Понимаете ли Вы меня? Обнимаю Вас! Ваша А. К.» (20.VII.1931.)

Как это часто бывает с писателем, когда работа стала приближаться к концу, Микельсен точно обрела второе дыхание. Александра Михайловна, для которой установился известный ритм в работе Микельсен, ждала, что работа над седьмой главой потребует по крайней мере полугода, а глава была завершена раньше, а вместе с нею и книга. Шведка тут же прислала рукопись Коллонтай.

«Дорогой друг, да, книга удалась. Я еще раз перечла ее поздним вечером, и всю ночь перед моими глазами стояли эти женские образы...

Относительно А. К. — не смогла прочесть. Со мной так случается — бывают периоды, когда я этого не могу. Мне «скучно». Но книга — хороша и выдержана в едином стиле. Я надеюсь и желаю Вам успеха и от всего сердца поздравляю Вас... Еще раз наилучшие пожелания и поздравление. Ваша А. К.» (25.X.1931 г.)

Да, Коллонтай в этот вечер не добралась до седьмой главы и не потому, разумеется, что ей было «скучно», просто, вероятно, боялась разочарования.

Но глава была прочитана, и в Окселесунд полетело письмо.

«Дорогой друг, да, я только что прочла статью об А. К. и все еще под сильным впечатлением абсолютно художественного произведения. Поздравляю! Я читала и забывала, что связана с этим текстом — это было наслаждение, следить за динамикой и настроением описания.

Я думаю — теперь цель достигнута.

Я чувствую, что обращено внимание как раз на основное, и это принесет пользу, это поможет женщинам.

Мне на глаза навертывались слезы — это редко случается.

Главное то, что Вы нашли нужную дистанцию...

Нет, это была великолепная идея написать эту книгу. Я чувствую, что Вы будете иметь успех, и радуюсь этому.

Сегодня ни о чем другом писать не могу. Чувство, которое я испытала во время чтения вашего произведения, еще полностью владеет мною.

Всего, всего доброго, дорогая Элен.

До свидания! Ваша А. К.» (3.I.1932 г.)

Книга вышла и была хорошо встречена читателем, но это был не единственный результат того большого, что дало общение Коллонтай и Микельсен. Правило Коллонтай: «Дипломат, не давший своей стране друзей, не может называться дипломатом», здесь получило новое подтверждение.

«Дорогой друг, милая Элен, Ваше письмо и темные маленькие фиалки меня очень обрадовали. То, что Вы лучше начинаете понимать мое мировоззрение, большая радость, которая имеет для меня моральную ценность. У меня здесь нелегкая работа. И больше чем когда-либо я мечтаю быть свободной от административной работы и отдаться только литературно-филологическим и, так сказать, «философским» занятиям. Суждено ли мне когда-нибудь испытать такое счастье?.. Что Ваше здоровье идет на поправку — меня в самом деле очень радует. Может быть, я смогу застать Вас по телефону? Хотелось бы увидеться. До свиданья. Ваша А. Коллонтай». (30.IV.1930 г.)

Да, так и написано: «...То, что Вы лучше начинаете понимать мое мировоззрение, большая радость, которая имеет для меня моральную ценность».

Видно, где-то здесь эпицентр отношений Коллонтай и

Микельсен, то большое и доброе, что возникло между ними с того памятного дня, когда скромная учительница из Окселесунда явилась в советское посольство в Осло и поверила Александре Михайловне свой замысел. Конечно, книга могла быть написана и без того, чтобы две женщины стали друзьями, и это одно было бы значительным.

«Дорогая Элен, через шесть часов после моего прибытия в Стокгольм посылаю Вам мои наилучшие и самые теплые приветы и пожелания доброго здоровья в Новом году. Сердечное спасибо за «романтические» рождественские свечи. Это было символом: мой свет еще должен гореть. Как жаль, что я не могла с Вами увидеться, когда Вы были в Стокгольме. Но мы скоро встретимся. Может быть, Вы приедете до начала занятий в школе?»

Эти свечи, подаренные Микельсен, Александра Михайловна сберегла и в новогоднюю ночь зажигала не однажды. Они символизировали для Коллонтай нечто негасимое и доброе, что возможно в отношениях между ними. А оно, это доброе и неумирающее существовало уже потому, что книга давно была написана и издана, а потребность в общении осталась.

«Дорогой друг, я очень обеспокоена — что с Вами? Кажется, Вам одиноко и Вы одна. Одиночество очень приятно, если ты здоров, но когда заболеешь и сляжешь — хочется иметь кого-нибудь рядом, кто давал бы немного сердечного тепла. Дорогая Элен, я помню Вас и посылаю Вам мои самые теплые чувства и пожелания скорого выздоровления и вкуса к работе. Сердечные приветы от нас всех». (10.X.1935 г.)

Но это было уже знаком тревоги. Болезнь подобралась к Микельсен — от внимательного глаза Александры Михайловны это не ускользнуло. Коллонтай находит свои средства, чтобы ободрить Микельсен и избежать разговора о недуге.

«Дорогой друг, я очень сожалела, что не могла с Вами увидеться, когда Вы были в Стокгольме... Я с интересом прочла Вашу статью в «Тидеварвет». Мысли и чувства — верные и добрые. Вы должны собрать всю свою

энергию и продолжать работу. С Вашим талантом нельзя ее забрасывать. Сердечные приветы и до свидания в ноябре. Может быть, мне удастся сделать Вам короткий визит в Никопинге еще в сентябре». (16.X.1936 г.)

Как это было прежде, Александра Михайловна делится с Микельсен всем тем, что составляет содержание ее дел и помыслов. Вряд ли все, о чем пишет Коллонтай Микельсен, было бы последней интересно, в обычных условиях... В данном случае положение иное: каждое письмо — знак доверия, а следовательно, дружбы. Если письма могут быть целебными, то письма Коллонтай были для Микельсен именно такими.

Письмо из Женевы:

«Дорогая Элен! Я снова работаю над «Положением женщины», и это отвлекает меня от больших проблем, которым не видно благополучного конца. Все так сложно. Спасибо за Ваши милые строки. Элен, Вы завоевали прочное место в моем сердце... Обнимаю Вас». (25.IX. 1937 г.)

Письмо из Стокгольма, но на этот раз в Цюрих, куда на лечение вылетела Микельсен:

«Мой дорогой друг, спасибо за Вашу открытку. Я чрезвычайно рада, что Вы в Цюрихе и что имеете дело с приятными людьми. Желаю Вам хорошо отдохнуть и выздороветь... Может быть, Вы читали в газетах, что одно из моих рабочих заданий — «Воздушная линия Стокгольм — Москва» действует. Это была трудная работа, но я рада, что задача выполнена». (7.VII.1938 г.)

Коллонтай, которая незадолго до этого была в Швейцарии, думает о поездке в эту страну, имея в виду и перспективу встречи с Микельсен — Александру Михайловну серьезно тревожит ее здоровье.

«Надеюсь, хорошая клиника в Цюрихе поможет Вам. Мои приветы Цюриху; вид на горы со стороны политехникума в хорошую погоду прекрасен. Когда-то давным-давно я выглянула из окна и совершенно забыла, что сижу на лекции профессора Херкнера!.. Всего доброго. Ваша верная А. К.» (20.VIII.1938 г.)

Да, так и было сказано: «Ваша верная».

По мере того как росло беспокойство, теперь уже не за здоровье, а за жизнь Микельсен, возникали эти слова, одно сильнее другого: «Ваша верная».

Последнее письмо Александры Михайловны, посланное в цюрихскую клинику, помечено 25 декабря 1938 года — письмо печально.

«Сегодня сочельник. Ваши свечи горят на моем столе, и я вспоминаю Вас».

В том же 1938 году Микельсен не стало. Коллонтай глубоко переживала смерть шведки. Осталась книга Микельсен «Женщины русской революции». Книга яркая, отразившая талант шведки и, быть может, ее советской подруги, которая немало способствовала тому, чтобы эта книга была создана, сама оставаясь в тени. Кстати, последнее характерно для Коллонтай, у которой был дар помогать людям, помогать самоотверженно, но подчас тайно, в такой мере тайно, что это так и оставалось неизвестным.

«...УЧЕНЫЙ С УМНЫМИ И ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ...»

К дороге двенадцатой

Не знаю, бывал ли Чичерин на Дворцовой прежде. Думаю, что бывал. Известно, что Георгий Васильевич писал историю российского министерства иностранных дел. Наверно, он это делал не только по материалам архива, сотрудником которого он был в ту пору. Важны были свидетельства старых дипломатов, а их пристанищем оставалась Дворцовая. К тому же архив был своеобразным филиалом министерства — оперативные департаменты широко пользовались фондами архива. Следовательно, Чичерин на Дворцовой бывал и, как мне кажется, часто. Но когда снежным январем 1918 года он появился на Дворцовой вновь, он мог ее и не узнать. Над парадной дверью колоколом било и вызванивало отвердевшее на морозе полотнище: «Мир — народам». Вместо швейцара, облаченного в негасимый пламень ливрейного золо-

та, стоял кронштадтец — установленный тут же «максим» был точно дан кронштадтцу в дополнение к маузеру, что висел у матроса на боку.

Заманчиво было заглянуть в зеркальный зал, в голубую и терракотовую гостиные, но Чичерин минул их. Комната, в которой отныне предстояло ему обосноваться, прежде была комнатой досье второго департамента. В ней не было ни обрамленных тяжелым багетом зеркал, ни затейливой лепнины. Единственной ее достопримечательностью был фаянсовый рукомойник да печь-буржуйка — ее труба была выведена в форточку. Но Георгию Васильевичу комната эта пришлась по душе — в ней было тепло и достаточно просторно — последнее имело значение, если учесть, что комната с фаянсовым рукомойником была в доме едва ли не самой людной. Впрочем, людной она становилась лишь тогда, когда на Дворцовую приезжал из Смольного Георгий Васильевич — в Смольном, в двух шагах от кабинета Владимира Ильича у Наркоминдела был своеобразный филиал.

Итак, на Дворцовую приезжал Чичерин, и желтое петроградское электричество заполняло три окна чичеринского обиталища. Приходил Николай Григорьевич Маркин, матрос-шифровальщик из Кронштадта, работающий в Наркоминделе над расшифровкой тайнописи дипломатии царской. Самоучка, чьи университеты закончились церковноприходской школой в родном селе Маркина Русский Сыромяс на Волге, Николай Григорьевич, когда того потребовала революция, сумел проникнуть в тайную тайных Дворцовой, 6, вызвав изумление профессиональных дипломатов.

Являлась Коллонтай и, положив громоздкий, не по росту портфель и освободившись от беличьей шубки, а заодно от такой же беличьей муфты и оставшись в шапочке, сшитой «корабликом», долго дула на маленькие свои кулачки, осторожно поднося их к раскаленной печке. Через дорогу от Наркоминдела, на Мойке, находился приют для детей, чьи отцы погибли на войне, и Коллонтай в качестве наркома государственного призрения была там.

Приоткрывалась дверь, и слышалась разноголосица английской речи. Чичерин улыбался: «Плиз, камин френдс!.. Пожалуйста, входите, друзья!» Ему были симпатичны американцы, их общительность и моторность. Кстати, если приглашать их, надо приглашать всех —

поодиночке они не ходят: и молодого социалиста Джона Рида, поэта, философа, неутомимого газетного пилигрима, дороги которого легли отнюдь не по самым спокойным местам земли: была восставшая Мексика, есть фронтовая Европа и революционная Россия. Да, молодого Рида, а заодно его друзей, среди которых такой же пилигрим Альберт Рис Вильямс, сын проповедника и сам в какой-то мере проповедник, впрочем, справедливости ради следует сказать, что проповеди учения христова Вильямс предпочел иную проповедь — он не теряет надежды вернуться в Штаты со своеобразными проповедями-лекциями о новой России. А рядом с Ридом и Вильямсом полковник Раймонд Робинс, по статусу своему представитель американского Красного креста, на самом деле душа смятенная, пытливая, неравнодушная к тому новому, что народилось в России: по корням своим, по происхождению Робинс рабочий, да и сам в свое время был рудокопом. Статус Робинса в Петрограде — представитель Красного креста — ставит его едва ли не в один ряд с дипломатами, но в отличие от дипломатов, бойкотирующих чичеринский департамент, он здесь гость постоянный. Но именно гость, не больше. Вместе с тем Рид и Вильямс здесь хозяева. Они представляют новый отдел чичеринского ведомства: «группу пропаганды». У группы функции более чем деликатные, если взглянуть на них, например, с Фурштадтской, где находится посольство США: Рид и Вильямс пишут листовки, которые распространяются в войсках Антанты, высадившихся на Русском Севере.

Знал ли Чичерин, что полутора-двумя месяцами позже Дворцовая, 6 перекочует в Москву, в «Метрополь», а еще позже на московский Кузнецкий мост, и новая резиденция Чичерина станет доброй пристанью тех, кто нередко бывал у Георгия Васильевича в Питере: и Рида, и Риса Вильямса, и Луизы Брайант. И не только их, но Майнора, Вэра, Джерома Дэвиса, а может быть, даже Стеффенса и Уэллса во время их не столь уж продолжительного визита в Москву, то есть по существу всех, кого читателю суждено встретить на страницах наших записей. Однако если даже не все они были у Чичерина, они принадлежали к миру, с которым от имени правительства Советов и Ленина разговаривал народный комиссар.

...За полночь Чичерин выходит из Наркоминдела. Смольный обещал прислать совнаркомовский «деланэ», но еще в полдень автомобиль повез Подвойского в Гатчину на митинг уходящих на фронт и не вернулся. Видно, ненароком заглох мотор или на пути встали сугробы. Поэтому «деланэ» для Чичерина отменяется — надо добираться на своих. Да, проблема ли это?.. Как ни силен встречный ветер на невской набережной, идти можно. Да впервой ли Георгию Васильевичу? Поднял воротник и пошагал... Вдоль невского борта до Литейного моста, а там можно забирать вправо.

Значит, пришла депеша от Воровского? Одна депеша. Пока что одна... Что же получается? Иностранное ведомство великой революции и одна посольская депеша?.. Да не в осаде ли революция?.. Ополчились злые силы! Все, сколько набралось их на неоглядных просторах земли. Одна депеша, а следовательно, одно признание?.. Оказывается, признания нет. Вот они парадоксы нынешней нелегкой поры: народы приветствуют русскую революцию, а правительства взяли ее в штыки. Нет, не в переносном смысле этого слова — в буквальном. Есть неодолимая логика в первосути признания: уважение на стороне силы. Уважение и признание. Признание придет по мере того, как революция будет набирать силы... Все флаги явятся к нам. Все, сколько их есть на земле...

А на Неве крепчает ветер и все круче сухие вихры снега на наледи, а вдоль невского борта, подняв воротник и точно закутавшись в снежную полумглу и непогодь, шагает человек в островерхой шапке... Мимо Зимнего, мимо его загашенных окон, мимо приневских дворцов, отданных под общежитие библиотекарям, мимо посольских особняков англичан, французов, японцев, выстроившихся, как по ранжиру, вдоль Невы... Не близок путь до Смольного — все успеешь обдумать. И беседы с английскими социалистами, с которыми не разлучила, а свела Брикстонпризн, лондонская тюрьма, в сумрачных застенках которой Чичерин просидел семь страдных месяцев. И нелегкое возвращение в Россию, вначале через море, где встреча с германскими подлодками отнюдь не исключалась, а потом сложными скандинавскими путями... И наконец, приезд в Россию, и жестокие баталии с немцами, и натиск Антанты, которая хотела бить немцев русскими руками, и нелегкое единоборство с дипкорпусом, который все больше становился своеобразным троянским

конем, заброшенным в расположение революционных сил. Не близок путь к Смольному и нелегки думы человека, идущего сейчас вдоль невской набережной. Нелегки думы, хотя есть у них, у этих дум, и своя отрада: люди, что отовсюду потянулись к русскому Октябрю, много честных сердец, честных... Собственно, в этом суть того, что явил сегодня минувший день — мир русской нови, мир Чичерина...

Хочу думать, что подлинный день Чичерина на Дворцовой, 6 был таким или в какой-то мере таким. И самым характерным для этого дня был тот круг людей, который образовался с легкой руки Георгия Васильевича, — этим людям суждено было сделать много доброго для новой России именно в сфере внешних дел. Работая на революционную Россию, эти люди обнаружили себя, свои недюжинные данные. В этой связи благодарно взглянуть на этих людей попристальнее, а заодно рассмотреть, что есть мир их интересов, мир Чичерина. Но, может быть, есть резон начать этот ряд имен с Чичерина?

Есть целая плеяда ветеранов революции, которая воспринимается нами как бы через Ленина. Истинно рядом с именем такого человека стоит нечто такое, что сказал о нем Ленин.

«Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток «командирства», это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете».

Чичерин — одна из тех фигур, к которой у нас приковано пристальное и, так мне кажется, непроходящее внимание. Как ни значительны уже опубликованные работы, посвященные Чичерину, многие стороны деятельности великого дипломата ждут своих исследователей. Благодарна тема: Ленин и Чичерин. Среди тех, кого мы зовем дипломатами ленинской школы, первым был Чичерин. Все годы, пока Ленин стоял у штурвала Советского государства, рядом с ним на правах комиссара по иностранным делам был Чичерин. Он был помощником и сподвижником Владимира Ильича по осуществлению таких крупных свершений советской дипломатии, как Брест и Генуя.

Годы работы Чичерина на посту наркоминдела показали, что Ленин был прав в своем выборе. Много доброго для Советской страны сделал наркоминдел Чичерин. Все,

кто помнит эти годы, согласятся со мной: Чичерин был одним из тех наркомов, которые были особенно популярны в народе. И особое, неповторимое настроение охватывает тебя, когда твоя скромная тропа, идущая по белу свету, тропа исследования, тропа писательского поиска вдруг пересечется с дорогой, которой некогда прошел Чичерин...

В самом деле, что представлял собой Чичерин и какое отношение черты его личности могли иметь ко всему тому, что было и должно было стать сутью внешней политики Советской страны?

Известно, что Георгий Васильевич происходит из русской стародворянской семьи.

Среди его предков были государственные мужи, военачальники, дипломаты. Его дядя, Б. Н. Чичерин, ректор Московского университета и московский городской голова, известный историк и философ, автор многотомных воспоминаний, полный текст которых все еще в рукописи. Отец Георгия Васильевича — видный дипломат, друг и сподвижник А. М. Горчакова, канцлера и лицейского товарища Пушкина, к которому поэт обратил многие из своих стихов. «Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, она собирается с силами» — это афоризм Горчакова, выражающий решимость канцлера вернуть права России на Черное море.

Для отношений, которые существовали между Горчаковым и семьей Чичериных, характерен такой факт. Б. Н. Чичерин, несмотря на кажущуюся строптивость в отношениях с царствующей фамилией, был всего лишь противником российских форм самовластия, как, впрочем, к этому склонялся и канцлер Горчаков. Однако, опасаясь прослыть вольнодумцем, лукавый Горчаков критиковал существующие порядки, вызвав поток писем Б. Н. Чичерина царю. Делалось это так: Горчаков приглашал к себе Василия Николаевича Чичерина, отца Георгия Васильевича, и сообщал ему, каким должно быть следующее письмо Бориса Николаевича брату. Василий Николаевич понимал несколько деликатно поручение канцлера, но выполнял его не без воодушевления, полагая, что способствует установлению в России более прогрессивного образа правления. Василий Николаевич передавал пожелание канцлера брату, и вскоре следующее письмо приходило, истинным автором которого был Горчаков, хотя под письмом и стояло имя старшего из бра-

тьев Чичериных. Затем Горчаков нес письмо Бориса Николаевича царю, разумеется, и вида не подавая, что истинным автором чичеринского письма является он, Горчаков, — канцлер считал, что таким образом сумеет склонить царя к точке зрения, близкой горчаковской.

Как известно, семья Георгия Васильевича была известна в России широким кругом своих интересов. Как свидетельствуют современники, знавшие эту семью, дипломаты здесь задавали тон. Нет, не только потому, что дипломатом был отец Георгия Васильевича Василий Николаевич. Профессия дипломатов была преемственной и в родословной матери Георгия Васильевича. Может быть, поэтому вся система домашнего образования строилась в расчете на то, что Георгий Васильевич пойдет на службу в иностранное ведомство. В этой связи изучение языков, например, было подчинено особой системе и осуществлялось с завидной последовательностью и тщательностью. В перспективе того, что Георгий пойдет по посольской части, выбирался и соответствующий факультет университета: историко-филологический со все более узкой специализацией по истории внешнеполитических отношений России.

Завершив образование и определившись на работу в министерство иностранных дел, Георгий Васильевич избрал для начала работу в архиве министерства. Те почти семь лет, которые он проработал в архиве, были отданы работе над двумя трудами: краткому очерку истории министерства и очерку, посвященному жизни и творчеству А. М. Горчакова. Работа в архиве дала возможность Георгию Васильевичу по существу продолжить свое историческое образование, обратив внимание на историю дипломатии девятнадцатого века. Особенно увлекла его работа над дипломатическими текстами — тексты эти как бы аккумулировали колорит времени, сохранив его для потомков. Внимание к документу, желание всегда иметь его под рукой, стремление подчинить его интересам дипломатической практики, то есть все то, что так было свойственно позже работе наркома Чичерина, впервые было познано юношей Чичериным в недрах архива.

Мы сказали, что работа в архиве дала возможность Георгию Васильевичу по существу продолжить свое историческое образование, обратив внимание на дипломати-

ческую историю России прошлого века. И не только на историю как таковую, но и на историю международного права, как она проистекала из фактов дипломатической истории. Предметом особого внимания Чичерина стала знаменитая горчаковская акция, которая восстановила права России в Черном море.

Наверное, будущий биограф Чичерина исследует в деталях систему аргументации, к которой обращался дипломат, отстаивая интересы Советской республики, — в дипломатическом творчестве Георгия Васильевича это едва ли не самая увлекательная глава. Особый интерес представляют, например, Генуя — здесь сумма доводов, призванная обосновать позицию Советской стороны, формировалась при ближайшем участии Владимира Ильича. То, что было известно советской стороне о позиции противной стороны, свидетельствовало: Антанта готовится дать бой Советской России по вопросу о долгах. Документ, который готовили дипломаты Антанты, включал в себя признание всех категорий долгов, возврат иностранным владельцам фабрик и заводов, отмена особых прав государства на внешнюю торговлю и т. д. В этом сказалась политика деспотии Антанты, политика диктата, в сущности политика одной системы собственности, не имеющая ничего общего с принципом сосуществования. Заключив Рапалльский договор, советская дипломатия показала всему миру, как она понимает принцип сосуществования. Это был договор, учитывающий взаимные интересы, он опирался на «действительное равноправие двух систем собственности» (Ленин), что в данном случае важно. Система аргументации, как она была разработана советской делегацией, выдержала в Генуе испытания наижестокие — в главе «Чичерин идет по Генуе» — подробный рассказ об этом.

Чичерин говорил, что он «страстно любил историю» и «жадно впитывал разнообразные научные впечатления». О литературе по крайней мере здесь ни слова. И тем не менее Георгий Васильевич любил и великолепно знал литературу, виртуозно владея ее текстами, соотнося их с задачами дипломатической практики. Когда Советское правительство запросило агреман на назначение Войкова послом в Польшу, согласие было дано не сразу. Скшиньский, тогдашний министр иностранных дел Польши, объяснил задержку тем, что, как стало известно полякам, Войков имел отношение к суду над

Романовыми и чуть ли не к исполнению приговора над бывшим царем. Но не в этом главное. «Я, — писал Чичерин, — не помню момента в истории борьбы польского народа против угнетения царизмом, когда борьба против последнего не выдвигалась бы как общее дело освободительного движения Польши и России. Нет, конечно, польского гражданина, который бы не помнил о тех ярких и глубоко прочувственных стихах, в которых Адам Мицкевич вспоминает о своем близком общении с Пушкиным и между прочим о том, как он, покрываясь с ним одним плащом, стоял перед статуей Петра Великого». Отметив, что Адам Мицкевич был вполне солидарен со стихами Пушкина о самовластительном злодее и вспомнив антимонархическую драму Юлиуса Словацкого «Кордиан», Чичерин заключает: «Сотни и тысячи борцов за свободу польского народа, погибшие в течение столетия на царских виселицах и в сибирских тюрьмах, иначе бы отнеслись к факту уничтожения династии Романовых, чем это можно было бы заключить из Ваших сообщений».

Очень хочется пройти по питерским и московским тропам Чичерина, разумеется, и старым, проторенным в годы юности, а потом в пору работы в архиве министерства иностранных дел, но больше поздним, когда он вернулся из Лондона и возглавил Наркоминдел. Любопытный факт: приехав в январе в Россию, Чичерин в течение полугода был назначен вначале помощником наркома, потом заместителем, а в мае — наркомом.

Старые наркоминдельцы рассказывают: когда правительство переехало в Москву, Наркоминдел поселился в тарасовском особняке на Спиридоновке. В том, что был выбран этот особняк, в какой-то мере сказался вкус Чичерина. Как бы в пику декадентам И. В. Жолтовский построил этот особняк, используя архитектурные мотивы итальянского Возрождения. Тот, кто бывал в особняке, помнит его высокие залы с большими просветами и праздничной колоннадой. По неписаному правилу, заведенному с первых дней революции, Чичерин работал ночами. Однако время от времени тишина большого дома нарушалась: Чичерин являлся в зал, выходящий своими просветами на Спиридоновку, и садился за рояль. И все те, кого поздний час заставал за работой, стекались в

большой зал послушать наркома. Как свидетельствуют наркоминдельские старожилы, Чичерин играл великолепно, с настроением и истинным артистизмом.

Но тарасовский особняк был сравнительно далеко от Кремля, что создавало те же неудобства, что и в Питере. Поэтому Наркоминдел перебрался в «Метрополь», обжив его периферийный подъезд, смежный с китайгородской стеной. Если учитывать, что в ту пору служебный вход в Совнарком и к Ленину был через Троицкие ворота, то на дорогу от «Метрополя» к Кремлю требовалось не больше десяти минут.

Алексей Владимирович Чичерин, известный литературовед, профессор Львовского университета, доводящийся Георгию Васильевичу племянником и хорошо знающий тамбовскую усадьбу Чичериных, в письмах, которые я от него получил, делится мыслью об устройстве музея Георгия Васильевича в Карауле. Большая чичеринская дата, недавно отмеченная нашей общественностью, дала толчок этой идее: музей в Карауле создается.

Всем известно имя Чичерина, но свидетельств о Чичерине-человеке сохранилось до обидного мало, настолько мало, что, разыскав, например, малоизвестные воспоминания немецкого дипломата Ф. Гельфериха, который был преемником Мирбаха на посту посла Германии в Москве в тревожное лето 1918 года, я был несказанно рад, когда обнаружил там такой пассаж о Чичерине:

«Первый визит я нанес народному комиссару по внешним делам Чичерину, помещавшемуся в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. Следуя настоянию моих сотрудников, я отправился к нему без предупреждения и не в посольском автомобиле, а на извозчике. Через несколько минут лошадь расковалась. В сопровождении доктора Рицлера я прошел пешком неузнанным и незамеченным по опасному городу... Чичерин, на вид хмурый и встревоженный, ученый с умными и печальными глазами, тотчас заговорил о своих заботах, касающихся Баку...»

Как ни лаконичны эти воспоминания, характерным является вот это определение: «...ученый с умными и печальными глазами». По-моему, здесь уже есть нечто такое, что помогает если не воссоздать образ человека,

то по крайней мере отвергнуть все, что этому образу чуждо.

Наверное, это удел всех, чьи герои все еще живут в памяти твоих современников. Едва книга вышла, начинают приходить письма воспоминания: «Быть может, вам интересно: я знал Чичерина...» И возникают новые подробности, нередко примечательные. Даже в письмах, содержание которых невелико, обязательно присутствуют детали ценные.

Не забыть письма, которое мне прислал Алексей Владимирович Чичерин. Была в этом письме свойственная автору точность видения. Помню, Алексей Владимирович подробно разобрал, как в «Дипломатах» описан дом Бориса Николаевича Чичерина в Карауле. Я в Карауле не был и писал дом, руководствуясь воспоминаниями Бориса Николаевича. Видно, в описании этого дома я очень понадеялся на свое восприятие чичеринской усадьбы, подсказанное книгой, и несколько сместил детали. Потом уже, повстречав Алексея Владимировича, я попросил его графически изобразить план дома и в соответствии с этим планом срочно осуществил реставрационные работы.

Вот мы часто говорим, читая произведение историческое: «Нет, это не его слова, он бы так не сказал». Однако, чтобы так утверждать, надо очень точно видеть героя, при этом видеть не того, кого ты создал воображением своим, а подлинного. Иначе говоря, нужен камертон, по которому ты настраиваешь свой более чем капризный инструмент, а это задача, наверно, трудная. Вот жил Чичерин. Кто помнит, как он здоровался с иностранными послами, как вступал с ними в спор, в какой мере темпераментен был в этом споре, каким образом говорил послу «нет». Время было жестокое, и, так мне кажется, «нет» произносилось чаще, чем в обычные времена... Наверное, даже те, кто знал Чичерина близко, может и не ответить на всю серию этих нелегких вопросов, но дать представление о том, что было атмосферой чичеринского быта, может.

Алексей Владимирович, например, воссоздал облик Чичерина, каким тот предстал перед ним где-то в начале двадцатых годов: кабинет Чичерина со своеобразным транспарантом, который этот кабинет украшал («Республика Советов заинтересована в мире» — гласил транспарант, которым был перепоясан кабинет), затра-

пезную московскую гостиницу, в которой жил Чичерин в ту пору... В описании чичеринской жизни, как ее видели современники наркома, подчас присутствовала «некая чудаченка». Мне кажется: черта эта будет выглядеть отнюдь не столь необычно, если взглянуть на нее из самой той поры. То, что кажется нам свойством характера, было подчас определено своеобразием быта революции. Что говорить, нужна немалая фантазия, чтобы представить себе, сколь аскетичен был образ жизни этих людей и в этом, наверно, не их вина — необычен был сам быт эпохи.

Из той подлинно легендарной поры в истории Наркоминдела, когда комиссариат со Спиридоновки переехал к китайгородской стене, разместившись в периферийных, примыкающих к Китай-городу подъездах «Метрополя», до нас дошли прелюбопытные воспоминания, но их обидно мало. Поэтому так ценно каждое новое свидетельство.

Я получил, как мне кажется, содержательное письмо от старого наркоминдельца Якова Марковича Дворкина, работавшего в отделе дипломатической связи комиссариата. Мне хотелось бы обратить внимание на те места письма, где речь идет о Чичерине.

«В дни отправки диппочты (а это происходило 3—4 раза в неделю), он спускался на первый этаж в помещение отдела дипкурьеров и очень вежливо, почти просительно, обращался ко мне или другим работникам отдела с просьбой показать ему написанные его рукой личные письма, вложенные в маленькие синие, из шершавой бумаги конверты, на которых фамилия адресата также была написана его рукой, а в левом нижнем углу конверта он обычно писал: Гео. Чич.

...Помню его коричневый из грубого твида, старенький, давно не утюженный костюм, бумажный, бежевого цвета, обмотанный вокруг шеи шарф, концы которого высовывались из-под пиджака. На его изнуренном, бледно-желтом, всегда озабоченном хмуром лице редко можно было заметить улыбку.

Георгия Васильевича мне случалось видеть во время ночного вызова, видеть его скромный кабинет, заваленный стопками иностранных газет и журналов, через которые ему приходилось буквально перешагивать.

Жил он в небольшой комнатушке, смежной с рабочей комнатой, которую кабинетом можно было назвать лишь

условно. В течение ряда лет его обслуживала старенькая женщина, главная задача которой состояла в разогревании чая. От продуктовых посылочек, которые ему направляли некоторые руководители полпредств и торгпредств, он решительно отказывался в пользу своих секретарей или рабочих отдела дипкурьеров. В обращении к своим сотрудникам был неизменно вежлив, говорил обычно тихим, с некоторой хрипотцой голосом, а в редкие моменты раздражения его голос звучал фальцетом. Ходил он медленно, слегка сгорбившись, покачиваясь из стороны в сторону, походкой уставшего человека».

Не часто в письме, даже написанном по поводу прочитанной книги, говорится о том, как звучал действительно голос человека, образ которого ты пытался воссоздать — тем ценнее для тебя это письмо. А вообще, если даже письмо не содержит прямого спора, полезно сопоставить восприятие читателя с твоим восприятием и на какой-то вершок приблизиться к искомой сути.

СОДЕРЖАНИЕ

Савва Артемович Дангулов
ПЯТНАДЦАТЬ ДОРОГ НА ЭГЛЬ

Редактор Н. Арзуманова. Художник К. Павлинов. Худож. редактор В. Щукина.
Техн. редактор Л. Самсонова. Корректор В. Данилова

Сд. в наб. 3/VII-74 г. Подп. к печ. 30/I-75 г. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Физ. п. л. 15,0. Усл. п. л. 25,20. Уч.-изд. л. 25,72. Изд. инд. ХД-292. А09235.
Тираж 75 000 экз. Цена 99 коп. в перепл. Бумага № 1 Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.

Издательство «Советская Россия»
Москва, проезд Сапунова, 13/15

Отпечатано с матриц Чеховского полиграфического комбината Союзполиграфпрома на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.
Заказ 2350.